

ВИКТОР ШВАРЦ

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Издательский дом Шварца

Москва, 2009

*Аленке и Антону, их детям,
сиречь моим внукам и внучке,
а может быть, и их детям...*

«Частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям»

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

«Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва: сорок шестой – пятидесятый годы рождения – самое многочисленное поколение за всю историю страны. Мы, состарившиеся в мальчиках, вино, перебродившее на уксус и не дождавшееся праздника: нас не подпустили к столу, мы не дотянулись до бокалов, а ножи были предусмотрительно убраны: лакеи захватили буфеты и стали хозяйками праздника. Мы, брюзги, неудачники, одни спившиеся, другие продавшиеся не задорого, потому что дорогой цены уже не давали: предложение с лихвой превышало спрос. Мы, чьи лучшие рабочие годы – с двадцати пяти до сорока – ушли водой в песок, погрязли в болоте, ухнули в бездонную пропасть, в жизнеподобную пустоту непрерывно фальшивого фанфарного пения: оно скребло своей наглой фальшью нервы, и мы стали истеричны, оно разъедало душу, и нам уже нечем стало верить во все хорошее и честное. Мы, плешивые, потому что металась беспорядочно по жизни, пытаюсь жить, мы, гнилозубые, потому что жрали всякую дрянь – а что еще было жрать, – потому что не на что было вставлять зубы у частника, по-ди еще его найди, не стальных же фикс ждать два года в бесплатной очереди: мы – были, были, были!»

Михаил Веллер

«Конец шестидесятых»

ЧАСТЬ I

**ЛЮБОВЬ И СЛЁЗЫ
ЮНЫХ ЛЕТ**

Всё только начинается

Возвращение памяти в детство – грустная штука. Может быть, потому, что прокрутка времени в обратном направлении невольно подталкивает тебя к мысли: сколько этого самого времени у тебя осталось? Да, кажется, и для чего вспоминать: ведь все свое ты удерживаешь в голове? Очевидно, воспоминания – всего лишь продиктованный естественным ходом жизни способ оставить свой след в этом мире после того, как ты исчезнешь из него навсегда. Оставить след хотя бы для своих детей – Алены и Антона, для внуков – Дачечки и Максима, внучки Анечки, а там кто знает, для кого еще...

9 апреля 1950 года... 4 часа утра... Эмбрион, зачатый за девять месяцев до этого дня, вряд ли мог сохранить в своей генетической памяти взрыв страсти матери и отца, их притяжение и отталкивание, сияние звезд, а может быть, июльское тепло полудня, когда и произошло чудо зарождения микровселенной со всеми ее генами, зачерпнувшими бесконечное прошлое. Прошел положенный срок, и в роддоме № 16 Ленинградского района города Москвы на свет появился обыкновенный младенец мужского пола весом при рождении 2930 граммов и ростом 49 сантиметров, названный позже Виктором – «победителем».

Почему «победителем»? Уж не в честь ли отстрелявшейся за пять лет до моего рождения войны с Германией, названной Великой Отечественной? Да куда там, все гораздо прозаичнее... Во всяком случае, по словам матери: она, мол, страстно желала ребенка, а отец по каким-то там причинам жаждал его не слишком, вот и утвердила мать свою женскую победу в имени сына.

Так ли это? У отца уже не спросишь... Но в семье, похоже, не было солюбови, что и подтвердил развод родителей – через четыре года после моего рождения. Я не зафиксирую этого в памяти, а развод до определенного возраста, как и четко установленные наши свидания с отцом по субботам или воскресеньям, буду воспринимать как некую данность. Не задаваясь до поры до времени вопросом, почему он не живет с нами (много позже, во взрослые годы, я напишу стихи «Отец на воскресенье», где найдет отражение отчаяние ребенка, вынужденного встречаться с отцом только по выходным, – так неожиданно выплеснется детская обида, хранимая в памяти).

Но это все будет потом, а пока, доставленный из роддома в небольшую двухкомнатную московскую квартирку по адресу: Ленинградское шоссе, дом 92/94 (позже адрес этот изменится на «Ленинградский проспект, дом 60»), я, очевидно, ощущал полное благополучие и безмятежность, как и подобает младенцу, родившемуся во «вполне интеллигентной семье», где мама служила юристом, а отец трудился в качестве «старшего инженера», одновременно готовясь к защите кандидатской диссертации.

Итак, моя семья... Вернее, две семьи, ибо, как у каждого ребенка, моя родословная была сплетена из двух ветвей – материнской и отцовской: семейства моей матери Ирины Сергеевны Шрайбер и семейства моего отца Ильи Абрамовича Шварца.

О деде с материнской стороны – Сергее Яковлевиче я всегда вспоминаю с особой нежностью. Наверное, потому, что его любовь ко мне – маленькому – превышала все мыслимые пределы. К моменту моего появления на свет он все еще продолжал трудиться в некоей конторе со странным для сегодняшнего уха названием МОСУКТЭК, принадлежавшей Министерству путей сообщения, где занимал «высокую» должность дежурного помощника начальника контейнерного отдела. Впрочем, после моего рождения в этой своей последней должности прослужил он недолго – через год, в 64, выйдя на пенсию по инвалидности. Начинать же он свою трудовую биографию согласно чудом сохранившемуся «Трудовому списку» за 1937 год, заполненному его рукой, с должности переписчика в библиотеке Одесского общества приказчиков-евреев (так она именовалась) еще в 1902 году.

Появление внука, которого его дочка родила в 29 лет, воспринял Сергей Яковлевич как истинный подарок судьбы. Забавно: когда дед Сергей узнал, как меня назвали, он в глубоком экстазе произнес: «Замечательно звучит: Виктор Сергеевич». Однако на резонное возражение матери, что отца новорожденного Витеньки зовут вообще-то Илья, озадаченно замолк и потупил взор...

Судьба, думается, не слишком баловала его. Был он, по воспоминаниям матери, предпоследним ребенком в семье, состоящей из трех сестер и четырех братьев. Его отец, сиречь мой прадед, Яков принадлежал к кантонистам – так называли в царской России несовершеннолетних солдатских сыновей, числившихся с рождения за военным ведомством, а также взятых принудительно на воинскую службу детей евреев. В армии кантонисты трубили 25 лет. Отбыв этот срок, мой прадед из Тирасполя, где он вначале поселился со своей женой Евгенией и где родился дед, переехал в Одессу. Там и обосновалась многочисленная семья, включающая старших братьев деда – Бориса, Лазаря и Льва и его сестер Елизавету, Софью и Веру (Борис в конце 20-х работал руководителем крупного объединения «Рудметаллторг», умер в 1935 году; Лев свою зрелую пору прожил в Германии, трудился в системе Наркомвнешторга, умер в 1934-м; Лазарь стал врачом, погиб в Ленинградскую блокаду; сестра Елизавета вышла замуж за Абрама Эрлиха, репрессированного в 1938 году и погибшего в сталинских лагерях, сама же она дожила до 96 лет и скончалась в Ленинграде; сестра Вера умерла в блокаду; Софья, будучи вдовой – муж умер в Гражданскую войну от тифа, растила трех сыновей, умерла в старости).

До революции жила семья деда достаточно благополучно. По крайней мере, об этом позволяет судить фотография 1891 года, сделанная в недалеком от Одессы местечке Балаклава: на ней запечатлен юный, лет шести-семи дед вместе со своими отцом и мамой. Судя по пышной листве, отчетливо проступающей на фото, снимок появился летом во время утреннего чаепития на свежем воздухе, а самовар, бублики и газета «Листок», свидетельствующая по меньшей мере о грамотности моего прадеда, дополняют эту вполне идиллическую картину.

Что же касается дальнейшей жизни деда Сергея, то известно, что с юности увлекся он революционным движением, вступив в партию социал-революционеров (эсеров). Было это в начале 1900-х годов и по тем временам для так называемой «черты оседлости» (отведенных царским указом мест, где в России имели право проживать евреи) не казалось чем-то неожиданным: многие юноши из еврейских семей, увлеченные романтическими идеями «свободы, равенства и братства», а еще пуще подсознательно стремившиеся вырваться из пресловутой «черты», шли «в революционеры». Дед мало рассказывал о том времени: осталось у меня смутное знание того, что, будучи эсером, он принимал участие в организации похорон в Одессе матроса Вакуленчука (см. историю восстания на броненосце «Потемкин»), да однажды мною обнаруженная и врезавшаяся в память заметка из пожелтевшей газеты, свидетельствующая:

по заданию своей партии дед участвовал в физическом устранении (сиречь, убийстве) некоего провокатора. Вот такая «романтика» революции!

Известно и то, что для юного Сергея Яковлевича (а было ему тогда немногим более 20 лет) все это в конце концов закончилось арестом, отсидкой во время следствия в знаменитой «Таганской» тюрьме (об этом – в его воспоминаниях ниже) и ссылкой на три года в Печорский край Архангельской губернии, где он принимал участие в экспедиции известного географа Керцели, изучавшего Большеземельскую тундру. От того времени сохранились две фотографии, свидетельствующие об этом: на одной дед сидит на оленьей упряжке, а другая зафиксировала его и еще каких-то двух «первопроходцев» возле чума.

Вся эта революционная эпопея, думается, в конечном счете принесла мало пользы и «революционному» прошлому нашего достославного Отечества, и самому деду Сергею. За исключением, пожалуй, одного – там, в ссылке, он встретил мою бабушку Марию Михайловну Орлову, носившую в девичестве чистокровное еврейское имя Мириам и фамилию Рейнгольдт.

Этой трансформации предшествовала своя история. О родителях бабушки, родившейся в 1887 году в тихом уездном Ельце, мне практически ничего не известно. Знаю только, что воспитывала ее приемная мать Мария Николаевна, заведовавшая одной из московских школ и отправившая молодую Мириам в Киев на фельдшерские курсы. Именно в Киеве и познакомилась будущая фельдшерица с неким революционером Львом Орловым. Вспыхнула любовь... Но Орлов вскоре был арестован и приговорен к ссылке. Юная Мириам, движимая, очевидно, не столько романтикой революционного движения, сколько романтикой первой любви, решила отправиться за своим возлюбленным на «царскую каторгу» (вполне допускаю, что в молодые годы довелось ей зачитываться поэмой Некрасова «Русские женщины»). И для этого, сломав каноны иудейской веры – шаг по тем временам непростой, – приняла православие, получив при крещении имя Мария, а уж затем венчалась в тюремной церкви с тем самым Орловым, дожидавшимся отправки по этапу. Юридические и церковные преграды, установленные в царской России, таким образом, были преодолены, и новоиспеченная Мария Михайловна Орлова отправилась в ссылку вслед за мужем.

Беда грянула неожиданно: не дойдя до места назначения, Лев Орлов серьезно заболел и скончался от скоротечной чахотки. Тяжело пережив смерть мужа, юная вдова вернулась в Москву к своей приемной матери. Вскоре в столице грянули революционные события 1905 года. Приемная мать Марии Михайловны каким-то образом оказалась в них замешана, за что и

поплатилась: была в свою очередь арестована и приговорена к ссылке в Архангельской губернии. В ссылку она взяла и Марию... Круг жизненных предначертаний замкнулся: именно в Архангельской ссылке, которую, напомним, отбывал и мой дед, они и познакомились...

Забегая далеко вперед, расскажу об одном забавном случае, произошедшем уже на моей памяти. Всю жизнь, до глубокой старости, Сергей Яковлевич и Мария Михайловна прожили в так называемом «гражданском браке». Что, впрочем, как ни странно, не вызывало возражений у советской власти, хотя и строго надзиравшей за соблюдением всяких формальностей, но тем не менее особо не возражавшей, чтобы мои старики и жили вместе, и дочку родили вполне официально...

Однако к концу их жизни казус все-таки случился. Деду, как лицу, удостоенному знака отличия Министерства путей сообщения «Почетный железнодорожник», раз в год полагались (на него и супругу) бесплатные железнодорожные билеты. И вот на старости лет надумал Сергей Яковлевич совершить с женой недалекое путешествие в Ленинград, дабы проведать имевшихся там родственников. Надумано – сделано: отправился он в кассу за полагающимися ему «халявными» билетами. Там-то и подстерегал его неожиданный удар: кассирша, притетно рассмотрев удостоверение «Почетного железнодорожника», взяла в свои трудовые рученьки паспорта супругов и... не обнаружила там отметку о браке! На соответствующий вопрос дед пояснил труженице железной дороги, что подобной отметки и быть не может, поскольку за пятьдесят с лишком лет совместной жизни он и его жена ни разу не были в загсе и, соответственно, не имеют свидетельства о браке.

Вот тут-то и проявила себя советская власть в полную силу: раз нет отметки загса, да еще фамилии в паспортах разные, значит, ни о каких билетах не может быть и речи.

Вернулся Сергей Яковлевич домой без билетов и призадумался: конечно, билеты можно было бы и купить, да денег у пенсионеров немного, а в Ленинград хочется. Выход все же нашелся: отправились мои старики в загс и заявили, что хотят на старости лет связать себя узами законного брака. Работники загса, немало поизумлявшись возрасту новобрачных, в конце концов зарегистрировали их. А дед с бабкой, став на закате жизни законными мужем и женой, вполне довольные, отправились в «свадебное путешествие» в город Ленина...

Но вернемся к жизнеописанию Сергея Яковлевича и Марии Михайловны... Дед, вернувшись в 1911 году из ссылки вместе с молодой женой и поселившись в Саратове, судя по всему, перестал заниматься революцией и вышел из пар-

тии. Кстати, может быть, это мудрое решение 25-летнего главы семьи спустя годы и спасло его от сталинского террора – известно, что «отец народов» расстрелял или закатал в лагеря практически всех эсеров. Думается, что принадлежность в юные годы к этой партии дед после Октябрьского переворота держал в строгой тайне, и это в конечном счете уберегло его от гибели. Как бы там ни было, но, оказавшись в Саратове, дед повел вполне «праведную» жизнь, работая в Волжском отделении известного страхового общества «Саламандра».

В 1912 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где им предстояло провести десять лет, пережив немало событий: от прихода революции и перипетий Гражданской войны до рождения дочери в 1921 году. Тогда же дед перевез семью в Москву, где вместе с бабушкой и моей матерью жил до самой смерти, последовательно работая в различных транспортных организациях. На войну в 41-м его не взяли, хотя и пошел он записываться добровольцем, – было ему уже за пятьдесят, так что семья эвакуировалась в Барнаул, а затем вновь вернулась в столицу. Бабушка же работала только до войны – медсестрой, а потом перешла на инвалидность и сидела дома, по мере сил и умения поддерживая семейное благоденствие.

Дабы покончить с прошлым деда, а заодно в стремлении дать возможность читателям этой книги непосредственно прикоснуться к части его жизни, прерву на некоторое время это повествование и в следующей главе приведу обнаруженные мною воспоминания Сергея Яковлевича, написанные им в конце 50-х годов прошлого века – скорее всего, для подрастающего внука – и озаглавленные «Об одном тяжело пройденном этапе». Как говорится, без комментариев...

Вагон смертников

Трудно, конечно, через сорок лет вспомнить детально о событиях в жизни, оставивших неизгладимые, навсегда тяжкие впечатления. Февральская, Октябрьская революции, Гражданская война были мною пережиты в Ростове-на-Дону. В этом городе я работал в страховых и пароходных предприятиях («Волга», «Саламандра», «Восточное», «Кавказ и Меркурий», «Черноморско-Азовское пароходство») с 1912 г. по 1920 г. и с 1920 г. по 1922 г. – в Юго-Восточном Промышленном бюро ВСНХ*.

* ВСНХ – Высший Совет Народного Хозяйства (1917–1932гг.).

Ясно помню, что к 1 мая 1918 г. Донская область и Ростов были заняты немцами. Наступательные бои против бойцов Красной гвардии вели белогвардейские части, а уличные бои в центре города – дроздовцы*.

Окна моей ростовской квартиры выходили на Садовую улицу, и в день первого мая мы видели ведущие бои цепи красногвардейцев и цепи белогвардейцев. К вечеру сражение прекратилось, и по главной улице (Садовой) прошли в строю немецкие воинские части.

Город замер, но ненадолго. Жизнь это жизнь! Открылись магазины, кино, кафе, на улицах показались жители. Люди начали ходить на работу, на службу.

Возобновили деятельность, правда очень скромную, некоторые профсоюзные организации, в числе которых был профсоюз конторских и банковских работников.

С работой этого союза я был связан с 1912 года. В тяжелый период белогвардейщины здесь разбирался ряд конфликтов, возникавших между работниками страховых и транспортных предприятий с руководством этих предприятий. Отмечу, что и в этом союзе офицерские отряды производили обыски, аресты, избиения. Многие занимались под видом обысков мародерством. Мне хорошо известно, что немало людей, имевших то или иное отношение к общественной деятельности, покинули город, а оставшиеся старались реже показываться на улице.

Начались захваты молодежи на улицах для пополнения белогвардейских отрядов, своеобразная мобилизация. Мне хорошо помнится, что вся административная власть немцами была передана белогвардейцам. Штаб немцев помещался в гостинице по Пушкинской улице. Немцы как бы старались не показываться на глаза населению. Охрану города осуществляла полиция. Снова на улицах появились городовые, околоточные, приставы, жандармы.

Атаманом в Новочеркасске был в тот период Краснов. Естественно, начался период мерзкого антисемитизма.

Вспоминаю гибель студентки Ростовского университета, выступившей на собрании студентов против бесчинств белогвардейцев. Эта девушка была замучена в отряде карателя-осетина Икаева.

* Войска белогвардейского атамана Дроздова.

После ее ареста в местных газетах было помещено «Обращение» градоначальника Грекова. У меня случайно сохранилась выписка из этого обращения. Вот она:

Ребекка Боруховна!

Нам все известно. С какой стати вам мутить честную русскую молодежь? Какое вам, подумаешь, дело, что где-то там, в Киеве, с каким-то студентом что-то случилось. А если в Новой Зеландии с кем-нибудь неправильно обойдутся, так вы и в Новую Зеландию смотаетесь? Нет, сердобольная моя, у нас на этот счет закон писан короткий. Евреи, уймите свою молодежь!

Сам командир отряда карателей Икаев был назначен председателем Военно-полевого суда. В приказе было указано: «Хотя он (Икаев) не юрист, но дело понимает». Коротко, но ясно!

Виселицы, порки, надругание стали знаменем времени...

В тот период я работал в качестве окружного инспектора обществ «Волга», «Кавказ и Меркурий» и обслуживал большой район от Донской области до Баку. В Ростов всегда возвращался в большой и к тому же вполне основательной тревоге и всегда узнавал о новых арестах, причем часто знакомых мне людей.

... Поздний ночной звонок в нашу с женой квартиру предвещал малоприятное. В сентябре 1918 г. (дату не помню) такой ночной звонок заставил нас понять, что нечто грозное свершилось. Традиционное «Телеграмма» на вопрос «Кто там?» не оставило у нас сомнений в том, что пришло тяжкое и неизбежное.

Открыли дверь... В квартиру вошли с офицером двое солдат, какой-то полицейский и, как это надо было ожидать, некто в штатском.

Обыск был произведен поверхностно. Осмотрели книги, порылись в письменном столе, отобрали кое-какие документы и личную переписку. Поверхностность обыска говорила ясно о том, что целью прихода был предрешенный арест.

Ордеров на обыск и арест в те времена не спрашивали. Мне было предписано «собраться» и последовать за пришедшими.

В этот момент думалось только о том, чтобы меня доставили в узилище, а не расстреляли «при попытке к бегству».

При выводе из дома я был удивлен, что мы пошли не в сторону тюрьмы. Только тогда, когда мы подошли к месту назначения, я узнал

дом, в котором помещалось Ростовское градоначальство. Это обстоятельство заставило особо задуматься.

[Следующая страница рукописи утеряна. Однако можно восстановить ее смысл. Речь здесь, очевидно, шла еще о трех знакомых деда, которые были арестованы вместе с ним и доставлены в градоначальство. Первым, кого дед упоминает, – его хороший знакомый Михаил Яковлевич Вайнштейн. – В.Ш.]

... Он принадлежал к партии большевиков и много лет был на серьезной и ответственной работе подпольщика-профессионала. Жена его Роза Яковлевна была многолетней социал-демократкой (меньшевичка). Расхождение во взглядах не нарушало их многолетней и дружной супружеской жизни.

Константин Григорьевич Итин работал вместе со мной с 1915 года в страховом обществе «Волга» и пароходных обществах «Кавказ и Меркурий» и «Восточное». К.Г. являлся одним из моих помощников по работе. В указанный период он политически себя не определил, принимал участие только в профсоюзной работе. Позднее К.Г. вступил в партию большевиков и в 20-х годах работал в Москве, если я не ошибаюсь, во Внешторге.

Наум Гроссман работал инспектором во 2-м Российском страховом обществе, и о его каком-либо участии в общественно-политической жизни в Ростове я не знал. Это был молодой, красивый, видный по сложению, всегда элегантно одетый человек.

Обо мне, конечно, власть предрержащие знали: что ссылка мною была закончена в 1911 году, о том, что по приезде в Ростов в 1912 году я принимал участие в профсоюзном движении, о том, что в свое время являлся членом партии социал-революционеров.

Естественно, первое, что было нами учтено при обсуждении создавшегося для нас положения, – это то, что все мы являлись работниками страховых предприятий, и то, что все мы были евреями.

Пришли мы к заключению, что наиболее серьезным в нашем положении являлось еврейство! Это, конечно, было так! Сошлись мы и в том, что причину ареста надо искать в предательстве.

Все мы были женаты, у всех было влиятельное начальство и, что особо важно, близкие друзья. Мы понимали, что с их стороны будут приняты все возможные меры к выяснению обстоятельств нашего ареста и оказанию помощи нашим семьям в хлопотах о нас.

... Прошла ночь. Как сейчас помню, в заключение наших разговоров о создавшемся для нас тяжком положении Мих.Як. подвел итоги, признав, что нам грозит серьезная, неотвратимая опасность. С этим мы все не могли не согласиться.

Сейчас не помню всех подробностей, но уже часов в девять-десять утра мы узнали о том, что нас увезут из Ростова и что к месту назначения (куда именно, мы не знали) сопровождать нас будут икаевцы. Это сообщение ничего хорошего не могло предвещать. «Деяния» карателей отряда Икаева были широко известны.

Часов в пять дня к нам в комнату явился офицер и предложил собраться на этап. Сборы наши были весьма короткими, так как у каждого из нас с собой вещей практически не было. В коридоре нас принял конвой икаевцев в составе 5–6 человек. Икаевцев-осетин нетрудно было узнать и по одежде, и по оружию.

Из здания градоначальства нас в окружении конвоя повели к вокзалу. Велика была наша радость и еще больше неожиданность, когда у вокзала мы увидели наших жен, друзей и среди них всем нам знакомого адвоката Бышевского.

До посадки в поезд мы успели от близких узнать многое и очень важное. Оказалось, что утром на автомобиле для хлопот и выяснения причин нашего ареста выехали в Новочеркасск к атаману Краснову городской голова при белых доктор Козлов, адвокат Зелер, адвокат Альперин и еще кто-то, кого не могу сейчас вспомнить. Однако ко времени посадки в вагон указанные лица не успели вернуться в Ростов. Узнали мы и о том, что сам Икаев дал честное слово: мы четверо к месту назначения конвоем из его карательного отряда будем доставлены живыми. За дальнейшее, на месте назначения, никаких обязательств Икаев на себя принять не мог. Естественно, хотелось верить в честное слово Икаева, хотя, конечно, мысль о возможном тяжком для нас конце нас и наших близких не оставляла.

Узнали мы также о том, что везут нас на железнодорожную станцию Чертково по требованию и в распоряжение командира контрразведки штаба Южного фронта при командующем белой армией генерале Иуде Иванове.

Велика была наша радость, когда в соседнем с нами отделении, где мы разместились вместе с конвоем икаевцев, оказались наши жены и адвокат Бышевский. И вот буквально за несколько минут до отхода

поезда в вагоне появился офицер, сказавший о чем-то старшему по конвою. Тот сразу же заявил нам, что поездка на Чертково отменяется и нас должны снова доставить в градоначальство. Мы (под конвоем) и наши близкие быстро собрались и покинули вагон.

В полном недоумении мы зашагали обратно в градоначальство. Все это произошло стремительно и совершенно для нас непонятно. В градоначальстве мы были водворены в ту же комнату, откуда нас этапировали на вокзал. Все мы высказывали свои соображения о случившемся, но, конечно, только предположения.

Далеко за полночь к нам в комнату с кем-то из чинов градоначальства пришли наши ходатаи – Зелер, Козлов, Альперин. Нам стало известно, что в результате их посещения атамана Краснова последовало его приказание не отправлять нас в Чертково и отпустить до выяснения дела на поруки городского головы Козлова и адвоката Зелера.

После оформления нашими поручителями документов о нашем освобождении мы поздно ночью были отпущены и благополучно добрались по домам.

О причине нашего ареста поручители ничего в Новочеркасске не узнали. Им было только сообщено, что арест и доставка нас в Чертково должны были произойти по требованию фронтовой контрразведки.

Первый этап для нас закончился благополучно, но это был только первый этап, за которым последовали другие тяжкие события...

Самым серьезным обстоятельством было то, что мы и в момент ареста, и во время отправки нас на этап, и после освобождения ничего не знали о причине ареста. Все же инстинктивно правильный вывод из создавшегося положения сделал только Вайнштейн. К вечеру следующего дня после нашего освобождения он оставил Ростов и, как мы позднее узнали, благополучно добрался до Баку.

Дня через три-четыре мы, оставшиеся в Ростове, снова ночью у себя на квартирах были арестованы и доставлены в градоначальство. К вечеру того же дня под конвоем икаевцев, тех же, которые и первый раз нас конвоировали, мы опять были приведены на вокзал, посажены в вагон и на этот раз отправлены к месту нашего назначения. Вместе с нами этим же поездом в направлении Черткова отправились наши жены и адвокат Бышевский.

Утром мы прибыли к станции назначения. Станция – одноэтажное, значительное по величине строение, окрашенное в белый цвет.

Платформа была запружена людьми, и среди них было много военных. Упомяну, что на небольшом расстоянии от станции в тот период проходил фронт между белогвардейцами и частями советской власти.

По выходе из вагона мы тут же, перейдя на соседний ж/д путь, были введены в классный вагон, где помещались штаб и руководство фронтовой контрразведки. Принял нас от конвоя уже немолодой, коренастый, невысокого роста комендант разведки штаба по фамилии Каширин. К нашему удивлению и сверх ожидания, наша приемка прошла без обычных в тот период эксцессов, попросту говоря, без избивения. Мы трое лишь подверглись обыску, при котором у нас изъяли кое-какие личные документы, бумажники, кошельки и прочие мелочи. Вещей у нас троих никаких не было.

Классный вагон разведки был на пути головным, за ним влево по пути против ж/д станции находилось несколько товарных вагонов, где содержались арестованные. Каждый вагон был переполнен узниками до предела. Вагоны охранялись снаружи, с двух сторон, офицерской охраной. В теплушках-вагонах разместились нары, установленные в два яруса.

От коменданта мы перешли дальше по вагону, где были допрошены офицером-следователем, назвавшимся графом де Боди. В процессе допроса каждому из нас троих было предъявлено обвинение в... принадлежности к подпольной военной организации большевиков г. Ростова! Это обвинение подтвердило нашу уверенность в том, что арест наш – следствие грубейшей провокации. Ибо никто из нас не принадлежал к указанной организации и никакого участия в ее деятельности не принимал.

Вслед за так называемым допросом у де Боди мы были направлены к начальнику контрразведки полковнику Бардину, занимавшему в этом же вагоне соседнее отделение. Его «допрос» был короток, никаких уточнений в подтверждение предъявленного нам обвинения не последовало. С явным раздражением полковник говорил лишь о том, что от ареста ушел Мих. Як. Вайнштейн.

Итак, после допроса мы под конвоем офицеров были отведены в одну из теплушек. Союзники, как обычно в таких случаях, встретили нас рядом вопросов: кто мы, откуда, когда арестованы, за что и т.д. Нам уступили место на нижних нарах, ознакомили с порядками и условиями заключения. Фронт фронтом, но все же потоки пассажиров в поездах

проходили непрерывно с Кавказа на Украину и в Советскую Россию. Все поезда по прибытии на станцию Чертково – это мы лично наблюдали – подвергались обыскам и проверке пассажиров. Основная масса заключенных как раз и состояла из задержанных в поездах. Среди потока прибывающих вновь заключенных находились представители разных слоев населения, разных национальностей и возрастов.

Мы в первые же часы нахождения в теплушке узнали, что почти ежедневно отсюда забирают людей то под предлогом увода в суд, то без всяких предлогов и что уводимые, как правило, в вагон больше не возвращаются. Скоро мы стали свидетелями таких уводов. Поздно ночью раздавались приближающиеся шаги конвоя... отрывисто открывались двери теплушки, куда с фонарем в руке и со списком поднимался комендант контрразведки, называвший по списку фамилии обреченных. При таких условиях ночь для заключенных превращалась в часы тяжких мук, страданий и ожиданий смертного часа.

На вторую ночь, вскоре после смены караула у нас в теплушке, мы трое и все неспавшие ясно услышали разговор нас карауливших – короткий, но не оставлявший сомнений в нашем тяжелом положении. Разговор между двумя офицерами явно касался нас троих: «Видал, вчера привезли трех жидов – их прикончили вчера ночью», – говорил один. «Да, вчера утром я видел их, когда их к нам доставили икаевцы», – отвечал другой. Был ли это просто провокационный диалог, либо эти офицеры знали раньше, что мы будем доставлены из Ростова в разведку для расправы (так бы оно и было, если бы не ряд обстоятельств, о которых я говорил выше и о которых напишу дальше), сказать не могу.

В последующих наших рассуждениях об обстоятельствах нашего ареста мы склонялись к тому, что офицеры из караула действительно считали, что с нами в предшествующую ночь было покончено.

Ситуация, в которой мы находились в теплушке, давала нам, как и всем остальным заключенным, право считать наше узилище вагоном смертников. При нас были случаи увода на расстрел ночью заключенных из вагона. Расскажу только о некоторых тяжелых случаях, воспоминания о которых никогда не поблекнут...

Как-то утром в солнечный осенний день к нам в теплушку были приведены два мальчика лет 17–18. На их лицах ясно были видны красные полосы – следы избиения. Мальчики нас, проведших уже несколько дней в теплушке и увидавших за эти дни людское горе и

страдания, поразили своим явно беззаботным видом. Они даже смеялись, и думаю я, что смех этот был нервной реакцией на то, что над ними свершилось. Мы узнали о том, что мальчики из Москвы направлялись к бабушке в Пятигорск. Оба были задержаны в поезде, прибывшем на ст. Чертково. При обыске у них, как они об этом нам рассказали, отобрали открытки, изданные после февральского периода (портреты революционных деятелей), снимки демонстраций в Москве, Питере, на фронте и пр. Вот это все, если не считать вещей и денег, было забрано!

Мальчики со стороны всех заключенных были окружены максимальным вниманием. Для нас всех было очевидно: они не понимали того, что с ними произошло.

Не могу не вспомнить о тех нечеловеческих муках всех нас в теплушке, когда ночью комендантом по списку мальчики эти были вызваны из вагона на расстрел. Все произошло так молниеносно, что из нас никто не спросил их о месте жительства родителей, бабушки и даже не узнал фамилию мальчиков.

Чуть ли не на следующее утро к нам в теплушку привели молодого человека лет 25–26, не больше, в солдатской шинели. Пред нами был душевно угнетенный, со следами сильных побоев на лице человек. Через короткое время мы узнали, что арестованный был снят с очередного поезда из Ростова, а пытался он пробраться в Москву, чтобы вывезти оттуда родную сестру, артистку кино. При обыске в разведке у него забрали вещи, деньги, и среди вещей была найдена фотография фронтового митинга периода 17-го года. Арестованный нам подробно рассказал, что на фотографии были засняты солдаты и командиры под полковым знаменем и под стягами с надписями и лозунгами того периода. На фотографии был и арестованный в солдатской форме. Вот и все, что было взято у демобилизованного солдата «предсудительного».

Горечь гибели двух мальчиков из-за открыток усугубила наши опасения за судьбу солдата, особенно учитывая, что он был евреем. Увы, ночью арестованный солдат-ростовчанин был расстрелян....

В ближайший день в теплушку к нам были приведены двое: пожилой, внешне болезненный мужчина и с ним молодой человек лет 25–30. Нетрудно было определить в них типичных интеллигентов. Арестованные были доставлены из г. Богучары. Старший оказался

юристом, в демократической городской Думе он был избран ее председателем. Молодой также был юристом и был избран мировым судьей. Причину ареста оба не знали, как они об этом нам говорили. Фамилия судьи – Атласный, фамилию старшего я не помню.

Одновременно с перевозом на ст. Чертково арестованных сюда же приехала жена Атласного.

Надо вспомнить, что в теплушках, переполненных до отказа, днем разрешалось открывать верхние оконца. Хорошо и то, что в теплушках не находилась историческая «параша»: заключенных конвойные выводили в станционную уборную, находившуюся в конце платформы, далеко вправо от стоянки теплушек. Эти выходы являлись для нас видом прогулки: за время прохода по платформе мы имели возможность обменяться несколькими фразами со своими женами.

Между прочим, один из конвойных, охранявших наш вагон, почти мальчик, в разговоре с моей женой посоветовал ей предупредить нас, чтобы мы ночью не просили о выходе из теплушки, чтобы не подвергнуться выстрелу в спину «при попытке к бегству».

Так вот, при выходе днем из теплушки я познакомился с женой Атласного. Знаю я, что она несколько раз была на приеме у полковника Бардина, но в какой плоскости велись переговоры, мне неизвестно. И, как это бывает только в тюрьме да, пожалуй, в больнице, мы почувствовали себя с привезенными заключенными близкими людьми, и такую же теплоту я ощутил в отношении жены Атласного, когда с ней разговаривал.

Как и мы, день и ночь эти двое арестованных думали о причинах ареста, и о судьбе, их ожидавшей. И вот в одну из ближайших ночей в числе названных по списку был взят из теплушки Атласный. Впервые мы услышали от коменданта контрразведки, что Атласный взят для доставки в военно-полевой суд...

Все мы, обитатели теплушки, не спали, когда часа через два-три его привели обратно к нам в вагон. Он был приговорен к расстрелу по обвинению в большевизме.

Как только мы опять были заперты в теплушке, Атласный (и я с ним вместе) расположились под нарами, и здесь, лежа на полу, он написал свои предсмертные записки жене и кому-то еще из близких. У нас в теплушке хранилась свеча, и с ее помощью я светил смертнику, когда он писал свои прощальные записки.

Через короткое время Атласного увели. Крепко мы обнялись, расцеловались с ним без всяких слов...

Как всегда рано утром на платформе станции появились наши жены и среди них жена Атласного. Для наших жен утренняя встреча, правда на расстоянии, через приоткрытые окна теплушки, всегда была радостью, на целый день обнадеживающей. Жена Атласного среди нас своего мужа не увидела... и все поняла... А через какое-то время мне удалось ей передать предсмертные письма казненного...

Характерно, что увод наших союзников на казнь происходил в смертной, иначе не скажешь, тишине и безмолвии, слышались только вздохи, несвязное бормотание. Люди, как бы утратив дар слова, лежали на нарах, на полу... Не слышалось и движения, так как лежать можно было только на боку, вплотную тело к телу. Это общее оцепенение продолжалось до утра, когда жизнь в теплушке вступала в свои естественные права...

Сейчас, когда я думаю о пережитом, о чаше горя людей, мне вспоминается период 1907–1908 годов – время моего нахождения в Московской Таганской тюрьме. Это был период волны массовых смертных приговоров, выносимых военно-полевыми и военно-окружными судами революционерам и тем, кого тогда причисляли к экспроприаторам всякого толка. В первой половине 1908 года в «Таганке» приговоренных к смерти выводили на казнь ночью из тех одиночек, где они сидели (2-й этаж справа от входа в корпус).

В начальный период ареста я находился в одиночке первого этажа (помнится, за № 13). А затем был переведен во второй этаж, и одиночка моя находилась параллельно против одиночек приговоренных. Выводимые ночью на казнь криком об этом будили заключенных всей тюрьмы. Слова прощания, последние слова приветов женам, проклятия вмиг превращали тюрьму в кромешный ад. Стук табуретками в двери, звон медной посуды, крики, стон надолго охватывали всю тюрьму. Я четко помню, что однажды ночью заключенный студент Московского университета Иван Калабин табуреткой выбил дверь своей одиночки.

Соседом моим по одиночке в период 1908 года был Борис Глубокровский, с которым мы установили тесную внутреннюю связь (у параши в смежной с его одиночкой стене были вынуты после долгой и кропотливой работы кирпичи, что дало нам возможность не только

разговаривать, но и обмениваться книгами и пр.). С Глубоковским вместе пережили мы много подобных ночей, прощаясь с уходящими от нас в вечность.

К сожалению, с Иваном Калабиным, которого многие из нас называли Ванечкой, и с Борисом Глубоковским мне после 1908 года не пришлось встретиться, да и хоть что-то узнать об их судьбе. Как это, впрочем, произошло и в отношении многих, многих, с кем в годы юности и молодости пришлось делить, как говорится, и радость, и горе...

Но вернемся на станцию Чертково. Здесь нам пришлось пережить еще одно тяжелое испытание. Нам стало известно, что в разведку была доставлена значительная группа крестьянской молодежи. Мы узнали, что это – участники где-то в ближайшем районе восстания против белогвардейцев. В наш вагон из числа задержанных привели четверых. А в ночь этого же дня всех их из вагона увели на казнь.

В середине наступившего дня после тяжело перенесенной нами ночи мы на платформе и на путях увидели группу степенных крестьян – это явились в контрразведку отцы задержанных и казненных. В разведке заверили стариков в том, что задержанные отправлены на принудительные работы... Группа этих крестьян стоит перед моими глазами, будто я ее видел не сорок с чем-то лет назад, а совсем недавно. По своей степенности, одежде пожилые крестьяне, сжимающие палки-посохи в руках, и по сей день напоминают виденных мною на театре и в живописи деревенских ходоков – радетелей сельского мира.

Много и тяжело пережитое за время нахождения в разведке в Черткове, как и многое тяжело пережитое впоследствии, дает мне основание сказать: человек, находясь в самых адских условиях, теряет надежду на спасение только со смертью, с последним вздохом...

За дни нахождения в узилище еще только однажды мы были, каждый в отдельности, вызваны на так называемый допрос. Он носил формальный характер, и о нем даже не сохранились отрывки воспоминаний.

Тем не менее от наших жен мы знали, что их связь с Ростовом непрерывно поддерживается. Знали, что нашими друзьями, да и руководителями предприятий, где мы работали, принимаются все меры к нашему освобождению. Оказалось, что для нашего освобождения затрачиваются солидные суммы денег, а чины разведки стали получать и подарки (скажем, в разведку была привезена новая пишущая ма-

шинка). Кстати, полковник Бардин заявил, что переговоры о нас (передачи, справки и пр.) он будет вести только с моей женой Марией Михайловной Орловой. Слишком, очевидно, резали слух разведчика и карателя фамилии жен моих товарищей по аресту – Гроссман, Итина.

И вот в первой декаде октября мы неожиданно были вызваны к начальнику разведки, который нам заявил о нашем освобождении. Вернулись в теплушку, сердечно, как только это возможно в тюрьмах, простились со своими союзниками и с чувством большой скорби оставили их, зная, что именно многим из них грозит.

При выходе из тюрьмы на колесах в контрразведке нам было вручено одно общее для всех удостоверение. Подлинник этого удостоверения сохранился у меня и до сего времени.

Вот текст этого удостоверения:

ШТАБ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ АРМИИ
10 октября 1918 г. / № 10-К / д. Чертково

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано настоящее удостоверение в том, что Константин Итин, Сергей Шрайбер, Наум Гроссман и Вайнштейн Михаил от личного задержания освобождены, и дело о них в порядке административного обвинения прекращено.

Начальник Контрразведывательного
Отдела при штабе Южной Армии

Полковник
(неразборчиво)

По выходе на волю меня охватило чувство растерянности, неуверенности в действиях – чувство, и раньше уже испытанное при выходе из тюрьмы. Ведь это был по счету пятый выход из заключения! Чертковский этап благополучно закончился, но все там пережитое, виденное и слышанное оставило глубокий, на всю жизнь, тяжкий след в душе и неизгладимые до смерти воспоминания.

Вскоре после нашего выхода из штабного вагона разведки на станцию был подан состав на Ростов. В вагоне, в котором мы находились с нашими женами и адвокатом Бышевским, ехал полковник Бардин. Не обошлось без разговора с Бардиным. Он указал нам, что вокруг нашего ареста был поднят, как он выразился, «большой шум». Рассказал нам Бардин о том, что казненный Атласный был повинен в

том, что «вмешался не в свои дела», и это заключалось в том, что им был помещен в газете ряд статей о бесчинстве контрразведки. Это цинично-подлое сообщение Бардина, как все понимали, являлось для нас предупреждением.

Случайное общение с Бардиным в вагоне не внесло какой-либо ясности в отношении причины нашего ареста и предъявлении нам обвинения в принадлежности к подпольной военной организации большевиков. Для нас было ясно одно, что вопрос о нашем освобождении был разрешен вмешательством авторитетных даже для разведки органов, а, вернее, лиц.

По приезде после освобождения в Ростов мы столкнулись с новыми неприятными обстоятельствами. Возникла опасность привлечения нас к военно-полевому суду. Опасность и эта нас миновала: Константин Итин уехал из Ростова в Баку, я с женой уехал из Ростова к знакомым под Геленджик. И только спустя время я, наконец, узнал и о причине нашего ареста, и о лицах, в этом непосредственно виноватых. В этом помогла книга!

Здесь надо сделать необходимое предисловие. В 1912–1913 годах мне пришлось быть членом правления Союза конторских служащих и служащих банковских учреждений. В последующие годы мною связь с этим союзом не прекращалась. Мне приходилось выполнять отдельные поручения данной организации. Тогда-то впервые я столкнулся с руководителем Первого Ростовского страхового общества Ярошевичем. Это был старик лет 60–65, появившийся на заседаниях нашего правления Союза всегда в наглухо застегнутом длиннополом сюртуке, с гордо закинутой головой, всегда как-то сановно-презрительно поглядывающий на остальных присутствующих на заседаниях.

Зимой Ярошевича на улице всегда можно было видеть в шинели «николаевке» с бобровым воротником. По своему внешнему виду, разговору он напоминал мне персонажей со страниц романов Сенкевича. Так представлялись мне сановные аристократы Польши.

Все же это «графское» казалось многим из нас напускным, так как во всей его внешности, в манере разговоров он походил на актеров в амплу «благородных отцов» на сценах провинциальных театров.

Работники транспортно-страховых предприятий, как и банковские работники в то время, по сравнению с другими группами служащих, находились в материальном отношении в более благоприятных усло-

виях. Конфликты на почве материальных вопросов в этой среде были редки. И все же подобный конфликт возник у Ярошевича с инспекторами возглавляемого им учреждения – как следствие его озлобления против посмевших протестовать по какому-то служебному поводу.

Подробности конфликта, фамилии конфликтовавших я не помню. Все же ясно помню, что нами, представителями союза, конфликт этот был улажен в пользу инспекторов.

С Ярошевичем, кроме заседания в комиссии, мне по делам службы до этого не приходилось сталкиваться. Впервые столкнулся я с ним при разрешении указанного конфликта, который мне и моим коллегам, позже арестованным вместе со мной, пришлось разбирать. Казалось бы, проблема решена и все кончено. Но это оказалось не так...

В период ареста и после освобождения мы делали предположения о том, что к сему мог приложить руку Ярошевич, но на этом останавливались мельком, не допуская, что этот человек мог оказаться столь подлым и низким. Не могли мы связать незначительный по существу конфликт, коего участниками мы были, с обвинением нас в принадлежности к подпольной организации большевиков в Ростове.

Сейчас я не помню, при каких обстоятельствах и кто из нас четверых первым узнал совершенно точно, что сын Ярошевича находился в рядах Южной армии и являлся офицером контрразведки... Наконец-то тайное стало явным. Не осталось сомнения в том, что и кто были причиной нашего ареста...

И вот однажды, когда Ростов уже был занят большевиками, пришел к нам наш друг Михаил Яковлевич Вайнштейн, вернувшийся в город, и принес с собой книгу замечательного адвоката А.Ф.Кони «Судебные процессы». Книги этой у меня сейчас нет, и я лишен возможности подробно остановиться на деталях процесса, где в числе обвиняемых мы ознакомились с деяниями молодого в описываемые Кони времена Ярошевича – того самого, предавшего нас.

Точно не помню года, когда состоялся этот процесс (вероятнее всего, конец 70-х – начало 80-х годов XIX века). Главным обвиняемым был отец Ярошевича, штабс-капитан в отставке, проживавший со своей сожительницей, приходившейся ему племянницей, в Брюсселе. Именно там он длительное время занимался подделкой акций одной из жел. дорог России. Эти фальшивые акции сопроцессниками распространялись в Петербурге, в том числе и его сыном, позже приложившим

удину руку к нашему аресту. Процесс по тем временам был громкий, подсудимые, и в том числе сын Ярошевича, были осуждены.

Прошли годы, отбыл наказание Ярошевич-младший и начал «успешно» идти по жизненному пути, занимая в старости ответственное положение и, очевидно, пользуясь им. При таком отце и при таком окружении, в котором находился Ярошевич в молодости, понятно, что он не мог не стать соучастником группового преступления. Но то обстоятельство, что он в старости, использовав нахождение своего сына в рядах контрзведчиков-карателей, гнусно свел с нами счеты, говорило не только нам, испившим тяжкую чашу и просто чудом уцелевшим, но и всем знавшим о наших злоключениях, что этот человек был подл до предела.

Помнится, что еще до прихода советской власти Ярошевич покинул город. Не исключаю, что, собравшись за рубеж, он не забыл прихватить с собой, сняв с текущих счетов в банках, немалую толику денег Первого Ростовского страхового общества. Это было им сделано, как я в этом глубоко уверен, без всякого труда.

На берегах Босфора, а быть может, Сены или Темзы обосновался ясновельможный пан Ярошевич, «пострадавший» от революции, и безмятежно, надо думать, в кругу таких же близких ему «страдальцев», дожил в благополучии до своего смертного часа...

Пусть же мои воспоминания станут колом на его могиле, на могиле подлеца. Да будет так!

3–5 октября 1959 г.

Вторая ветвь

Вернувшись из совсем далекого в относительно близкое прошлое, перенесемся мысленно из столицы нашей родины в славный город на Неве, где в годы, отмеченные моим рождением, жила еще одна пожилая пара – София Львовна и Абрам Григорьевич, мои бабушка и дедушка со стороны отца.

Строго говоря, в их юные годы эти имена звучали несколько иначе. Во всяком случае, документ о браке, выданный юной чете Одесским раввином засвидетельствовал, что в брак вступили 29-летний Абрам Генахович Шварц и 22-летняя София-Дебора Львовна Зейберлинг. Брак этот, вызвавший появление на свет дочери Александры, ее брата – моего отца Ильи, а уж затем и меня, благополучно состоялся 30 января 1908 года.

О родословной деда со стороны отца известно немного. Знаю только, что родился он в 1879 году в городе Белостоке, входящем ныне в состав Польши, а тогда принадлежавшем Гродненской губернии царской России. Трудился он по текстильному делу, причем достаточно успешно. Ибо, в конце концов перебравшись со всем семейством в Петербург, имел возможность жить там, преодолев пресловутую «черту оседлости». Поскольку был купцом 1-й гильдии – подобным ему, как сказали бы сегодня, предпринимателям «всемиловейше» дозволялось селиться в столице. Там дед приобрел большую квартиру в доме рядом с нынешним Некрасовским рынком – в самом центре города.

С квартирой этой связана своя трагикомичная история. В свое время занимала она целый этаж большого петербургского дома. Но в годы, последовавшие за достопамятным выстрелом «Авроры», была, как тогда говорили, «уплотнена» – в нее вселили еще несколько семей, и с годами превратилась она в обычную ленинградскую «коммуналку». После переезда отца в Москву, а потом смерти бабушки и дедушки у их дочери (а следовательно, моей тетки) в конечном счете осталась всего одна комната.

В детстве, когда старики водили меня по этой квартире, они шепотом, чтобы не дай Бог не услышали соседи, указывая на закрытые чужие двери, рассказывали, что вот там когда-то была их спальня, там – гостиная, а вот здесь – на нынешней кухне – «спальня Шуры»: так в семье звали тетку. И вот, став взрослым, я однажды приехал в Ленинград, чтобы навестить ее. Уже во всю дули ветра «перестройки», «надули» они ей и местную газету, которую я и обнаружил в один из дней в руках у тетки. Показав мне опубликованное в ней постановление городской власти о приватизации квартир, она подняла на меня глаза и грустно произнесла:

– Может быть, выкупим нашу квартиру обратно?

Слышал бы это дед... Но, увы, к тому времени его уже не было на свете...

Перебирая оставшиеся после его смерти документы, я практически не обнаружил сведений о родителях Абрама Григорьевича. В отличие от родителей бабушки. Ее мать Розалия Мерейнес родилась в 1863 году, образование получила в Швейцарии. Замуж она вышла за фармацевта с университетским образованием Льва Ильича Зейберлинга. Был у него и брат – известный в Петербурге присяжный поверенный Александр Ильич Зейберлинг. Жизнь его сложилась несчастливо, о чем свидетельствует найденная в семейном архиве заметка из газеты «Новое время» за 20 октября 1908 года, опубликованная в разделе «Происшествия»:

19 октября покончил жизнь самоубийством один из старейших присяжных поверенных петербургского округа Александр Ильич Зейберлинг. Покойный проживал в д. № 9 по Пушкинской улице. Оставшись в одиночестве после смерти жены и сына, скончавшихся три года тому назад (по причине порока сердца – жена и заражение крови – сын), покойный загрустил и иногда стал проявлять признаки меланхолии. В одном из таких признаков он застрелился. Пуля попала в область сердца. После покойного осталась замужня дочь.

За 23 года до столь печальных событий, а именно в 1885 году, в Житомире на свет и появилась моя бабушка – дочка Розалии Мерейнес и Льва Зейберлинга, которую назвали София. Родители дали ей неплохое образование: она окончила Одесскую консерваторию по классу рояля, владела немецким и французским языками. Где уж затем познакомились мои юные дед Абрам и бабушка София, история скрывает, но известно, что через несколько лет после свадьбы, в 1915 году, спасаясь от наступления немцев (шла Первая мировая война), семья вместе с детьми – Александрой (родившейся в 1908 г.) и Ильей (родившемся в 1912 г.) из Белостока переехала в Одессу, а уж затем в Петербург, где дед, судя по всему, продолжал трудиться в текстильном бизнесе, а бабушка, никогда и нигде не работавшая, благо денег на жизнь хватало, воспитывала детей и обихаживала супруга.

Там, в городе на Неве, практически (за исключением эвакуации в годы военно-блокадного лихолетья) и пройдет вся их жизнь. Пройдет в тревожных за детей и родившегося позже внука. Я мало знал их, ибо в юные годы нечасто наезжал в Ленинград. Дед скончается в 1964 году, когда мне исполнится четырнадцать, бабушка – спустя три года. Они переживут две большие войны – Первую мировую и Великую Отечественную, годы сталинского террора, будут волноваться за дочку, отправившуюся в качестве переводчицы на гражданскую войну в Испанию, и радоваться ее возвращению с почетнейшим по тем временам орденом Красной Звезды, станут скорбеть по поводу первого развода моего отца, а затем и второго, отпразднуют «золотую» свадьбу... В «документальном» плане после их кончины останется не так уж много, и, работая над этой книгой, я буду по крупицам собирать сведения об их жизни, радостях и горестях, жалея, что и жил далеко от них, и, в силу тогдашнего возраста, не был с ними близок.

И все же, думается, мне удастся понять, как и чем жили они – люди, привычный уклад существования которых, как и миллионов других, смела рево-

люция. Они замкнулись в своем домашнем мирке, не поняв, да, наверное, и не приняв те социальные изменения, которые внесла в их жизнь советская власть. Достаточно богатые люди, они после революции будут материально поддерживать себя и детей, постепенно продавая кое-что из накопленного «до переворота» (так будет продан «фамильный» рояль, картины, драгоценности, оставшиеся еще от той, «прежней» жизни). В моральном же плане поддержкой им будет вечная еврейская ирония, умение посмеяться над собой и обстоятельствами жизни: качества, которые они передадут и детям.

В семейном архиве в подтверждение этому я обнаружу забавный скетч, написанный отцом в 1935 году (было тогда его автору 23 года). Уже вовсю свирепствовал сталинский смерч, унесший жизни сотен тысяч ленинградцев, атмосфера страха окутывала каждую мало-мальски разбирающуюся в ситуации семью. Конечно же, понимали все и мои родные. Кто знает, может быть, для них смех над собой был своеобразным спасательным кругом, который и помогал им пережить то горькое время.

Итак, процитирую отрывки из скетча, написанного отцом.

Семейная идиллия

Действующие лица:

Абрам Шварц – 56 лет, товаровед, ответственный исполнитель безответственного учреждения, одет соответственно занимаемому положению в поношенные брусочки и ботиночки, а также в рубашечку цвета детских экскрементов.

София Шварц – 49 лет, домохозяйка. Обрюзгшее существо, хранящее следы былой красоты. Ходит в бумазейном халате. Раздражительна и плаксива.

Александра Шварц – девица неопределенного возраста, одетая с претензией на моду, их дочь.

Действие происходит в большой, меблированной с претензией на уют комнате. В момент поднятия занавеса Александра Шварц у окна, склонившись у зеркала, с ожесточением чешет перхоть при свете лампы. София Шварц, надев пенсне, читает газету, изредка выпячивая при этом нижнюю челюсть. Нагруженный покупками, в дверь входит Абрам Шварц.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР (9 часов).

- София. *(Оборачиваясь к двери.)* О! Явился.
- Абрам. Добрый вечер! От Люсенки *[так в семье звали моего отца – В.Ш.]* ничего не было?
- София. Ничего! Ничего! Опять притащил что-нибудь! Куда я это буду класть?
- Абрам. Она много понимает! Другие годами стоят за этим в очереди и дерутся за 100 грамм, а здесь ей все приносят. Так Ей еще плохо.
- София. Ну хорошо, я уже положу это тебе на голову.
- Абрам. Твои остроты! Дай мне скорей сэледочку, я страшно голоден. У меня слюна бэжит.
- София. А когда она у тебя не бэжит? *(Абрам жадно ест, хрустит костями селедки, затем ест суп.)*
- Абрам. Суп прямо объядень! Ну, где ты еще можешь иметь такой? *(Раздаются три звонка. София Шварц нервно запахивает полу халата и судорожно поправляет прическу. Александра Шварц быстро накрывает газетой зеркало и стряхивает перхоть.)*
- София. Кого это черт несет? *(Открывает дверь, видит почтальона и берет у него письмо.)*
- София. О! Наверное, от Люськи. *(Берет письмо, разрывает конверт, читает первые строчки и вдруг начинает хохотать. Хохочет долго, до слез.)*
- Александра. Ну вот, расхохоталась. Давай уже я прочту. *(Вырывает, читает вслух.)*
[Далее следует текст письма, встроенный в скетч, описывающий житье-бытье отца в отрыве от семьи в столице – В.Ш.]
- Абрам. Почему он ничего не пишет о Москве? Как ему понравились Лубянка и Охотный ряд?
- София. А что ему писать? Какое может быть сравнение с этим паршивым Ленинградом с его теменью и пьяницами.
- Абрам. О, уже завела машину! *(После паузы.)* Я представляю, что он там, наверное, ничего не ест и ГОЛОДАЕТ.

София. Почему это он вдруг будет голодать?

Абрам. Не намажь ему, так он и есть не будет. Что ты, не знаешь? И потом, разве он может там иметь такую котлету на таком сале, с такой картошечкой? Или такое пэченье с комфэтами? Ведь этого же нигде нет! За это все дерутся!

Александра. Пффф, подумаешь! Когда я была в Москве, то видала, что все там прекрасно едят...

Абрам. *(Перебивает.)* Ну, конечно! Тебе подавай самое лучшее. *(Возбуждается.)* Это разбалованность, каких нет! Каких нет! *(Пауза. Александра причёсывается перед трюмо, долго разглядывает себя, скалит зубы и т.д.)*

Абрам. Софочка! Напиши Люсеньке!

София. О! Что за экстренность? О чем писать?

Абрам. Напиши ему, чтобы он не стеснялся и чтоб не забыл поехать к Зине.

София. Как будто он сам этого не знает.

Абрам. *(Вертит в руках разорванный конверт.)* Смотри, какой у него почерк и как он обстоятельно все написал и так остроумно. *(Оборачивается к Александре.)* Как раз у твоего того дыхателя тоже такой почерк.

Александра. *(Резко.)* Тебе нет никакого дела до него! Тоже мне нашелся! *(Красит губы, одевает под прямым углом к уху берет, вишневое пальто с электрифицированным кроликом и, не прощаясь, уходит.)*

Абрам. Вот все, что ты от них имеешь вместо приветов и благодарности. *(Вздыхает.)*

София. Цацкайся с ними еще! *(Передразнивает.)* Шурочка! Люсенька!

Абрам. Молчи! Это все из-за тебя! Гадина ты! *(Достает портфель, вынимает оттуда папку, долго ищет пенсне, надевает его, тоскливо перебирает несколько листиков, напечатанных на папиросной бумаге, затем говорит, обращаясь к Софии.)* Софочка, постели мне!

София. Уже? Некогда!

Абрам. Я еле держусь на ногах!

София стелет кровать. Абрам снимает пиджак, раздевается и в секунду ныряет под одеяло. София сидит некоторое время неподвижно. Затем откладывает газету, наливает себе чай, вынимает из шкафа варенье, грецкие орехи, колет несколько штук, кладет их на блюдо, поливает вареньем и начинает, не спеша, есть.

Тишина, слегка нарушаемая пощипыванием Абрама Шварца и подагрическим хрустом челюстей Софии Шварц, задумчиво, но с аппетитом поедающей варенье с орехами и пьющей чай. Стрелка часов медленно подходит к 10-ти...

Занавес.

Они шутили... Напомню, шел 1935-й год, и за несколько месяцев до этого – 1 декабря 1934-го, был убит глава Ленинградской партийной организации Киров. Буквально через несколько месяцев в Питере начался сталинский террор: сотни людей, обвиненных в причастности к убийству Кирова, были расстреляны, десятки тысяч ленинградцев арестованы и высланы. Атмосфера всеподавляющего страха нависла над городом. Трудно даже вообразить, что думали, что чувствовали в эти годы мои родные, которых если сталинская петля и миновала в прямом смысле слова, то уж наверняка заставила спрятать в глубоких тайниках души мысли и чувства, которые их обуревали. «Молчи, скрывайся и таи...».

Скорее всего, в те годы, укрывшись в раковине домашних забот, они думали только о том, как поставить на ноги двух детей – Александру и Илью. Александра была на четыре года старше брата и к описываемому времени уже окончила педагогический институт иностранных языков. Отец же учился на металлургическом факультете в Ленинградском индустриальном институте, который он окончит в 1938 году.

О Шуре – разговор отдельный, ибо в те довоенные годы судьба ее оказалась во многом связана с политическими событиями, вершившимися в мире. После института, в 26 лет, она начала работать гидом-переводчиком в Ленинградском отделении «Интуриста». Была эта организация, обслуживающая иностранцев, приезжающих в СССР, конечно же, тесно связана с НКВД: перед приемом на работу кандидаты проходили строгую чекистскую проверку, а затем, тесно общаясь с иностранцами, обязаны были писать отчеты о каждом из таких контактов.

Май 1935 года... Именно тогда Сталин дал указание провести по всей стране «чистку» рядов партии. За три последующих года более полутора миллио-

нов членов и кандидатов в члены партии были изгнаны из нее, что автоматически приводило к многочисленным арестам и расстрелам. Вскоре был проведен показательный процесс по «делу шестнадцати» – представители старой ленинской «гвардии» Зиновьев, Каменев и еще четырнадцать старых большевиков обвинялись в том, что в Ленинграде ими был организован тайный террористический центр под руководством отправленного в изгнание знаменитого «вождя революции» Троцкого. Не за горами были и «расстрельные» процессы 37-го года.

Шли бесконечные «чистки» и в «Интуристе». В атмосфере всеобщего страха его переводчики, вынужденные в силу специфики работы общаться с иностранцами, естественно, боялись сказать лишнее слово. Вообще трудно представить, каково им доводилось в те годы, скажем, в ситуации, когда их иностранные клиенты, приезжавшие в Союз, задавали «провокационные» вопросы по поводу событий, происходящих в стране, или пытались хотя бы косвенно критиковать увиденное своими глазами. Можно только пожалеть Шуру, воспитанную в атмосфере добра и любви, которой приходилось «стучать» на своих подопечных. А ведь, по ее собственному признанию, приходилось! Спасая тем самым не только себя, но родителей и брата. Как позже спасала она их в дни войны и блокады...

И все же, все же, все же... Тут нам придется перенестись в начало 90-х годов минувшего века, чтобы рассказать об удивительной истории, свидетелем и прямым участником которой мне довелось стать. Итак, представим себе один из летних дней в Париже, небольшую терраску кафе, тесно уставленную столиками. За одним из них сидит пожилая пара, за другим, почти вплоты – мой приятель, тогда корреспондент «Литературной газеты» во Франции Кирилл Привалов. Вместе с ним в молодые годы мы начинали работать в газете «Московская правда», дружим и по сей день. Кирилл частенько бывал у нас дома и, конечно же, будучи прекрасным знатоком Франции, ее истории и культуры, не раз разговаривал с Шурой, черпая из этих разговоров многое интересное для себя. Тетя, которой ко времени описываемых событий, было за 80, жила в то время уже у меня в Москве: в один из ее очередных приездов из Питера в столицу, случилось несчастье – она сломала шейку бедра и оказалась прикованной к постели.

Так вот, Кирилл, блаженствуя за бокалом пивка в парижском кафе, невольно услышал разговор, который вела пожилая пара, сидевшая за его спиной. К его удивлению, в этом разговоре время от времени упоминалось хорошо знакомое ему имя – Александра Шварц.

Через несколько минут, обернувшись к соседнему столику, Кирилл сказал:
– Извините, что я вмешиваюсь в вашу беседу. Но дело в том, что я услышал имя, которое вы упоминали. Не идет ли речь об Александре Шварц из Ленинграда?

– О, мсье! – воскликнула пожилая дама. – Мы говорили как раз о ней. Неужели вы ее знали?

– Конечно. Я ведь виделся с ней буквально несколько недель назад.

– То есть как! Разве она жива?

Последовала немая сцена... Из завязавшегося затем оживленного диалога Кирилл узнал, что недавно в Париже скончался видный чиновник МИДа Франции Манозель Манак. Будучи удивительно скрупулезным человеком, он всю свою жизнь вел дневники, записывая буквально день за днем события, свидетелем или участником которых он был. В его поместье имелась даже целая «дневниковая» комната, содержимое которой в те дни и изучала его дочь Беренис (именно она с мужем и сидела за столиком в кафе). И вот среди этих дневниковых записей Беренис обнаружила несколько десятков страниц, датированных 1934 годом: ее отец рассказывал о своей поездке в Советский Союз и о встрече с Александрой Шварц. Встрече, ставшей началом романтической и трагической истории их любви...

Узнав все это, Кирилл сразу позвонил мне и рассказал об удивительном знакомстве. Мы с женой тут же связались с нашим хорошим знакомым – Филиппом Конте, преподающем русский язык в Сорбонне: он был женат на дочке одной из Шуриных приятельниц, и попросили его помочь получить копию дневника. А вскоре в Москву пришло письмо:

27 октября 1992 года.

Дорогая госпожа Шварц, дорогая Александра!

Начну с того, что я нашла Вас благодаря какому-то чуду и безумно этому рада. Я узнала от г-на Конте, что Вы и сами пытались узнать, что же стало с моим отцом.

Вы уже знаете печальную новость, что мой отец внезапно скончался 14 февраля этого года. Он много раз рассказывал мне о Вас, и Ваше имя (скорее, Ваше уменьшительное имя – Алиса) мне знакомо по его рассказам.

Отец оставил мне дневник. Позвольте мне отправить Вам копии всех тех страниц, которые связаны с Вашими встречами с ним в 1934 году. Прошу прощения, что прочитала эти записи, но я

не знала, что случай сведет меня с Вами. Думаю, что это прекрасные страницы, и надеюсь, что Вам доставит радость прочитать их и вспомнить прошлое.

Целую, Беренис Манак.

К письму прилагался толстый конверт с теми самыми копиями дневника. Я немедленно отдал их переводить, а Шуре передал оригинал – по-французски она читала превосходно. Уж не знаю, о чем думала она, знакомясь с этим написанным бисерным почерком уникальным в своем роде документом истории. А потом ее ждал еще один сюрприз: в новогоднюю ночь с 92-го на 93-й год я разыскал Беренис по указанному в ее письме телефону и соединил их с Шурой.

Они говорили долго... О чем? Я не слушал этот разговор, но думаю, что это была беседа людей, чьи сердца соединяла память о прошлом. И когда разговор закончился, в глазах Шуры стояли слезы...

Но вернемся к дневнику. Однако прежде необходимо маленькое предисловие. Напомню, что шел 34-й год – страшное время начала сталинских чисток. Конечно, иностранцам, приезжавшим в те годы в СССР, уделялось особое внимание со стороны НКВД. Тем более если речь шла о политических визитах. А поездка Маноэля Манака была именно такой – молодой политик входил в делегацию, которую возглавлял будущий премьер-министр Франции (1956–1957 гг.) Ги Молле.

Судя по дневнику, это была вторая поездка Маноэля в СССР. И вторая встреча с Шурой. Но если во время первой поездки их знакомство было мимолетным, то на этот раз Шура была закреплена за делегацией французов в качестве официального переводчика.

Итак, Ленинград, август 1934 года. Перед вами – страницы из дневника Маноэля Манака, сумевшего почти с репортерской наблюдательностью запечатлеть и атмосферу того времени, и историю своей любви.

Запретная любовь

Из дневника Маноэля Манака

Ленинград,
август
1934

Утро, полная нерешительность относительно того, куда пойдём. Суе-
тимся в отеле «Астория», в холле вестибюля. Женщины-администрато-
рши безостановочно курят и ходят вокруг нас с бумагами в руках и
небрежно висящими во рту папиросами. Люси [*секретарь делегации*
и, очевидно, возлюбленная Маноэля – В.Ш.] спрашивает, кого это я

увидел возле дальнего стола? Это же Александра, та прошлогодняя Александра. Она кажется задумчивой и грустной, а на щеках ее играет все тот же румянец. На ярких губах несколько наигранное выражение. На ней, кажется, все тот же синий берет, что и в прошлом году. Но что-то все же изменилось? Чувствуется нечто утерянное, поблекшее, не знаю даже что...

Она грустна и меня не видит. Я остановился чуть поодаль, не решаясь подойти к ней. Я всегда ощущаю некую неловкость перед людьми, вызвавшими во мне тайные мысли. Неожиданно появляется Люси: она нашла кого-то, кто говорит по-французски, и подводит этого человека ко мне. Это Александра! Ее глаза все так же хранят некую тайну: этот темный зрачок, окруженный голубым, вернее, голубоватым сиянием, похожим на мимолетное облачко.

Между нами завязался необязательный разговор, навеянный общими воспоминаниями. Александра счастлива: наконец-то она может поговорить по-французски!

Выяснилось, что она заказала на сегодня в гостинице шикарный «линкольн», чтобы провезти нас по городу, его улицам и бульварам, по площадям и бесчисленным мостам над Невой, которая сверкает на солнце. Движение на улицах кажется мне намного оживленнее, нежели в прошлом году. У милиционеров много работы, и они ни на минуту не прекращают манипулировать своими жезлами. Так же, как и в прошлом году, я увидел женщину-милиционера, одетую в белую гимнастерку. Она стояла на пересечении улицы Лассаля и проспекта 25 Октября. На голове у милиционеров надето нечто вроде легкой фуражки, а на руках у них белые перчатки. На околышке фуражки сверкает синяя эмалированная звезда. Это летняя форма.

Машина привезла нас в рабочий квартал, где-то за Финляндским вокзалом, перед зданием которого стоит застывший в бронзе Ленин с рукой, поднятой в революционном жесте. На сотни метров отсюда протянулись ровные ряды новых домов. Сзади этих домов, сквозь прорезавшие их полукруглые арки, видны другие ряды домов, фасады которых симметрично расчерчены многочисленными окнами. Многие дома уже заселены, в то время как другие еще недостроены. А вот и новые дома для Schutzbundes [шуцбундовцы – члены Коммунистической партии Австрии, эмигрировавшие в СССР в середине 30-х годов – В.Ш.]. Они прибыли сюда из Вены без копейки денег в карма-

не, но, похоже, неплохо тут устроились. Рабочие заканчивают облицовку домов, которые внутри уже готовы к заселению. Мы прошли внутрь одного из домов, затем спустились в подвал, после чего осмотрели просторную прачечную, сушилку рядом с ней и общую кухню. Новаторство, как мы убедились, заключается не в современном стиле и не в технике строительства, а в социальном устройстве и в области реорганизации быта, а также в новых условиях труда. Все больше углубляется разделение труда, представляющее собой синоним прогрессивного поступательного движения цивилизации.

В этих новых домах уже никто не будет стирать каждый в своем отдельном помещении. Белье всех проживающих в доме будет стираться в прачечной, откуда поступать в сушилки, а затем в электрические гладильни. Мы своими глазами видели мощные нагреватели, стойки для просушивания белья и одежды, а также огромные столы белого дерева для глажения. В комнатах приятно пахнет свежей краской и непросохшей штукатуркой. Здесь есть все, что необходимо для комфорта: водопроводная вода, электричество и даже ванны. «Сколько стоит такая комната?» – спрашиваю я. Мне отвечают, что обычная плата пропорциональна зарплате жильца. При этом были названы цифры, которые мне уже известны.

Я ходил по дому с каким-то инженером и маленьким учителем-евреем, которые хорошо говорили по-немецки. Учителю 28 лет, и он работает в средней школе, получая за это 400 рублей. Его жена моложе его и получает 150 рублей, преподавая в младших классах. За свою комнату они платят всего 11 рублей. Однако плата за комнату может быть и выше 11 рублей, достигая целых 20 в месяц. Я хорошо помню того учителя: тонкие еврейские черты лица, одет как простой рабочий, живые карие глаза, щеки чисто выбриты.

Но вернемся к Ленинграду. Вновь вспоминаю нашу прогулку на «линкольне»: сзади сидели Люси, Жозеф [*член делегации – В.Ш.*] и я. Александра же располагалась впереди возле шофера. При этом она постоянно оборачивалась к нам. Вот она вновь поворачивает к нам свое красивое, живое и светлое лицо. Она так рада, что познакомилась с нами...

В тот первый день в Ленинграде, ленинградский первый вечер мне от всей души стало жаль Люси. Я знаю, как она сильно страдает. Она как ребенок сильно сожалеет о своих берлинских ошибках. Она

грустит. Грусть ее усугубляется тем фактом, что ей досталась комната на другом конце гостиницы. Я предложил ей остаться у меня в номере, настолько мне стало жаль ее. Мы спали вдвоем на узкой кровати. Люси прижалась ко мне и спросила: «Ты от жалости так добр?». Я не ответил ей и только молча прижал ее к себе.

Утром мы – Жозеф, Люси и я – спускаемся позавтракать в большой белый зал ресторана, в котором звучит музыка. На другом конце зала я вижу Александру, разговаривающую со знакомыми. Я легким кивком головы здороваюсь с ней. Она встает и с улыбкой подходит к нам, чтобы посмотреть меню. Зачем? Ведь на других столах тоже есть карточки меню. Она замялась и вновь нерешительно отошла... Как глупо!..

У нас с Жозефом возникает одна и та же идея: пригласить Александру разделить трапезу с нами. Она пришла к столу – медленно, скрывая явное удовольствие за маской равнодушия. Тем не менее грустное выражение не сходит с ее лица. Разговор идет вяло, а иногда и вовсе замирает. Все мы проявляем повышенное внимание к исполнению оркестра, представляющего собой довольно ленивый джаз.

Слова произносятся редко, но иногда вдруг накатывают настоящим морским прибоем. Слова, однако, не выходят за рамки банальных тем. Александра критически отзывается об англичанах и англичанках, американцах и американках. Англичанки отличаются тем, что чаще всех задают глупые и бестактные вопросы. Если их приглашают в рабочую семью, то они не преминут спросить членов семьи, счастливы ли те в браке. Американцы же больше всего любят точность. В зубной поликлинике они спросили, сколько зубов было вырвано за последний месяц. Когда им не смогли назвать точной цифры, они решили, что поликлиника работает плохо.

Помимо этого, и англичанки, и американки отвратительно одеваются. Вон там, посмотрите на них! Невообразимые шляпки, несоответствующие им ткани. «В СССР еще хуже», – вдруг говорит Люси. «Конечно, – соглашается Александра. – Но для нас это всего лишь вопрос времени. Раньше народ вообще ходил у нас в рубище и лохмотьях».

Далее она уверяет, что сейчас они уже вышли на приличный уровень. Фабрики уже выпускают шелковые платья и чулки, а также тонкие блузки. Мужчины тоже любят хорошо одеваться, и даже все больше начинают носить галстуки. Всего через несколько лет уровень станет еще выше.

Александра отметила, что магазины уже начинают наполняться товарами. Вот французы, особенно парижане, очень элегантны, и в том, что они носят, чувствуется вкус. Но молодые модницы из Советского Союза любят покритиковать даже француженок. Они даже утверждают, что имей они такие возможности, они бы распорядились ими гораздо лучше. Когда-нибудь они это докажут...

Вновь наступает молчание. Откуда эта скованность? Теперь приходит мой черед волноваться и смущаться. У Александры слишком светлые глаза. Инициативу разговора перехватывает Жозеф. Он уже как-то говорил мне об очаровании Александры, и поэтому, возможно, ему хочется сейчас блеснуть перед нею. В конце концов, ведь Александре интересно будет послушать об Испании?

Она говорит, что начала недавно учить испанский язык. Жозеф рассказывает о политических течениях в Испании и, в частности, об анархическом движении в его родной Каталонии. Самыми обычными средствами борьбы являются бомба и динамит. За каждый сожженный трамвай анархист получает десять песет. «Как раз в день моего отъезда, – добавляет каталонец, – на улицах были расстреляны два анархиста, которые занимались воровством». Тюремны переполнены политзаключенными – анархистами и коммунистами, а также синдикалистами. Их там тысячи. Причем в тюрьме насыщенная политическая жизнь не прекращается. За решеткой все знают о положении рабочего класса. Своими песнями и криками, а также другими способами заключенные выражают солидарность с рабочими на свободе, находящимися по другую сторону тюремных стен.

Внутри тюрьмы имеется уголок анархистов, проход коммунистов. Анархистов отличает полное отсутствие дисциплины. Они, например, забывают закрыть кран, в результате чего вода затопливает тюремные коридоры. А наутро те же анархисты жалуются, что у них совсем нет воды, чтобы попить и умыться.

Коммунисты же отличаются четкой и жесткой организацией. Именно благодаря ей они кое-чего добились: возможности читать, работать и иметь политические контакты. Александре необходимо почитать прекрасную книгу Ильи Эренбурга об Испании...

Я попросил подать карту вин и заказал бутылку «Макона» урожая 1921 года – прекрасного и тонкого красного вина. Наблюдая за Александрой, изящно погружающей в него свои губы, я вижу, что она

выпила вряд ли больше того, что может уместиться в наперстке. Еще меня поражает ее румянец на щеках, такой естественный и прекрасный. Неужели она пользуется румянами?

После ресторана мы пошли гулять по улицам. Александра идет вместе с нами, потому что она свободна. Она принимает наше предложение пофотографироваться. Мы проходим мимо Исаакиевского собора, блестящие мраморные колонны которого поддерживают великолепный купол, похожий на золотую сферу. Ярко светит солнце, отражающееся в полированном камне колонн.

После этого мы направились к Александровскому саду, идущему вдоль Невы, к площади Декабристов. Затем мы прошли под высокими массивными арками, примыкающими слева к площади Урицкого. Обрато мы возвращались по старой и оживленной улице Герцена. Суэта толпы рабочих, многоликой и по-разному одетой, создает сильнейший контраст с Ленинградом историческим, городом памятников и дворцов.

Я снова внимательно наблюдаю за Александрой. Мне кажется, что ей очень нравится наша компания.

ЛЕНИНГРАД,
7 АВГУСТА
1934 Г.

Сегодня Александра повезла нас все на том же роскошном «линкольне» смотреть другие рабочие кварталы Ленинграда. На обратном пути мы совершили экскурсию в государственное учреждение, занимающееся административными вопросами. Там мы разговаривали с одной из служащих этого бюро, а потом смотрели, как она работает.

Эта тридцатилетняя женщина, спокойно покуривая папиросы, занималась регистрацией браков. О, простота нравов! Как далек от всего этого наш мэр с его перекинутым через плечо шарфом и сакраментальными, торжественными словами. Когда мы были там, с нами произошел забавный случай. Как только мы вошли – Александра и я – к нам подошел какой-то человек и начал со мной говорить не слишком-то доброжелательно. Александра успокоила его, рассмеявшись, двумя-тремя словами. А затем объяснила мне, что этот молодой человек и его невеста, как и несколько других пар, вот уже некоторое время ждали, когда их зарегистрируют. Увидев нас, он тут же решил, что мы пришли за тем же. И стал говорить, что не пустит нас без очереди. Он так и сказал: «Мы не собираемся из-за вас терять время!». Мы хохотали до слез.

Дама-администратор пишет, спокойно покуривая. В этот момент к столу подходит молодой рабочий в кепке. Не вынимая папиросы изо рта, он из-за спин жениха и невесты расспрашивает служащую, какие документы необходимо принести с собой, чтобы жениться.

Мы являемся свидетелями регистрации брака. Женщина заносит в журнал данные из двух паспортов: имя, место работы и так далее. Жених и невеста одни: для того чтобы зарегистрировать брак в России, совершенно не нужны свидетели. Невеста счастливо улыбается. Жених же комкает кепку и, кажется, хочет сказать: «Пошли скорее отсюда!».

Александра наводит для нас справки. Выясняется, что по закону муж в случае развода должен содержать детей до восемнадцати лет. Он также должен оставить жене свою комнату. Упоминаются и холостые: объем налогов и т.д. Оно и понятно, поскольку свободный брак здесь заключается на тех же условиях, что и регистрируемый. Интимная сторона вопроса никого не волнует и не интересует.

Вступать в брак можно с 18 лет. При этом не нужно согласие родителей или присутствие свидетелей. Разводы при этом редки. В случае развода муж ничего не выплачивает жене. Дети ни в коем случае не могут быть оставлены на произвол судьбы. Чтобы зарегистрировать брак, необходимо заплатить три рубля. Чтобы развестись – тоже три рубля. Можно венчаться и в церкви, но подобные свадьбы очень дороги, да к тому же и редки.

Случаи отказа отца от своего ребенка чрезвычайно редки. Лабораторный анализ крови производится в крайне редких случаях. Если самые убедительные доводы мужем отвергаются, то ему на работу посылается письмо, в результате чего ему снижают зарплату. Молодоженам выдают на руки свидетельство о браке, на обложке которого напечатаны выдержки из закона. Александра переводит их мне. Они очень мало похожи на французский кодекс.

Вот лишь некоторые из их нововведений:

- Новый советский образ жизни отвечает интересам женщин;
- Регистрация брака облегчает защиту прав личности и имущества женщины и ребенка;
- Безответственный брак и развод причиняют страдания женщине и детям, а также страдания семье;

- В рабочей семье все имущество, приобретенное за время совместной жизни, принадлежит обоим супругам.

На обложке брачного свидетельства цитируется и гражданский кодекс:

- Регистрация брака в церкви не имеет юридической силы;
- Свобода выбора работы и профессии принадлежит равно обоим супругам;
- Они ведут общую жизнь, однако если супруг меняет место работы, жена не обязана следовать за ним;
- В случае потери трудоспособности одним из супругов другой обязан поддерживать его;
- Родители обязаны заниматься своими детьми до восемнадцати лет или до их вступления в гражданскую жизнь;
- При сокрытии фактов, мешающих регистрации брака (болезнь и т.д.), на виновного могут быть наложены уголовные или административные санкции: один год тюремного заключения или штраф в 1000 рублей;
- Лица, вступающие в брак с целью овладения женщиной, а затем бросающие ее, преследуются по закону.

Мы вновь выходим на ветреные улицы и мосты над Невой, которая блестит на солнце. Ветер развеивает наши волосы. Чувствительный «линкольн» подбрасывает на ухабах мостовой и выбоинах в асфальте.

Похоже, что Александра весьма привязалась к нам. Она хочет повести нас в Музей атеизма, что в Исаакиевском соборе. А потом она желает, чтобы мы отправились – без нее, потому что она сильно устала – в Парк культуры у Финского залива. А завтра она придет провожать нас на вокзал.

Как она мила! Она хочет пооткровенничать с нами. Да, ее зовут Александра, но у нее есть еще и «более милые, уменьшительные» имена. Иногда ее зовут Шура или Саша. И даже Алиса. Я говорю ей: «Александра – это очень торжественное и даже величественное имя, которое порождает воспоминания о златотканых гобеленах или бальных платьях с пышными складчатыми юбками. В то же время Шура звучит комично. При его звуке мне сразу же представляются накрученные на папи-

лютки волосы. Это кукольное имя. А Саша – слишком мужское. Вот Алиса – это красиво и тонко. Сразу же видишь перед собой тонкий ствол тополя или березы, неудержимо тянущийся к небу...».

Она тут же со мной соглашается: «Да, конечно!».

Под величественным куполом Исаакиевского собора, парящего над стенами, облицованными цветным мрамором, Алиса водила нас среди крестов и епитрахилей, воинственных кличей и проклятий, а также победных цифр пятилетнего плана. В прошлом году я уже был в Исаакиевском соборе. Поэтому, когда она показывает нам иконостас, я предпочитаю смотреть на нечеткое и изменчивое облачко – ее глаза. Она заметила мой взгляд и улыбнулась мне, однако продолжает говорить, показывая цифры статей дохода духовенства.

Вечером мы в Парке культуры у Финского залива. Я купил три бумажных рубля за бешеную цену – сорок франков. Александра сообщила нам номер поезда и указала направление. Люси очень хотела увидеть Финский залив. У нее остались прекрасные волшебные воспоминания о море у берегов Испании, и с тех пор она любит буквально все моря. Проезд стоит 15 копеек: у нас еще останутся деньги!

Переполненный пригородный поезд идет вдоль бесконечных улиц со стоящими на них буржуазными домами с красиво разукрашенными фасадами, каменными скульптурами и резьбой на них. Весь вагон вышел на конечной остановке. Здесь как раз и находится парк. У входа собралась огромная толпа. Люди толкаются у касс.

Народ в парке разноликий, но все хорошо, хотя и просто, одеты. Много светлых и совсем белых костюмов. Солдаты гуляют со своими женами или подругами. Очень много молодежи. По одной из аллей, идущих вдоль канала, множество людей катается на велосипедах. При этом катающиеся пытаются жать на педали, несмотря на то, что седла их велосипедов либо слишком высокие, либо низкие. Велосипеды почти все новые и имеют сзади большие номера.

Женщины тоже браво забираются на большие мужские велосипеды. Рядом с нами какая-то девушка, пытаясь повернуть, падает со своего железного коня. И тут же поднимается, вся красная от стыда и смущения.

Через мост проходим на острова. Буквально во всех уголках царит оживление и самый настоящий праздник. Мы идем еще дальше. Люси берет меня под руку, стараясь не отстать и не потеряться среди

этого круговорота. Рядом звучит музыка: здесь идет концерт. Вокруг какого-то павильона тесными рядами поставлены длинные деревянные скамейки. Многие молодые люди сидят тут же на траве. Концерт идет в небольшом театре.

А тут тихий уголок для чтения под открытым небом. Вокруг длинных столов сидят люди со склоненными головами. Здесь царит торжественная тишина. Мы подходим ближе. Оказывается, здесь также играют в шахматы. В глубине деревьев народа побольше. Мы идем туда. Это уголок молодежи, которая играет тут в настольный теннис и волейбол. Некоторые молодые люди выполняют упражнения на брусьях или трапеции. Здесь же играют и дети.

А вот с десятков молодых людей, выстроившись в ряд, показывают боевые упражнения под руководством инструктора, роль которого выполняет солдат. На них смешно смотреть. Двое или трое молодых рабочих держатся отменно. Им подстать одна-две женщины. Они тоже сильны и хорошо сложены. Но тут же и молодая, довольно полная, да к тому же и маленькая женщина, которая страшно смущается своего вида и того, что никак не может понять, как это надо держать винтовку. Веселое зрелище привлекло много гуляющих, которые все смеются. Инструктор тем не менее не обращает никакого внимания на раздающиеся со всех сторон шутки.

Мы приближаемся к заливу. По каналам скользят туда-сюда легкие байдарки. Перед нами открывается прекрасная картина женской команды по гребле. Шесть склоненных в низкой посадке молодых женщин с четкими линиями тренированных бедер и внутренней энергией античных статуй. Эту изящную композицию замыкает неподвижный силуэт тренера команды. Не успели мы оглянуться, как лодка оказалась уже далеко от нас.

В конце парка, с его крайней точки, перед нами открывается Финский залив. Ничто не тревожит в этот тихий спокойный вечер воды залива. На горизонте, за размытой полоской земли с ее каменными стенами, разыгрывается великолепный спектакль восхитительного захода солнца, уходящего в море в золотых лучах. Облокотившись на каменный парапет, люди смотрят на показавшийся вдали белый пароход. Земля под деревьями, растущими на выступающем в море полуокруглом мысе острова, покрыта цветами. В шезлонгах дремлют пожилые люди, а в песке играют многочисленные дети. С каналов доносятся

ся громкие радостные крики нескольких задержавшихся купальщиков, которые наслаждаются прохладой вечерней воды.

Мы долго оставались в этом месте, стоя перед открывшимся бескрайним простором. Потом прошли чуть дальше и сели на скамейку, разглядывая проходившую мимо нас толпу. Она состояла в основном из молодежи, которая медленно текла в направлении аттракционов. Со стороны ворот располагался ресторан, вокруг которого играли духовые оркестры. А вот стоянка велосипедов.

В этот момент оркестр начинает играть «Кармен». Мы уходим. На большом деревянном мосту, ведущем к выходу, милиционеры потирают толпу, поскольку тут нельзя останавливаться. Река под ним – холодный и темный поток – отражает в своих водах теплые огни, огни большого парка.

* * *

Я уже полностью собрал свой чемодан. Но остается еще один, который будет довольно трудно закрыть, потому что Люси принесла мне кое-какие маленькие вещицы, которые она уже не сможет запихнуть в свой. Знает ли Люси, что сегодня вечером ко мне должна прийти Александра? И что прийти она должна очень скоро – в восемь часов?

Но вот я наконец один. Продолжаю вроде бы убирать в чемодан белье. Но на самом деле ничего не убираю, а создаю только еще больший беспорядок. У меня от волнения дрожат пальцы рук. Я изо всех сил прислушиваюсь к шагам по ковру в коридоре. Каждую минуту мне кажется, что это она. Все мое внимание сосредоточено на двери. И вдруг...

Ровно в восемь часов с другой стороны двери подобно маленькому металлическому шарикуну накатывает на меня звонок телефона. Это Александра. У меня немного дрожит голос, хотя я и изображаю радость. Она говорит, что хочет, как и обещала раньше, проводить нас на вокзал. Ее голос молод и бодр. Она смеется в трубку.

Я сажусь на ручку подвернувшегося кресла и слушаю. Она хочет, чтобы я спустился сейчас же, потому что, объясняет она, «мне бы хотелось с вами поговорить». Эти ее слова вывели меня из равновесия: поговорить со мной! Я ведь тоже очень хочу поговорить с нею.

И тут я говорю: «Поднимайтесь лучше вы ко мне... Номер 44, третий этаж». Она придет!..

Сегодня Александра одета в прекрасное светлое пальто с голубыми цветами. Именно такой я вижу ее в дверном проеме своего номера. Сама она такая же светлая, со светлым лицом и глазами, со своей молодой улыбкой. Она извиняется, что чуть опоздала. Ее задержали внизу в связи с той статьей для товарищей с фабрики. Она, кажется, должна будет ее переводить. Она согласилась на это с радостью. Листы бумаги с этой статьей уже лежат у меня на столе. Она читает их. А затем мы стоим одни и молчим.

Что мне ей сказать? Она все время пританцовывает – такая молодая и легкая, – искоса поглядывая на себя в большое зеркало шкафа. Она объясняет, что захотела поговорить со мной, потому что я ей приятен, а также потому, что ей нравится мое доброжелательное отношение к Советскому Союзу.

Я в своем домашнем халате пристроился на углу стола, а она сидит на софе. Почему я не рядом с нею? Не этот ли безмолвный вопрос задают ее глаза? Да нет, ей просто весело со мной. Она снова оказывается перед зеркалом. Нет ли у меня ножниц, спрашивает она. Она хотела бы отрезать непослушную прядь у самой шеи.

У меня оказывается только бритва. Поэтому именно я должен буду отрезать эту самую прядь. Я кладу руки ей на голову, и она слегка наклоняет свою белую шейку. Я либо глупец, либо мудрец – не знаю... Я и на мгновение не прикоснулся к ней своими губами, а с самым серьезным видом отрезал злополучную прядь. Я мог бы ей сказать: «Алиса, я хочу сохранить эту прядь ваших волос на память о вас!». Но мне меньше всего на свете хочется быть в такой момент сентиментальным. И совершенно прозаическим жестом я бросаю отрезанные волосы в корзину. Она даже не рассердилась на меня за это. Наоборот, она все так же улыбается. Ее глаза завораживают меня, но сам я не решаюсь встретиться с ними взглядом. Из страха выдать себя с головой...

Так прошло некоторое время. Вдруг в дверь постучали. Это оказываются служащие отеля, которые пришли за моими вещами. Я быстро упаковал оставшиеся на столе книги и свой халат. И вновь дверь закрылась, оставив нас наедине! Мне уже пора. Но я ничего ей не скажу. Я так ничего и не смог придумать, поскольку в голове роятся лишь какие-то отрывочные слова и неопределенные расплывчатые фразы, в которых только банальности вроде быстротечности времени. Все пропало.

Алиса переводит взгляд своих прекрасных глаз с часов на мое лицо. Глаза говорят, что пора спускаться. Этот взгляд разом прервал поток слов нежности, готовый сорваться с моих губ.

Она не голодна, но настаивает, чтобы я выпил хотя бы чашку чая перед отъездом. Мы прячемся в ресторане за букетом цветов. Последние слова, сказанные за ресторанным столиком. Она слушает меня как бы глазами, поигрывая своими серо-голубыми перчатками. Я пью фруктовый компот и вижу, как между столиками к нам пробирается Люси. Она оживленно болтает с каким-то шотландцем.

Оказывается, они не заметили нас. Мы с Александрой улыбаемся друг другу глазами. Затем идет быстрая смена действий и декораций. Машина, в которой мы едем по дороге на вокзал, последние обещания писать друг другу. Горячее рукопожатие на перроне, продленное последними словами. И, наконец, последнее «прощай», сказанное через вагонное окно, обращенное к ней, такой маленькой на платформе в бурлящей толпе Октябрьского вокзала. Последний жест прощания поднятой в руке перчаткой. Я стою, впад в тяжелое оцепенение и прижав лоб к стеклу, поддавшись убаюкивающим движениям вагона и мелодии русских песен...

МОСКВА,
17 АВГУСТА
1934 Г.

Я прекрасно помню этот день, хотя пишу эти строки спустя два месяца. Было около шести вечера. Мы сидели за столом на съемной квартире, где нас временно устроили после приезда из Ленинграда, и я добросовестно поедал принесенный суп. Впечатление такое, что мы уже давно приехали в Советский Союз, что я давно ем суп без хлеба, суп с капустой и картофелем. Мне он начинает даже нравиться. Отодвинув широким хозяйским жестом занавеску у входа, входит Варя – наша московская приятельница. Она весело смеется. Варя всегда смеется. Это немного глуповатое, но доброе создание. Она что-то говорит, и мне переводят в общих чертах: кто-то приехал из Ленинграда и хочет меня видеть.

После еды меня клонит ко сну. Суп с маленькими кусочками черного хлеба был так хорош! Я тем не менее хочу есть. Боже, как я хочу есть!

Снова начинает говорить Варя. Ей всегда есть что сказать. Я не всегда понимаю ее смешливую русскую речь, прерываемую к тому же кусочками хлеба и чаем, отправляемыми в рот. Люси и Жозеф кажутся

мрачноватыми. Люси предлагает устроиться в гостинице, чтобы избавиться от кровожадных блох. А Жозеф предлагает просто вернуться в Барселону, где так много кур, фруктов и даров моря. Я единственный из них сумел приспособиться к жизни в СССР, поэтому мои русские друзья поют за это в мой адрес дифирамбы.

Раздается звонок. Вновь отодвигается занавеска, и в комнату входит... Алиса. Моя вилка так и застыла на полпути между ртом и тарелкой. У Жозефа загорелись глаза. Он вскакивает из-за стола и подбегает к Александре. Люси кажется несколько озадаченной.

Так это Алиса, оказывается, приехала из Ленинграда. Она улыбается. Она здесь в своем голубом пальто. Между нами – словно молния – возникают непонимание и удивление. Я даже не смог подняться ей навстречу, поэтому Александре пришлось самой подойти ко мне. Она как будто удивлена и озадачена бедностью окружающей нас обстановки. Я поочередно представляю ей всех присутствующих, но она уже занята разговором с моими знакомыми.

Александра оказывается возле меня на диване. Мы молчим, поскольку я сбит с толку. Александра говорит односложными словами. Она говорит мне, что приехала в Москву по поводу статьи для фабрики. Она уже сделала перевод и в качестве доказательства показывает мне сложенные листы в своей сумочке. Но ей обязательно понадобится моя помощь, чтобы привести все в необходимый порядок.

– Вы получили мое письмо, Александра? – спрашиваю ее я.

– А вы мне уже написали письмо? Как мило! Нет, я еще ничего не получала. Я выехала из Ленинграда позавчера вечером и приехала в Москву вчера утром...

Мы умолкаем, потом она вновь наклоняется ко мне.

– Со своими друзьями вы ведете себя гораздо смелее, чем со мной.

– Это оттого, что вы меня сильно смущаете, – и я дерзко улыбаюсь ей.

Все уже на ногах. Похоже, что они хотят идти в парк. Мы спускаемся вниз по каменным ступенькам, и я перехватываю ее взгляд, на какое-то мгновение задержавшийся на нищенской обстановке комнаты. Она никогда не видела такого бедного дома, объясняет Александра.

В Парк культуры я с ними не пойду. У меня есть прекрасная отговорка: мне нужно проводить Александру и обсудить с нею ее перевод статьи.

Александра поселилась в гостинице «Националь», на углу Тверской и Моховой. Нам пришлось идти по вечернему городу пешком. На мосту стояли двое нищих. По Москве-реке плыли освещенные пароходики. В огромных окнах седьмого этажа «Новомосковской» горит яркий свет. Там располагается новый зал ресторана.

На набережной довольно опасно, потому что здесь часто проезжают тяжело груженные машины, которые на полном ходу обгоняют трамваи. В такой сумасшедшей обстановке пешеходу очень легко потерять голову.

Поэтому на этот раз я сам взял Александру за руку, и она послушно доверила ее мне. Она болтает без умолку, говоря, что счастлива.

На Москворецкой очень холодно. Это старая улица, по левой стороне которой стоят ужасные дома-развалюхи. Некоторое время мы пробыли на Красной площади у стен сказочного и таинственного храма Святого Василия Блаженного. Мы слушаем величественный, как в Вестминстере, бой часов на зеленой кремлевской башне. По крытым пассажам-галереям торговых рядов потоком струится народ. У угла Исторического музея похожий на белую марионетку милиционер со свистком регулирует движение. Несмотря на холод, у киосков, что в конце Никольской улицы, стоят в очередях люди.

Александра отнимает свою руку, и мне приходится вновь ее брать. Она весела и не перестает откровенничать. Мы, богатые нашей радостью, выглядим весьма бедно. Мой костюм, несмотря на все его очевидные достоинства, все же порядком поистрепался. На ней надето ее голубое пальто с плоскими погончиками и несколько выцветший берет. Но в глазах столько радости! Я пьянею от желания посмотреть, заглянуть ей прямо в глаза. Однако вижу только уголки глаза и губ.

Люди двигаются в ту и другую стороны. Перед Мавзолеем, словно статуи, застыли два красноармейца. У их ног приставлены винтовки, а над головами навис фронтон из розового гранита. Сзади их как бы «поддерживают» белые силуэты милиционеров, охраняющих могилы павших за революцию борцов.

Мы спускаемся к Моховой. Через площадь видна огромная вывеска гостиницы «Националь» с четко вырисовывающимся кружком буквы «о». Мы поднимаемся на четвертый этаж к номеру 420. Та же нерешительность и растерянность, как тогда в Ленинграде, когда она зашла ко мне перед самым отъездом. Она нервно ходит по комнате, а

я, положив пальто, принимаюсь рассматривать кровать в углу, круглый стол посреди номера и письменный стол в углу, на котором стоит телефон.

Вот и софа, на которую я с облегчением сел. Она сняла свой берет и, как зверек, встряхнула волосами. Потом пошла вымыла руки. Говорю только я. Голос мой дрожит от волнения. Я это чувствую и пытаюсь взять себя в руки.

Она подходит к письменному столу с телефоном и набирает какой-то номер. Она чувствует себя спокойно и, говоря по телефону, время от времени бросает на меня взгляд между репликами. Я побежден: этот голос, нежно мурлыкающий русские слова, его необычная интонация, мало привычные взлеты и раскатистое русское «р» столь экзотичны, что я чувствую себя во власти чего-то иного, этой иной женщины, не похожей ни телом, ни помыслами ни на кого другого и отличающейся ото всех остальных.

Все, что мы начинаем любить, прежде всего привлекает нас именно своей необычностью и великолепием непознанного. Во всем, что бы она ни делала, чувствуется легкая непринужденность. В том, как она держит в своей согнутой руке телефонную трубку, в ее голосе, смягчающем «р» в слове «Город!» и называющем номер, а также в ее подтверждающем «Да, да!». Иногда она улыбается и даже начинает смеяться, но вот она чем-то уже огорчена: «Моя подруга недовольна тем, что я к ней не зашла. А мне действительно нужно было к ней зайти. Она ведь перенесла большое горе – шесть месяцев тому назад она потеряла свою дочь. А я уже три года – как уехала в Ленинград – не была у нее. Представляете! Но сначала мне хотелось увидеть вас»...

С телефоном наконец-то покончено. Что мы будем делать дальше? Зачем мы тут оказались ночью друг подле друга? Статья! Она достала перевод и показала мне листки бумаги, исписанные карандашом ровным и круглым почерком. Я принес с собой чистые листы...

Но – я и сам подивился своей необычной храбрости – я опустил голову на край стола, будто бы она у меня болела, и тихо произнес довольно странную для себя фразу: «Потом, в другой раз...». После чего предложил просто поговорить. Она быстро убрала свои исписанные листочки и начала перебирать мои, поскольку я намекнул ей, что черновики письма, которое я отослал ей в Ленинград, находятся среди них.

Она нашла их там и устраивается с листами в другом конце комнаты. Я последовал за нею, но она удирает на кровать, где прячет письмо под собой. В завязавшейся борьбе я овладеваю черновиком. Александра умоляет меня отдать его ей. Тогда я решаюсь прочесть письмо вслух сам.

Она отвечает мне резким тоном избалованного ребенка «нет». Наконец я уступаю, и она начинает читать, становясь при этом серьезной. Заканчивая чтение, она произносит несколько слов: несомненно, мое письмо очень милое... Оно, конечно же, заслуживает поцелуя. Александра мгновенно оказывается в моих объятиях, притворно старается уклониться, но при этом получается так, что мне только становится удобнее целовать ее.

Ее лицо и глаза наконец-то рядом с моим, с моими глазами, жаждущими проникнуть в этот новый и неизведанный мир. Я целую ее щеки.

– Убедились, что на них нет никаких румян? А вы еще сомневались! – произносит она, чтобы хоть что-то в такой обстановке сказать. Она улыбается и смотрит на меня. И я погружаюсь, насколько это возможно, в иной мир, который скрывается в глубине ее глаз. Чувствуя слабость, я опускаю свою голову ей на грудь. Запах ее груди и волос буквально одурманивает меня. Странно, но рядом с нею я не испытываю никакого влечения. Как же это назвать? Это просто желание как можно крепче сжать ее в своих объятиях и одновременно почувствовать, как она сама прижимается ко мне. Я касаюсь лбом обнаженной кожи начала ее груди, испытывая при этом необычайное умиление, легкую слабость и даже истому...

Она сразу же все поняла и разгадала мои мысли: «Какой же вы ребенок!» И вдруг посмотрела на свои часы и воскликнула: «Уже полночь! Отель уже закрылся, что же делать?». Оказывается, теперь уже я не смогу просто так выйти из гостиницы. Нужно будет к кому-то обращаться, чтобы меня выпустили на улицу. Я остаюсь здесь. Мы будем спать вместе. Это решение, такое важное, было принято в немом полуразговоре наших взглядов. Были произнесены ничего не значащие короткие слова и решающее «да», приглушенное поцелуем.

Я тут же начал ее раздевать. Но она не выдерживает, потому что у меня получается очень плохо и медленно. Она гасит свет. В Советском Союзе молодые женщины спят летом нагими. Она хочет, чтобы я тоже разделся...

Ванна освежила и взбодрила меня. Возвратившись в комнату, я вижу, как в неверном свете улицы покрывало обрисовывает ее нежное тело, жар которого я уже успел ощутить. От нее исходит нежный аромат легких духов. Она наполовину погружена в сон, но в то же время напряжена в своем желании. Она вроде бы спит, но в свете, проникающем сквозь занавеси, я вижу ее улыбку и копну волос.

Борьба была недолгой: она сопротивлялась, скорее бессознательно, тому, чтобы моя нога проникла между ее колен. Когда мне удалось все же это сделать, она тут же обняла меня. Мои руки блуждали по ее телу. Александра изо всех сил прижалась ко мне. И я погрузился в дремоту в неясном тумане желания, в тепло этого гнездышка доверия, сухого объятия и обладания без фактического проникновения...

Только позже, ночью, после нежного объятия, она полностью отдалась мне, сжимая меня в своих руках и покрывая страстными поцелуями. Горячая и нетерпеливая, она покрывала поцелуями все мое тело. Потом нами овладел сон, сливающий наши тела в единое целое. Алиса, молодая советская женщина...

Так прошло четыре божественных дня, заполненных поцелуями, прогулками по улицам и нежными свиданиями. Она снова стала ходить в своем темном костюме, который так гармонирует с цветом ее волос и подчеркивает линию тонкой талии. Она рассказала мне историю этого самого костюма: всем женщинам, работающим в системе ленинградского «Интуриста», выдали одинаковое количество ткани. Она дала портнихе выкройку, которая благодаря этому сумела что-то сделать для нее, что вызвало всеобщее восхищение.

Я отыскал свой самый светлый галстук и даже вытащил со дна чемодана перчатки! Днем Алиса была по горло загружена работой и самыми разнообразными визитами. Я же совершал регулярные поездки между Волхонкой и Моховой. Трамвай номер 25 быстро доставляет меня от Москвы-реки к строительной площадке большого Дворца Советов. Однако если время позволяет, я иду пешком от Красной площади или обхожу Кремль по Манежной улице. Иногда я делаю остановку, чтобы выкурить сигарету в тихом скверике Зоологического института.

Наши ночные встречи можно назвать «нелегальными». В России существует довольно жесткий контроль за всем тем, что происходит в номерах гостиниц. Для того чтобы иметь возможность переноче-

вать, нужно предъявить паспорт. Наши французские отели отличаются гораздо большей свободой! Мы без труда могли бы там снять комнату на двоих.

Но, с другой стороны, это могло бы сильно повредить репутации Алисы. Дело в том, что личная жизнь работников «Интуриста» постоянно контролируется администрацией. Это делается из опасения критики со стороны иностранцев. В общем и целом – и я в этом уже неоднократно убедился сам – это страшно пуританская страна. Здесь пытаются как можно сильнее оградить себя от обвинений в сексуальном либерализме, если даже не в анархизме.

Алиса боязлива, поэтому ей все время кажется, что ей что-то постоянно угрожает. Я, как могу, всегда успокаиваю ее. Я много гуляю и просто хожу по городу. При этом широко раскрытыми глазами я смотрю на все то, что меня окружает. Я очень часто останавливаюсь около различных ларьков, в которых за 15 копеек можно получить стакан воды или сока из каких-то кислых ягод.

18 августа – божественный день, последовавший за обладанием Алисой. Мы чувствуем себя легко и весело. Кажется, что сердце готово выскочить из груди.

– Алиса! Я не знаю, что я еще могу в этой жизни желать. Обладать вами полностью? Но я уже обладал. Как бы мне хотелось не отпускать вас от себя. Удерживать вас в ладони подобно маленькой птичке.

– Вы, как поэт, витаете в облаках. Молчите и не говорите ничего! Мы наполнены любовью, причем даже к тем, кто толкает нас и наступает нам на ноги на улице или в трамвае. К сожалению, погода, похоже, начинает портиться. С утра в окне было видно яркое солнце, но затем небо затянулось густыми облаками и начали падать капли дождя.

Алиса говорит, что было бы хорошо, если бы я смог поехать с ней на юг. Я отвечаю ей, что лучше на запад, где я смогу показать ей Париж!

– Нет, в Ялту, где светит жаркое солнце и зреет виноград!

Я надел свой темный костюм, накинул небрежно на плечи пальто и ушел. Алиса сегодня работает весь день, но я вернусь к ней вечером. Я оставил ее в постели обнаженной: прекрасное, еще не до конца проснувшееся, но тем не менее зазорное создание, свернувшееся

под покрывалом калачиком. Когда она обвивает своими тонкими руками мою шею, из-под него обнажается округлость груди. Растрепанные темные волосы раскинулись по подушке, белизна которой подчеркивает яркость ее румяных алых щек.

Сегодня я с гордостью прошел мимо украшенных кожаными ошейниками догов, резвящихся у входных дверей. Мимо дежурных по этажу и хранительниц ключей от номеров. Любовь и обладание любимой придает мне уверенности! Дерзко остановившись перед администратором, я с независимым видом закурил сигарету и отошел в сторону, чтобы выбросить потушенную спичку в огромную мусорную урну у ног массивной кариатиды. Затем направился к выходу, чтобы оказаться в гуще напряженной жизни площади. Поднявшись на Красную площадь, я остановился там, чтобы вдохнуть и насладиться чистым освеженным воздухом.

Алиса ждала меня к 11 часам вечера. Когда я оказываюсь в ее номере, она звонит по телефону: «Горд?». Тот же волнующий меня до глубины души голос, то же раскатистое и мелодичное «р». Продолжая говорить в трубку, она притягивает мою голову к своей груди, чтобы не терять драгоценного времени. Шепотом она рекомендует не говорить слишком громко и не чмокать при поцелуях. Она смеется в трубку, но я отношу этот смех и веселые восклицания на свой счет. Так протекает ее разговор с подругами.

Она, хоть и смеется, пребывает в плохом настроении. Произошло что-то не совсем приятное, о чем она не хочет мне говорить. Днем она встретила Люси... При этом та даже не поздоровалась. Алиса находится во власти гнева, холодного и неярко выраженного. Что вовсе не мешает ей страстно целоваться со мною на софе.

Я догадываюсь, что она просто хочет поиграть со мной, поэтому решительно пресекаю подобные попытки.

– Мы не будем заниматься ничем плохим – говорит Алиса. – Вы же понимаете, что одно только ваше присутствие в этой комнате компрометирует меня в достаточной степени...

– Я могу и уйти, – отвечаю я, решительно отводя от себя ее руки. Поднимаюсь с софы, медленно – очень медленно – надевая снятый предварительно пиджак, и направляюсь к двери, где висит мое пальто. Она следует за мной. Затяжная ею игра принимает очень опасный для нее оборот. Я протягиваю ей руку для прощания.

– Смогу ли я еще увидеть вас, Алиса?

– Нет, – сказано очень сухо.

– Будете ли вы мне писать?

Вновь такое же сухое «нет». Но этот категорический отказ слишком скор, чтобы быть искренним. В нем даже слышится нотка веселой иронии, а на ее губах играет тень улыбки. Я делаю вид, что ничего не понимаю и не замечаю. Не хочу и не желаю просить. Чего бы то ни было!

Моя рука уже опустилась на ручку двери. Она удерживает меня.

– Вы могли хотя бы поцеловать меня на прощание перед своим уходом.

Я подхожу к ней. Она крепко обнимает меня и привлекает к себе, закрывая при этом мой рот поцелуем. «Мальчишка, – страстно шепчет она, – наивный ребенок». И она мягко стягивает с меня пальто.

Ее лицо в этот момент можно назвать только ослепительным воплощением самой нежности. Темные глаза Алисы искрятся страстью. Она гасит свет и подходит ко мне. Со словами «мальчишка, мальчишка» она крепко прижимается ко мне...

Мы рассказываем друг другу о себе. Положив свою голову мне на грудь, Алиса рассказывает о том, что ей 26 лет и что она родилась в семье, принадлежащей к слою средней буржуазии, однако всю молодость провела среди представителей буржуазии крупной.

В пятнадцать лет она испытала в Москве свою первую настоящую любовь. До этого момента жизнь ее была простой и непритязательной. В девятнадцать лет она вышла замуж за человека, которого любила. Он тоже по-своему любил ее. Он был старше ее, инженер и интеллектуал. Но у него был маниакальный страх перед изменами. Она всегда была безусловно верна ему. Но он не мог поверить в это. Во всех мужчинах, с которыми ее сталкивала жизнь, он видел своих соперников. Он часто бывал мрачен и готов сказать грубость. В ней он видел обманщицу и распутницу. С известной долей иронии он сравнивал ее с акционерным обществом, в котором он – всего лишь обыкновенный пайщик.

Они развелись, когда ей было всего 24 года. Для нее этот развод явился огромным горем. Несмотря ни на что, она сохранила со своим мужем отношения братской дружбы...

– Видите тот чемодан? – спросила она. – Это его подарок. Вернее, он одолжил мне его для поездки в Ялту.

После развода прошло уже два года. Она продолжает рассказы-вать, без стеснения обнажая душу с чувством удовлетворенного самолюбия. Ей никто никогда не говорил, что она некрасива. Как раз наоборот! Мужчины с готовностью признаются ей в своих чувствах, которые они испытывают по отношению к ней. У нее это всегда вызывает улыбку. Ее часто приглашают в театры и на прогулки. Порой она охотно принимает приглашения, но бывает, что отказывает, улыбаясь при этом...

Она лежит в моих объятиях, полностью предоставив свое тело ласкам моих жадных рук. Наши существа слились воедино в этой путанице округлостей и прямых линий, переплетающихся друг с другом в стиле Родена. Мы не устаем от страстных поцелуев. Ее губы прикасаются к моему телу то здесь, то там. И долго еще звучали наши рассказы в этой оцепенелой ночи.

А потом – о, чудо! – мы ели яблоки, которые она купила специально для меня. Она заснула только тогда, когда в окна уже стало заглядывать бледное утро. Заснула, вся прижавшись ко мне, будто в каком-то испуге. Я так и провел остаток этой ночи, опершись головой на локоть, чтобы лучше видеть ее лицо и глаза с закрытыми веками, опушенными ресницами.

В груди у меня гулко стучит сердце. Меня тянет на запад. А она должна ехать на Черное море. Такие счастливые первые и одновременно последние дни. Мы прижимаемся друг к другу в окутавшем нас плотной пеленой страхе. Страхе перед разлукой. Она не способна ничего произнести, кроме моего имени. Я тоже, произнося только слова: «Алиса! Моя маленькая девочка...».

МОСКВА,
19 АВГУСТА
1934 г.

Сегодня Алиса вновь в своем прекрасно сшитом темном костюме, эскиз модного пиджака к которому она сделала для портнихи сама. Она в очередной раз подчеркивает: сама.

– Ко мне часто обращаются, – говорит она, – когда речь заходит о шитье в хорошем вкусе. Ко мне приходят, и я даю бесплатные консультации. Если моим подругам нужно что-то купить, когда у них появляются деньги, но они не могут выбрать сами или у них нет уверенности, то они бегут все ко мне. Или спрашивают: «А Шура как считает?».

– Твой мужчина начинает думать, что Алиса – хвастушка.

– Он может так думать, если – несмотря ни на что – не любит свою Алису.

Сегодня Александра будет целый день разрываться между «Националем» и «Метрополем». И это только для того, чтобы узнать, что ей делать. Она пребывает относительно этого в полном неведении, и в любой момент ее могут сорвать с места новые указания. К сожалению, она уже не едет на юг в Ялту и к морю. Ее строгие и чванливые журналистки ей вовсе разонравились. Они капризничают и требуют переводчика-мужчину. Алиса этому только рада. Теперь, вероятно, ей удастся вернуться в Ленинград. Но, к нашему несчастью, вместо того чтобы уехать 22-го, она должна уезжать немедленно! Возможно, что уже сегодня вечером. Горе наше велико и неутешимо. Но мы не отчаиваемся, поскольку ей, кажется, нашли тут новую работу.

Она постоянно ходит из одной конторы в другую, но нигде не может никак застать начальника. Который, между прочим, хотел ее видеть. Я сам на несколько дней уклонился от организованных для меня прогулок по фабрикам и заводам. Все свои дни я провожу в «равных» свиданиях с Алисой. Или меряю шагами Моховую, выкуривая в плотной толпе с дюжину сигарет. А также в десятый раз изображаю на лице восхищение фантастическими строительными лесами гигантской стройки у Дворца Советов. Или удобно устраиваюсь в глубоких кожаных креслах вестибюля гостиницы.

Позавтракали мы в «Национале». Алиса почти не ест, поскольку днем ей всегда представляется возможность перекусить. Правда, она обычно отказывается от своей порции. Чашечки кофе и небольшого квадратика хлеба ей хватает на целый день. Обычно она не съедает больше половины порции.

Дождя нет, и стоит хорошая погода. Мы сначала зашли на Центральный телеграф, чтобы отправить мою статью и купить марок. Алиса хочет послать в Ленинград открытку маме. Ее тонкие пальцы, на одном из которых блестит мое кольцо, порхают над бумагой. Потом мы стоим в очереди за марками. Алиса жалуется, что ей никогда не везет с этими очередями. Ей приходится выстаивать в них целую вечность.

– Вот увидите, прямо передо мной окажется какой-нибудь тип, который будет расплачиваться или получать сдачу мелочью!

Но она, слава богу, ошиблась, и через пять минут мы были уже на улице.

Центр Москвы расположен в ложбине, поэтому все ее улицы поднимаются по направлению к окраине. Мы ходим по торговым улицам

города. Алиса с удовольствием отмечает, что магазины становятся все красивее и красивее, а прилавки все более полными. Цены, однако, все еще очень высокие, но уже можно купить продукты, которые раньше привозили только из-за границы. «Зайдите хотя бы в большой магазин на Дмитровке», – говорит она.

Мы проходим мимо фотоателье. Она обращает мое внимание на узнаваемые ею портреты людей. Вот молодой поэт Есенин. Она – как любопытное дитя – ничего не хочет пропустить, ни на минуту при этом не прерывая журчащего разговора. Ожидая ее, я курю папиросы «Революция». Алиса не перестает улыбаться мне.

Нас настигает новый удар. Судьба ее вновь меняется в одной довольно существенной для нас части. Ей уже не нужно немедленно возвращаться в Ленинград, но она должна сопровождать трех туристов – двух женщин и мужчину – в их поездке на Волгу, в город Сталинград. О горе! Она уезжает завтра вечером. О радость, она вернется через неделю, вернее, 27-го, и я вновь смогу ее увидеть, прежде чем уеду назад в Европу.

В три часа дня мы вместе обедаем в ресторане «Националя» в сопровождении оркестра. Чуть в стороне сидят «ее» англичане. Мужчина относительно молод, а обе женщины уже в годах. Тем не менее одна из них, в возрасте 40–45 лет, на которую, похоже, имел виды (и на состояние тоже) молодой человек, сохранила определенную свежесть, а также прелесть и легкость движений.

Я сделал заказ, и Алиса вновь возвращается ко мне. За едой она говорит, что не может понять, что связывает этих людей.

– Веселеньким же будет это путешествие! Обе дамы из скромности займут одно купе, а я буду вынуждена делить другое с этим мужчиной. Это же смешно! – восклицает она. – И о чем мы только с ним будем разговаривать?

Нам пришлось подняться в ее номер за оставшимися там яблоками и (как только была заперта дверь) за... несколькими прощальными поцелуями! После этого наступило новое расставание. Сегодня вечером, говорит она, я смогу позвонить одной из ее подруг, у которой она будет находиться...

Вечерний парк культуры Красной армии представляет взору великолепную картину: феерия огней, отражающихся в воде, светлые платья женщин и девушек, которые прекрасно контрастируют с воен-

ной формой защитного цвета. Много детей. Однако меня что-то заболит. Сегодня утром на набережной в отъезжающей машине я видел Люси. Она не ответила на мой приветственный жест и улыбку. Даже отвернулась при этом.

Парк очень красив и усажен великолепными деревьями. Здесь даже имеется травяной корт для большого тенниса. По поверхности пруда плавают множество лодок, крутящихся вокруг бурлящей в самом центре воды. На дрожащей листве деревьев играют блики искусственного света. В дальнем углу парка расположен читальный зал под открытым небом, в котором можно почитать газету или журнал. Проходя по аллее парка, замечаю даже книжный киоск.

Внезапно гаснет свет, и все оказываются в непроглядной с непривычки тьме. Думаю, что где-то произошла поломка. Однако никто не кричит и не создает паники. Во Франции на вас тут же накатила бы волна злобного свиста. Здесь же каждый спокойно продолжает свой путь. Гуляющих настолько много, что в темноте постоянно кого-то касаешься локтем или наступаешь на чью-то ногу. Здесь особенно много военных. Ведь этот парк принадлежит им, и они даже не платят за вход.

Лодки все так же кружат по пруду. В аллеях и на лодках много влюбленных. Как и везде в Москве, тут повсюду продают пиво, минеральную воду и морс. Политические плакаты на своих огромных полотнищах высмеивают гитлеровский фашизм. Этот пролетарский парк некогда принадлежал пансиону благородных девиц.

В музее имеется хорошая коллекция оружия. На стенах висят картины и портреты с суровыми лицами партизан. Глядя на картины, можно узнать про основные этапы Гражданской войны.

Мы вернулись на Волхонку трамваем, и я, попрощавшись с товарищами, пошел дальше к Москворецкому мосту. Позвонить я смогу из «Новомосковской»...

На другом конце провода трубку сняла смеющаяся Алиса. Я рассказываю ей о том, чем занимался целый вечер, о своей прогулке и о собрании молодых строителей метро, на котором я безо всякой подготовки произнес целую речь.

- Вам аплодировали? – спрашивает заинтересованно она.
- Да, бешено. Вам, Алиса, пора понять, что я могу нравиться людям.
- Да, бешено нравиться. Но что же делать теперь?
- Да, как говорил Ленин, что делать?

Алиса несколько секунд с кем-то оживленно переговаривается, после чего с восторгом предлагает: «Скорее приходите сюда! Слушайте, как добраться: 12-м трамваем или «Б» добираетесь до Сретенских ворот. Рыбников переулок, дом три, дробь шесть, двенадцатая дверь. Я буду ждать вас за этой дверью».

Легко сказать. Сначала нужно найти этот самый трамвай. Трамваи с номерами ходят за мостом, что очень далеко. А вот и трамвай «Б». Вскрываю на подножку движущегося вагона. Это дело чести, поскольку до нее надо добраться как можно быстрее. Кондуктор трамвая – сильная краснолицая женщина в стоптанных рваных туфлях. По ее улыбке и знакам я понимаю, что еду в правильном направлении. Она уже догадалась, что я нерусский. Предлагает мне сесть, говорит, что покажет, когда мне надо будет выходить у Сретенских ворот. Каждый раз, когда я поворачиваюсь к ней, она обязательно говорит мне с вежливой улыбкой «нихт».

А вот и широкий бульвар. Это Сретенка. Прощальный взмах рукой кондукторше, и я соскакиваю с подножки трамвая. Тут же я попадаю в объятия милиционера, который не может ни слова сказать по-немецки. Так же бесполезно говорить с ним и по-английски, и по-французски... Однако он показывает рукой, когда я говорю ему «Рыбников переулок». Чуть подальше я замечаю немецкого еврея. Легко объясняюсь с ним по-немецки: «Первый поворот направо». И вот я уже на месте. «Переулок» оказывается небольшим проходом, соединяющим между собой две параллельные улицы. Прекрасные большие дома погружены в кромешную тьму. Спотыкаюсь о выбоины плохо ухоженной мостовой. Тем не менее добираюсь до дома, хотя и не вижу его номера. Слава богу, лестница оказывается освещенной. По ней спускаются двое мужчин, которые говорят, что это и есть дом три дробь шесть.

Поднимаюсь на второй этаж и встаю перед двенадцатой дверью. За дверью после звонка слышу приближающиеся шаги Алисы, ее громкий смех. Длинный коридор и яркий свет в комнате, в которой меня ждет огромный успех. Я с честью выдержал испытание, предлагаемое рыцарям красавицами. Я прибыл сюда, о чем и докладываю с гордостью.

Алиса и ее подруга долго смеялись над моими словами. Кроме них, в комнате никого нет. Комната большая и широкая, с высокими потолками. Рядом с комнатой кухня. В квартире живут подруга Алисы

со своим мужем и трехлетним сыном. Это давняя подруга Алисы, тоже благородного происхождения.

До революции ее отец был членом Городского совета. Учились они вместе с Алисой, познакомившись еще совсем маленькими девочками. Они тогда ходили во французскую школу, в которой были дни, когда они должны были говорить только по-французски. Сейчас подруга Алисы увлекается греблей. Она преподает английский в двух школах и получает 400 рублей, что совсем неплохо. Ее муж, член партии и инженер, получает 600. Она сама тоже вступила недавно в партию.

Приходит ее брат, который стесняется войти в комнату. Он только что с работы, поэтому извиняется за грязь. Он работает шофером, но его жена настаивает, чтобы он продолжал учиться и стал инженером. Вернулся с работы и муж. Это уже довольно зрелый человек. Его несколько тяжеловатая фигура с довольно прямой спиной и сильными мускулами едва помещается за столом, за которым мы все вместе пьем чай с вареньем.

Уходя из этого гостеприимного дома, мы зашли с Алисой поздороваться с отцом подруги, сухощавым и седым человеком, который живет в соседней квартире. Несмотря на свой преклонный возраст, он продолжает работать экономистом, и все его за это уважают. Все в этой семье бывших аристократов абсолютно лояльны к существующей власти, поэтому жильцы дома хорошо к ним относятся.

Раньше им принадлежал весь этот дом. Сейчас у них на всех три комнаты, а бывшая их служанка живет в отдельной комнате наравне с ними как член семьи. Надо признать, что комнаты эти просторные и светлые. Большое окно, потолок украшен лепниной. Обстановка же очень простая: раскладной диван, покрытый белым чехлом, большой письменный стол, книжный шкаф и пианино, еще стол, радио. Картины на стенах завернуты в чехлы, чтобы не выгорали на солнце и не засиживались летом мухами. Именно в этой комнате Алиса провела почти все свое детство. Она с большим чувством рассказывает мне об этом, пока мы бродим по улицам.

Мы обошли почти весь ночной центр Москвы. Она еще не забыла город, в котором прошла большая часть ее молодости. Поэтому ей особенно интересно посмотреть, что в нем изменилось. Она останавливается перед витринами магазинов, рассматривая в них обувь, галантерею и платья.

Вот Театральная площадь, на которой движение не прекращается и ночью. При свете мощных прожекторов на строящихся станциях метро и у Дворца Советов ведутся интенсивные работы. Мимо проходят милиционеры. А вот и ее «Националь». Алиса не хочет расставаться со мной. Мы уже возле гостиницы, но она провожает меня дальше по Моховой. Теперь мне горько разлучаться с нею, поэтому я провожаю ее назад. Сегодня я не зайду к ней. Уже очень поздно. Дежурные в вестибюле сразу все поймут. Поэтому мне придется отправляться в свое чуть душноватое и пахнущее плесенью жилище на Волхонке.

Снова нежное прощание. Завтра, если ничего не случится и не произойдет какое-нибудь чудо, Алиса уезжает.

МОСКВА,
20 АВГУСТА
1934 Г.

Сегодня утром я увидел Алису. Она поджидала меня, прохаживаясь в холле в своем модном черном костюме. Она торопилась на работу, поэтому мы даже не успели позавтракать на террасе «Метрополя»...

В шесть вечера я пришел к ней. Я провожу ее на поезд, отправляющийся в 10 вечера в Сталинград. Она порывисто обнимает меня. Я прижимаю ее голову к своему плечу, и мы долго стоим так.

Буквально каждую минуту звонит телефон. «Город?». И снова музыкой течет поток русских слов. Я помогаю ей собрать чемодан: одежда, белье, чулки, сделанные на фабрике, которую мы посещали в прошлом году, затем и розовая блузка. Пара туфель. Чтобы купить их, нужно не один месяц проработать. Алиса уже два года ходит в одной и той же паре немецких туфель.

Флакон французских духов стоит тоже месяца работы. Но это подарок ей. У нее появилась новая сумочка темно-синего цвета, которая обошлась ей в сто рублей. Мне же она стоила целой истории со старой сумочкой, фотографиями, письмами, билетами и профсоюзными марками. Она то ли потеряла, то ли оставила сумочку в трамвае. Все драгоценное содержимое сумочки так и не нашли. Тем не менее новый счастливый обладатель Алисиного добра вернул ей по почте хотя бы профсоюзные марки.

Чемодан, слава богу, упакован. Алиса хочет, чтобы я взял все в свои руки. Иначе ей придется все оставшееся время провести у телефона. В данный момент она разговаривает со своими друзьями, принося им извинения за то, что не смогла к ним забежать. Одна из подруг иронизирует, поздравляя с «успехом», который она имела у аме-

риканцев! Похоже, что это меня приняли за «американца». Впрочем, русские всех иностранцев здесь называют «американцами».

Алиса хочет взять с собой в дорогу мое кольцо, вернее перстень с квадратным голубым камешком. Она говорит, что он принесет ей счастье. «Ужасная поездка, – говорит она. – Ни минуты покоя и отдыха. Все время в дороге – то на пароходе, то на поезде, потом посещение завода – и снова нестись в Ленинград, чтобы успеть на пароход, отправляющийся назад 28-го».

Нет, решено, что я не поеду провожать ее на Казанский вокзал. Не люблю прощаний на публике, да еще на платформе. Я хочу расстаться с нею в спокойном одиночестве этой комнаты, где мы были счастливы и окна которой выходят на какие-то фантастические строительные конструкции.

Мне достается крепкий поцелуй и отчаянные попытки улыбнуться. Еще ненадолго ее глаза, погруженные в мои.

– Вы будете думать обо мне в эти дни?

– О да! Постоянно, каждую минуту!

Мы смеемся. Я буду вспоминать ее столько, сколько нужно, чтобы выпить стакан, а она – свой наперсток... Она негодуяще протестует! Я надеваю пальто, чтобы уйти. Она в последний раз порывисто обнимает меня, одетого в эту проклятую скрипучую одежду.

Я вышел, ощущая себя как в тумане. На улице идет проливной дождь. Тусклые облака, несущиеся по небу, плотным одеялом накрыли строящийся Дворец Советов. Напротив стройки находится трамвайная остановка. Проходит сначала 18-й, затем 38-й. А 25-го почему-то нет.

Струи сильнейшего дождя ожесточенно бьются о стены и изгороди. Укрыться от потоков дождя нигде. Наконец приходит 25-й, но из трех вагонов два закрыты. Мне каким-то чудом удается втиснуть свою ногу на подножку третьего вагона. Вода, стекающая с крыши трамвая, попадает мне прямо за шиворот. Над Москвой разразилась самая настоящая буря.

Трамвай несется на большой скорости, поднимая вокруг себя фонтаны брызг. Прямо как настоящая поливальная машина. Я соскакиваю возле ограды сквера. Закоченевший милиционер и не думает догонять меня. Я бегу по сплошной воде, попадая ногами в скрытые под нею ямы и рытвины.

Бежал я не зря, потому что успел как раз вовремя, чтобы попрощаться с Жозефом, который уезжает в Негорелое, чтобы оттуда отправиться к себе в Барселону. Вместе с ним уезжает и Люси. Я остаюсь в одиночестве, обхватив руками свою мокрую голову.

МОСКВА,
27 АВГУСТА
1934 г.

Алиса вместе со своим английским трио возвращается с Волги, из Сталинграда. Я ждал ее сначала в «Национале», а потом в «Метрополе». Придет ли она? Я нервно курил в саду Института зоологии и перед американским посольством, а также перед входом в гостиницу, в сотый раз изображая восхищение строящимся Дворцом Советов.

Она появилась с маленьким чемоданом и в запыленном голубом пальто, когда я в очередной раз возвращался от «Националя». Она поехала с вокзала сразу же в гостиницу, хотя и была уверена, что ей не удастся снять там комнаты для своих англичан. Но она ведь знала, что я буду ждать ее там... Она радостно смеялась, испытывая явное удовольствие от нашей встречи.

После похода в «Метрополь» она возвращается еще более счастливая. Она свободна! Но нужно ли ей сегодня же вечером возвращаться в Ленинград? Странно, но ей до сих пор еще не вручили билета на поезд. Уедет ли она сегодня? Или не поедет? Будем вновь надеяться на чудо!

Алиса рассказывает мне о своей поездке и тех терзаниях, которые она испытала в ней. У некоторых буржуа, клиентов «Интуриста», просто ужасный нрав. Ей пришлось уступить на ночь свое место в купе. И она провела эту ночь в вагоне третьего класса на голой полке! Зато когда они плыли по Волге на пароходе, она насладилась от всей души самым настоящим жаром солнечных ванн. Она действительно вернулась ко мне потемневшей, как орешек. Она устала, мечтает о горячем душе, а ее пальто совсем пропылилось от дальних странствий.

Вечер приносит нам целый набор маленьких чудес. Весь день она провела в своем «колхозе». Однако там ей сказали, что она едет не в Ленинград, а в Одессу. Поэтому завтра у нее свободный день! Она радостно восклицает, перечисляя по пальцам моей руки свои маленькие радости:

– Мы будем предоставлены самим себе сегодняшней день и весь завтрашний! А потом будет теплое южное море. Какое счастье для нас обоих!

День перед отъездом – траурный день для влюбленных, которые провели вместе не один месяц. Однако для нас, несчастных, приговоренных к четвертованию социальными барьерами и враждебными государственными границами, целый вечер и весь следующий день, проведенные вместе, означали огромную нежность и неоценимое великое сокровище.

Чудеса продолжают: она снимает номер в «Новомосковской». Ее поселяют в 322-й номер, который рядом с моим, 320-м! Она прыгает от радости, когда мы вступаем в наши «владения». Как только за нами закрывается дверь, она бросается ко мне. Ей так не терпелось меня увидеть. Она говорит, что ни на секунду не переставала думать обо мне.

Я купил для нее яблок и груш, но ей не нужно ничего, кроме моей нежности. В моих руках, объятиях она кажется такой маленькой и уставшей. Сидя на краешке постели, я убаюкиваю ее расслабленное тело...

Вдруг она вскакивает и берет себя в руки. Александра бежит в ванную. Вода, душ, затем пудра... Мы выходим на вечернюю улицу и вскоре идем вверх по Тверской. Там есть сквер, в котором мы садимся на скамейку между каким-то солдатом и старорежимной старушкой. Я курю сигарету, а моя рука покоится на плече Александры. Она прижимается ко мне, склонив свою голову мне на плечо. Мы тихо разговариваем. Перед нашим взором протекает городская жизнь: идут прохожие, звенят и скрежещут переполненные пассажирами красные трамваи.

Алиса с иронией отмечает недостатки проходящих мимо женщин: у этой слишком короткое платье, а у той совсем нет талии... Время от времени мы счастливо смеемся. Красноармеец внимательно прислушивается к нашим странно звучащим словам. Старушка делает вид, что дремлет, однако и она прислушивается к нашим разговорам.

Александра вновь возвращается к своим англичанам, которых явно недолюбливает. Они все носят брюки под цвет пиджака, да еще и в полосу. Как глупо! Еще она не любит американцев, которые так плохо говорят. Вот французов она любит! Они такие элегантные и утонченные, всегда неизменно вежливые с женщинами.

– Вы вернетесь? – задает она вопрос.

– Да, возможно, к Рождеству.

Почему бы ей не приехать в Париж? Может, произойдет еще одно чудо! Она ведь может получить работу в посольстве, дипломатической миссии или том же Интуристе... Алиса тешит себя волшебными надеж-

дами. Суровый солдат, похоже, удивляется тому, что я так нежно укачиваю женщину у себя на плече. Кроме него, никто на нас не обращает внимания. Мимо нас проходит поток жизни – напряженной и безликой.

– Может, и я когда-нибудь смогу приехать в СССР, работать, например, преподавателем. Какое бы это было счастье для меня! Тогда я смог бы часто бывать с вами...

– Почему это «часто»? – спрашивает Алиса, поднимая свою голову.

– Я думала, вы скажете «всегда».

– Да, да, всегда. Как бы мне хотелось работать с вами вместе!

Пора возвращаться в гостиницу. Уже ночь. Я боюсь, как бы она не замерзла. Она берет меня за руку. Я испытываю самое настоящее смятение.

Мы идем все время пешком сквозь беспорядочную толпу. Мы не пойдем есть, потому что это означало бы потерять драгоценное время! Кроме того, она вовсе не голодна. Она не хочет есть. Она хочет нежности. К тому же «дома» у нас такие замечательные груши и яблоки! Мы совсем маленькие на фантастически огромной Красной площади, лежащей между Кремлем и крытыми торговыми рядами. На посту у Мавзолея стоят два солдата, а перед ними мы – два нечетких расплывчатых силуэта в свете фонарей.

– Пойдемте вдвоем поприветствуем Ленина?

– Конечно, Алиса!

Она постоянно читает и перечитывает Ленина, Алиса любит Ленина. После этого мы спускаемся к Москве-реке, к Москворецкому мосту... В гостинице она все же захотела зайти в большой белый зал ресторана, расположенного на седьмом этаже, из окон которого видны река и Кремль, и весь ночной освещенный огнями город. Играет оркестр, но мы не задерживаемся в ресторане, чтобы выпить даже чашечку чая. Мы как можно быстрее торопимся остаться наедине.

Коридор, снующие по нему проворные горничные, наши соседствующие друг с другом двери. Сначала мы заходим в мою комнату, в которой мне достается только один поцелуй. Здесь гораздо хуже, чем у нее. Мы забираем фрукты и быстро эмигрируем!

Я сам медленно раздевал ее. Раздевание без спешки для нее как ласка, которая убаюкивает. Она покрывает мое лицо и голову жадными поцелуями, сплетает мои руки. Ее тело в своей наготе и свежести великолепно. Я поднимаю ее на руки и отношу на кровать. От нее исходит огромная нежность. Алиса почти спит, но улыбается при этом.

Ее разомлевшее от истомы тело – само сияние. Она отдается моим ласкам полностью, с нежным трепетом какой-то робости и опасения, что я засну в ней... Ночью мы ненадолго просыпаемся, чтобы съесть груши. Она жаждет гибели, потери сознания, прячет свою голову; глаза ее обрамлены темной линией ресниц, которые подобны нимбам на ликах святых.

Сквозь стекло окна в номер проникает слабый свет. Сверху доносятся тихая музыка, иногда даже жалобный стон скрипки. Алиса встряхивает своими волосами, которые ложатся вокруг матового овала ее лица. Я чувствую, как вздрагивает – словно в испуге – ее тело в моих руках.

– Кто-то постучал в дверь?

– Да нет, Алиса, никто не стучал, спи, это отбойный молоток на стройке...

И она прижимается ко мне, сворачиваясь улиткой в моих объятиях.

28 АВГУСТА
1934 г.

Мы не расставались целый день! С утра я принял благотворный душ, после чего мы вышли в солнечное утро. Мы пошли по магазинам. Нас одолевает желание купить друг другу подарки. Я оставляю ей свое кольцо, которое так радуется ей и нравится ей. Она же не хочет ни платья, ни туфель.

По поводу этих деталей своего туалета она рассказывает мне одну историю, связанную с тем, что она носит. Этой несчастной паре туфель уже два года. Они немецкие. И синее платье – она носит только синее и голубое – тоже из заграницы. Чтобы купить себе пару туфель, нужно экономить в течение нескольких месяцев. Кооператив «Интуриста» очень плох, и там почти ничего никогда не бывает.

Мы покупаем какую-то мелочь: расческу, отливающую зеленым, браслет из синего эбонита и другие такие же полупользные вещи – больше для удовольствия, чем для пользования ими. Она приобретает заколки для волос, потому что свои старые впопыхах при отъезде забыла в номере «Националя». К ним добавляется набор красных пуговиц для ее платья, коробочка пудры, красная помада для губ в красивом металлическом тюбике...

Алиса не снимает мое кольцо, которое все время носит как талисман. Оно, правда, едва держится у нее на тонком пальце. Я говорю, что оставляю его ей как свой подарок. Она берет меня за руку и смеется:

– Представляете, дома мне всегда говорили, что я не смеюсь и даже не улыбаюсь. А теперь я все время смеюсь...

Мы завтракаем только в полдень. Когда ты влюблен, то совершенно нет времени на еду. Мы завтракали в небольшом зальчике на улице Дмитровка. Здесь продолжается наш нескончаемый разговор. Я ворчу на нее: почему она категорически отказалась от пары новых туфель и ее любимой синей ткани на платье. Она рассказывает мне о своем брате. Он еще слишком молод – ему всего 21 год. Но он уже зарабатывает как инженер – 300 рублей в месяц, к которым добавляют еще 100 рублей премии. На заводе его очень любят и ценят.

А еще она хочет немного сказать о своем отце. Он у нее специалист по текстилю. Во время Гражданской войны, в голод и разруху он всегда мог найти что-нибудь для пропитания семьи. Ее мама не работает, а она, Алиса, хотела бы сменить профессию. Ведь она зарабатывает всего 250 рублей. Этого очень мало. Она надеется на поддержку, чтобы переехать в Москву и тут найти себе работу.

– Манозль, мне бы хотелось снова встретиться тут, в Москве. Я найду вам комнату.

Найти комнату в Москве действительно целая проблема. Мы вновь поднимаемся к залитой солнцем Красной площади. Спасская башня отбивает время. Алиса рассказывает мне о своем кузене Эмиле, который тридцатого будет танцевать что-то ужасное. В юности она его очень сильно любила. Юному танцовщику долгое время не давали развивать свое дарование, но это не остановило его. Как раз наоборот: его любовь к танцам только удвоилась после того, как он женился на балерине. Это совершенно необузданная пара!

Так в праздных и ностальгических разговорах мы достигли Тверской. Здесь, на небольшой площади перед гостиницей, место ее первого поцелуя.

– Дом, оказывается, такой серый, а мне в моих воспоминаниях он казался всегда таким красивым!

Ее вновь привлекают магазины. Она заходит в них, возвращается довольно быстро, потому что, как говорит, боится утомить меня вечным ожиданием. Она все щупает, но категорически от всего отказывается. У одного из прилавков она вкладывает мне в ладонь трех маленьких зверьков, вырезанных из уральского камня: слоника, поросенка и зайчика. Тут она мне кладет и десятикопеечную монету. «На счастье», – говорит она.

Мы торопимся, потому что очень опаздываем. Ее ждут в «Метрополле», чтобы оттуда ехать в Одессу. Мы бежим сквозь толпу к «Новомосковской», чтобы собрать там ее чемодан. Вскликаем в 25-й трамвай, но он, увы, так медленно ползет! Десять минут, чтобы доехать до Моховой! Да она же совсем рядом!

Длинный хвост трамвая часто замирает без движения. Меня подмывает поступить так же, как один мой знакомый, который при каждой остановке выходит, чтобы дальше идти пешком.

Я выкуриваю целых две папиросы, но Алиса выбегает вся сияющая: билеты на Одессу, оказывается, еще не готовы, так что ее отъезд туда не состоится. Ее глаза сияют, и она заливается счастливым смехом. Мы быстро уходим, чтобы оставаться как можно дольше свободными. Чудеса продолжаются! Нам принадлежит полностью еще один вечер.

Однако у бедной Алисы нет комнаты! Я предлагаю потихоньку пробраться в мою комнату в «Новомосковской». Она испытывает сомнения, поскольку ей немного страшно.

В СССР, как и во всем мире, – по крайней мере, в этом отеле, – деньги могут сделать все. Обычно в гостиницах существует весьма придирчивый контроль. Сколько приходится преодолевать сложностей, чтобы получить номер! К тому же мне еще понадобилось вызвать мастера, чтобы починить замок. Алисе пришлось в этот момент скрываться в туалете! Какой ужас!

Однако монеты вызывают демагогическое раболепие и слащавое «спасибо». Видела ли горничная, как ко мне в номер прошла Алиса? Как бы там ни было, вот ей монета в десять франков. Полмарки для слесаря и несколько монет для дежурной по коридору, которой досталась английская мелочь и несколько пфеннигов...

Алиса вся дрожит в моих руках. Она изнемогает от усталости, поэтому мне вновь предоставляется возможность раздеть ее. Одну за другой я удаляю все ее оболочки. Она утомлена, медлительна и опьянена любовью. У нее такие усталые движения. Она настолько гибка, что ее тело легко обвивается вокруг меня. Алиса любит спать, тесно прижавшись, полностью отделившись от жизни, одновременно горячая и несуществующая в объятии. На ее лице проступает улыбка. Она может испытывать только легкий дремотный экстаз, но не выпускает меня из своих объятий...

29 августа
1934 г.

Сегодня Алиса покинула меня, уехав в Одессу. На этот раз очередная глава моей жизни действительно закончилась. Наутро, после бури этих дней, наполненных такими событиями, она проснулась несколько утомленной и испытывающей недомогание. Однако лучи солнца вновь пробудили ее к жизни. Все ее существо, глаза и разговорчивые губы вновь ожили, и она снова рассказывает мне свои нескончаемые истории о своем детстве и жизни.

Мы опять много ходим, но едва съедаем лишь несколько крошек. Между нами повисают в воздухе долгие минуты молчания. И глаза каждого из нас подолгу задерживаются на лице другого, чтобы запомнить и разгадать какую-то тайну. Мы ничего не обещаем друг другу, разве только крепкую дружбу, которую не сможет разрушить никакое время и даже разделяющие нас границы.

На Красной площади нам вновь захотелось подойти к Ленину, нашему отцу-товарищу, мирно дремлющему под каменными сводами на виду у всей России. Перед нами долгая цепь ожидания, но нас пропускают вместе с солдатами и матросами. Непроницаемые охранники стоят у дверей, еще двое на лестнице и еще двое – у самого стеклянного саркофага.

Странная вещь, Алиса сегодня впервые совершает паломничество к Ленину. Что привело ее сюда? Снаружи свет и толпа, поднимающаяся по ступеням музея или торговых рядов. А здесь маленькое уставшее создание опирается на мою руку. И вскоре между нами пролягут границы.

Мы сдерживаем слова, но иногда:

– Алиса, я очень хотел бы к вам вернуться...

– Манозль, я бы тоже очень хотела работать рядом с вами. Тогда бы все для меня было так просто. Но может быть, Манозль, когда-нибудь... В нашей стране для всех есть работа. Я найду вам комнату...

Смогу ли я приехать сюда в конце года? Я не мог этого обещать. На моем пути столько неведомого. Если бы путь этот был прост, жребий был бы брошен. Я приехал бы сюда к Алисе, чтобы жить вместе с нею, я бы работал тут на благо строящегося нового общества.

Но я уже предугадываю, что сложности прервут мои планы сомнениями и нерешительностью. Как смогут переехать на Восток мои сестра и мать, если у меня не будет для них валюты. И как они воспримут мой отъезд.

Что тогда будет? Догадывается ли Алиса о моем беспокойстве? Не знаю, по крайней мере, она меня ни о чем не спрашивает. Я не должен приносить себя в жертву, я должен просто жить. «Нарушение обещаний не может меня разочаровывать, – сказала она мне однажды с легкой улыбкой грусти. – Ведь я им никогда не верю».

На нас тяжело давит и горькая наша нежность, и значительность наших чувств друг к другу и слов. Наступает конец нашего короткого дурмана. Все становится более долгим и сложным: наши шаги, жесты. Я чувствую, как мы оба сломлены ударом мощной волны всяческих ухищрений этого мира. Мы расстаемся, прощаемся на Площади Революции в шуме трамваев, автобусов и машин.

Мимо нас проходят грязные рабочие – строители метро. Шагают мимо и красноармейцы строим, офицеры, вернее, красные командиры, затянутые в кожаные портупеи и покуривающие папиросы. Я сдержанно поцеловал ее в чуть улыбающиеся губы. На вокзал я опять не поеду. Там слишком много чужих и чужого. А эта площадь мне уже прекрасно знакома, она расцвечена всеми оттенками наших чувств...

Я пожал ее вялую руку, и мы мужественно расстались, в последний раз улыбнувшись друг другу. Когда я уже отошел шагов на двадцать, она окликнула меня: «Манозель! Я не смогла решиться и оставить вас!».

На этот раз я увидел очень серьезное лицо. Но она тут же отвернулась от меня и улетела, уносимая быстрым потоком. Я бросился за нею, но ее уже не было. Увидела ли она откуда-нибудь мой прощальный взмах рукой? Не знаю...

Я остановился, чтобы закурить. И, еще больше замедлив шаг, направился к Волхонке...

Испанский капкан

Романтическая история, вместившаяся в судьбу Александры Абрамовны, составляет немало вопросов. Что это было: вспыхнувшая внезапно страсть, безоглядно сметающая все преграды на своем пути? Или задание НКВД? Второй вопрос, на мой взгляд, вполне правомочен, ибо, напомним, шел 1934 год, и любые контакты с иностранцами были под наблюдением всевидящего ока чекистов. Тем более контакты переводчиц «Интуриста». Если согласиться со второй версией, то тогда все становится на свои места: и свидания в московских

гостиницах «Националь» и «Метрополь», где, как известно, все – от швейцара до последней уборщицы – были осведомителями НКВД, и номера влюбленных, оказавшиеся рядом, и странные телефонные разговоры... Теперь уже вряд ли нам доведется узнать правду... Как бы то ни было, история сохранила прекрасный документ, пронизанный подлинным чувством любви двух людей, волею судьбы оказавшихся по разную сторону баррикад. И кто сейчас может сказать, как бы сложилась их жизнь, не будь она разделена границами двух стран и двух политических режимов...

И все же не пройдет и трех лет, как сбудется Шурина мечта когда-нибудь побывать во Франции. Правда, мечта эта вновь окажется окрашена в политические тона: грянет гражданская война в Испании.

Это произойдет 18 июля 1936 года. Войне предшествовали выборы в Испании, в ходе которых победу одержали левые партии. Спустя несколько месяцев правые во главе с бывшим командиром Испанского иностранного легиона генералом Франко, поддержанные Гитлером и Муссолини, подняли мятеж. Сто тысяч солдат, покинувших казармы в испанском Марокко и других городах, к которым позже присоединились итальянский корпус и немецкая бригада «Кондор», выступили на стороне Франко. Против них сражались республиканцы, в ряды которых влились 7 интербригад – добровольцы из многих стран мира отправились в Испанию, чтобы защищать идеи демократии.

О войне в Испании написано немало. Из документов, свидетельств очевидцев, архивных записей теперь становится ясно, что была эта война далеко не такой однозначной, как ее подавала советская пропаганда. Известно, что сразу же после начала войны Советский Союз выступил на стороне республиканцев: в Испанию были переброшены танки и самолеты, скрытно туда были переправлены военные специалисты – летчики, танкисты, артиллеристы, множество военных советников и... агентов НКВД.

По признанию генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, дослужившегося во времена Сталина до поста замминистра госбезопасности и добывшего свои погоны организацией и исполнением многочисленных ликвидаций «врагов» СССР за рубежом, в Испании, по сути, шла не одна, а две войны. В одной войне схлестнулись националистические силы, руководимые Франко, которому помогал Гитлер, и силы испанских республиканцев, помощь которым оказывал Советский Союз. Вторая, совершенно отдельная война, шла внутри самого республиканского лагеря. С одной стороны ее возглавлял Сталин, а с другой – Троцкий, его злейший враг, изгнанный им из СССР в пери-

од борьбы «отца народов» за абсолютную власть: оба хотели предстать перед миром в качестве спасителей и гарантов дела республиканцев.

«В Испанию мы направляли как своих молодых, неопытных оперативников, так и опытных инструкторов-профессионалов, – замечает Судоплатов. – Эта страна сделалась своего рода полигоном, где опробовались и отработывались наши будущие военные и разведывательные операции. Многие из последующих ходов советской разведки опирались на установленные в Испании контакты и на те выводы, которые мы сумели сделать из своего испанского опыта».

Советская помощь республиканцам не афишировалась, но это был «секрет Полишинеля» – романтика борьбы за свободу в Испании одела юное население СССР в знаменитые пилотки-«испанки», тысячи добровольцев подали заявления с просьбой отправить их в страну басков. Впрочем, помощь СССР была не такой уж и бескорыстной. В 1936 году республиканцы согласились сдать на хранение в Москву часть испанского золотого запаса стоимостью более полумиллиарда долларов, а также драгоценные металлы и камни. Золото вывезли из Испании на советском грузовом судне, доставившем сокровища из испанской военно-морской базы Картахены в Одессу, а затем поместили в подвалы Госбанка. Другие ценности, якобы также предназначенные для оперативных нужд правительства республиканцев с целью финансирования тайных операций, были нелегально вывезены из Испании во Францию, а оттуда доставлены в Москву в качестве дипломатического груза.

Именно этим золотом и драгоценностями и была оплачена военная и материальная помощь СССР республиканцам. Кстати, золотой запас так и не был возвращен Испании: только в 60-е годы в ответ на многочисленные обращения испанского правительства было принято решение компенсировать утраченные страной ценности поставкой нефти по клиринговым ценам.

Тем не менее на тех, кто отправлялся в Испанию сражаться за идеи свободы, в нашей стране смотрели как на героев. «В далекий край товарищ улетает...» – это о них, советских летчиках, грустно пели в кинофильме «Истребители». Была ли и Шура добровольцем или ей пришлось выполнять приказ вышестоящих начальников? Скорее последнее, ибо наши военные специалисты, приобретшие опыт в боях Гражданской войны и во время событий на Халкин-Голе, были по большей части малограмотны, и потому потребность в переводчиках ощущалась крайне остро.

Так двадцативосьмилетняя Александра Шварц оказалась в Испании. Путь лежал через Париж, откуда и переправлялись в Испанию те, кому предстояло

воевать в рядах республиканцев. В Мадриде ее прикрепили к Кириллу Мерецкову – сорокалетний генерал был отправлен в Испанию с поста начальника штаба Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и стал советником при начальнике Генерального штаба армии республиканцев, а затем при командующем обороной Мадрида.

Мерецков не был еще ни маршалом, ни Героем Советского Союза, не прошел через унижительный арест и пытки в сталинских застенках и, будучи возвращенным Сталиным из тюрьмы, не стал прославленным военачальником, чье имя было бы вписано в историю Великой Отечественной войны. Простой крестьянский паренек, самостоятельно выучившийся читать и писать, «генераль Петрович», как станут его называть в Испании, и во время испанской войны, судя по рассказам Шуры, сохранит свою первородную простоту – любитель выпивки и женщин, он приударит и за ней, но, похоже, безрезультатно.

Архив Шуры сбережет немало уникальных фотографий, сохранивших рядовые события войны в Испании: интербригадовцев перед отправкой на фронт; развалины Каса-дель-Кампо, пострадавшего от бомбежки самолетов Франко; итальянских пленных во дворе штаба 12-й интербригады; разрушенный штаб после боев в Гвадалахаре; улыбающиеся лица бойцов-добровольцев... Черно-белые прямоугольники запечатлели и тех людей, чьи имена сегодня окутаны ореолом легенд и мифов: Мате Залка и Энрико Листер; руководитель резидентуры Иностранного Отдела НКВД в Испании Я.Берзин и генерал В.Колпакчи; будущий маршал и министр обороны Р.Малиновский и писатель Михаил Кольцов – всеююзная знаменитость, главный редактор журнала «Огонек», через несколько лет расстрелянный Сталиным. Доведется встретиться Шуре и с... Хемингуэем – тогда молодым американским журналистом, отправившимся в Испанию, чтобы написать ряд очерков о боях республиканцев с франкистами. Могла ли она думать, что пройдут годы, и Хемингуэй станет великим американским писателем, а его бородатые портреты – в толстом свитере и с трубкой – в 60-е годы XX века украсят квартиры «продвинутых» советских интеллигентов. Будет висеть такой портрет и в моей комнате на Ленинградском проспекте, вызывая ироническую улыбку Шуры в ее редкие приезды в Москву.

Далеко не однозначно складывались судьбы этих и многих других людей, с которыми свели Шуру военные дороги Испании. Она была знакома с одним из руководителей советской военной разведки Наумом Эйтингтоном, отвечавшим в Испании за ведение партизанских операций в тылу франкистов и внедрение агентуры в верхушку фашистского движения, и с Каридад

Меркадер – матерью тогда еще молодого лейтенанта Рамона Меркадера. Спустя несколько лет именно Рамон станет убийцей Троцкого, а Эйттингтон будет руководить этой операцией, разработанной и осуществленной по приказу Сталина.

И еще один снимок сохранится в архиве – тонкое лицо, чуть грустный взгляд из-под очков-пенсне, гимнастерка, туго перетянутая ремнем, знаки отличия полковника в петлицах на белом воротничке... Этот снимок до самой смерти будет стоять у Шуры на столике. И только много позже я узнаю, что это – ее испанская любовь Борис Михайлович Симонов, чьей памяти она останется верна до конца своей жизни.

Он родился в Воронеже в 1901 году, в семье русского офицера. Перед революцией окончил военное училище, в Гражданскую войну добровольцем вступил в Красную Гвардию, а затем продолжил службу в знаменитой 1-й Конной армии Буденного, начав с командира взвода и дослужившись до начальника штаба 42-й кавалерийской бригады.

Его военная судьба складывалась удачно. Окончив с отличием в 1931 году Академию Фрунзе, Борис Михайлович в течение пяти лет был начальником Главного Артиллерийского управления Красной Армии, затем стал начальником одного из Управлений Генштаба, а в 1936 году возглавил танковую бригаду. И вот Испания, где «коронель Валуа» – таков был псевдоним Симонова – стал советником в одной из интербригад.

Не знаю, как и при каких обстоятельствах познакомился он с Шурой, но известно, что вскоре стали они близки и по возвращении на родину собирались пожениться. Жизнь распорядилась иначе: 21 февраля 1938 года полковник Симонов, командовавший в то время 19-й механизированной бригадой, был арестован и спустя семь месяцев – 7 сентября – Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в шпионаже и участии в военном заговоре в РККА приговорен к расстрелу. Приговор был исполнен в тот же день...

Один из миллионов, чья судьба была безжалостно раздавлена сталинской карательной машиной... В 1956 году Борис Михайлович будет реабилитирован, но этот факт вряд ли станет утешением и для его близких, и для Шуры. Собственно, и ее жизнь окажется сломана – она так и останется одинокой, «незамужней вдовой», живущей воспоминаниями о своем «испанском» прошлом и той любви, что нашла этих двух людей под небом измученной войною страны.

Эта война будет республиканцами проиграна, генерала Франко провозгласят генералиссимусом, и он останется единоличным правителем Испании

вплоть до 1973 года. И только после его смерти в Испании наступит примирение – здесь одинаково будут чтить и тех, кто сражался на стороне Франко, и тех, кто воевал против него. Ну а наши добровольцы вернутся домой, вернется и Шура, а вскоре среди прочих ее наградят орденом Красной Звезды.

Но «испанский» период ее жизни на этом не кончится. Перед своей смертью она расскажет, как в 1938 году ее вызвали на Лубянку. Человек, к которому она попала (имя его Шура не назвала), занимал, очевидно, высокий пост, так как принял он ее в огромном кабинете, окна которого выходили на площадь Дзержинского. Лубянский начальник, отметив, что Шура хорошо зарекомендовала себя в Испании, предложил ей... отправиться во Францию. Суть предложения заключалась в следующем: стараниями НКВД Шура должна была превратиться в зажиточную владелицу некоей фирмы, которой предстояло с помощью уже работающих во Франции наших разведчиков не только вести свой бизнес, но и, соответственно, выполнять задания Иностранного отдела НКВД. Словом, речь шла об оседании на долгие годы.

Положеньице создалось пиковое. «Конечно же, я сразу хотела отказаться, – рассказывала Шура, – но как! Я ведь прекрасно понимала, что в случае отказа не только моя жизнь, но и жизнь близких – матери, отца, брата могла оказаться под угрозой. И потому попросила несколько дней на размышление...»

Прерву ненадолго эту историю. Ибо для того чтобы понять, с кем же беседовала Шура и чем могла закончиться для нее эта ситуация, мне придется привести письмо, которое я обнаружил в ее архиве.

Уважаемая тов. Шварц.

Прошу извинения, что я не смог увидеть Вас в дни моего отъезда из Ленинграда, а также позвонить Вам по телефону.

Вы ставите вопрос об устройстве на работу после окончания работы в системе интуризма. Безусловно, мы не можем претендовать на право ограничивать Вас в Вашем выборе места работы. Мы только можем делать Вам предложения, с которыми Вы можете соглашаться или отвергать. В разное время мы делали Вам несколько редложений. Мне хотелось бы получить на них Ваш ответ.

Во-первых – каково же Ваше решение по поводу разговора б.б. в г. Москве [*замечу, что письмо датировано 19.б. , но без указания года – В.Ш.*]. Решили Вы отказаться или еще хотите подумать? Очень важно знать нам об этом.

Во-вторых – не хотите ли поехать для временной работы туда, где была т. Константиновская и где сейчас т. Покровская [*упомянуты фамилии двух переводчиц – ее подруг, которые одновременно с Шурой были в Испании – В.Ш.*]. Ваша поездка туда не состоялась вследствие болезни ночи. [*Об этой «болезни» разговор ниже – В.Ш.*].

Наконец, возможно, будет работа в системе интуризма. Об этом я окончательно выясню через 4–5 дней. Мы охотно приняли бы Вашу помощь и в этом деле. Во всяком случае, я полагал бы, что нам расставаться окончательно не хотелось бы. Может, Вы тяготитесь нами, тогда другое дело. Вы вольны сами выбрать и поступить в соответствии с Вашими желаниями. Повторяю, это только наши предложения.

Я хотел бы получить ответ по затронутым вопросам, а главным образом по первому. Одновременно я сделал распоряжение о переводе Вам 500 рублей, так как у Вас получился небольшой перерыв в работе.

Прошу откровенного ответа.

Письмо, в строчках которого сквозят завуалированные, а то и прямые угрозы, подписал человек, имя которого я впервые встретил в романе Анатолия Рыбакова «Прах и пепел». Речь идет о Сергее Михайловиче Шпигельглазе, занимавшем в 1938 году один из самых высоких постов в НКВД – он исполнял обязанности руководителя Внешней разведки после того, как его предшественник на этом посту Абрам Слуцкий был отравлен цианистым калием в кабинете заместителя наркома внутренних дел Фриновского.

Уроженец Гродненской губернии, Шпигельглаз родился в 1897 году в семье бухгалтера. Окончил Варшавское реальное училище, учился на юридическом факультете Московского университета, в годы Первой мировой войны был призван в армию и дослужился до прапорщика. После октябрьского переворота он заведовал финансовой частью Мосгубвоенкома, служил в так называемом Военном контроле (военной разведке), позже занимал должность начальника финансового отделения Особого отдела ВЧК. С 1922 года начинается его оперативная деятельность – Шпигельглаз нелегально работал во Франции, где участвовал в операциях по ликвидации ряда видных белоэмигрантов, во время войны в Испании был там в числе ведущих советских резидентов, а потом стал одним из разработчиков операции по убийству Троцкого.

Отталкиваясь от выше процитированного письма, можно догадаться, что именно Шпигельглаз и вербовал Шуру в своем кабинете на Лубянке. Как рас-

сказала она сама, через несколько дней они встретились снова. Именно тогда Шура и отказалась от сделанного ей предложения, сославшись на ту самую «болезнь ночи», которая упоминается в письме: она соврала, что... разговаривает во сне... Конечно, разведчица, которую собирались отправлять за границу на долгие годы, в случае, скажем, замужества, могла быть из-за этого легко разоблачена. Но, как явствует текст письма, разговор на том не закончился... Впрочем, похоже, и продолжен он не был: помешали привходящие обстоятельства – вскоре Шпигельглаз, в свою очередь, был арестован и расстрелян.

В конце концов Шура вернулась в «Интурист» и проработала там до начала войны. И... снова оказалась связана с НКВД – практически до конца Великой Отечественной лейтенант Александра Шварц служила переводчиком в 1-м отдельном дивизионе спецслужбы войск НКВД Ленинградского фронта. Занималась радиоперехватом, переводила допросы пленных... И подкармливала из своего, вообще-то небогатого, военного пайка остававшегося в Ленинграде младшего братика – моего отца, может быть тем самым спасая его от голодной смерти в блокадном городе. Не ведая, что спасает и меня – тогда еще не родившегося мальчика Витю.

Мальчик из другого круга

Что помнится мне из тех, первых лет моей жизни? Конечно же, наша двухкомнатная квартира на третьем этаже дома, четыре корпуса которого, образующие квадрат с большим двором, были построены где-то в середине 30-х годов. Говорили, что дом этот, рядом с метро «Аэропорт», был предназначен в основном для старых большевиков: им давали здесь квартиры, и их же отсюда выводили – кого в лагерь, а кого на расстрел. Я хорошо знал две такие семьи – Рубинштейнов, глава которой был расстрелян в 38-м (с его внучкой Танечкой, умершей в 14 лет от рака крови – грешили на Институт атомной энергии имени Курчатова, что располагался поблизости, – мы самозабвенно целовались, когда я приходил к ней в гости). И семью Кануги – отец мамин подруги Клавды Михаил Иванович отсидел свои 18 лет и вернулся только в 54-м, полным инвалидом (о нем много позже я напишу в своей поэме «Инвалидный рынок»).

Квартира наша была маленькая, с крохотулечкой-кухней и ванной, в которой причудами неизвестного архитектора, проектировавшего дом, было



Мой прадед Яков, прабабушка Елизавета и юный дед Сергей

«До революции жила семья деда достаточно благополучно. По крайней мере, об этом позволяет судить фотография 1891 года, сделанная в недалёком от Одессы местечке Балаклава: на ней запечатлен юный, лет шести-семи дед вместе со своими отцом и мамой. Судя

по пышной листве, отчетливо прорисованной на фото, снимок был сделан летом во время утреннего чаепития на свежем воздухе, а самовар, булочки и газета «Листок», свидетельствующая по меньшей мере о грамотности моего прадеда, дополняют эту вполне идиллическую картину...»



«Для юного Сергея Яковлевича (а было ему тогда немногим более 20 лет) участие в «революционной деятельности» в конце концов закончилось арестом, отсидкой во время следствия в знаменитой «Таганской» тюрьме и ссылкой на три года в Печорский край Архангельской губернии, где он принимал участие в экспедиции известного географа Керцели, изучавшего Большеземельскую тундру. От того времени сохранились две фотографии, свидетельствующие об этом: на одной дед сидит на оленьей упряжке, а другая зафиксировала его и еще каких-то двух «первопроходцев» возле чума..»

Юный дед Сергей



А олени лучше?



В Печорской ссылке (дед – крайний справа)

«Дед, вернувшись в 1911 году из ссылки вместе с молодой женой и поселившись в Саратове, судя по всему, перестал заниматься революцией и вышел из партии. Кстати, может быть, это мудрое решение 25-летнего главы семьи спустя годы и убергло его от сталинского террора – известно, что «отец народов» расстрелял или закатал в лагерь практически всех эсеров. Думается, что принадлежность в юные годы к этой партии дед после Октябрьского переворота держал в строгой тайне, и это, в конечном счете, убергло его от гибели...»



Юная бабушка Мария

«Вскоре в столице грянули революционные события 1905 года. Приемная мать Марии Михайловны каким-то образом оказалась в них замешана, за что и поплатилась: была в свою очередь арестована и приговорена к ссылке в Архангельской губернии. В ссылку она взяла и Марию... Круг жизненных предначертаний замкнулся: именно в Архангельской ссылке, которую, напомним, отбывал и мой дед, они и познакомились...»



*Приемная мать бабушки
Мария Николаевна*

«О родителях бабушки Марии, родившейся в 1887 году в тихом уездном Ельце, мне практически ничего не известно. Знаю только, что воспитывала ее приемная мать Мария Николаевна, заведовавшая одной из московских школ и отправившая Марию в Киев на фельдшерские курсы...»



С дочкой Ирой – моей мамой

«В 1912 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где ей предстояло провести десять лет, пережив немало событий: от прихода революции и перипетий гражданской войны до рождения дочери в 1921 году. Тогда же дед перевез семью в Москву, где вместе с бабушкой и моей матерью жил до самой смерти...»



Дед (крайний слева) с братьями Львом и Борисом

«Многочисленная семья включала старших братьев деда – Бориса, Лазаря и Льва, и его сестер Елизавету, Софью и Веру. Борис в конце 20-х работал руководителем крупного объединения «Рудметаллторг», умер в 1935 году; Лев свою зрелую пору прожил в Германии, трудился в системе Наркомвнешторга, умер в 1934-м; Лазарь стал врачом, погиб в Ленинградскую блокаду.

Сестра Елизавета вышла замуж за Абрама Эрлиха, репрессированного в 1938 году и погибшего в сталинских лагерях, сама же она дожила до 96 лет и скончалась в Ленинграде; сестра Вера умерла в блокаду; Софья, будучи вдовой – муж умер в Гражданскую войну от тифа – растила трех сыновей, умерла в старости...»



«Где познакомились мои юные дед Абрам и бабушка София, история скрывает, но известно, что через несколько лет после свадьбы, в 1915 году, спасаясь от наступления немцев (шла Первая мировая война) семья вместе с детьми – Александрой (родившейся в 1908 г.) и Ильей (родившемся в 1912 г.) из Белостока переехала в Одессу, а уж затем в Петербург, где дед продолжал трудиться в текстильном бизнесе, а бабушка воспитывала детей и обихаживала супруга...»

Илья и Александра



Отец с родителями



В лаборатории металлургического факультета Ленинградского индустриального института

«Он был безусловно талантлив, мой отец. Писал стихи, в институтские годы очень неплохо рисовал забавные шаржи на сокурсников и преподавателей, прекрасно знал историю музыки и литературы. В своей отрасли стал кандидатом технических наук и автором многих изобретений...»



*Отец. Август 1942 г.
Ленинградский фронт*



*В роли патруля
(автошарж)*



*В блокадные дни
(автошарж)*



Алиса и Манюэль Манак. 1934 г.



*Александра Шварц
в годы войны*



Испания, март 1937 г. Второй слева – будущий маршал Мерецков, в центре – испанский командир Энрике Листер, рядом переводчицы Мария Фортус и Александра Шварц



*Молодые переводчицы «Интуриста».
Александра Шварц – справа*



*Полковник
Борис Михайлович
Симонов*



*Совещание военных прокуроров.
В берете – Ирина Шрайбер*

«В 1942 году мама окончила юридический институт, существовавший тогда при Народном комиссариате юстиции. Было это в Алма-Ате, куда из Москвы эвакуировали студентов и преподавателей. Родители ее находились в это время в эвакуации в Барнауле, туда же отправилась и новоиспеченный юрист, начав вскоре свою карьеру в качестве следователя краевого управления милиции Алтайского края. Карьера эта, очевидно, двигалась успешно, так как спустя несколько месяцев ее перевели в краевую прокуратуру...»



Делю любовь меж бабушкой и мамой



Давай закурим, товарищ, по одной...

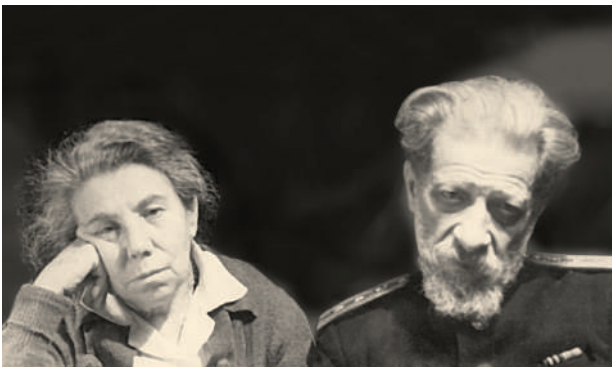


Мороз, солнце, мама...



Первый класс! (В прямом и переносном смысле)

«В стороне от Ленинградского проспекта, буквально в минутах ходьбы от нашего дома начиналась самая настоящая деревенька – вдоль узких улочек тянулись низкие деревянные домишки с покосившимися крышами, их окружали высокие деревянные заборы, за которыми росли сирень и яблони, лежали грядки, дымились печные трубы... Москва начала 50-х – местами еще полугород-полудеревня. Жила здесь красивая девочка Наташа Выборнова, к которой я ходил в гости. Учились мы вместе в первом классе 152-й школы...»



Дорогие мои старики



Наташа Светлова, Володя Безяев и я – члены команды КВН

«Педагогический институт имени Крупской, первый курс факультета русского языка и литературы – шесть ребят на нашем потоке и все остальные – девчонки: почти взрослая, самостоятельная жизнь, не подчиненная казарменным правилам и потому особенно привлекательная. И плевать, что стипендия – всего 28 рублей: всегда можно подработать было бы желание.

Быстро отсчитывающие время, словно счетчик в такси, веселые студенческие годы: знаменитая «картошка» по осени – уборка урожая в подшефных колхозах, зубрежка перед сессией, шпаргалки, с заметным искусством изготавливаемые к экзаменам, только входящие в моду КВНы...

И вот наша факультетская команда, куда входил и я, едет в Кишинев – на встречу с «квнщиками» местного пединститута...»



Не пою, а агитирую

«Отправляясь в армию выполнять «конституционный долг», я уже знал, что предназначена мне должность освобожденного секретаря комсомольской организации. Спустя месяц с начала моей службы все и произошло: сверху, из политотдела, дали команду, и на отчетно-выборном собрании я был избран единогласно и равнодушно – бойцам было вообще-то глубоко наплевать, кто у них будет руководить комсомолом. Так, достаточно неожиданно для себя, я заделался комсомольским работником...»



«В те годы «Московская правда» располагалась в большом здании, что вместил квадратный двор на Чистых прудах. Здесь же находились редакции столичных газет «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец» и областной «Ленинское знамя». Но для меня на первых порах этот большой, кипящий журналистский мир был сужен до размера так называемого «предбанника» – небольшой комнатки, где сидели внештатные корреспонденты отдела информации «МП»...»

Здание «Московской правды»



Первые шаги репортера: в компании с Сергеем Михалковым и «папой» Читтолино итальянским писателем Джанни Родари



*Американский певец Дин Рид
был кумиром в нашей стране*

«Атмосфера того времени в газете, несмотря на всю ее партийность, была проникнута неким духом вольнодумства и даже своеобразного фрондерства. Конечно, это никак не сказывалось на содержании «МП», существовавшей под неусыпным контролем всесильного тогда в Москве первого секретаря горкома партии Виктора Гришина. Но шутки, подначки, приколы, а также постоянные «междусобойчики» в редакции и ресторанчике-«стекляшке» на Чистых прудах как-то сглаживали, размягчали среду существования журналистского коллектива...»



С друзьями по «Мосправде» Ниной Баталовой и Андреем Разиным

«Вообще «МП» подарила мне на долгие годы многие дружбы и многие привязанности...»



Миша Стоянов и его жена Лариса с моим внуком Максимом в США

«Дружеская приязнь соединила нас и с Мишей Вельманом, всю жизнь маскировавшим свою далеко не арийскую фамилию звучным псевдонимом «Стоянов». Работал он в иностранном отделе газеты, а теперь проверяет «их нравы» воочию, ибо жизнь закинула его вместе с супругой Ларисой в далекий Нью-Йорк.



Лев Колодный

«Имелся в «МП» и суперкорифей – специальный корреспондент газеты Лев Колодный, репортер и очеркист, воспевающий Москву во всех ее проявлениях. Помимо умения «сделать из говна конфетку», Лев Ефимович замечательно владел великим русским языком, особенно в части ненормативной лексики. И поскольку, очевидно, был стеснен возможностями употребления этой самой лексики на страницах городской партийной газеты, с успехом применял ее в устной речи: его могучий бас порою перекрывал весь этаж, который занимала «Московская правда»...»

сделано окно, выходявшее прямо на соседний корпус. Почти весь коридор заполнял мощный буфет с резными дверцами и множеством отделений, в которых дед хранил папки с какой-то мало кому нужной перепиской и пожелтевшие газеты, не позволяя никому под страхом смерти притронуться к ним. В большой комнате с одним окном, куда едва проникал свет (ему мешал мощный тополь, росший во дворе), жили родители и я. Маленькая комнатка, почему-то с двумя окнами (ох уж эти чудеса планировки) была отдана родителям мамы – там стояли их две железные кровати, платяной шкаф и стол. Маленьким я любил, забравшись на шкаф, прыгать оттуда на кровать, высоко подлетая на пружинившей сетке и вызывая тем самым у стариков едва ли не предынфарктное состояние.

Конечно же, любимым местом игр был двор – гигантский пятак, обнесенный высокой металлической оградой. Внутри и находилось прибежище детских забав: качели, тяжелая карусель на деревянном помосте, которую вручную вращали родители, а дети важно располагались на металлических сиденьях, цветочная клумба, песочница... Весь этот двор щебетал, смеялся, свистел, вскрикивал, плакал, его переполняли звенящие голоса детворы и надзирающие окрики их мамок и нянек.

Со временем появился во дворе и сколоченный из небрежно обструганных досок стол для пинг-понга – именно так и не иначе называли тогда настольный теннис. Только вместо сетки (у кого тогда был настоящий пинг-понг?) разделяла этот стол еще одна доска, а ракетки ребятня мастерила сама, выпиливая их из кусков фанеры. Зато шарики были те, что надо... Ох, как берегли их тогда! Не дай Бог по неосторожности наступить на шарик и чуть сплющить его – все, ты надолго был отлучен от пинг-понга: до тех пор, пока всеми правдами и неправдами не раздобудешь новый шарик.

Тайною тайн для нас, мальчишек, были расположившиеся сзади дома гаражи – стояли в них редкие по тем временам, привезенные с войны трофейные машины, да 401-е «Москвичи» и «Победы». Владельцев их мы видели нечасто, но сами машины, въезжавшие в распахнутые металлические двери, полутемный мир железа, бензина и масла, манили и притягивали с неизбывной силой.

Там-то и произошел со мною лет в пять-шесть нечаянный казус... Гуляя как-то около гаражей, я увидел, что у одного из них створки распахнуты. В гараже никого не было... Прокрался внутрь... И первое, что увидел, – лежащие на одной из полочек наручные часы «Победа».

О, часы! Предмет вожделения всех мальчишек, высочайшая и редчайшая в начале 50-х годов ценность. Юные обладатели наручных часов занимали высокое место в дворовой иерархии – с особым шиком демонстрировали они циферблаты на широких кожаных ремешках, пренебрежительно, через губу, отвечая на вопрос малолеток, который час. Владельцев часов уважали, их принимали в любые игры и в любые компании. На часы можно было выменять все, что угодно, их, в конце концов, можно было продать за большие по тем временам деньги. Поистине в дворовой системе ценностей они занимали самое высокое место – выше находился, пожалуй, только велосипед.

Ну как тут было устоять! Не знаю, какие уж злые чертики проснулись во мне, но, схватив без присмотра лежащие часы, я тут же дунул домой, чтобы спрятать их как можно надежнее...

И вот настал вечер... Вскоре возвратилась с работы мама и, наскоро перекусив, призвала меня пред светлые очи свои.

- Ты гулял сегодня? – спросила она.
- Гулял, мамочка, – потупив взор, отвечивал я.
- А где ты гулял?
- Во дворе.
- А возле гаражей?..

Сердце мое затрепетало и провалилось в район пяток. Я понял, что вот-вот буду разоблачен, но продолжал упираться, как Зоя Космодемьянская на допросе.

– Дело в том, – продолжала мать, – что у нашего соседа в гараже пропали часы. Он отошел на несколько минут, а когда вернулся, часов не было. Зато он видел тебя. Ты случайно не брал его часы?

Конечно же, я все отрицал. Но мать, да к тому же юриста, было непросто сбить с толку. И она решительно заявила:

– Что ж, если ты не хочешь сказать правду, значит, тебя надо отвести в милицию. Пусть там разбираются!

Боже, милиция! Для мальчишки не было, пожалуй, ничего страшнее этого слова. Суровый участковый в черной шинели, туго перепоясанной кожаным ремнем, наводил страх на всех малолеток, его слушались даже отпетые хулиганы, а такие тоже имелись в нашем дворе. Чего стоил хотя бы один Алимов – тринадцатилетний сын дворника. Он бил всех пацанов, отнимал у них конфеты, деньги. Помнится, однажды летом мы с мамой вернулись домой – старики были на даче – и увидели, что вся наша квартира забросана комьями земли... Именно участковый тогда установил, что

их в открытое окно набросал тот самый Алимов – ну не нравилась ему наша семья, жида поганые! Но и сам Алимов боялся участкового, что уж говорить обо мне...

Тем не менее до самой милиции я шел, закусив губу, чтобы не разреветься. И только переступив порог этого узилища, почувствовав его тошнотворный запах, увидев людей в форме, не выдержал и заревел, тут же во всем признавшись матери.

И она отправила меня отдавать краденые часы этому дядьке из гаража!.. Боже мой, как же стыдно мне было... Этот стыд и сегодня остался в памяти – горячей волной, заставившей трепетать маленькое сердечко. Так на всю жизнь запомнил я преподанный мне матерью суровый урок – воровать нельзя... И все же воровать мне впоследствии доведется – по ночам в интернатской столовой таскали мы, голодная ребятня, черняшку из хлебоборезки, но на то были особые обстоятельства, и расскажу я о них особо...

Было у нас для игр, а позже и для прогулок с любимой девочкой Жанной, и еще одно замечательное место – аллея, что широкой разделительной полосой лежала во всю длину Ленинградского проспекта. Изничтоженная в период руководства Москвой Лужковым, а в ту пору засаженная мощно вымахавшими кленами, липами и тополями (говорили, что сажали их после войны пленные немцы), она была удивительно уютна, особенно осенью, когда ворохи подпаленных уходящим солнцем листьев засыпали ее дорожки. Листва как бы впитывала шум машин, летящих по проспекту, словно отгораживая от большого города этот маленький кусочек живой природы, которому в детстве я посвящу наивные и трогательные стихи:

*Моя любимая аллея на проспекте,
Где листья так уютно шелестят,
Где каждое мне деревце знакомо,
Где много так девчонок и ребят.
Там на коньках и лыжах я катался,
Там множество встречал знакомых лиц.
Там, на аллее, в солнце я купался,
Там я, весну встречая, слушал птиц.
И о тебе, аллея, не забуду,
Из памяти ты не уйдешь моей.
Я об аллее этой помнить буду,
Хоть в жизни встречу множество аллей.*

И еще одно притягательное место, давно стертое с карты города, не стерлось из памяти. В стороне от Ленинградского проспекта, буквально в минутах ходьбы от нашего дома начиналась самая настоящая деревенька – вдоль узких улочек тянулись низкие деревянные домишки с покосившимися крышами, их окружали высокие деревянные заборы, за которыми росли сирень и яблони, лежали грядки, дымились печные трубы... Москва начала 50-х – местами еще полугород-полудеревня. Жила здесь красивая девочка Наташа Выборнова, к которой я ходил в гости. Учились мы вместе в первом классе 152-й школы, и однажды на новогоднем балу, где она была Принцессой, а я Котом в сапогах, получили первые премии. Может быть, это и была моя самая первая любовь, хотя, конечно, я тогда этого не понимал, а вот поди ж ты, запомнил на всю жизнь.

Спустя многие годы, разговорившись как-то со своим близким, хотя и старше меня, приятелем, замечательным писателем Аркадием Аркановым, я неожиданно для себя узнал, что приблизительно в то же описываемое мною время он, после окончания медицинского института, работал участковым врачом примерно в том районе, где мы жили. Михалыч прекрасно помнил и глухие заборы, и покосившиеся домики, и гигантские сугробы, в которых он бесконечно увязал – тогда еще молодой доктор. В самом первом номере придуманной в нашем издательском доме газеты «Врачебные тайны», вышедшем в 1997 году, он по моей просьбе опишет докторские подвиги тех времен и впервые опубликует свои стихи, уводящие, словно нить Ариадны, в то далекое прошлое:

*Зарябили мурашки по коже,
И вздыхаю я часто-часто.
Знать, пора в этот день непогожий
Выходить мне на свой участок.*

*Мне пешком идти неохота,
А в кармане чуть меньше полтинника.
Позвала меня на работу
Мать родная, мать-поликлиника...*

*Я иду от большего к меньшему,
Не страшны мне ни званья, ни чин...
Сколько видел я голых женщин!
Сколько видел я голых мужчин!*

«Это что там за дядя, мамаша?».
И ответила мать толково:
«То не дядя, не бойся, Маша,
То не дядя, то наш участковый».

...Ах, весна! Уж короче ночька.
Чем помочь вам, милые? Нечем!
Ах, весна! Распустились почки!
Ах, весна! Разболелась печень!

Я порою стою под забором,
Не решаясь войти без спроса...
Двери заперты. Ах, запоры!
Даже летом сплошные... щеколды!

Эх, ты, жизнь моя, скука зеленая!
Эх, ты, доля моя участковая!
Как напьюся я спирта казенного,
Закушу свечой анузоловой...

Поздний вечер, сгущаются тени.
Спать ложатся мальчишки дворовые...
Ну, а я все ношу бюллетени,
Все – с больной головы на здоровую...

Зарябили мурашки по коже...
И вздыхаю я часто-часто...
Знать, пора в этот день непогожий
Выходить мне на свой участок...

Все эти улицы с деревенскими домишками и водоразборными колонками, где когда-то ходил молодой доктор Арканов, зябко кутаясь в кургузое пальтецо, натянутое на белый халат, и пугаясь цепных собак, словно бы втягивались в жерло еще одного, притягательного для нас, мальчишек, места, носившего название Инвалидный рынок. Был это и вправду рынок, пропахший насквозь запахом солений, кислого пива и крепкого табака-самосада. Почему Инвалидный? В здешней пивной собирались инвалиды, вернувшиеся

с Великой Отечественной – кто на костылях, а иные – лишившиеся обеих ног, на тележках, оснащенных четырьмя колесиками-подшипниками. Эти въезжали на рынок, лихо отталкиваясь от асфальта или снежной жижи специальными дощечками с перебинтованными рукоятками, весело матерясь и беззлобно переругиваясь с торговками. Существовать на мизерную пенсию, которую установило им «заботливое» государство, они, конечно же, не могли и поэтому перебивались всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а рынок с его пивной, занавешенной дымом махорки, был для них своеобразным клубом, единственным местом общения и возможного заработка.

Позже они все куда-то исчезнут... Говорили, что их выселили из Москвы – то ли на Соловки, то ли за 101-й километр, куда власти всегда отправляли «неподходящую» публику (в 70-х тунеядцев и проституток), дабы не портить «имидж» столицы самого гуманного в мире государства... Впрочем, с годами исчезнет и само прибежище инвалидов, где мы могли крутиться часами в надежде выпросить какое-нибудь лакомство или подсобить чем могли торгующим гражданам, дабы заработать несколько копеек на мороженое. На этом месте возведут серую железобетонную громаду существующего и поныне Ленинградского рынка. И только в памяти останется горький привкус трагедии, постигшей искалеченных войной и брошенных властью обитателей этого рынка. Я всю жизнь буду ощущать этот привкус, пока в 2005 году не напишу поэму, о которой я уже упоминал и которую так и назову – «Инвалидный рынок».

Исчезнет и сама деревушка: вместо нее построят кооперативы писателей, работников цирка, другие многоэтажные коробки. Но я этого уже не запомню, ибо в то время меня, забрав из школы, отдадут в интернат, что находился далеко от моей «малой родины» – в Текстильщиках...

Не запомню я и того момента, когда знаком, предшествующим этому, в нашем доме зазвучало царапающее слово «развод». Они поженились в 1948 году – мои мать и отец. У отца это был второй брак – первым, прекращенном в том же 48-м, он был почти десять лет женат на двоюродной сестре матери – Лидии Борисовне. «Все смешалось в доме Облонских», все смешалось и в нашей семье. Отец ко времени своего второго развода – в 1954-м, – уже окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и работал в каком-то «почтовом ящике» – так называли тогда засекреченные предприятия, обслуживающие оборонную отрасль. Для матери – юристка одного из московских трестов – это был первый брак (ставший, как и для отца, последним) и, соответственно, первый развод.

Пытаюсь ли я сегодня понять его причину? Скорее я пытаюсь понять психологию двух близких мне людей, для которых родившийся ребенок не стал оплотом их совместной жизни, и жизнь эта была разрушена, приведя обоих, в конце концов, к одиночеству, а может быть, в какой-то степени и ускорив смерть и того и другого.

От отца у меня сохранилось немало документов. Но я расскажу только об одном из них. Пожелтевшая от времени, в четверть листа, самодельная книжица... На ее обложке выцветшие чернила сохранили надпись: «Илья Шварц. Баллада о кастрюльке. Ленинград, 1943-й год». И далее: «Моей матери посвящаю. 16 ноября. Вторник».

Я позволю себе привести эту балладу целиком, и не только потому, что написана она моим отцом. Но еще и потому, что писалась она в блокадном Ленинграде, в черные, насквозь промерзшие дни, когда город – житель за жителем – умирал, лишенный тепла и хлеба. И еще потому, что, на мой взгляд, это чистый и честный документ – один из многих, связанных с войной, и все же неповторимый, восстанавливающий события тех страшных дней. И, может быть, дающий ключ к пониманию моего отца, его мыслей и души.

Баллада о кастрюльке

Я не знаю, откуда у нас в доме появилась эта кастрюлька. По всей вероятности, вездесущий папа притащил ее во время одного из своих хозяйственных рейсов.

Маленькая, пузатая, алюминиевая, с двумя ручками, она стала незаменимой в нашем обиходе. В ней кипятили молоко, варили картошку, яйца, грели воду. Она закалилась в жарком, синем венчике шумливого и капризного примуса и прокопtilась в спокойном, но коварном пламени керосинки.

Она стала как боец, прошедший долгую войну, – темная, ноздреватая.

Она стала так привычна, что без нее не могли обходиться, но перестали ее замечать. Зачастую, возвращаясь поздно домой с затянувшейся ли работы, с занятий ли в институте, из театра или приятного свидания с милой девушкой, я находил на столе, на маленьком кусочке бумаги, но на очень видном месте записочку, написанную кратко и мелким почерком: «Не забудь покушать. Каша под подушкой на диване».

Это значит, милая педантичная мама не дождалась меня и легла спать.

И, действительно, под диванной подушкой, завернутая в несколько слоев газетной бумаги, оказывалась маленькая алюминиевая кастрюлька с горячей, как будто только что приготовленной кашей.

Так и жила эта кастрюлька, незаметная, услужливая, верный, неодоухотворенный пес нашего семейного быта.

Затем она потекла, и у нее отклепались ручки, но даже с неизящно приваренным дном и с четырьмя дырочками по бокам она продолжала нести свою службу, не потеряв незаменимости.

Грянула война... После долгих препирательств, увещеваний и слез в один из последних дней августа родители уехали из Ленинграда, к стенам которого рвались с запада дикие бронированные гитлеровские орды...

В последний раз на меня взглянули из окна вагона заплаканные глаза матери... В последний раз среди отъезжающих промелькнуло растерянное, бледное, с трясущимися губами лицо отца...

Поезд откатился от перрона, ускорил ход и ... ушел.

Я остался один.

* * *

И вот я стал жить один. Я теперь не каждый день приходил домой.

Работа, круглосуточные дежурства, военная подготовка, эвакуация оборудования занимали много времени.

Но какая-то сила по инерции влекла меня в опустевшую квартиру на улице Некрасова.

Видимо, для того, чтобы облегчить мое существование, родители оставили мне пожилую приходящую домработницу с высокопарным именем.

Гонората – так звали ее. Но душа ее не лежала к службе.

Когда я приходил домой, холодные, невкусные блюда ждали меня на столе в знакомой алюминиевой кастрюльке.

К тому же начались бомбежки, отопление бездействовало, надвигалась холодная осень, а за ней лютая зима.

Нормы выдачи продуктов уменьшались.

Гонората закапризничала, и я не задерживал ее. Ведь я был для

нее только «работодателем», а в этот период рушились более прочные вещи, чем такого рода договоры.

* * *

Прошел октябрь, ноябрь, потянулся декабрь, а за ним мучительно длинный январь. После потрясений осени с начала зимы наступила страшная тишина.

Город, скованный морозами, лишился света, тепла, трамваев, воды, канализации. За его стенами, лязгая зубами от холода и бес- сильной ярости, расположилась банда каннибалов.

Это война, это блокада...

В черте города люди, ослабевшие от страшного голода, борются, умирают, но не сдаются.

Это война, это блокада...

* * *

В ноябре немцы были окончательно остановлены у стен Ленинграда, а в декабре отброшены от стен Москвы.

Чьи-то слабеющие, но упорные руки тянули ладожскую ледо- вую трассу.

Кто-то, стиснув зубы от напряжения, от холода, от усилия воли, вел через эту трассу автоколонны с продовольствием для ленин- градцев.

В феврале воины Волховского фронта нанесли врагу серьез- ный удар.

Наши тяжелые испытания стали приближаться к концу.

Вот в этот момент среди грязных, прокопченных, полубольных, но выстоявших, выдержавших людей пробудилась яростная жажда жизни.

Все стали кулинарами, домохозяйками, все пытались из скром- ных выдач тех времен приготовить нечто необыкновенное. Люди уже не сидели неподвижно около печурок и камельков, а копоши- лись около них, освещая себя коптилками. Они замачивали горох, подсушивали хлеб, нарезанный тонкими ломтиками, они разыскива- ли в своих опустевших холодных квартирах остатки всяких специй: тмина, горчицы, перца, уксуса, корицы, лаврового листа...

Вот в этот-то период в один из своих рейсов домой я обнаружил там старую алюминиевую кастрюльку. Я взял ее на завод. Я не оспаривал лавры у кулинаров. Нет! Вечером, после всех, в жарко натопленной печи в кастрюльке кипятился кофе, вернее, то, что напоминало кофе.

Девушки, мои бывшие ученицы, а ныне дежурные ПВО, подливали в кастрюльку воду и молча наполняли мою кружку. Сидя в полутьме поодаль от печки, я медленно пил этот напиток и неторопливо съедал свой дневной паек хлеба.

Это был не ужин. Нет.

Это было лекарство от голодной бессонницы. И оно помогало.

К тому же других лекарств не было.

* * *

Пока я пью нечто, лишь по цвету напоминающее кофе, вся моя жизнь последнего времени проходит перед глазами.

Вот в каске и с фонарем я стою на командном пункте цеха. Протяжный вой сирен. Воздушная тревога...

И в тот же момент страшный удар потрясает стены. Рушится штукатурка, гаснет свет, валятся шкафы, звенит разбитое стекло...

Это вражеская авиабомба.

Вот вместе с другими я сижу в безмолвии возле печки. Нет света, нет воды, нет пищи. За стенами занесенного снегом цеха мрак, холод, голод и смерть.

Кажется, не будет конца этому ледяному безмолвию.

Слабость разлита по всему телу. Это конец?.. Нет! Нет! И еще раз нет!

Вот, изнемогая от мучительной боли во всех суставах, вместе с тысячами других я скалываю полуметровый лед на набережной...

Вот с ногами, не гнушимися от цинги, я прохожу военную подготовку...

Вот, проваливаясь по колено в болоте, я тащу из леса на плече тяжелые бревна...

Вот, задыхаясь от болезненной одышки, с трудом держась на распухших ногах, я работаю в холодном, сыром и полутемном цехе. Еще и еще раз проверяю результаты своей работы... Да, нет сомнений! Предложенный мною метод проведения технологического процесса

увеличивает производительность и экономит стране сотни и тысячи тонн дефицитного химиката...

* * *

Прошло еще 3 месяца.

Моя судьба резко изменилась... Но вместе с теми вещами, которые я успел взять в спешке сборов, был и мой старый друг – алюминиевая кастрюлька.

Когда еще через 3 месяца меня спешно обряжали на фронт, на меня не хватило котелка.

Меня не лишили его, а просто записали один котелок на двоих.

Но в первые же дни я поехал в одну сторону, а мой компаньон с котелком – в другую.

Тогда я мобилизовал свою кастрюльку.

Она была очень мелка, и через дырочки подтекал наш неизменный суп. Алюминий быстро нагревался и жег руки нестерпимо.

Когда мы выстраивались длинной чередой у походной кухни и, получив свою порцию, уступали место следующим, все бежали обратно с котелками в лагерь к кострам, грели пищу и неторопливо ее поедали. Я же опускался на землю около кухни и ел в одиночестве. Утром и вечером, когда осенняя мгла плотной пеленой окутывала землю, это было неприятно.

Моя кастрюлька не оставляла меня совсем голодным, но, как старый и строгий друг, регулярно напоминала мне о том, как страдает тот, кто не умеет устраиваться в жизни.

Впоследствии я постарался приспособить свою кастрюльку. Я закрыл дырочки обрезками резиновой губки и замотал их в несколько слоев веревкой. Для того чтобы не жгло руки, я вставлял кастрюльку с супом в собственную пилотку.

Бережно держа ее перед собой, как самую драгоценную ношу, осторожно переступая, я нес ее до самого лагеря.

Я шел сосредоточенно, с непокрытой головой.

«И эх, парень! Пропадешь ты со своей посудинкой, несешь ее ровно купель», – острили, обгоняя меня, счастливые владельцы котелков.

А от начальства мне влетало. Начальство не могло примириться с такой профанацией головного убора.

Но никому не пришло в голову снабдить меня котелком.

А у многих их было по два...

Что поделаешь: условия делают людей эгоистами.

Условия были тяжелыми.

И все же, когда разразился табачный кризис, я буквально за поюшку табака раздобыл котелок.

Я научился устраиваться в жизни...

Вскоре я стал писарем, то есть представителем власти, и поэтому не терпел нужды в котелках.

Но когда я должен был уехать, у меня отобрали котелок и целые сутки меня снова выручала моя алюминиевая кастрюлька.

* * *

И вот я снова в Ленинграде. Я вернулся в мир, в котором мы не ощущаем недостатка в вещах – настолько, что мы перестаем их замечать.

Чужие и холодные руки многоголового существа, именуемого «общественное питание», готовят мне пищу в больших котлах.

Чужие равнодушные руки торопливо и небрежно ставят передо мною эту холодную и невкусную пищу, отвешенную в металлические тюльпаны.

Былая сила уже не влечет меня в мою квартиру на улице Некрасова. Там пусто, грязно и нелюдимо. Но все слишком напоминает о былом. Я живу на заводе. Мой верный друг – алюминиевая кастрюлька – лежит дома в моем вещевом мешке. Быть может, ей придется выручать меня во всех новых неприятностях рядового пехотинца Великой армии Великого народа. Кто знает? Война еще не кончена.

* * *

Иной раз так хочется верить, так до боли хочется верить, что все это скоро кончится, что мы вернемся к прежней жизни, что кончатся страдания, лишения, разлука с близкими, что иссякнет река крови и слез, и вечером, вернувшись домой с затянувшейся работы или из театра, я снова найду на столе, на видном месте написанную мелкими буквами записочку: «Не забудь покушать, каша под подушкой на диване». И под диванной подушкой я снова, как годы назад, найду завернутую в

несколько слоев газетной бумаги маленькую алюминиевую кастрюльку с чем-нибудь таким, что могут приготовить только родные, любящие, заботливые руки матери.

Возникают и кончаются войны. Меняется карта мира. Рушатся великие произведения гениальных людей, хороня их творцов под своими обломками. В муках, страданиях, грязи и крови, в поте и слезах рождается новая справедливость или... новая несправедливость.

Люди дичают, болеют, озлобляются и умирают.

Люди теряют друг друга и снова находят, или находят других...

Люди в мучительном ожидании развязки ускоряют и без того стремительный бег времени.

Люди стареют, и изменения в их душах красноречивее и неотразимее, чем прядь седых волос.

Но для наших стареньких и седеньких мам, какими бы мы ни были, постаревшими ли от переживаний, или от болезней и лишений, мы всегда остаемся только беспомощными, большими и вместе с тем маленькими детьми.

Он был безусловно талантлив, мой отец. Писал стихи, в институтские годы очень неплохо рисовал забавные шаржи на сокурсников и преподавателей, прекрасно знал историю музыки и литературы. В своей отрасли стал кандидатом технических наук и автором многих изобретений. Он был нежным, заботливым сыном и братом, тяжело пережив смерть родителей и оставаясь преданным сестре, тоже живущей одиноко – в Ленинграде. Наверное, был он и любящим отцом – я почти не успел этого почувствовать, ибо скончался он в 1969 году, когда мне только-только исполнилось 19 – сказались и блокадная дистрофия, и слабые сосуды. Но я успел ощутить, что мы начинаем быть с ним близки: поступив в институт и приходя в его маленькую комнату в коммунальной квартире, где он жил после развода с матерью до самой смерти, я все чаще оставался здесь надолго, и мы вели продолжительные разговоры, нередко касаясь «взрослых» тем. Он еще успел побывать у меня на свадьбе и познакомиться с моей первой женой Люсей, а вот моего первого развода уже не застал...

В его жизни, пожалуй, не было более значимых событий, чем война, блокада, отправка на фронт «рядовым необученным», затем снова возвращение на завод и, как финал всех этих событий, вручение скромной, но очень весомой для ленинградцев медали «За оборону Ленинграда».

Очевидно, и рождение сына стало для него тоже значимым событием, но до моего повзреления виделись мы с ним нечасто – развод продиктовал ему жесткое расписание наших встреч по субботам или воскресеньям. В эти дни отец забирал меня из дома, и мы шли с ним гулять, он читал иногда смешные стишки, мне посвященные, наградив меня однажды запомнившимся и ничуть не обидным прозвищем «Гогочка Засикин» – маленький, я, во время наших прогулок частенько просился в туалет.

Много позже, уже став взрослым, я вместе с композитором Аркадием Укупником напишу песенку «Отец на воскресенье». Она не станет шлягером, но отразит то, что я чувствовал в то время, когда отец, исчерпав отведенное ему мамой время наших встреч, провожал меня домой и снова уходил в свою маленькую холостяцкую комнатку, а я оставался ждать его – до следующего воскресенья, до нашего нового свидания...

Он был против того, чтобы мать отдала меня в интернат, но ничего не мог поделать, и в дни, когда меня отпускали домой – в те же субботы и воскресенья, – все так же приходил на наши свидания, с годами чувствуя себя все хуже, что заставило его приобрести палку, на которую он отныне тяжело опирался во время наших прогулок.

А ведь был отец красивым мужчиной и, уверен, пользовался вниманием женщин – после смерти в его альбоме я найду фотографии некоторых из них. Но семейная жизнь его так и не сложилась. Почему? Быть может, из-за непростого характера, постоянного чувства одиночества, что проявится в его стихах, некоей аскетичности в быту, привычке скрупулезно подсчитывать свои доходы и расходы, отказывая себе порою в самых элементарных радостях, дабы посылать деньги родным в Ленинград и исправно выплачивать алименты. Брак его с матерью длился всего семь лет, и только на излете его жизни они, объединенные общей заботой о поступлении сына в институт, а потом и о моей свадьбе, начнут перезваниваться и даже в чем-то советоваться друг с другом. Мать вместе со мною придет и на его похороны, но не прольет ни слезинки, но (я это запомню) другая, незнакомая нам женщина будет рыдать над гробом отца, а почему именно она, отец мне об этом уже никогда не расскажет...

Впрочем, может быть, было и другое объяснение, почему мать не плакала на тех похоронах. Мне всегда казалось, что она была скупа на проявление эмоций. Как знать, не профессия ли наложила здесь свой отпечаток: в 1942 году она окончила юридический институт, существовавший тогда при Народном комиссариате юстиции. Было это в Алма-Ате, куда из Москвы эвакуировали студентов и преподавателей. Родители ее находились в это время в эвакуации

в Барнауле, туда же отправилась и новоиспеченный юрист, начав вскоре свою карьеру в качестве следователя краевого управления милиции Алтайского края. Карьера эта, очевидно, двигалась успешно, так как спустя несколько месяцев ее перевели в краевую прокуратуру.

Сохранился «Служебный отзыв на старшего военного следователя прокуратуры, мл. лейтенанта юстиции т. Шрайбер Ирину Сергеевну», подписанный военным прокурором, майором юстиции Мальцевым. Документ этот, может быть, и не столь любопытен для историков, но, во всяком случае, он позволяет почувствовать атмосферу того времени, дух сталинской эпохи.

Тов. Шрайбер, 1921 года рождения, член ВЛКСМ с 1937 г., образование – высшее юридическое, в органах прокуратуры с февраля 1943 года.

За время своей работы в прокуратуре Зап.Сиб. бассейна [*так тогда называлось территориальное деление, входившее в состав Министерства речного флота СССР – В.Ш.*] с мая 1943 г. по октябрь закончила 64 дела на 79 человек, или в среднем 12,8 дел в месяц. Прекращено в стадии следствия 3 дела, возвращено на доследование 1 дело, оправдан из числа преданных суду 1 человек. Будучи молодым работником в органах прокуратуры, т. Шрайбер проявляет большой интерес к работе, если не считать отдельных мелких упущений, дела расследует качественно, весьма инициативна и оперативна. По ряду дел, переданных т. Шрайбер из милиции, провела глубокое расследование, разоблачив истинных виновников хищений, не вскрытых милицией (дело по обвинению Колесникова, Баркова и Стадниченко), проявляя должную настойчивость, по своей инициативе возбудила ряд актуальных дел (дело по обвинению Юкова по ст. 193-17 п. «в» УК) и другие. Принимает активное участие в розыске и задержании дезертиров (самостоятельно разыскала и задержала в октябре 3 человека).

В работе дисциплинирована, культурна.

Заслуживает быть отмеченной к XXVI Годовщине Октября как лучший следователь в бассейне.

Не знаю, каких уж там дезертиров ловила мать за многие тысячи километров от фронта... В том, 43-м году, сотни тысяч людей гибли не только на фронтах Великой Отечественной, но и в сталинских лагерях, засаженные туда

ретивыми следователями, которые исправно служили Системе, ибо также могли быть уничтожены в любой момент. Не виню ее в этом, поскольку нет у меня фактов на сей счет. Впрочем, служба Ирины Сергеевны в далекой от войны сибирской прокуратуре была недолгой: в начале 44-го года родители вместе с дочкой вернулись в Москву, и мать начала трудиться в военной прокуратуре канала Москва–Волга.

И только за год до Победы, в мае 44-го, она оказалась в составе действующей армии – в военной прокуратуре Днепро-Двинского бассейна, входившей в состав 4-го Украинского фронта. Хотя находилась эта прокуратура в глубоком тылу, все же после войны Ирину Сергеевну наградят медалью «За победу над Германией» – она полагалась всем фронтовикам.

Я не случайно пишу об этом. Пройдут многие годы, и на старости лет мать, страдая глубоким расстройством психики, станет причислять себя к боевым офицерам, рассказывая легенды о своих подвигах на войне и гордо демонстрируя многочисленные ордена и медали – их на протяжении многих лет будут вручать и подлинным, и мнимым фронтовикам от имени Брежнева: впавший в маразм генеральный секретарь не только увенчает себя всеми мыслимыми и немыслимыми наградами, но и щедро нашлепает их для народа.

А вот профессионалом мать была замечательным – она выиграет немало арбитражных дел, будет отчаянно сражаться за тех, кто волею случая оказался под ударом Уголовного кодекса, станет одним из известных юристов Москвы, возглавив юридический отдел Главного управления капитального строительства Моссовета – нынешней мэрии. И «сломается» в 55 лет – тогда, поссорившись со своим начальником, она швырнет ему заявление об уходе на пенсию в полной уверенности, что он его не подпишет, а он подпишет это заявление, и на следующий день матери будет некуда идти и нечем заняться...

Именно тогда, думается, и начнутся те необратимые изменения в ее мозге, которые в конечном счете полностью изменят адекватность восприятия ею мира. Она всегда гордилась тем, что является «деловой женщиной», и, оставшись не у дел в абсолютно работоспособном возрасте, наверное, потеряла ту жизненную опору, которая поддерживала ее на плаву.

К тому времени отношения наши окончательно испортятся. Впрочем, начнется это за много лет до описываемых событий, и не будет в том изначально моей вины – еще во время развода с отцом мать отдаст меня, четырехлетку, в загородный детский сад, и я буду приезжать домой только раз в полгода. Так она вырвет меня из домашней «сферы обитания» – до самой школы. Но и в обычной школе я проучусь недолго: через четыре года Ирина Сергеевна «уст-

роит» меня в интернат – на долгие шесть лет. Только по субботам и воскресеньям я буду возвращаться домой – интернатский ребенок, оторванный от родителей, бабушек и дедушек.

Маленький, едва ли что понимающий, затравленный зверек, безжалостно брошенный в жестокий мир казенного детского учреждения... Спальня на шестнадцать мальчиков, подъем – в семь (а за окнами еще ночь, плотная позимнему), резкий свет ламп, включенных дежурным воспитателем, одеяло, сброшенное его безжалостной рукой со свернувшегося в комочек, пригревшегося детского тельца... Быстро умываться, одеваться, построились, марш на завтрак в столовую (где в железных мисках вязкая геркулесовая или пшенная каша на воде, вся в комках и осклизлостях, да чай в металлических кружках), все – поели, попили, построились, шагом марш на занятия в классы, уроки, перемены – не бегать! не кричать! не играть! – звонок с уроков, обед (суп в металлических мисках, второе – в металлических тарелках, компот в металлических кружках), все – поели, попили, построились, шагом марш на прогулку во двор, прогулка закончилась, построились, шагом марш на самоподготовку – что нам задавали на завтра? – самоподготовка окончилась, построились, шагом марш на ужин (серые макароны в металлических тарелках, чай в металлических кружках), все, поели, попили, построились, два часа свободного времени – может, телевизор посмотрим или во дворе в футбол погоняем? – все, марш по спальням, отбой – и рука воспитателя гасит свет ...

И так пять дней в неделю – на субботу и воскресенье тех, у кого есть родители или другие родственники, отпускали домой – до понедельника, до нового витка казенного однообразия. И так шесть лет – до выпускного вечера, до прощания с интернатом – отнюдь не грустного, а долгожданного и потому радостного.

Казенный дом... Казенная одежда – форма, пальто, брюки, рубашки, ботинки, майки, трусы. Казенное постельное белье – простыни, наволочки, одеяла, все – не твое, не домашнее – интернатское, пропитанное холодным запахом хлорки. Казенные слова: «кастелянша» – та, что выдает одежду и белье, «дежурство по столовой» – наш класс накрывает столы и расставляет многолитровые чайники, «хлеборезка» – там надо получить хлеб и разнести его «на всех», и ты сам – не ученик, не школьник – «воспитанник интерната». Над тобой высший командир – воспитатель класса, тот, под чьим неусыпным оком ты находишься и утром, и днем, и вечером. И даже ночью – на то есть дежурный воспитатель. А рядом с тобой – твои сверстники, твои одноклассники. Мальчишки в одном крыле этажа, девчонки – в другом. Здесь – своя

иерархия, свои, скрытые от глаз воспитателя взаимоотношения: у пацанов командуют самые сильные – и их закону, сиречь кулаку, подчиняются слабые. Свои маленькие радости – сушенный на батареях хлеб, украденный из столовой, который грызешь перед тем, как заснуть: еды-то растущему организму не хватает... Короткие побеги в «самоволку» – в едва оттаявший весенний лес за березовым соком или на находившуюся по соседству свалку – там разыскивали выброшенную с кондитерской фабрики, слипшуюся в большие комья леденцовую массу, отмывали ее от грязи и сосали с наслаждением. И игры свои, скрытые в темноте: первые томления плоти и вслед за тем неизбежная мастурбация, плодово-ягодное вино – это уже где-то класса с седьмого – и тогда же затащили в спальню слабоумную, не по возрасту крупную, с налитой грудью Валю Голубкову, облапали всю, стянули с нее трусы, а что дальше делать, и не знали, отпустили...

Разные мальчики, разные девочки – иные и вообще без родителей, у иных – неполные семьи или дома отец–алкоголик да и мать пьет без просыпа. Эти оставались в интернате даже на выходные, отчаянно завидуя нам, уходящим «на субботу и воскресенье»... А чему было завидовать? С неумолимой неизбежностью наступал понедельник, и ты, одетый в не по росту большое пальто и тесную форму, – мы-то росли, а одежду выдавали какую раз в полгода, какую раз в год – снова возвращались в казенные стены, к казенной койке и тумбочке, в казенный уклад жизни... На пять дней в неделю, на долгие шесть лет, вытянувшиеся в одну бесконечно серую, как тягучее зимнее утро, цепочку.

И все эти, а затем и последующие годы – моей учебы в институте, а потом и работы – мы с матерью отдалялись друг от друга, исподволь, незаметно. То вдруг на какое-то мгновение становясь близки (что чаще происходило в ребяческом возрасте), то шаг за шагом расширяя полосу отчуждения, и ее шагов было больше, чем моих, ибо взрослая жизнь диктует двум самой природой предназначенным быть близкими сердцам правила поведения, а не моя – тогда еще по-детски незащитная перед реалиями ситуаций. И разве выбросишь из памяти день, когда, избитый в интернате учителем немецкого (Борис Иванович Сорокин – надо ж, застрял, сука, в памяти), я убежал из тех проклятых стен и зайцем без копейки денег, обманывая кондукторов и контролеров, едва добрался домой, в бессознательной попытке ткнуться в чьи-нибудь, да не в чьи-то, а именно в материнские колени, чтобы выплакать ей свое незащитное горе. Я долго, отчаянно долго звонил в дверь квартиры, где мы тогда жили, вернее, снимали две комнаты, всем своим мальчишеским подсознанием

ощущая, что мать дома, и звонки эти были – как крик отчаяния, которого никто не слышал.

И все же она открыла мне дверь – в халатике, еще не сбросившая румянец недавней любовной истомы, безмерно удивленная моим неурочным визитом – ведь я не мог оказаться в этот предночный час здесь, мне положено было быть в интернате...

В той, первой комнате, из которой плотно прикрытая дверь вела в спальню, я обнаружил следы чужого присутствия и все понял – двенадцатилетний мальчишечка, обученный интернатской жизнью многим гадким премудростям.

И тогда, охваченный волною какого-то звериного отчаяния, снова бежал в ночь, в никуда, в вокзальное мельтешение – из дома, от той, которая, по моим тогдашним понятиям, предала меня, она – единственная, кто мог бы защитить и утешить...

Надо ли сегодня винить ее за это – тогда еще достаточно молодую женщину, конечно же имевшую право на кусочек своего собственного, пусть даже украденного из чужой семьи счастья? Но что тогда делать с моей памятью, в которую впечаталось то давнее мальчишеское горе, и еще безмерное количество горьких дней – вплоть до самой смерти матери. Она уходила бессмысленно и страшно, выпав из реалий жизни, годами оглушая себя снотворными, то впадая в прострацию, то на какие-то мгновения выходя из нее, и это было еще страшнее, ибо в ее искаленном мозгу возникал сюрреальный мир, где в один причудливый ком сплелись выдумки и правда, а она уже была не в силах разобраться в том, где ложь, а где истина. И это продолжалось не год, не два, а почти семнадцать лет, тяжело придавливая меня грузом ответственности, заставляя открывать для себя омерзительный мир психиатрических больниц, где она лежала время от времени, врачебных консилиумов или разборок домоводной общественности, протестующей против «неадекватного» поведения соседки. И некому было высказать эту глубинную печаль, это бессилие – ни жене, ни маленьким тогда еще Алене и Антону.

И только там – сначала в больничной палате, куда я ворвался едва ли не за несколько минут до ее смерти, застав хрипящее, что-то пытающееся произнести в бессознательном бреду полуиссушеное тело, а потом в морге, перед прощанием, целуя желтый лоб старухи, бывшей когда-то красивой женщиной, я, как комок крови, застрявший под сердцем, выхаркнул, выбросил из себя то ли полувскрик, то ли полувсхлип: «Что же ты наделала, мама!». И это примирило нас: теперь уже навсегда, до остатка часов моих.

Одиноким предоставляется свобода

Да что это я все о грустном и о грустном... Было же, было и другое – и сладкое ощущение свободы, когда интернат остался позади, и первая любовь – шершавые губы, слившиеся в поцелуе на морозе, дрожь чувственных прикосновений, слепящие вспышки на скомканных простынях... Педагогический институт имени Крупской, первый курс факультета русского языка и литературы. На нашем потоке шесть ребят, а все остальные – девчонки: почти взрослая, самостоятельная жизнь, не подчиненная казарменным правилам и потому особенно привлекательная. И плевать, что стипендия, всего 28 рублей, всегда можно подработать, было бы желание. И в том еще свобода, что жил я к тому времени один – в съемной комнате: мать после смерти бабушки и деда настояла, чтобы мы разъехались и, сдавая одну из комнат в нашей квартире ставшему другом на долгие годы Боре Шапиро, снимала мне шестнадцатиметровый «пенал» на Ленинском проспекте.

Там собирались институтские друзья – Володя Безяев, Надя Кольцова, Саша Карелин, Ирка Зеленова, Шурик (а по паспорту Шавкет) Чарыев, Наташа Светлова, Наташа Федорова: с одними я дружу и поныне, с другими судьба развела, а иных, к сожалению, уже нет на этом свете. Долгие застолья, ночной треп, а утром – на лекции, да к черту лекции, лучше махнем на ВДНХ – пивка попить... Быстро отсчитывающие время, словно счетчик в такси, веселые студенческие годы: знаменитая «картошка» по осени – уборка урожая в подшефных колхозах, зубрежка перед сессией, шпаргалки, с заметным искусством изготавливаемые к экзаменам, только входящие в моду КВНы...

И вот наша факультетская команда, куда входил и я, едет в Кишинев – на встречу с «квнщиками» местного пединститута. Там, как удар молнии, а может быть, и благодаря розовой пелене местного легкого вина – дешевого, как раз по студенческой стипендии – взлетела к голубым небесам первая настоящая любовь: Люся Свиридова, что училась на курс старше меня. Красивая девочка из Подмосковья, никем еще по-настоящему не целованная, да и сам-то я был почти не умудрен в нашем вечном мужском деле... Мы поженились, еще ничего не понимая в жизни, как два слепых кутенка, – только чтобы прижаться друг к другу, чтобы не отрывать губ и рук... Отец, правда, заметит на свадьбе, что женился я в 19, дабы обрести настоящую семью, которой у меня, по сути, никогда не было. И, наверное, будет прав – ибо срок нашего брака окажется недолговечным – каких-то пять лет, и мы разведемся, ни о чем особенно не сожалея...

Много лет спустя, так и не встретившись больше с первой женой после развода, я узнал о трагедии – Люся снова вышла замуж, родила двух детей и умерла в тридцать с небольшим: неизлечимая сердечная патология. Господи, храни ее душу, а мою душу и память убереги от забывья...

Но вот окончен институт, получены синие корочки диплома, и новоиспеченный «учитель русского языка и литературы», по идее, должен был отправиться сеять разумное, доброе, вечное в какую-нибудь школу. Но не дождалось юные оболтусы новоявленного Песталоцци... Через три месяца после выпускного бала свои, густо пропахшие казармой, объятия распахнула для меня армия: по существующим тогда законам те, у кого в институте не было военной кафедры, подлежали призыву на службу – правда, сроком всего на один год.

Этот годик я до сих пор вспоминаю с содроганием, хотя по прошествии лет обнаруживается в нем и немало забавного. На службу меня определили «по благу» – еще в годы учебы в институте начал я, волею случая и заради гонорарного приработка, пописывать заметки в военную газету «На стройке» – было такое издание Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ). И когда пробил мой час надевать кирзу и шинельку, ребята из газеты пристроили меня в стройбат, располагавшийся едва ли не рядом с домом – сзади бывшего Ходынского поля, где в то время уже возникли корпуса Центрального аэровокзала.

Военно-строительные части, в просторечии называемые «стройбатом», в те времена (да, наверное, и поныне) представляли некое странное армейское образование, куда забирали по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже». Гребли сюда едва владеющих русским языком пацанов из далеких узбекских кишлаков и киргизских аулов, медлительных прибалтов, презирающих все советское, «националов» Западной Украины, русских парней, поставленных своей «богатой» биографией перед выбором – тюрьма или армия... Словом, был это своеобразный отстойник Советской Армии, где не требовались мозги, а лишь умение владеть лопатой. Впрочем, те, кто не умел и этого, легко – с помощью большого сержантского кулака – усваивали принцип: «Не умеешь – научим, не хочешь – заставим!»...

Отправляясь выполнять «конституционный долг», я уже знал, что все по тому же благу предназначена мне должность освобожденного секретаря комсомольской организации. Спустя месяц с начала моей службы все и произошло: сверху, из политотдела ВСУМа, дали команду, и на отчетно-выборном собрании я был избран единогласно и равнодушно – бойцам было вообще-то глубоко наплевать, кто у них будет руководить комсомолом.

Так, достаточно неожиданно для себя, я заделался комсомольским работником. И все бы ничего, работенка непыльная, да довелось мне схлестнуться с начальником штаба нашего стройбата, майором по фамилии Ковалев, а по прозвищу Кощей. Иссушенный «непосильными» армейскими тяготами, майор этот – с впалыми щеками, нервическим тиком лица и злым прищуром маленьких глаз – и впрямь напоминал героя детских страшилок.

На бойцов наводил он тихий ужас – едва Кощей появлялся на территории отряда, они бросались врассыпную, стараясь не попасться ему на глаза: за малейшую провинность отправлял начштаба на губу, направо и налево навешивал наряды и, будучи взбешен по какой-либо известной только ему причине, не останавливался и перед мордобитием.

Солдаты жаловались мне, я же, в свою очередь, пытался воздействовать на Кощю через своего непосредственного начальника – замполита части капитана со смешной фамилией Генералов и звонким именем Афанасий. Да куда там – Афанасий был парень робкий и отнюдь не хотел портить отношения с начштаба. Но о моих «сигналах» ему докладывал, и вскоре я нажил в лице Кощю заклятого врага. Гадил он, правда, по-мелкому – то в увольнение не пустит, то присвоение звания задержит...

Так прошло несколько месяцев. Наконец, наши отношения обострились донельзя: Кощей в очередной раз избил солдата, которого я после этого уговорил обратиться в военную прокуратуру. Вскоре приехали проверяющие, да солдатик, испугавшись, отказался от своего заявления, и прокуроры радостно, как это давно уже повелось в армии, спустили дело на тормозах. Как же бесновался Кощей после всей этой истории... И вдруг, к его счастью, вышла очередная директива министра обороны, в которой солдатам срочной службы почему-то запрещалось служить в тех краях, где они жили до призыва в армию. И я, быстренько переизбранный, тут же был отправлен в другую часть, базирующуюся в Подмоскowie.

Комсомольская карьера моя на том кончилась, зато началась другая – «на лопату» меня, учитывая полученное к тому времени ефрейторское звание, не кинули, а приспособили, оценив умение печатать, на роль «машинистки». Так я и простучал на машинке до конца службы, радуясь уже хотя бы тому, что не довелось мне освоить самое грозное оружие стройбата – БСЛ, что в переводе означало «большая совковая лопата».

Словом, из армии я ничего веселого не вынес, за исключением, пожалуй, выговора по комсомольской линии, и это – история особая. Произошла она еще в бытность мою комсомольским вожаком. Дело в том, что наш отряд обу-

страивал загородные правительственные зоны, где отдыхали сильные мира сего. За время моей службы успели ребятки построить, среди прочих, и два выдающихся «оборонных» объекта лично для Леонида Ильича Брежнева. Первый – гараж для аэросаней (одни у него были отечественные, а другие подарил Ильичу – большому любителю всяких машинок – тогдашний американский президент Форд). Второй объект был еще «оборонистей» – голубятня (!). Поскольку, как оказалось, увлекался наш генеральный секретарь в свободное от больших государственных дел время разведением этих пернатых. Главной же «военной тайной» была смета данного «спецобъекта», которую я изучил любопытства ради – несусветной по тем временам стоимости голубятня строилась из мореного дуба, а на ее отделку пошли медь, бронза и прочие ценные материалы. Рассказывая об этом друзьям после «дембеля», я шутил, что за такие деньги Брежнев должен был там выращивать не обычных голубей, а исключительно голубей мира.

Обслуживал наш стройбат и маршальские дачи. На одной из них и приключилась история, закончившаяся для меня выговором. Однажды в теплый летний денек наш стройбатовец Ваня Приходько шел мимо некоей маршальской дачи и увидел за ее забором яблони с наливными яблочками. Недолго думая, парень, испытывая по обыкновению, как и все его сослуживцы, здоровый солдатский голод, перемахнул через забор и начал рвать сладкие плоды, запихивая их за пазуху. В этот момент на крыльцо вышел дедушка в теплой пижаме и мягких шлепанцах. Увидев озорующего солдатика, покусившегося на наливные яблочки, дедушка окликнул его и заметил, что, дескать, негоже так озоровать. И услышал в ответ на свое замечание выдающиеся образцы исконно народной лексики, где словосочетание «старый пердун» было еще не самым ярким.

В этот момент на крыльцо выскочил стройный полковник и, отдав честь, звонко выкликнул: «Товарищ маршал, вас к телефону». Дедушка, погрозив Ванюше пальчиком, скрылся в доме, а солдатик, сильно испугавшись, тут же слинял, растеряв при бегстве искомые плоды.

«Дедушка» же, как выяснилось впоследствии, оказался Георгием Константиновичем Жуковым. Поговорив по телефону, он дал команду отыскать сорванца. И того отыскали! Вскоре он, потупив нежный взор, предстал пред светлы очи знаменитого маршала.

– Что же это ты, солдатик, так ругаешься, – отечески произнес грозный полководец. – Помнится, в годы войны меня даже Иосиф Виссарионович Сталин так далеко не посылал.

Затем последовала небольшая лекция о вреде для молодых желудков чужих яблок, после окончания которой маршал добродушно произнес:

– Ну ладно, солдатик, иди, доложи обо всем своему командиру и скажи, что я велел тебя не наказывать.

Однако командир нашей части полковник Бородулин обо всем уже знал, ибо шум вокруг этого случая поднялся несусветный. Бедного солдатика из теплого Подмосковья в 24 часа закатали куда-то за Магадан, Бородулин получил от своего начальства крупных звиздюлей, а я от своего – выговор с занесением в учетную карточку за неудовлетворительное воспитание вверенных мне комсомольцев.

Так закончилась эта история, а вскоре, к моему великому облегчению, подошла к концу и моя воинская повинность. Спустя несколько недель, отдышавшись и оглядевшись, был я принят на работу в газету «Московская правда» – на должность внештатного корреспондента отдела информации, сделав тем самым первый серьезный шаг на поприще журналистики.

В те годы «Московская правда» располагалась в большом здании, что вместил квадратный двор на Чистых прудах. Здесь же находились редакции газет «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец» и областной «Ленинское знамя». Но для меня на первых порах этот большой, кипящий журналистский мир был сужен до размера так называемого «предбанника» – небольшой комнаты, где сидели внештатные корреспонденты отдела информации «МП».

Удивительное это было сообщество – внештатники. Ты как бы считался сотрудником газеты, но только без... зарплаты. Все твои доходы составляли исключительно гонорары, и потому каждый из внештатников старался «наколотить» как можно больше заметок, чтобы к 15-му и 28-му – дням выплаты гонораров – не остаться без хлеба насущного. Не знаю, кто и когда изобрел эту систему, но действовала она вполне бодряще – день, когда не удавалось настроичить пять-семь мелких заметок (каждая стоила трешку), считался прожитым впустую.

И здесь неизменной палочкой-выручалочкой служил телефон, который выделялся каждому внештатнику вместе со столом, стулом и полуразваленной пишущей машинкой. Рано утречком я приходил на работу, клал перед собою толстый талмуд адресно-справочной книги Москвы и начинал обзвон заводов, фабрик, НИИ и прочих предприятий и учреждений. Как правило, собеседнику на другом конце провода – а это были представители парткомов или заместители директоров – словом, начальство! – адресовался один и тот же вопрос: «Что новенького появилось у вас за последнее время?». По-

нимая, что беседуют они не абы с кем, а с представителем газеты горкома партии (!), абоненты бодро рапортовали об успехах в труде. Все это затем превращалось в заметки под рубрику «Новости столицы» и к 12 часам ложилось на стол заведующему отделом, дабы попасть в свежий номер газеты, который к вечеру подписывался в печать. Все: твои три рубля за заметку были гарантированы.

Бывали, увы, и печальные для внештатников времена – дни, когда полосы газет целиком заполняли отчеты о каком-нибудь съезде партии или городской партийной конференции, доклады и выступления на этих звонких мероприятиях. Естественно, их никто не читал, кроме тех, кому это полагалось по службе: лишь бы, не дай Бог, ошибку не пропустить. Для этого, кстати, в каждой редакции существовал институт «свежих голов» – так назывались специальные дежурные, которые приходили поздно вечером, когда газета была готова к печати, и читали ее всю насквозь – до единой буквы. И хотя приходили они, по идее, выпавшимися (потому и назывались «свежими»), но порой умудрялись «тонуть» в море официальных правок и изменений, которые поступали из ТАСС на телетайпы редакции.

Показателен в этом плане случай, который в свое время произошел в «Медицинской газете». Шел очередной съезд партии и, открывая его, незабвенный Леонид Ильич по заведенной традиции провозгласил: «За время, прошедшее между съездами, наша партия потеряла верных ленинцев: товарища [уж не помню фамилии – В.Ш.] Иванова, Петрова, Тютькина... Почтим их память минутой молчания.». В вышедшем на следующий день номере было напечатано: «... потеряла верных ленинцев Иванова (бурные, продолжительные аплодисменты), Петрова (бурные, продолжительные аплодисменты), Тютькина (бурные, продолжительные аплодисменты)...». Началась разборка... В результате оказалось, что эти самые «аплодисменты», которые тоже получали из ТАСС с указаниями, в какое место доклада их вставлять, при верстке полосы вставили-таки не туда. И никто – ни дежурный редактор, ни «свежая голова» этого не заметили... Скандал с соответствующими оргвыводами (сиречь выговорами и увольнениями) получился крупный...

Был случай и похлеще – в «Труде», где на первой полосе в дни уже другого съезда партии появилась крупная фотопанорама президиума этого хурала... Представьте: на трибуне с докладом выступает Михаил Сергеевич Горбачев. А на столе президиума, за которым восседают руководители партии и правительства, лежит... его голова. Все оказалось проще простого: тогда фотопанорама, автором которой был известный фотограф Самарий Гурарий,

перед отправкой в печать клеилась из нескольких кусков. Вот так ее нелепо и склеили, забыв убрать голову генерального секретаря. И опять никто ничего не заметил.

И уж совсем анекдотичный случай произошел в «Учительской газете». Там, опять же на первой полосе, в День ракетных войск и артиллерии – был тогда такой праздник советского народа – напечатали лирический снимок: юноша и девушка стоят, обнявшись, около двух березок, между которыми летит ракета. Так вот, на одной березке крупно вырезано славное русское слово из трех букв... Видно, «свежая голова», отмечая праздник, в тот день была явно не свежей...

Но вернемся к работе внештатников. Увы, в дни великих партгосмероприятий для наших заметок в газете места не было. Правда, кое-как выручали так называемые «отклики» – некий трудно поддающийся определению жанр, изобретенный партийной пропагандой. Тут все было просто: в парткоме завода или фабрики тебе называли фамилию какого-нибудь передового труженика, и ты от имени ни сном, ни духом ничего не ведающего передовика писал духоподъемный текст в стиле «одобрямс», целиком и полностью поддерживающий решения партии. Платили за эту поденщину тот же трояк, так что художественно к выплате очередного гонорара в бухгалтерии что-нибудь набегало.

«Крысятничали», каюсь, и похлеще: писали гневные отклики, связанные в то время с травлей академика Сахарова и писателя Александра Солженицына, за что стыдно и по сей день. Оправдывает разве то, что мы толком не ведали, о ком идет речь, исправно, как тупые боеголовки, выполняя приказы начальства. А и ведали бы – попробуй не выполни: бунт, инакомыслие и, соответственно, «волчий билет». Что и говорить: дурные были, да и до горбачевских перемен, принесших понимание того времени, оставалось еще слишком много лет...

К более крупным жанрам – репортажам, а уж тем более очеркам или интервью, внештатники, как правило, не допускались. Во-первых, не очень-то и умели, а во-вторых, это было делом корифеев, занимавших более высокую ступень в иерархии газеты – штатных (то есть работающих за зарплату) корреспондентов и старших корреспондентов. В нашем отделе таких было трое – Нина Баталова, Саша Мостовщиков и Андрей Разин. Имелся и суперкорифей – специальный корреспондент газеты Лев Колодный, репортер и очеркист, воспевающий Москву во всех ее проявлениях, подобно королю дореволюционных репортеров «дяде Гиляю» – Владимиру Гиляровскому. Помимо умения «сделать из говна конфетку», Лев Ефимович замечательно вла-

дел великим русским языком, особенно в части ненормативной лексики. И поскольку, очевидно, был стеснен возможностями употребления этой самой лексики на страницах городской партийной газеты, с успехом применял ее в устной речи: его могучий бас порою перекрывал весь этаж, который занимала «Московская правда».

Моим же непосредственным учителем стал Саша Мостовщиков – блестящий репортер по призванию, остроумец, циник и выпивоха по жизни. Коренастый, плотно сбитый, с могучей лысиной и жесткой бородой, был Мост (так его звали в редакции) похож то ли на борца, то ли на биндюжника. И писать меня он учил в присущей ему жесткой манере: помнится, однажды к какой-то дохлой заметке заставил придумать штук двадцать заголовков, пока не выбрал один, показавшийся ему стоящим.

Гранд-дамой отдела, конечно же, была Нина Андреевна Баталова – свой в доску «мужик» среди много пишущих и много пьющих репортеров, представляющих сильный пол. Удивительно, но когда пишутся эти строки, любимая мною Нинуля, невзирая на почтенный стаж (о возрасте ни слова!), все еще работает в «МП», возглавляя отдел городского хозяйства. Могу только представить, как ей все обрыдло за десятилетия службы в газете, но что поделаешь – это ее жизнь: рано потеряв мужа и оставшись с маленьким Ленкой, она «и лошадь, и бык», хранящая устные предания газеты.

Вообще «МП» подарила мне на долгие годы многие дружбы и многие привязанности. Увы, едва перевалив за пятьдесят, умер Саня Мостовщиков, оставив журналистике талантливого сына Сергея. Видимся мы и с Андреем Разиным, и со Львом Колодным; с Люсей Золотовой, работавшей в соседнем отделе – здравоохранения, а с Аркадием Казимировым, начинавшим почти в одно со мною время внештатным фотокорреспондентом «МП», теперь, волею судьбы, и трудимся вместе.

Дружеская приязнь соединила нас и с Мишей Вельманом, всю жизнь маскировавшим свою далеко не арийскую фамилию звучным псевдонимом «Стоянов». Работал он в иностранном отделе газеты, а теперь проверяет «их нравы» воочию, ибо жизнь закинула его вместе с супругой Ларисой в далекий Нью-Йорк, где живет их сын Сашка и растут внуки... Нет-нет, да и заглянет в нашу нынешнюю редакцию Валера Дранников – человек-легенда, пытавшийся в годы «перестройки» порвать с журналистикой путем создания едва ли не первого в Москве кооператива – по производству маек. Какое-то время он процветал, а потом благополучно прогорел, снова вернувшись к привычному журналистскому тяглу.

С Валерой, кстати, связана одна из тех замечательных баек, которыми сильна история «МП». Дело было в начале 70-х годов, когда партийная печать (как я уже писал, не без помощи и внештатников нашего отдела) всюю обличала Солженицына, опубликовавшего на Западе свою книгу «Архипелаг ГУЛАГ», пробившую заметную брешь в монолите сталинизма. Правда, книгу эту, как и другие произведения Александра Исаевича (за исключением «Одного дня Ивана Денисовича», опубликованного в «Новом мире»), в нашей стране практически никто в то время не читал, даже названия не слышал. Но это отнюдь не помешало советской пропаганде с посылка КГБ и ЦК КПСС гневно клеймить Солженицына как предателя интересов Родины и идейного отщепенца. Кстати, именно тогда в какой-то газете появился очередной отклик, первая строчка которого вошла в золотой фонд советской благоглупости. Звучала она так: «Я Солженицына не читал, но уверен, что его книги подрывают наши устои...».

Очевидно, не читал Солженицына и заведующий отделом партийной жизни «МП» Илья Барсуков, по ведомству которого служил Валера Дранников. И вот в самый разгар травли писателя приближалось некое очередное громкое партийное мероприятие. Главный редактор газеты Юрий Баланенко, как это было от веку заведено, поручил отделам составить план по его освещению. Конечно, не остался в стороне от этой высокой задачи и отдел партийной жизни: Барсуков поручил Валере «подработать планчик» и дать свои предложения.

Уже через пару дней на стол партийному боссу лег документ. Выглядел он примерно так:

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НА ВСТРЕЧУ...

1. «Один день Ивана Денисовича» – очерк о знатном сталеваре завода «Серп и молот» Иване Денисовиче Загорулько.
2. «Матренин двор» – очерк о передовом московском дворнике Матрене Петровой.
3. «В кругу первом» – рассказ о лучших вагоновожатых столицы, обслуживающих трамвайное кольцо «А».
4. «Раковый корпус» – репортаж о строительстве Онкологического центра на Каширском шоссе.

И еще нечто подобное...

Барсукову, ни сном, ни духом не ведающему, что Валера использовал в этом перечислении названия произведений Солженицына, план понравился и

он включил эти шедевры в общий план работы отдела, а затем бодро положил его на стол главному редактору. Главный, в отличие от своего заведующего отделом партийной жизни, с творчеством Солженицына, очевидно, был знаком. А теперь представим его реакцию...

Вообще атмосфера того времени в газете, несмотря на всю ее партийность, была проникнута неким духом вольнодумства и даже своеобразного фрондерства. Конечно, это никак не сказывалось на содержании «МП», существовавшей под неусыпным контролем всеильного тогда в Москве первого секретаря горкома партии Виктора Гришина. Но шутки, подначки, приколы, а также постоянные «междусобойчики» в редакции и ресторанчике-«стекляшке» на Чистых прудах как-то сглаживали, размягчали среду существования журналистского коллектива.

Может быть, это объяснялось в какой-то мере и личностью главного редактора Юрия Баланенко, слывшего либералом. Я, к сожалению, слишком мало проработал с ним – вскоре после моего прихода в «МП» он перешел в «Известия». Но оставался еще ответственный секретарь газеты Марк Резников – умница, профессионал в самом высоком смысле этого слова. При Баланенко и Резникове, очевидно, еще витал в «МП» дух оттепели – времени, последовавшем за XX и XXII съездами партии, где Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. Может быть, кстати, этим объясняется и тот факт, что в начале 70-х в газете работало немало евреев – нонсенс для партийной прессы последующих лет.

Увы, уже в мое время подспудно, едва заметно вначале, стали витать в воздухе редакции иные флюиды, образовавшие со временем повсеместную вязкую атмосферу эпохи застоя. На место Баланенко был назначен Лев Спиридонов, трудившийся до этого помощником Гришина. Забегая вперед, скажу, что в последующие годы ждала его большая, «потом и кровью» заработанная карьера партийного журналиста: после «МП» занимал он немалые посты – первого заместителя главного редактора «Правды», а затем и генерального директора ТАСС.

Вскоре после прихода Спиридонова умер Марк Резников, и на должность ответственного секретаря из «Московского комсомольца», где он был заместителем главного редактора, пришел Евгений Аверин. Молодой и рьяный, недавний выпускник элитной для партноменклатуры Академии общественных наук при ЦК КПСС, он начал активно наводить порядок в своем хозяйстве. А поскольку Женя довольно быстро убедился, что в редакции повсеместно расплодилось «неблагозвучные» фамилии, при молчаливом

одобрении нового главного редактора он повел с ними решительную и бескомпромиссную борьбу.

В числе «жертв» этой борьбы оказался и я. Предшествовала же моему увольнению такая история. В один из теплых летних дней я шел на работу и вдруг увидел, что напротив редакции, в скверике на Чистых прудах, за забором стоит буровая установка и что-то усиленно бурит. А ведь еще вчера ее не было! Репортерская кровь во мне, конечно же, моментально взыграла, и я ринулся за забор. Нашел там некоего дядечку, назвавшегося прорабом, и поинтересовался: чего это они делают? Дядечка и поведал мне замечательную городскую историю: москвичей, мол, замучила спрятанная в трубы река Неглинка, которая имела свойство по весне разливаться и, выходя из коллекторов, затопляла Трубную площадь и близлежащие окрестности. Так вот, радостно сообщил дядечка, с этим теперь решено покончить раз и навсегда: они прокладывают новый коллектор, куда будут спрятаны воды буйной Неглинки, что сулит жителям и гостям столицы доселе невиданные удобства.

Уточнив маршрут, по которому предстояло пройти новому коллектору, я галопом помчался в редакцию, предвкушая создание «нетленки», воспевающей заботу городских властей о народе. Через час материал под интригующим названием «Наводнение отменяется...» был готов, отдан начальству и заверстан в номер.

Утром купил в киоске газету: мое произведение украшало первую страницу «МП», что считалось не только престижным, но и сулило повышенный гонорар. Пришел в редакцию, сел тихонько в своем уголке и приготовился почитать на лаврах.

Через некоторое время зазвонил внутренний телефон. Я снял трубку. Звонила секретарь Спиридонова.

– Тебя просит зайти главный, – бесстрастно сообщила она.

Сердце мое возликовало, ибо вызов внештатника к главному редактору был событием неординарным: обычно он до нас не нисходил. «Наверное, хочет похвалить за оперативность», – подумал я. И тут же в глубине души екнуло: «А может, даже и в штатные корреспонденты переведет?»...

В кабинете главного сидел и ответственный секретарь. Он, полубрезгливо пододвинув к себе газету с моим репортажем, холодно спросил:

– Скажите, где вы взяли этот материал?

От его сухого тона и неожиданности вопроса я впал в некий ступор, а затем, показав на окно кабинета Спиридонова, за которым открывался прекрасный вид на Чистые пруды, промямлил:

- Вон там, на бульваре...
- А кто вам все это рассказал?
- Прораб...
- У вас есть виза его руководства?

Визы, то есть подписи начальства, скрепленной печатью заведения и подтверждающей, что все сказанное моим вчерашним дядечкой есть сущая правда, у меня, конечно, не было... Какая там, к черту, виза, когда я торопился сдать материал в номер. Да к тому же и само событие, на мой взгляд, ничего экстраординарного не представляло: ну, бурят там какой-то коллектор... Да мало ли чего по Москве ежедневно бурят...

Все это я примерно так и изложил, отвечая на вопрос ответственного секретаря. Интересно, что во время нашего диалога главный редактор хранил ледяное молчание, лишь изредка посматривая на меня из-под стекол очков, как на какое-то экзотическое и в то же время не представляющее особый интерес для науки насекомое.

– Что ж, – подводя итог нашей странной беседы, сказал Аверин. – Теперь все ясно. Идите...

Я вышел из кабинета главного, абсолютно ошарашенный и не понимающий, что же происходит. Вернулся в отдел и обо всем рассказал Мосту. Тот озадаченно поскреб лысую башку:

- Ладно, попробую все выяснить.

И вскоре действительно выяснил, объяснив мне с применением звонких общероссийских слов, в какую историю я влип. Дело в том, что утречком Спиридонову позвонили из КГБ с гневными упреками: как посмела газета раскрыть важнейшую Государственную (!) тайну. Оказывается, под нашим сквером прокладывали какой-то сверхсекретный кабель связи – чуть ли не между Кремлем и Министерством обороны, а для работяг, дабы они много не болтали любопытным типа меня, сочинили легенду о якобы строящемся коллекторе, которому предстояло спасти столицу от наводнений. Ну, а поскольку в своем опусе я указал маршрут трассы, гады из вражеских разведок могут теперь догадаться, откуда выходит этот проклятый кабель и докуда – уж не лично ли до Леонида Ильича? – он дотянется.

Дальше события развивались по нарастающей. И Мост, и Нина Баталова, в отличие от нашего заведующего отделом Круглова, боящегося все и всех, пошли к главному, чтобы объяснить ему, что сделал я это вовсе не по злобе, а исключительно по скудоумию – парень, мол, молодой, неопытный... Вернулись они ни с чем: Спиридонов под давлением Аверина, очевидно полагавшего,

что все это – происки сионизма, принял решение о моем увольнении... Еще через час, сдав удостоверение и получив на руки трудовую книжку, я, вместо того чтобы купаться в лучах славы, оказался на улице...

Утешить меня не смогло даже то, что на следующий день еще один «сионист», тогда внештатник «Московского комсомольца», а ныне известный публицист Саша Минкин, бабахнул в своем издании духоподъемный репортаж под названием «Клад на Чистых прудах». В нем он умудрился не только повторить сведения, ранее изложенные мною, но еще и указал глубину залегания этого поганого «коллектора». Чем уж ему это тогда аукнулось, не знаю, но интересно, что еще через день «контора глубокого бурения» это самое бурение прекратила, и рабочие вместе с забором и установкой исчезли неизвестно куда, оставив после себя ровное, засеянное свежей травкой пространство. И угораздило же их, гадов, бурить прямо перед глазами вечно голодных внештатников!

Так где-то в середине 1973 года из худо-бедно социально значимого сотрудника, хотя и внештатного, газеты МГК КПСС «Московская правда» я превратился в обыкновенного советского безработного, уволенного «по собственному желанию». И хотя право на труд было мне гарантировано «самой гуманной в мире» советской Конституцией, никто мне это право предоставлять почему-то не торопился.

А из «МП» тем временем доходили до меня нерадостные вести. Вскоре «по сокращению штатов» были уволены из газеты Аркаша Казимиров, Леня Сладков, работавший внештатником в иностранном отделе, «ушли» на пенсию хорошего человека Акима Островского, который, хотя и был в редакции секретарем парткома, да, видно, тоже пришелся не ко двору. Потом уволили и его сына Геру, работавшего в секретариате, за ним последовал замечательный журналист Толя Лимбергер, вскоре уехавший на ПМЖ в Германию... Словом, стараниями тандема «Спиридонов–Аверин» и примкнувших к ним товарищей список этот продолжал множиться – к вящей радости блюстителей чистоты рядов советских журналистов.

Для меня же настали трудные времена. Работа отсутствовала, соответственно, отсутствовали и деньги. Надо было как-то определяться. Но как?

ЧАСТЬ 2

БЛОКНОТ РЕПОРТЁРА

Новослободская, 73

И потянулись, совсем по Тургеневу, «дни сомнений, дни тягостных раздумий...». Никаких особых связей в мире журналистики у меня еще к тому времени не было, а шансы устроиться на работу в газету или журнал человеку практически с улицы, да еще с не очень «благозвучной» фамилией, были равны нулю. Об иной же работе я не помышлял.

К тому времени я уже развелся, и это делало жизнь проще – не надо было обеспечивать никого, кроме себя. Но с деньгами – полный швах... В какой-то мере выручала дедовская библиотека, доставшаяся в наследство: многие книжки из нее в ту пору пошли в букинистический – жаль до слез, да уж больно кушать хотелось...

Мыкался я так, мыкался, пока один, почти случайный приятель не дал наводку: есть журнал «Филателия», там, мол, национальный вопрос стоит не так остро: филателисты, они почти все такие... И я поехал по указанному адресу.

Конечно, с распроштертыми объятиями меня там тоже никто не встретил. Но и с порога не отшили: предложили захаживать, пописывать... Я и стал захаживать: то по заказу редакции о какой-нибудь редкой марке напишу, то о коллекции значков, то о выставке... Гонорары платили в «Филателии» исправно, стало немножко легче. Да только в душе понимал: не мое это все. И искал хоть какую-то зацепку, чтобы найти работу посерьезнее.

И надо же, нашлась такая зацепка. Выручила мать: неожиданно вспомнила, что когда-то училась она в институте с неким Валерием Вадимовичем Ледневым, а он теперь вроде как работает в газете «Советская культура». Позвонила... И этот звонок стал определяющим в моей судьбе.

Естественно, никто мне не стелил ковровую дорожку у входа в здание по адресу: Новослободская, 73. Леднев (о нем мне еще предстоит рассказать особо) просто порекомендовал от его имени обратиться в отдел информации «СК» – к редактору Александру Петровичу Осипову. Я обратился, получил первое задание, второе, третье... Прошло несколько месяцев – я исправно выполнял поручения Осипова, газета напечатала несколько моих материалов. И однажды Осипов сказал: «Что ж, пишете вы неплохо. Буду ставить вопрос о зачислении вас в штат редакции...»

И вот настал день, когда помощник главного редактора по кадрам газеты ЦК КПСС (не хухры-мухры!) «Советская культура» Борис Дмитриевич Творогов принял у меня трудовую книжку, а заодно анкету и автобиографию. О причинах увольнения из «Московской правды» я там, естественно, не писал, да впрочем, как позже выяснилось, это никого и не интересовало. Мне же предстояло главное испытание – пройти собеседование с членами редколлегии и заместителями главного редактора. Да не сразу со всеми, не скопом – с каждым отдельно. И пошел я по этажам и кабинетам...

Сейчас все это кажется довольно глупым, но тогда подобное испытание было обязательным, по крайней мере, для таких, как я, не причисленных к отряду «позвоночных» – то есть тех, кого брали на работу просто «по звонку» от сильных мира того.

Тут придется сказать несколько слов о структуре самой редакции. Поскольку газеты в нашей стране, по эпохальному выражению товарища Ленина, были «коллективными пропагандистами и коллективными организаторами», соответственно, руководил каждой из подобных газет – центральных, республиканских, областных и проч. – «коллективный разум». Таковым являлась редакционная коллегия, возглавляемая главным редактором, куда входили его заместители, ответственный секретарь и руководители так называемых профилирующих, или, иными словами, основных отделов. В описываемые мною времена в «СК» к таковым относились отдел партийной жизни (куда же без нее), иностранный отдел, отделы театра, музыки, кино, изобразительного искусства, народного творчества, телевидения, книгоиздания... Словом, отечественная культура была представлена в самом широком плане. Были еще «непрофилирующие» отделы – информации, оформления, писем и т.д.: их руководители имели в газете совещательный, а не определяющий голос.

И хотя поступал я на работу в отдел информации, пройти собеседование мне предстояло с руководителями всех отделов. И вот, зажав в руке нечто вроде обходного листа, в котором каждый «член» должен был поставить свою

подпись, подтверждая, что имел счастье беседовать со мною, я пошлепал по семи этажам, занимаемым редакцией. И чем дольше ходил, тем больше осознавал бред ситуации: скажем, в отделе музыки некая милая дама (ничьих имен и фамилий я тогда, естественно, не знал) пыталась меня на предмет моего знания симфоний и фортепьянных концертов, в отделе кино вальяжный мужчина расспрашивал о творчестве Пудовкина и Эйзенштейна, в отделе изобразительных искусств интересовались моим отношением к последней выставке Глазунова, а в отделе партийной жизни не преминули спросить, какие работы Ленина читал я в последнее время. Со всеми этими представительными мужчинами и женщинами я вел почти что светские беседы о МХАТе и Малом театре, оценивал телевизионные новинки, рассуждал о происках империализма и миролюбивой внешней политике Советского Союза, делился впечатлениями от прочитанных книг и с горечью признавался, что никогда не занимался народным творчеством – не пел, не плясал, не участвовал в хорах и ансамблях...

И никак не мог понять, какое все это имеет отношение к моей прошлой и, быть может, будущей работе репортера...

Но все когда-нибудь завершается, и в конце концов мой «обходной листок» покрылся необходимым количеством подписей. Оставалось ждать, когда состоится очередное заседание редколлегии, где, среди прочих вопросов, должна была решиться моя судьба.

В тот день я несколько часов промаялся у телефона, ожидая звонка Осипова. И этот звонок раздался. Голос Александра Петровича был лишен какой-либо окраски. «Должен вас огорчить, Виктор, – сказал он бесстрастно, – но редколлегия вас не утвердила...». И добавил столь же бесстрастно: «В отделе кадров просили передать, чтобы вы зашли за документами...».

Мир зашатался и рухнул. Я даже не пытался расспросить Осипова, что же произошло, ибо в глубине души все понимал и так: на кой черт газете ЦК нужен двадцатичетырехлетний репортеришка с фамилией неясной этимологии. Оставалось рассчитывать разве что на неприметный журнал «Филателия»...

На следующий день я отправился в отдел кадров «СК», чтобы забрать документы. Протянув мне их, кадровик вдруг неожиданно произнес: «Вас просил зайти ответственный секретарь Ким Прокофьевич Костенко». «Утешать будет, – почему-то подумал я тогда. – Нужны мне его утешения...».

Тем не менее я отправился на третий этаж, где размещался секретариат редакции и находился кабинет Костенко. Постучался, вошел... Я уже был тут несколько дней назад, когда проходил это проклятое собеседование, но память стерла, о чем мы говорили тогда с хозяином кабинета. А он, слегка приподняв-

пись мне навстречу, пригласил садиться и заговорил – так, как будто знал меня не один год.

– Вот что, – сказал Костенко, сразу же переходя на «ты». – Редколлегия тебя не утвердила, но у меня к тебе одно деловое предложение. У меня в секретариате есть свободная ставка технического работника. Дело не самое интересное: вести картотеку гранок материалов, приходящих из типографии и разносить их по отделам. Да и зарплата невеликая – 110 рублей. Но зато в свободное время сможешь писать, печататься. Так что, подумай. Надумаешь – приходи.

Ким... Мой дорогой, любимый Учитель... Мог ли я знать тогда, сколько всего – радостного и горестного – свяжет меня с этим человеком, мог ли знать, что на протяжении 17 лет моей работы вместе с ним в «Советской культуре» я буду приходить в его небольшой кабинет, выплакивая мелкие свои несчастья и делясь невеликими своими победами, что именно ко мне – ко мне! – придет он незадолго перед своей смертью, последний раз заглянув в редакцию, из которой был гадко «выдавлен» сменившимся тогда начальством, и что мне – мне! – придется хоронить своего Учителя, ненавидя и презирая фарисеев, с постной миной стоящих у его гроба. Мог ли я все это знать тогда, когда, выслушав Костенко и ни на секунду не задумавшись, дал согласие на предложенную работу? Еще не ведая, что в это мгновение дает мне Ким не только опору в безвыходном и безденежном тогдашнем моем положении, но и тот ШАНС, который, быть может, выпадает человеку один раз в жизни.

Так 14 мая 1974 года я приступил к выполнению обязанностей картотечника секретариата газеты «Советская культура». Особого ума для этой работы не требовалось – всего-то и дел, что разнести по отделам статьи, набранные в типографии в виде гранок, предварительно занеся их в картотеку. Радовало одно: секретариат был своеобразным штабом редакции, где создавались замыслы номеров, воплощаясь затем на газетных полосах, а это позволяло быть в центре непростых редакционных процессов.

В самой же гуще этого «центра» находился Костенко. Было ему тогда немногим за пятьдесят – моложавый, подтянутый, чертами лица отдаленно напоминающий умудренную опытом черепаху, с начинающими седеть волосами, слыл он не просто профессионалом, но профессионалом высшего класса, успевшим хлебнуть и военного лихолетья, и послевоенных журналистских бурь и потрясений.

Войну он заканчивал в Чехословакии – командиром артиллерийской батареи, старшим лейтенантом. Было ему тогда двадцать с небольшим... Он не

любил вспоминать о войне, да и наградами своими никогда не кичился. Только однажды, когда в редакции отмечали 35 лет Победы, пришел он на традиционную нашу «Землянку» – редакционный вечер памяти – в старой своей лейтенантской гимнастерке. И мы увидели его награды! Орден Боевого Красного Знамени, три ордена Отечественной войны, немыслимое количество медалей... Была среди этих наград и уникальная – орден Александра Невского: по статусу им награждали офицеров Красной Армии – от командира дивизии до командира взвода – «за проявленную инициативу по выбору удачного момента для внезапного, смелого и успешного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения».

В войну Ким был тяжело ранен в руку, стал инвалидом, но даже положенную ему за это пенсию никогда не получал: говорил, что на жизнь и так хватает. А из всех военных эпизодов за время долгих наших с ним разговоров поведал только один. Но какой...

... Было это в 43-м, под Сталинградом... В расположение наших войск провались немецкие танки. Началась паника. Дело было зимой, в степи, и солдаты, а вместе с ними и молодой лейтенант Костенко, бросились бежать враспыленную – по выхлому, прибитому ветром снегу.

– Я бегу, а за мной, как привязанный, ползет танк, – вспоминал Ким.

– Пять минут бегу, десять, сил уже никаких – попробуй побегай по снегу... Танк все не отстает. Эх, думаю, да пропади все пропадом! Остановился. Представляешь – один в степи, и танк. Он тоже остановился, но мотор не глушит... Все, думаю, прости – прощай, родная Украина. Прошла минута, другая... Вижу, открывается люк. И вылезает из него немец – молодой, моих лет. Подошел ко мне молча, поглядел на меня, потом так же молча снял с меня наган, планшетку, рукавицы меховые, сел в танк, развернулся и уехал. А ты говоришь, война...

Такая вот война была у лейтенанта Костенко. А еще вместила она тот бой за Прагу, когда он, тяжело раненный, заменил убитого друга – командира, а потом хоронил его на той же высотке, где был и сам ранен. Он вернется в Прагу на склоне лет – вернется вынужденно, в качестве заведующего корпунктом журнала «Новое время». Ибо из «Советской культуры» его, по сути, заставят уйти «на пенсию» – в газету придет новая команда из ЦК КПСС во главе с Альбертом Беляевым, и они не «сработаются», а иначе не могло и быть – всю свою журналистскую жизнь Ким боролся с партийными номенклатурщиками, причем порою самых высоких рангов.

Начнется эта борьба еще в пятидесятых годах, когда Ким работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на Украине, где и родился

ся. Именно тогда заинтересовался он историей «Молодой гвардии» – не той историей, что была наскоро изложена Александром Фадеевым в его ставшем к тому времени хрестоматийном романе, а подлинными событиями и подлинными героями краснодонского подполья. Именно Ким тогда доказал, что названный Фадеевым предателем, выдавшим всех молодогвардейцев, Виктор Третьякевич (по роману Стахович) на самом деле был подлинным комиссаром отряда – а не Олег Кошевой, рядовой член подполья. Костенко вернул доброе имя и настоящему командиру «Молодой гвардии» Ивану Туркеничу, чья роль осталась Фадеевым как бы незамеченной, и двум ни в чем не повинным девушкам – Выриковой и Лядской, названным Фадеевым «осведомительницами гестапо».

Какой же поднялся шум, когда 28 июля 1959 года «Комсомольская правда» опубликовала статью Кима, где все было названо своими именами. А ведь к тому времени уже был готов и фильм Сергея Герасимова, в котором предатель Стахович – сиречь Третьякевич – выдает на допросе имена друзей, и где молодогвардейцы – босые, избитые, стоят на краю шурфа, куда их вот-вот толкнут фашисты, а у их окровавленных ног ползает, вымаливая прощение, предатель. И все это оказалось чистым враньем, то ли вымученным (ибо так требовала партия), то ли выдуманном главой советских писателей – алкоголиком, застрелившимся, когда были вскрыты злодеяния «культы личности», к которым и он приложил руку! И не винить его сегодня стоит – жалеть...

После публикации с резкой критикой в адрес Кима обрушился журнал «Юность»: в ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС посыпались письма, а, по сути, доносы и от матери Олега Кошевого, и от исполнителя его роли в фильме актера Иванова, и от оставшихся в живых некоторых молодогвардейцев. Авторы этих писем требовали наказать журналиста, покусившегося на «устои», поднявшего руку на светлые имена героев... И все же последнюю точку в деле поставила книга Костенко «Это было в Краснодаре», по крупицам восстановившего подлинную историю «Молодой гвардии». В результате Виктор Третьякевич был посмертно награжден орденом Отечественной войны как «первый комиссар «Молодой гвардии», Ивану Туркеничу было присвоено звание Героя Советского Союза, а из «шедевра» Сергея Герасимова пришлось вырезать наиболее одиозные кадры.

Закаленный войной, Ким не прогибался и в самых высоких кабинетах. В 65-м «Комсомолка», где был он тогда ответственным секретарем, напечатала подготовленную не без его помощи статью Аркадия Сахнина «В рейсе и после». В те годы на всю страну гремела китобойная флотилия «Слава» и ее капитан-директор Герой Социалистического Труда Соляник. Вот о его-то

художествах, самодурстве и амбициях, о том, как ради выполнения и перевыполнения плана мучил он своих подчиненных (иных довел и до смерти), повествовала статья.

Готовя ее к печати, журналисты знали, чем рисковали. В те времена поднять руку на высокопоставленного представителя партгосноменклатуры, окруженного двойной, тройной защитой связей на самом «верху», могли решиться немногие. В «Комсомолке» решились... Ответный удар последовал незамедлительно. В защиту Соляника поднялись тогда самые высокие номенклатурные чины – и секретарь Одесского обкома партии Синица, и секретарь ЦК партии Украины Щербицкий, и председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный. Наконец, было принято решение обсудить статью на Секретариате ЦК КПСС, куда от газеты были вызваны ее главный редактор Юрий Воронов и Ким Костенко. Ким однажды показал мне копию стенограммы этого заседания, где его фамилия значилась рядом с фамилией ставшего к тому времени генеральным секретарем ЦК КПСС Брежнева.

Ох, и возили же руководителей «Комсомолки» мордой по батарее: на каком, мол, основании молодежная газета вмешивается в дела людей, облеченных партийной властью... О накале страстей позже вспомнит бывший тогда заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев в своей книге «Омут памяти»:

Всеми обласканная, не раз награжденная китобойная флотилия «Слава» возглавлялась капитаном Соляником, Героем Социалистического Труда. Эта флотилия бороздила все океаны. О ее подвигах часто писали. Сообщали, что она выполняет и перевыполняет все планы по ловле китов.

Но однажды «Комсомольская правда» опубликовала статью Аркадия Сахнина. В ней рассказывалось, что Фомин – секретарь райкома в Одессе, куда входила партийная организация флотилии, поднял вопрос о том, что на одном из китобойных судов творятся разного рода безобразия. Там работает нелегальная артель резчиков по кости. Делают безделушки из китового уса, красивые сувенирные изделия. Продают их в Австралии, Новой Зеландии и других заморских землях. На вырученные деньги покупают ковры и прочие ценности, которые везут на Украину и в Москву, где все это куда-то исчезает. Кроме того, газета поведала о том, что на судне очень тяжелые условия работы, что труд резчиков является каторжным.

Более того, один из косторезчиков не вынес рабских условий труда и покончил жизнь самоубийством.

Разразился скандал. В Москву пришли возмущенные письма от имени Политбюро ЦК Украины. Первый секретарь Шелест и другие обвинили газету в клевете, требовали официального расследования. Михаил Сулов [*уже в те годы он был всесильным секретарем ЦК по идеологии – В.Ш.*] поручил мне (я исполнял обязанности заведующего отделом пропаганды) организовать проверку. К ней были привлечены Прокуратура Союза, КГБ, КПК при ЦК КПСС [*КПК – Комитет партийного контроля – В.Ш.*] и другие организации. В результате выяснилось, что газета права, что все факты являются верными. Обо всем этом я и доложил в ЦК.

Записку вынесли на рассмотрение Секретариата. Ко всеобщему удивлению, на заседание пришел сам Брежнев, что было впервые после того, как он стал генсеком. Он сел по правую руку от Сулова, который продолжал председательствовать. Обсуждение было закрытым. Сразу же сложилась какая-то тягостная атмосфера. Секретари ЦК выглядели хмуро, избегали смотреть на меня. Это был перво-классный спектакль, отражавший все тонкости политических интриг в высшем эшелоне власти.

Сулов сказал, что не надо сейчас заслушивать редактора «Комсомольской правды» и руководителя отдела, поскольку они свою точку зрения изложили в статье и в записке. Он попросил Соляника рассказать о работе флотилии. Капитан говорил об успехах, о том, сколько прибыли добыто государству, как самоотверженно работает в тяжелых условиях команда.

Началось обсуждение. Практически все выступавшие защищали Соляника и разносили «Комсомолку»... Вспоминали статьи, не имеющие отношения к данному делу. Я пытался что-то сказать, но Сулов слова мне не дал. Короче говоря, обсуждение сводилось к тому, что статья неправильная, порочащая видного человека в партии и государстве, что виноват вовсе не Соляник, а виноваты те, кто напечатал статью и поддерживает ее.

Мы с главным редактором «Комсомольской правды» Юрием Вороновым переглядывались, понимая, что наши дела плохи... С каждым выступлением обвинения становились все более жесткими. Секретари ЦК понимали, что Брежнев пришел не для того, чтобы хвалить «Комсомол-

ку». Обстановка предельно накалилась. Соляник приободрился, начал жаловаться на то, что подобные статьи мешают работе, ослабляют дисциплину, снижают авторитет руководства. Полный набор блудливых слов того времени.

Брежнев был хмур, слушал, наклонив голову. А выступающие все время пытались уловить его настроение.

Слово взял Александр Шелепин [*в то время один из самых молодых секретарей ЦК, стремящийся в результате закулисных интриг занять пост генсека. Вскоре его снимут с работы, отправят руководить профсоюзами. – В.Ш.*]. Шелепин начал свою речь примерно так: «О чем мы говорим? Оклеветали и оскорбили Соляника? Но ведь проводилась проверка. Давайте определимся. Если факты неверные, тогда давайте накажем главного редактора и тех, кто поддержал газету. Если же факты верные, тогда о чем речь?» И все в том же духе. Речь Шелепина была напористой, острой, в ней явно прослушивался вызов другим секретарям, а как потом оказалось – и Брежневу.

Все притаились. Видимо, не могли понять, что тут разыгрывается. Это потом прояснилось, что игра была гораздо серьезнее, чем представлялось непосвященным. Шелепин выступал предпоследним из секретарей, если не считать Брежнева. Теперь все взоры обратились к Суслову – а что скажет он? Сначала Суслов пошептался с Брежневым, видимо, спросил, будет ли тот выступать. Потом в суловской манере произнес какие-то банальные слова об объективности, о необходимости беречь кадры. Казалось, что сейчас, как и все другие, обрушится и на газету...

Ничего подобного не произошло. В самом конце речи он произнес слова, которые я запомнил на всю жизнь.

– Правильно здесь все говорили, – сказал Михаил Андреевич (хотя никто об этом и слова не сказал), – что нельзя Соляника оставлять на этой работе. На флотилии вершатся плохие дела, один человек покончил жизнь самоубийством. Конечно, газета могла бы посоветоваться перед публикацией, но, судя по результатам проверки, там все изложено правильно. Вообще-то нашей печати надо быть поаккуратней, но в данном случае я поддерживаю предложение, что Соляника надо освобождать от работы.

На том и закончил свою речь. Спокойную и монотонную... Видимо, он знал о сути дела больше, чем все остальные.

Мы с Вороновым повеселели, знали, что Суслов от своих решений не откажется. Секретари ЦК переглядывались, не понимая, что же произошло. Какие пружины сработали, что так повернулось дело?

А Брежнев так и просидел все заседание молча. Только в конце, когда все стали расходиться, он остановил меня и редактора «Комсомолки», поднял голову и зло буркнул:

– А вы не подсвистывайте!..

Конечно, по большому счету на том заседании Секретариата ЦК никому не было дела ни до выступления газеты, ни до Соляника. Как в зеркале, тогда отразилась борьба на самом верху между командой «молодых», возглавляемой Шелепиным, рвущимся к самому высокому посту в государстве, и теми, кто поддерживал Брежнева, за год до описываемых событий пришедшего к власти в результате «тихого» переворота, жертвой которого стал Хрущев. Конечно, как рассказывал Ким, газетчики знали об этих внутренних противоречиях «верхушки» ЦК, но никто из них не предполагал, как обернется дело. И хотя Соляника в результате обсуждения на Секретариате ЦК с работы все-таки сняли, просто так оно не кончилось и для главного редактора «Комсомолки»: вскоре вместо запланированного уже перехода на повышение – главным в «Известия» – он был «сослан» собкором в Германию. Позже он все-таки вернется в Москву, даже станет заведующим отделом культуры ЦК, потом займет пост главного редактора «Литературки», сменив здесь «бессменного» Чаковского (о нем я еще расскажу), но будет уже тяжело болен и проработает недолго...

Кстати, пока Воронов был в «Комсомолке», он дал добро на напечатание еще одной «крамольной» статьи, которая спустя годы неожиданным образом откликнется и в моей творческой судьбе. Речь идет о статье известного тогда публициста Евгения Богата о матери Марии: впервые в советской печати воспевался подвиг эмигрантки, известной поэтессы Елизаветы Кузьминой-Караваевой, бежавшей от большевиков во Францию и там ушедшей в монахини. В годы Соппротивления она прятала от гитлеровцев евреев и бежавших из плена советских солдат, была арестована и оказалась в концлагере Равенсбрюк. Здесь, по легенде, незадолго до освобождения лагеря нашими войсками, поменявшись одеждой и номерами с молодой русской девчонкой, мать Мария пошла вместо нее в газовую камеру.

О ее трагической судьбе я впервые узнал от известной актрисы Софьи Сайтан, выступавшей с устными рассказами и чтением стихов. Она была женой главного режиссера Театра имени Ермоловой Виктора Комиссаржевского,

с которым в одном классе учился мой отец и дружил с ним до своей кончины. Именно от Софьи Александровны я и услышал о матери Марии (она рассказывала о ней в своей программе, положив в основу выступления публикацию в «Комсомолке»). И эта история, связанная к тому же с именем Александра Блока, настолько потрясла меня, что я задумал написать поэму. Так родилось дорогое моему сердцу произведение «Мать Мария», которое позже я включил в свой поэтический сборник «Зачем стыдиться слез...».

Но это заметки на полях. Возвращаясь к судьбе Костенко, скажу, что из сегодняшнего далека история с китобойной флотилией «Слава» может показаться пустяком, мелочевкой, не заслуживающей внимания. Это не так: многие журналисты, в том числе и Ким, отважились ломать железобетонную стену, возведенную сталинской идеологией, круто менять судьбы людей, несправедливо обвиненных в преступлениях, которых они не совершали. И когда в 1973 году Костенко пришел в «Советскую культуру», был он уже закаленным бойцом газетного фронта. Должность ему досталась не из простых – по сути, в этой газете приходилось начинать все с нуля. Ибо именно в 1973 году было принято постановление партии о преобразовании «Советской культуры» из издания Министерства культуры СССР в газету ЦК КПСС.

Удавка для Владимира Высоцкого

Это было время, когда в стране вовсю закладывался фундамент эпохи застоя. Укреплялась власть Брежнева, завинчивались идеологические гайки. Уже был изгнан из страны за «инакомыслие» (обвинен в тунеядстве как нигде не работающий и приговорен к пяти годам ссылки) будущий Нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский, вскоре заставят уехать Солженицына, Галича, Некрасова, Максимова, покинут СССР Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, отправят в лагерь Синявского и Даниэля... В такой ситуации ЦК, конечно же, не мог оставить «без присмотра» интеллигенцию, в первую очередь деятелей культуры и искусства. Понадобился своеобразный идеологический надсмотрщик, и таким надсмотрщиком призвана была стать «Советская культура».

Не случайно на пост главного редактора газеты был тогда назначен Алексей Владимирович Романов – бывший председатель Комитета по кинематографии, прославившийся на этом посту своим умением «не пущать» идеологически «вредные» фильмы. По меткому выражению известного кинорежиссера Григория Чухрая, «он в кинематографе понимал так же, как я в ки-

тайском языке». В журналистике Алексей Владимирович понимал все же побольше, поскольку, начав свою карьеру еще в конце 20-х годов в казахской областной газете «Актюбинская правда», до назначения на пост руководителя кинематографии потрудился во многих изданиях – вплоть до «Правды», превосходно усвоив сталинские уроки руководства партийной печатью. И хотя был он отнюдь не плохим человеком, но за годы работы на номенклатурных постах раз и навсегда понял, что такое «хорошо» и что такое «плохо». «Плохо» же было все, что шло вразрез с идеологическими установками ЦК партии.

И «Советская культура» с первых же дней существования в новом обличье повела под командованием Романова решительную борьбу с «чуждыми» нашей идеологии явлениями. Скажем, к такому явлению было отнесено в те годы творчество Владимира Высоцкого. Помнится, на втором году моей работы в газете я, на правах недавно избранного секретаря комсомольской организации, зашел к Романову и от имени молодежи редакции обратился к нему с просьбой разрешить уже гремевшему тогда на всю страну Высоцкому выступить перед молодыми журналистами.

Романов, с присущим ему свойством мгновенно вспыхивать, побагровел и, бросив на стол очки, буквально заорал на весь кабинет:

– При мне этот ваш Высоцкий никогда не переступит порог редакции!

Много позже мне на глаза попадутся малоизвестные документы, которые прольют свет на столь неадекватную реакцию Романова. Оказалось, что еще 30 марта 1973 года «Советская культура» обрушилась с критикой на Высоцкого по поводу его «левых» гастролей в Новокузнецке. По сути, эта заметка, написанная в хамском, безапелляционном тоне, налагала окончательный запрет на все выступления артиста. Доведенный до отчаяния, Высоцкий спустя несколько дней, 17 апреля 1973 года, напишет письмо тогдашнему кандидату в члены Политбюро, секретарю ЦК КПСС Демичеву, курировавшему культуру.

От артиста Московского театра
Драмы и комедии на Таганке
Высоцкого В.С.

В последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры РСФСР. Девять лет я не могу пробиться к узаконенному официальному общению со слушателями моих песен. Все мои попытки решить это на уровне концертных организаций и Министерства культуры ни к чему не привели.

Поэтому я обращаюсь к Вам, дело касается моего творчества, а значит, и моей судьбы. Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их нет... 9 лет я прошу об одном: дать мне возможность живого общения со зрителем, отобрать песни для концерта, согласовать программу. Почему я поставлен в положение, при котором мое граждански-ответственное творчество поставлено в род самодеятельности?

Я отвечаю за свое творчество перед страной, которая поет и слушает мои песни, несмотря на то, что их не пропагандируют ни радио, ни телевидение, ни концертные организации. Но я вижу, как одна недалёковидная осторожность работников культуры, обязанных непосредственно решать эти вопросы, прерывает все мои попытки к творческой работе в традиционных рамках исполнительской деятельности.

Этим невольно провоцируется выброс большой порции магнитофонных подделок под меня, к тому же песни мои, в конечном счете, жизнеутверждающие, и мне претит роль «мученика», «гонимого поэта», которую мне навязывают.

Я отдаю себе отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но также трезво понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде идей не только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему обществу.

Есть миллионы зрителей и слушателей, с которыми, убежден, я могу найти контакт именно в жанре авторской песни, которым почти не занимаются другие художники. Вот почему, получив впервые за несколько лет официальное предложение выступить перед трудящимися Кузбасса, я принял это предложение с радостью и могу сказать, что выложился на выступлениях без остатка. Рабочие в конце выступления подарили мне специально отлитую из стали медаль в благодарность, партийные и советские руководители области благодарили меня за выступление, звали приехать вновь.

Радостный вернулся в Москву, ибо в последнее время у меня была надежда, что моя деятельность будет, наконец, введена в официальное русло.

И вот незаслуженный плевок в лицо, оскорбительный комментарий, организованный А.В. Романовым в газете

«Советская культура», который может послужить сигналом к кампании против меня, как это уже бывало раньше.

В городке космонавтов, в студенческих общежитиях, в академических аудиториях и в любом рабочем поселке Советского Союза звучат мои песни. Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде идей нашего общества, имея такую популярность.

Странно, что об этом забочусь я один. Это непростая проблема, но верно ли решать ее, пытаюсь заткнуть мне рот или придумывая для меня публичные унижения?

Я хочу только одного – быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить.

А то, что я не похож на других, в этом и есть, быть может, часть проблемы, требующей внимания и участия руководства. Ваша помощь даст мне возможность приносить значительно больше пользы нашему обществу.

В. Высоцкий

Как же отреагировали в ЦК КПСС на этот крик души поэта, возмущенного публикацией в «Советской культуре»? Естественно, Демичев даже и не подумал отвечать Высоцкому. Он передал письмо заведующему отделом культуры ЦК Шауро, а тот, в свою очередь, переадресовал его своему заместителю Тумановой. Та и написала на имя Демичева записку, которая поставила все точки над «и».

В ЦК КПСС обратился артист Московского театра драмы и комедии (на Таганке) т. Высоцкий В.С. с письмом, в котором ставит вопрос о разрешении ему концертной деятельности, а также высказывает свое недовольство корреспонденцией в газете «Советская культура» по поводу его публичных выступлений в гор. Новокузнецке.

По сообщению Министерства культуры РСФСР (т. Зайцева Е.В.), гастроли т. Высоцкого В.С. в гор. Новокузнецке были проведены помимо «Росконцерта», на который возложена организация концертов и ответственность за их качество. Тов. Высоцкий В.С. не имеет аттестации государственной комиссии, необходимой для получения права на концертную деятельность. В связи с этим ему не утверждалась тарифная ставка для оплаты ему концертов.

За нарушение «Положения о порядке организации и проведения гастрольно-концертной деятельности в стране», утвержденного Министерством культуры СССР, на директора Новокузнецкого театров тов. Баратца Д.О. и начальника Кемеровского областного управления культуры т. Курочкина И.Л. наложены строгие административные взыскания.

В беседе, состоявшейся у начальника Главного управления культуры Мосгорисполкома т. Покаржевского Б.В., автору письма разъяснен порядок прохождения аттестации артистов и организации их концертных выступлений.

Кемеровский обком КПСС (тов. Кузьмина З. В.) подтвердил правильность критического выступления газеты «Советская культура» по поводу концертов т. Высоцкого В.С. (ответ ОК КПСС напечатан в газете «Советская культура»).

З. Туманова
Заместитель заведующего
Отделом культуры ЦК КПСС

Стоило ли мне после этого удивляться реакции Романова на наше предложение пригласить Высоцкого в редакцию? Забегая вперед скажу, что полное неприятие по отношению к нему газета и ее главный редактор сохраняли до самой смерти певца. Помню, как 25 июля 1980 года, когда стало известно, что умер Высоцкий, я вечером зашел к первому заместителю главного редактора Дмитрию Федоровичу Мамлееву. Он как раз вел этот номер, и собравшиеся у него в кабинете несколько человек решали, как же сообщить читателям о смерти Высоцкого.

– Главный категорически против каких-либо некрологов, – сказал Мамлеев. – В ЦК ему не рекомендовали. Но ведь это будет позор, если газета промолчит. Надо что-то придумать.

Стали сообща думать, как быть. И додумались: на последней полосе решили опубликовать фотографию сцены из спектакля Театра на Таганке, где участвовал и Высоцкий, а его фамилию обвести траурной рамочкой. На это Романов согласился. Так и вышла газета – стыдливо, косвенным полунамеком известив о смерти певца. А ведь кроме нас только «Вечерняя Москва» сообщила тогда о постигшей страну утрате. И даже спустя год, когда я сделал интервью со скульптором Рукавишниковым – автором памятника на могиле Высоцкого, главный не разрешил его публиковать...

Случай в горах

Так, работая в «СК», я постепенно постигал не столько тайны журналистского мастерства, сколько тайны закулисных интриг, подковерной борьбы и идеологических вывертов. Конечно, в одночасье изучить эту хитрую науку было невозможно, да, собственно, никто передо мною такую задачу и не ставил. Достаточно того, что с благословения Костенко я писал небольшие заметки и информации – их печатали, затыкая «дырки», время от времени образывавшиеся на полосах. Большого от меня и не требовалось – никаких «сенсаций» типа «клада на Чистых прудах»... Впрочем, Романов никаких таких «сенсаций» не любил, и нелюбовь эта была сколом жизни общества – в стране развитого социализма, по определению, не могло быть землетрясений, наводнений, солнечных затмений и прочих катастроф: ни природных, ни тем более техногенных. Достаточно вспомнить чернобыльскую трагедию – сколь возможно, ее суть и масштабы скрывали от населения.

Но трагедия эта произойдет много позже... А мы вернемся в сентябрь 1975 года, когда во время полагающегося мне отпуска я «выпросил» у Костенко первую свою командировку – в город Майкоп Адыгейской автономной области Краснодарского края. Был у меня там дружок Леня – брат моего приятеля Саши Рудакова, работавшего тогда в журнале «Кругозор». Вот и захотелось мне убить сразу двух зайцев – и дружка навестить, посмотрев заодно неизвестные мне края, и за счет конторы съездить: своих денег на подобное путешествие, естественно, не хватало.

Дабы не мотаться впустую, набрал в отделах разные задания. Поручено мне было написать несколько рядовых материалов о культурной жизни Адыгеи, проходящем там фестивале художественной самодеятельности и других столь же ординарных вещах. Все задания я благополучно выполнял днем, а вечера весело проводил в компании Лени – местного художника.

И вот в один из немногих остававшихся мне до отъезда вечеров я снова заглянул к нему. Леня, томимый не по-сентябрьски жаркой погодой, сидел в одних трусах за столом перед ополовиненной бутылкой водки. Выглядел он явно расстроенным.

– Ты чего такой кислый? – поинтересовался я.

– Да день выдался поганый, – ответил он, добавляя в стакан жидкость местного розлива. – Представляешь, надписи на гробах делал. А их – гробов – штук двадцать...

– На каких гробах?!

– Туристы у нас тут в горах погибли, – пояснил Леня, залпом опрокидывая стакан. – История там какая-то нехорошая произошла, а мне вот пришлось их домашние адреса красивым почерком выводить. Та еще работенка...

О случаях массовой гибели людей в нашей прессе тогда не писалось вообще. Но я, в те годы еще почти свободный от пут «внутреннего редактора», что разьедал мозги каждого журналиста за долгие годы работы в газете, бросился в местную прокуратуру... Как же неохотно, сдаваясь под давлением «центральной прессы», меня знакомили с этим делом. А дело, на мой взгляд, требовало того, чтобы о нем рассказать. Ибо тогда, может быть, впервые в таких масштабах, я столкнулся с людской подлостью и трусостью, с попранием элементарных человеческих законов, с предательством одних и мужеством других – словом, с подлинной трагедией, которая произошла в горах Главного Кавказского хребта.

Позволю привести свой очерк «Случай в горах» почти целиком, ибо, думается, факты, изложенные в нем, заставляют и сегодня задуматься о глубинной сути человека. И еще о том, что отнюдь не коллектив, как это считалось при советской власти, а сама жизнь делает нас тем, кто мы есть, выявляя наше подлинное, глубоко запрятанное в подсознании «я» именно в исключительных обстоятельствах.

– Знаешь, всегда кажется, что ты в данной ситуации поступишь по-другому. А вот когда доведется побывать в ней... И все-таки я уверен, что эта история не кончилась бы так трагически. Да стоило им прямо на тропе сесть в круг, отдать наиболее теплую одежду тем, кто с краю, накрыться клеенками, которые у них были, и ждать, когда утихнет буря, не было бы таких последствий. А они забыли, что в трудную минуту надо держаться вместе...

Снова и снова я вспоминаю эти слова, сказанные Валерой Савиным, альпинистом с многолетним стажем, знающим горы Главного Кавказского хребта, как таблицу умножения. Вспоминаю и тогда, когда наш автобус, прижимаясь боком к нависшей над дорогой круче, медленно ползет вверх. Внизу бьется зажатая скалами, словно в тиски, кавказская пленница – речка Белая. Вот последний раз мелькнул ее изящный изгиб и пропал за поворотом. Чем выше поднимается машина, тем ярче, до боли в глазах, светит солнце и все более четко прорисовываются снежные вершины, упирающиеся своими остроконечными пиками в небесно-голубую твердь.

Натруженно гудит мотор машины, преодолевающей несколько десятков неподатливых километров. Вот сейчас, совсем скоро, из-за поворота покажется небольшой, в два десятка домов посёлок Гузерипль, и полукруглые крыши турбазы «Кавказ», и надпись над входом в нее: «Добро пожаловать!». Тот автобус, везший в начале сентября группу туристов, ехал точно так же, и тот же вид открывался из окна.

И снова в памяти всплывают те трагические в своей сути факты и подробности, что я узнал за последнюю неделю. И память, словно чувствительная магнитная пленка, зафиксировавшая все сведения, снова начинает воспроизводить эпизоды истории, произошедшей в горах.

... Всесоюзный туристический маршрут Хаджох – Дагомыс проходит в горах Главного Кавказского хребта. Прекрасные места, хрустальный воздух, удивительный ландшафт кавказского заповедника – все это привлекает туристов. Каждый год по маршруту Хаджох – Дагомыс проходит более шести тысяч человек.

Этот маршрут считается внекатегорийным, не представляющим почти никакой сложности для туристов. Группа прибывает на турбазу «Горная» в поселке Хаджох, проходит там в течение трех дней предварительную подготовку, получает необходимое снаряжение, а затем ее автобусом доставляют на турбазу «Кавказ» в Гузерипль. Еще три дня, и группа выступает в горы. За несколько часов туристы доходят до приюта «Армянский» (несколько палаток, притулившись в горах), а на следующий день идут до приюта «Фишт». Снова ночевка, и спуск с гор в Дагомыс, к морю...

9 сентября с турбазы «Кавказ» вышла группа № 93 в составе 51 человека. Группу сопровождали два инструктора. Туристы достигли приюта «Армянский», переночевали там и пошли дальше на «Фишт». Туда они должны были прибыть 10 сентября в 16 часов. Ни в контрольное время, ни вечером, ни на следующий день группа на «Фишт» не пришла...

Что же произошло 10 сентября и в последующие за ним дни на туристическом маршруте Хаджох – Дагомыс?

Начнем рассказ с того момента, когда туристы, покинув приют «Армянский», вышли на тропу и направились к приюту «Фишт». Группа, разбитая на две подгруппы, одну из которых возглавляла Ольга Журав-

лева, а другую – Алексей Сафронов, оба студенты Донецкого сельскохозяйственного института, должна была пройти шестнадцать километров. Надо сказать, что участок пути на этом отрезке маршрута самый трудный – тропа проходит по склону хребта Буйного, образуя тяжелый затажной подъем. И еще одна особенность этих мест – через пять-шесть километров после приюта «Армянский» начинаются альпийские луга – открытая местность, продуваемая насквозь всеми ветрами.

Подгруппы двигались одна за другой на расстоянии нескольких десятков метров. Несмотря на мелкий морозящий дождь, который начался после выхода туристов, у всех было прекрасное настроение. Шли легко, уверенно, не мешали и тяжелые рюкзаки, заполненные теплыми вещами и продуктами, полученными на турбазе.

Вскоре дождь сменился слабым мокрым снегом, не предвещавшим никакой опасности. Но когда группа вышла на альпийские луга, неожиданно поднялся ураганный ветер со снежной крупой. Сафронов решил догнать группу Журавлевой, чтобы соединиться с ней, – продвигаться вместе легче. Ему удалось это сделать, но идти дальше было невозможно. Резкий ветер валил с ног, из-за слепой круговерти видимость упала почти до нуля. И тогда инструкторы решили сойти с тропы и спуститься вниз под защиту леса. По прямой до него было не более полукилометра. С этого момента группа и осталась один на один со стихией.

Наверное, инструкторы приняли единственно верное в тот момент решение, но для тех, кто пришел в горы впервые, это стало не легким делом. Была потеряна единственная артерия, связывающая туристов с людьми, теплом, жильем. И нужно было обладать немалым мужеством, чтобы не растеряться.

Теперь уже трудно, невозможно установить, кто первым бросил рюкзак и побежал. Можно только с уверенностью сказать, что это был слабый человек. Не физически, нет. Слабый духом. Он был первым, за ним побежал второй, третий... Вниз, вниз, быстрее вниз, под защиту леса. Не зная о том, что резко пересеченная местность отгораживала их от леса глубокими оврагами, идущими в разные стороны, люди бежали, теряя в белой мгле своих товарищей.

Так туристы оказались разбитыми на группки. Мы проследим судьбу трех, самых многочисленных из них, и начнем с момента, когда те, кто не побежал, пошли за инструктором.

– Слабые стали отставать, – рассказывает врач Л.Рослякова из Севастополя. – Я и идущие за мной помогли тем, кто ослаб, и потеряли основную группу. Кричать было бесполезно, так как стоял сильный шум от ветра. Шли по следам, оставленным в снегу. Он был глубокий, местами по колено. Дошли до леса. Там было потише. На крики отозвались те, кто ушел вперед. Они показались на той стороне ручья, но оставшиеся до них добраться не смогли, берега были очень крутыми. Сбоку и выше, судя по крикам в лесу, были еще туристы, но маленькими группами. Все слышали друг друга, переключались, но собраться вместе не смогли, так как кругом были обрывы, густой кустарник, глубокий снег...

Словом, группа, где была Рослякова, оказалась в тяжелом положении. Замерзшие, промокшие насквозь люди, некоторые без теплых вещей, оставленных в брошенных рюкзаках. Они не смогли развести костер, спички отсырели. Наступала ночь. Снегопад снова сменился дождем, потом началась гроза, молнии били, казалось, прямо в лицо, ни на минуту не утихал сильнейший ветер. Те рюкзаки, которые еще оставались, они положили в круг, легли на них, а сверху, по пояс, накрылись клеенками. Лежали, прижавшись друг к другу, но это не спасало от холода. Нужно было двигаться, чтобы не замерзнуть. Рослякова, как врач, понимала это лучше других. Она тормозила людей, заставляла их двигаться, но они безвольно сидели на мокрой земле. К рассвету четверо из них погибли...

Самая многочисленная группа вместе с инструкторами перебралась через ручей. Дошли до небольшой поляны с двумя высохшими пихтами. Сафронов приказал останавливаться здесь и разводить костер. Нужно было искать отставших. И тогда инструктор предложил наиболее сильным идти с ним. Никто не отозвался. Он просил, уговаривал. С ним не пошел никто. Сафронов ушел один и спустя час привел на поляну десятерых отставших туристов. Здесь он обнаружил, что костер еще не горит, а группа наиболее сильных ушла вниз. Нужно было разжигать костер, но никто не хотел идти за сучьями. Снова пришлось уговаривать людей, объяснять им, что это нужно для спасения их собственной жизни. Наконец, несколько мужчин отправились на поиски хвороста. Вскоре запылал огонь.

– Люди слушались плохо, – рассказывает В.Данченко, инженер-конструктор из Донецка. – Возле костра все поместиться не могли.

Те, которые были у костра, не пускали нас к нему и на пять минут. Никто не хотел идти за дровами. Когда Рита Свирюшкина пыталась пройти к костру, один из мужчин – Старобельский, чуть не столкнул ее в обрыв.

– Несколько крепких мужчин, – рассказывает В.Китенков, инженер из Жданова, – отказывались оказывать помощь тем, кто чувствовал себя плохо. Они вели себя нагло, отталкивали слабых от костра...

Как можно объяснить такое? Сейчас те, кто был в ту ночь у костра, пытаются выгородить и оправдать себя, ссылаются на нервный шок... Но почему-то не веришь их словам, понимаешь, как, наверное, понимают и они сами, что те, кто отталкивал слабых, пытались выжить любой ценой. Даже ценой подлости, ценой предательства.

История знает немало примеров, когда человек, оставшись один на один со стихией, с белым безмолвием, борется до конца и побеждает. Нет нужды приводить уже ставшие хрестоматийными примеры такого мужества. Но вот один из туристов, инженер В.Мезенцев, заявляет: «Кто хотел выжить — тот выжил». Ребята из группы Мезенцева, из той самой группы, что самовольно покинула товарищей и ушла вниз, хотели выжить. И они выжили. Бросив слабых.

В тот самый момент, когда инструктор ушел на поиски людей, а туристы остались с другим инструктором, Олей Журавлевой, ослепшей из-за снежной сечки, беспомощной, группа из семи человек, пожалуй самых сильных, спокойных и уверенных в себе людей, решила уйти. Нет, они не пошли с инструктором, не помогли развести костер, не поделились с оставшимися теплыми вещами и продуктами, хотя были отлично экипированы, имели запас еды, медикаменты, спички, клеенки, у них была даже карта, по которой они ориентировались на местности. Это были люди, которые могли бы возглавить, соединить растерявшийся коллектив. Они не сделали этого. Они спасали, прежде всего, себя.

Не знаю, как потом они смотрели в глаза тем, кто остался жив. Трудно представить, что, например, тот же Мезенцев после всей этой истории уехал отдыхать на юг. «Не терять же из-за этого отпуск»,— сказал он потом.

... Утром, когда рассвело, инструктор принял решение с группой тех, кто еще мог передвигаться, выходить на тропу в надежде встретить там следующую группу и попросить помощи. Замерзшие, выбившиеся из сил, они выбрались на тропу, и тут их повстречали пастухи.

Рассказывает В. Макуленцов, пастух: «Когда мы – я и второй пастух В. Крайний – наткнулись на ребят, они были чуть живые, насквозь мокрые, замерзшие. Мы довели их до балагана [*домик пастухов в горах, где они пережидают непогоду – В.Ш.*]. Крайний остался с ними, а я пошел искать других туристов. Снег был по пояс, следы быстро задувало. Вылез на кручу, увидел, что стоят два человека – девушка и парень. Они стояли без рюкзаков, еле держались на ногах, в абсолютно сырой одежде. Я их отвел в пихтарник, посадил, сказал, чтобы они никуда не отлучались, а сам пошел искать других людей. Скоро встретил еще группу туристов. Они сидели под пихтой, прижавшись друг к другу, состояние их было ужасное. Я сказал им, чтобы они сняли кеды, выжали носки, но они не слушали, ни на что не реагировали. От инструктора Ольги я узнал, что недалеко есть еще люди, и вскоре нашел их. Соединив обе группы, я повел их к балагану. Они еле шли. Одна из женщин не смогла двигаться. Я понес ее на себе, она просила, чтобы ее бросили. Глаза у нее были какие-то неживые. Метель продолжалась. Я шел впереди, пробивал тропу, говорил ребятам, чтобы никого не бросали. В балаган я привел двадцать два человека, дорогой отстали четверо...»

Этот рассказ можно было бы уточнить. Было так, что пастух послал двух мужчин за парнем и девушкой, которых он нашел первыми, но мужчины вернулись, солгав, что никого не обнаружили. Пастух буквально заставлял людей идти, хотя сам чуть не погиб, завязнув в снегу, но никто не протянул ему руку помощи...

Я бы хотел сказать несколько слов о группе в целом. Они приехали на Кавказ из Донецка и Жданова, Киева и Чернигова, Харькова и Севастополя. Молодые – студенты вузов и техникумов, и среднего возраста – рабочие, преподаватели, врачи, инженеры. В группе были коммунисты и комсомольцы, люди со средним и высшим образованием, физически сильные и слабые. Большинство из них находилось в горах впервые. Были и такие, для кого подобное путешествие являлось привычным.

Но коллектив этот не был однородным. Не было в нем крепкой, выработанной годами и общими трудностями дружбы. И все же это был коллектив, и, казалось бы, в нем естественно должны были бы возникнуть свои законы. Законы эти были известны Владимиру Острецову, который, рискуя жизнью, в невероятно трудных условиях

сумел вывести людей к балагану и спасти им жизнь. Но ведь они, наверняка, были известны и Валерию Масштавову, который, будучи одним из самых сильных, съел в балагане последнюю банку консервов, предназначенную для всех.

Как установила судебно–медицинская экспертиза, все оставшиеся в горах умерли от переохлаждения организма. Никто не сломал ногу, не упал с хребта, не провалился в трещину. Все они замерзли...

Могло ли не быть трагедии? Конечно. И подтверждает это судьба одного человека из группы — Светы Вертилука. Той самой девушки, которую первой нашел пастух и велел ей никуда не уходить, ждать, что за ней придут. И она ждала. Долго. Парень, бывший с ней рядом, бросил ее и ушел (позже спасатели нашли его замерзшим). А она, не потеряв самообладания, не потеряв мужества, ждала. Сутки, вторые, третьи... Она могла бы поддаться панике и уйти. Но она, подчиняясь внутренней дисциплине, оставалась на месте.

Рассказывает И. Вакуленко, лесник: «Мне кажется, что только огромное самообладание и вера в то, что за ней придут, помогли Свете спастись. Ведь если бы она растерялась, если бы поддалась панике – она бы не выжила. Горы не прощают слабости, не прощают трусости и малодушия...»

... Вот такая история произошла в горах.

В этом очерке я, за давностью лет, изменил только фамилии – и положительных персонажей, и отрицательных. Все остальное, включая и наивные, быть может, по сегодняшним меркам пассажи, приведено так, как и в самом очерке, который был опубликован в «Советской культуре» 14 ноября 1975 года. Конечно же, цензура не позволила привести точное число людей, погибших в горах: а было их 26 человек – из 51! Но сам материал практически не тронули – ни цензура, ни мои редакторы, включая и главного. Что в немалой степени удивляет меня и по сей день – хотя знаем мы теперь трагедии и страшнее, но по тем временам сам этот случай как нельзя ярче демонстрировал, что, несмотря на все многолетние старания официальной пропаганды, несмотря на широко декларируемые принципы «морального кодекса строителя коммунизма» (был и такой, едва ли не сколок с 10 библейских заповедей), человек оставался человеком – со всеми его «свинцовыми мерзостями жизни», как выразился когда-то Горький.

Очерк напечатали, и я, как пишется в дурных романах, наутро проснулся знаменитым... Конечно, говорили не о моем журналистском мастерстве, а о тех фактах, которые приводила газета: мы получили в те дни сотни откликов от читателей, возмущенных описанной ситуацией.

А вскоре последовал беспрецедентный для журналистики тех дней случай: в двух номерах «Литературной газеты» появился очерк «Смерч» – на ту же самую тему, созданный тогдашней звездой «Литературки» Аркадием Ваксбергом. Что уж побудило маститого очеркиста пойти по моим следам, не знаю, но знаю, что его «урожай» оказался богаче, ибо через какое-то время по сценарию Ваксберга был снят фильм «Штормовое предупреждение» – все о той же трагедии на Кавказе. Правда, по собственному признанию сценариста, в фильме этом «чуть ли не все кинотуристы, в отличие от тех – реальных, взаправдашних – бросались на экране помогать друг другу, и даже единственный отщепенец оказался спасенным никого и никогда не покидающими в беде благородными советскими комсомольцами».

Но это уже – на совести авторов фильма. Моя же совесть была чиста, ибо рассказал я о той трагедии правду – то, что сам узнал и увидел. Никогда не забуду горы вещей, оставшихся от погибших, что были свезены в прокуратуру Адыгеи, и монотонный голос, составлявший их опись: «Губная помада красная – одна... Бюстгальтер женский голубой – один... Очки солнечные черного цвета – одни... Кеды спортивные 36-го размера производства Китая – одни...». Вскоре последовали, как полагалось в те годы, «оргвыводы»: сняли с работы руководителя областной организации по туризму и экскурсиям, директора турбазы, наказали кого-то еще. Да только кому от этого стало легче: не мне, во всяком случае. Впрочем, и я пожал свои «плоды удачи»: начальство, очевидно признав во мне наличие неких репортерских способностей, с подачи Костенко перевело меня из разносчика гранок на искомую должность корреспондента отдела информации.

Весь этот цирк

Примерно тогда же моя репортерская судьба свершила неожиданный поворот. И я на долгие годы оказался связан с искусством цирка – искусством, густо пропитанным потом работы и ядом интриг, притягательным блеском огней манежа и грязью закулисных скандалов, высокой поэзией трюка и измененными человеческими страстями.

Есть в цирке примета: стоит человеку хотя бы один раз переступить барьер манежа и оказаться на арене, и он уже никогда с ней не расстанется. Я много раз входил в этот чарующий круг, оказываясь и в тишине шапито, когда гасли огни и брезентовый шатер погружался в оглушающую тишину, и на просцениуме больших дворцов, где верхние ряды зрительного зала кажутся сливающимися в одну бесконечную темную полосу... Упругий каучуковый пол, призванный, казалось бы, отталкивать мощные тела акробатов, взлетающих над манежем, и в самом деле стал для меня тем притягательным магнитом, который не отпускает до сих пор, одаривая дружбой одних, неприязнью других и равнодушием третьих.

А началось все в тот день, когда меня вызвал первый заместитель главного редактора Петр Степанович Дариенко.

– Ты цирк любишь? – неожиданно спросил он.

Меньше всего я ожидал подобного вопроса. Поскольку с детских лет цирк как-то не входил в систему моего эстетического воспитания, поелику возможно осуществляемого родителями. Поэтому на вопрос Дариенко я промекал нечто неопределенное, всем своим видом, впрочем, выразив готовность по приказу начальства полюбить цирк хоть сейчас.

– Дело вот какое, – продолжал Дариенко. – В цирке на проспекте Вернадского сейчас идет новая программа. – Сходи туда, напиши о ней. И вот еще что: там, в программе, выступают артисты Рогальские. Так ты их не забудь отметить, похвали, как положено.

Как положено, я не знал, но догадывался. И, посмотрев программу, написал нечто духоподъемное о высоком искусстве советского цирка и не менее высоком искусстве дрессировщицы собачек Энгелины Рогальской. Судя по тому, с какой скоростью этот опус был напечатан, мои оценки явно пришлись по вкусу Дариенко.

Почему же выбор первого заместителя главного редактора пал именно на меня? Да просто в газете цирком никто не занимался, ибо считался он искусством как бы «второго сорта», пожиже даже, чем эстрада, и потому писали о нем лишь время от времени, по случаю какой-либо возникшей необходимости. У Дариенко эта необходимость как раз и возникла – в 60-е годы, еще до переезда в Москву, был он министром культуры Молдавии. Там же, в Молдавии, начинали и супруги Рогальские – в Кишиневском цирке выпустили Евгений и Энгелина акробатический номер на лошадях, который так и назывался «Сценка в Молдавии». С легкой руки Дариенко и благодаря дружбе с ним, подкрепленной истинно молдавской щедростью, стали они заслуженными артис-

тами Молдавской ССР и оттого считали Петра Степановича своим «крестным». Ну как было не написать о них в газете, а тут и всеядный репортер под руку подвернулся...

Конечно, для Петра Степановича все это были «мелочи жизни», ибо в то время переживал он отнюдь не легкий период в своей судьбе. Была она, казалось, к нему вполне благосклонна – еще в те времена, когда «Советская культура» находилась в подчинении Министерства культуры СССР, которое возглавляла всесильная Екатерина Андреевна Фурцева, ее тщаниями перевели Дариенко из солнечной республики в столицу, на должность главного редактора газеты. Был он лично известен и Брежневу, еще с тех самых времен, когда Леонид Ильич был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. Причем в первую очередь ценил его Брежнев не столько как министра культуры, сколько как поэта – под псевдонимом «Петря Дариенко» выпустил Петр Степанович немало своих сборников стихов, прославлявших родной край.

Помню, как, выступая с докладом на каком-то идеологическом совещании, Брежнев мимоходом упомянул «Петрю Дариенко» в числе наиболее талантливых национальных поэтов. Как ликовал Петр Степанович! Он носился по всей редакции с газетой «Правда» в руках, где опубликовали вышеупомянутый доклад, и не было, наверное, в тот миг на Земле человека, счастливее его.

Но это произойдет уже тогда, когда Дариенко потеряет высший пост в «Советской культуре». Выйдет из большой партийной игры Фурцева (в 1974 году она по одной версии скончается от острой сердечной недостаточности, по другой – покончит жизнь самоубийством), газету передадут в подчинение ЦК КПСС, и Дариенко, лелеявший мечту остаться главным, станет в ней лишь вторым – главным редактором назначат Романова. Для Петри (так все и называли его в редакции) это будет огромным ударом: его последствия он будет лечить исконно русским способом, благо гонорары от продолжавших печататься огромными тиражами поэтических сборников у него всегда имелись в избытке.

Как он пил! Помнится, в дни какого-то очередного съезда партии Романов, по обязанности присутствовавший в Кремле, оставил на хозяйстве Дариенко. Секретариат, где я тогда работал, находился на одном этаже с кабинетом первого заместителя главного, и, выйдя в коридор по каким-то надобностям, я вдруг к своему изумлению увидел Петрю, который... полз по ковровой дорожке коридора, нечленораздельно мыча и потряхивая головой, словно конь, возвращающийся с водопоя. Стараниями вахтеров он был тут же упакован в дежурную машину и отправлен домой, дабы на следующий день вновь приступить к обязанностям руководителя важного идеологического органа партии.

Вообще-то был он, как сказал бы классик, «добрым малым». Вся редакция занимала у него деньги до получки, он никогда не был замешан в редакционных дрязгах и разборках, но история с потерей кресла главного, очевидно, сломала его, и, пережив несколько инфарктов, однако продолжая при этом пить, Петр Степанович в одночасье скончался. Злые языки говорили, что перед смертью он погрузился в особо тяжелый запой, но, как бы там ни было, оставил он по себе все же добрую память – пусть и не как поэт, о стихах которого сейчас никто и не вспоминает.

Ну, а с того времени, когда, выполняя задание Дариенко, я впервые попал за кулисы цирка, прошло несколько месяцев. Я и думать позабыл и про цирк, и про артистов. Надо было в поте лица, а точнее, в «поте пера» добывать свой хлеб насущный, сиречь именуемый «гонорар». И вот как-то утром я ехал на службу, раздумывая как раз об этой проблеме. Неожиданно кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Молодой круглолицый парень с беспорядочно взъерошенной копной волос улыбался мне так, словно увидел близкого родственника.

– Вы меня не помните? – поинтересовался он. – Я Куклачев, из цирка. С кошками выступаю. Вы у нас были, а потом еще и обо мне написали...

Разговорились... Мог ли я предполагать, что эта случайная встреча на долгие годы соединит нас в своеобразный творческий союз, который Юра использует на полную катушку. И... предаст этот союз, когда он станет ему не нужным.

Что привлекло меня в нем тогда? Оба мы были молоды, оба, по сути, только начинали свой путь, подталкиваемые амбициями и смутными мечтаниями о карьере, славе, деньгах... И оба были не без способностей – жизнь подтвердила это, хотя и потребовала взамен долгие годы работы. А тогда...

Тогда я кропал свои заметки, писал стихи – для себя, в стол, а Куклачев, окончив к тому времени Училище циркового и эстрадного искусства, искал, как сказали бы критики, свой образ на манеже... И поддержку за манежем – любому молодому артисту, да еще не «родившемуся в опилках», то есть не принадлежащему к одному из цирковых кланов, приходится в жизни очень непросто.

Юра был из обычной «рабоче-крестьянской» семьи. Отец – шофер пожарной машины, мать, кажется, кассир или бухгалтер. И сестра еще была. Достатка в семье не имелось – откуда? – поэтому жили, как все: отец попилвал, но не так, чтобы запоем, мать вела дом, дети учились – ни шатко, ни валко. Почему уж надумал Юра поступать в Училище циркового и эстрадного искусства – кто его знает? Но, по крайней мере, романтикой тут не пахло, да и в училище уда-

лось поступить не сразу: три года бился головой об стену, но все не принимали – говорили, что нет для этого никаких данных. Вот тут-то и проявил Куклачев свое врожденное умение прошибать любые преграды: с четвертого раза все-таки поступил...

Мне говорили потом, что и выпускался он плохо: еле-еле на троечку. После выпуска попал, как и все, в «конвейер»: потянулась череда провинциальных цирков с их непритязательной публикой, затхлыми общежитиями для артистов и стылыми гримборными. Так бы это и продолжалось до бесконечности – сколько цирковых артистов, и не только клоунов, пропали в неизвестности! Да выпал случай: увидел Куклачев, как его коллега Валера Мусин работает с кошками.... И вскоре клоун Юрашка тоже обзавелся усатыми-полосатыми...

Его заметили, Куклачев оказался в Москве – в программе, где работал знаменитый Карандаш. Это было непросто – Карандаш славился своей капризностью и непредсказуемостью. И если в манеже, несмотря на свой почтенный возраст, этот маленький человек, выступавший вместе со своей, тоже знаменитой, собакой Кляксой, продолжал срывать аплодисменты, то за кулисами от него стонали все: от директоров цирка до униформистов.

Вот пример. Однажды, гастролируя в Тульском цирке, Карандаш за полчаса до начала представления, зайдя в кабинет директора цирка Дмитрия Иосифовича Калмыкова, объявил ему, что сегодня не выйдет в манеж.

– В чем дело, Михаил Николаевич? – изумился тот.

– У меня пропала Клякса.

Запахло скандалом: цирк был уже почти полон. Калмыков дал команду срочно разыскать исчезнувшую собаку. На ее поиски были брошены все: служащие, униформисты, артисты. Безрезультатно. Удрученный директор отправился в гримерную Карандаша, чтобы все-таки уговорить его выйти в манеж: представление нельзя было срывать ни под каким видом. Каково же было его удивление, когда в гримерной он увидел и клоуна, и его собаку, мирно хлебавшую молоко.

– Так вот же она! – воскликнул Калмыков. – Что же вы весь цирк на уши поставили?

Слово за слово – оказалось, что Карандаш отказывается выходить в манеж, потому что исчезла... фанерная Клякса, изображенная рядом с клоуном на фасаде цирка: ее, очевидно, сорвало ветром, бушевавшим минувшей ночью. Никто этого не заметил, кроме самого клоуна, который и устроил скандал, согласившись выйти в манеж только после того, как директор цирка клятвенно пообещал восстановить изображение собаки...

Я же был свидетелем другой истории. Один из спектаклей в цирке на проспекте Вернадского, где участвовал Карандаш, поручили поставить главному режиссеру Сочинского цирка Ефиму Карпманскому. Маститый режиссер, ныне живущий в Кельне, отдал немало сил этой постановке, которая создавалась к какому-то очередному юбилею. Репетиции шли непросто, как всегда что-то не ладилось, иные из участников представления не очень-то и слушались «чужака» из провинции. И все же премьера удалась, Карпманский уже готовился пожинать лавры...

Вот тут-то все и произошло. Как-то в антракте я зашел к Леониду Костюку, который в то время возглавлял цирк на Вернадского. Напротив директорского стола, у стеночки увидел Карандаша, который тихонько сидел на стульчике рядом с дверью, ведущей в кабинет. Поздоровались... Я подсел к столу и о чем-то заговорил с Леонидом Леонидовичем. Вдруг дверь с шумом распахнулась, прикрыв собою Карандаша, и в кабинет буквально влетел Карпманский. Он не замечал никого вокруг, его крупная фигура дышала гневом, Фима чем-то напоминал быка, рвущегося наказать тореадора за все причиненные муки.

– Леня, – возопил он, обращаясь к Костюку. – Я больше не могу работать с этим недомерком, с этим огрызком. Только и слышу: «Я Карандаш, а ты – говно». Эта блядь не хочет репетировать, срывает темп представления, тянет одеяло на себя...

Поток ненормированных выражений в адрес Героя Социалистического Труда был неостановим. Мы замерли. В этот момент из-за двери, прикрывавшей его, тихонечко вышел Карандаш... Увидев его, Карпманский запнулся на полуслове, как-то сразу сдулся и застыл, словно кролик, обнаруживший перед собою удава. Зрелище было одновременно и трагическое, и комическое: массивный режиссер и едва достающий ему до пояса клоун стояли друг напротив друга, будто два боксера, собирающиеся вступить в бой.

Пауза провисела несколько секунд, а затем Карандаш, взяв Карпманского за нижнюю пуговицу пиджака, тоненьким фальцетом произнес:

– Это я блядь? Это ты, Фима, блядь. В 24 часа вон из Москвы...

Повернулся, и так же тихонечко вышел из кабинета...

И, действительно, цирковое руководство на следующий день отправило Ефима Ароновича назад в Сочи, ибо был Карандаш в цирке всемогущим... Так и осталась постановка без режиссера, а сам режиссер без наград за свои труды, на которые он так надеялся...

Словом, с Карандашом работать было действительно нелегко, но Куклачев как-то выдержал и это, хотя Михаил Николаевич чрезмерно ревниво относил-

ся к молодым клоунам, полагая поголовно всех их бездарями. Даже Никулину, который начинал как ученик у Карандаша, приходилось непросто – из-за характера мастера, его непрерывных придинок, усугубленных периодическими возлияниями. А выпивки Карандаш отнюдь не чурался, несмотря на строгий контроль со стороны своей супруги. Доходило до того, что она запирала его в гримерной, лишь бы он не «оторвался» по полной. Но даже в такой ситуации клоун находил выход: подзывал к запертой двери кого-нибудь из проходящих мимо униформистов и, просунув в щель под дверь деньги, посылал того за коньяком. Народному артисту СССР не откажешь: коньяк покупался, наливался в блюдечко, и так же через щель отправлялся назад в гримерную, где его и оприходовывал клоун. Говорили, что на гастролях он умудрялся зашивать грелку с коньяком в кулису, а перед выходом на манеж отхлебывал из грелки через соломинку, делая вид, будто наблюдает за ходом представления.

В общем, на гастролях в Москве Куклачев преодолел «испытание Карандашом». Именно тогда он зачастил ко мне: приходил в редакцию, начал бывать у меня дома, я – у него. Юра был мне любопытен, ибо принадлежал к другому миру, о котором я тогда ничего не знал. Постепенно наши дружеские отношения стали подкрепляться профессиональными: я опубликовал в «Советской культуре» очерк о Куклачеве (первый в его жизни), свел начинающего артиста со своими друзьями из других газет, с бывшим сокурсником Володей Безяевым, работающем на радиостанции «Маяк»... О Юре появились публикации, он, что называется, «замелькал»... Журналистов привлекали, конечно же, дрессированные кошки (тогда это вызывало удивление, к тому же и в нашей среде нашлось немало «кошатников»), но и Куклачев умел подать себя, был обаятелен, да и на угощение не скупился. А что нашему брату еще надо?

Публикации заметило, очевидно, и цирковое начальство в Москве, и директора цирков, руководствующиеся простым принципом: раз пресса пишет, значит, в этом парне что-то есть... Куклачева стали приглашать в считавшиеся престижными цирки: Киев, Минск, Сочи, Тулу, Кисловодск. Наконец, как молодое дарование, его включили в состав коллектива, отправляющегося с гастролями на Кубу. Словом, пошло-поехало...

Потом были гастроли в Америке, и это означало, что Юра прочно «вошел в обойму». К тому же зарубежные гастроли давали артисту возможность после возвращения без особых забот прожить достаточно долгое время. Собственно, у любого советского человека в те годы были три базовые мечты – квартира, машина, дача. Ради реализации этих мечтаний и корячились за границей наши артисты, дипломаты, торговые работники – все те, кто получали

пресловутые валютные командировочные – отказывая не только себе, но зачастую и собственным детям в самом необходимом – вплоть до еды. Нередки были случаи, когда на парткомах в посольствах и торгпредствах (впрочем, для конспирации парткомы там скрывались под маской профкомов) разбирали поведение наших сограждан, устраивающих скандалы собственным домохозяевам за потраченный «не по назначению» доллар-другой. Какая уж там шоколадка или бутылка пепси для малыша – все откладывалось на «будущее».

Вспоминаю в связи с этим, как Куклачев в 1979 году, как раз после гастролей в Америке, привез в Москву свою первую машину. Технология ее приобретения для обладателей валюты (в отличие от тех, кто этой самой валюты не имел) была проста и отработана: валютодержатель, честно заработавший свои тугрики за границей, сдавал их в посольство и получал некий документ, дающий ему право приобрести искомый автомобиль в одном из магазинов фирмы «Березка». То была сеть магазинов, имевшихся во всех крупных городах страны, где могли отовариваться только иностранцы и держатели так называемых чеков – они выдавались взамен валюты нашим людям, работавшим за границей, и делились на три категории – валютные чеки социалистических, развивающихся и – самые крутые – капиталистических стран. На последние можно было купить куда больше разнообразных товаров, чем, скажем, на чеки соцстран. Имелась по этому поводу песня у Высоцкого про то, как некая семья, снабдив своего главу списком «на восемь листов», отправила его за покупками в столицу, а тот возьми и забреди сдуру в «Березку»: «Какая валюта у вас? – говорят. – Не бойсь, – говорю, – не доллары». Легко можно представить, какое впечатление производили на случайно попавших сюда советских людей эти, заваленные импортной едой и ширпотребом, стыдливо прячущиеся за плотными занавесками магазины. Впрочем, случайные люди сюда практически не попадали: вход в «Березки» надежно охраняли стражи из чекистов-отставников.

Именно в «Березке», торгующей в том числе и автомобилями, получил Куклачев в обмен на посольский документ, подтверждающий, что он сдал свои, честно заработанные, доллары, новенькую черную «Волгу» – предмет мечтаний мужской части населения нашей страны. Мы дружно обмыли покупку, а затем и номера – в ГАИ Юре выдали номера не простые, а «блатные» – 00-01. И это тоже была привилегия «избранных»: имея связи с правоохранительными органами, можно было, как, впрочем, и поныне, раздобыть волшебный номер, завидев который ни один гаишник не стал бы тормозить на трассе автомобиль – «свой» человек едет! У Юрия Никулина, кстати, был номер на его «Волге» – 00-13...

Увы, «Волгу» Куклачева угнали на третий день. Что называется, с концами... А заодно и с номерами. Очевидно, ее «пасли» еще от магазина, а уж куда она ушла – одному Богу известно.

Тем не менее жизнь продолжалась, продолжались его выступления, гастроль, работа над новыми репризами. Но хотелось чего-то большего. И вот однажды, во время очередной нашей встречи, родилась «грандиозная» идея: создать клоунский спектакль, где главным действующим лицом и должен стать клоун Юрашка.

Спектакли в цирке – вообще особая статья. И не только потому, что занимали они два полномасштабных отделения, имели собственный литературный сценарий, включали массу цирковых номеров, которые необходимо было как-то вписать в общий ход представления. И не потому, что «пробить» их «под себя» могли только артисты-тяжеловесы, облеченные всевозможными званиями и регалиями. Под такие спектакли «Союзгосцирк» (некто вроде циркового министерства, именуемого в просторечии «главк») выделял значительные по тем временам деньги, для артистов специально шили костюмы, создавали новый реквизит, писали музыку... Была у таких спектаклей и еще одна, не менее приятная, но как бы неозвучиваемая сторона: авторы сценария и композитор по нормам существовавшего тогда авторского права получали не только хорошие гонорары, но и немалые «авторские отчисления» от каждого исполнения. Естественно, литераторы, работавшие над спектаклем, зачисляли в соавторы артистов, которые и пробивали всю работу: не во имя же одного творчества им было напрягаться...

Но одно дело, когда подобный спектакль делали такие цирковые знаменитости, как Мстислав Запашный, Игорь Кио или Олег Попов: мастерам положено.... И совсем другое – Куклачев, который, что называется, в цирке без году неделя. Да кто ему даст?.. Так бы оно и вышло, если бы не придумали мы хитрый ход, который и позволил сдвинуть дело с мертвой точки...

Комсомольскую организацию «Союзгосцирка» возглавлял в то время Миша Алексеев. Мы с ним были знакомы и раньше, встречались на премьерах, порою крепко выпивали – словом, дружили. Вот к нему-то мы и пришли с идеей создания молодежного спектакля, основной темой которого должна была стать борьба за мир. В те годы эта тема была особенно актуальной: главный пост борца за мир занимал Брежнев, а наша страна, уже введя к тому времени войска в Афганистан, в качестве весомого пропагандистского оружия избрала тем не менее все ту же тему. О защите мира ежедневно трубили газеты, вещало телевидение и радио, представляя Америку и Израиль основными носителями агрессии.

Миша идею оценил сразу, сообразив, что и возглавляемая им комсомольская организация могла бы получить жирный идеологический плюс, выступи она инициатором подобного спектакля. Его ничуть не смутила кажущаяся несовместимость цирка и политики: тогда, в начале 80-х, советской идеологией было пронизано все – так почему бы и не цирк?

Но умный Миша, понимая, что и его идеологических силенок в пробивании идеи может не хватить, пошел дальше: доложил об инициативе комсомольской организации не только в партком «Союзгосцирка», но и в ЦК ВЛКСМ. А вскоре познакомил меня и Куклачева с заведующим отделом культуры ЦК комсомола Валерой Сухорадо.

Имя Валеры было тогда широко известно в творческих сферах, ибо без поддержки и благословения возглавляемого им отдела не обходился, по сути, ни один фестиваль или другое какое-либо крупное творческое мероприятие. Сухорадо был таким молодежным министром культуры, а его отдел являлся своеобразным мини-министерством, чье весомое слово способно было влиять на судьбы молодых деятелей искусства. Речь шла не только об участии начинающих артистов в престижных мероприятиях типа всемирных фестивалей молодежи и студентов: особо отличившиеся могли рассчитывать и на премию Ленинского комсомола, занимавшую в иерархии премий страны ступеньку перед Государственной премией. Эта премия открывала «зеленый свет» к самым высоким званиям, создавала творческому человеку прочный имидж официально признанного таланта, сулила прочие блага. Можно представить, насколько в таком случае ценилось знакомство, а тем паче дружба с Сухорадо – одним из сильных комсомольского мира сего, не без помощи которого в свое время «стартовали» в большое искусство Кобзон и Лещенко, Толкунова и Винокур, многие десятки иных артистов.

Впрочем, Валера и сам был не промах: практически не раздумывая, он дал согласие... стать одним из соавторов нашего спектакля. Дальше все разворачивалось в молниеносном темпе. Я написал некий сценарий про путешествие по городу – мечте с пацифистским (читай, конъюнктурным) названием Мир, где главным хозяином и экскурсоводом был веселый клоун Юрашка. Титульный лист сценария украсили фамилии трех человек: моя, Куклачева и некоего В.Васильева. Впрочем, когда сценарий утверждали на художественном совете «Союзгосцирка», ни для кого не было секретом, кто же скрывается за последней фамилией. Стоит ли добавлять, что сценарий был принят единогласно...

Естественно, Валера не написал ни строчки. Впрочем, этого от него никто и не требовал. В конце концов, не писал же Брежнев «свою» знаменитую эпо-

пею «Малая Земля», за которую получил Ленинскую премию как автор. Так называемое «заавторство» было тогда в порядке вещей. И все же отдадим должное Сухорядо: немалый гонорар, полученный за сценарий, мы честно разделили на троих.

А ведь могло бы быть и иначе. Отвлекаясь от темы, вспоминаю забавный эпизод. В 1978 году Москва изо всех сил билась за право стать столицей Олимпиады-80. Все наши газеты наперебой рассказывали о великолепных спортивных сооружениях столицы, о достижениях мастеров спорта, о том, какие замечательные условия созданы в СССР для укрепления физического здоровья населения нашей необъятной Родины. Словом, как могли, давили на Международный олимпийский комитет, которому предстояло принять решение о выборе столицы Олимпиады.

Не остался в стороне от этой пропагандистской кампании и я. В канун решающего заседания МОК в «Советской культуре» появилась большая статья композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова (супруги в то время были ведущей «двойкой», поставляющей песни на рынок нашей эстрады). Естественно, ни строчки в этой статье не принадлежало ни Александре Николаевне, ни Николаю Николаевичу: всю ура-патриотическую галиматью написал я, а они с удовольствием под ней подписались.

И вот – двойное «ура»: Москву «назначили» столицей Олимпиады (кто бы тогда знал, что через год СССР введет войска в Афганистан, и большинство стран в знак протеста объявят Играм-80 бойкот), а я, в предвкушении гонорара, позвонил Пахмутовой. Дело было за малым: как часто тогда водилось, надо было получить у четы доверенность на право получения за них денег.

Выслушав слова благодарности за статью, я робко произнес:

– Александра Николаевна, там вам гонорар причитается...

И вдруг с изумлением услышал в телефонной трубке:

– Да не беспокойтесь, Виктор Ильич. Мы обычно в конце года с Николаем Николаевичем приезжаем в бухгалтерию и получаем все сразу.

Увы, гонорар, помахав мне на прощание легким крылом, улетучился в направлении композиторско-поэтической семьи. Песен им, видно, было мало...

Но вернемся к спектаклю «Город Мир», сценарий которого теперь было необходимо воплотить в жизнь. Тогда-то Юра и познакомил меня с Сашей Калмыковым...

К тому времени Саша, окончив исторический факультет Тульского педагогического института и факультет режиссуры ГИТИСа, уже несколько лет был главным режиссером Тульского государственного цирка, который возглавлял

его отец Дмитрий Иосифович. За Саней шла слава интересного постановщика – одним из первых он начинал тогда ставить на тульском манеже спектакли. Именно спектакли, часто по классическим произведениям, со своей четко прослеживаемой сюжетной линией, а не традиционный цирковой дивертисмент: несколько десятков номеров, обрамленных нехитрым прологом и эпилогом. Знающий цирк с детских лет, владеющий не только режиссерской профессией, но и суммой знаний в области театра, кино, эстрады, Калмыков охотно принял предложение о нашем сотрудничестве.

И начались мои поездки в Тулу... Сколько ночей мы провели за бутылкой на кухне в доме Калмыкова, порой споря до хрипоты, порой ссорясь и тут же мирясь, то находя точки соприкосновения, то отталкиваясь друг от друга, как магниты с одинаковыми полюсами. Сам сценарий Калмыков забраковал сразу: да и в самом деле был он для реальной постановки абсолютно неприемлем – из-за отсутствия у меня тогда умения мыслить «по-цирково», полагаясь только на свой иллюзорный опыт сочинительства. И все же дело двигалось: уже были заказаны эскизы костюмов, а потом и сами костюмы, подбирались музыка, делались декорации... Куклачев до поры до времени оставался как бы в стороне: он не принимал участия в этой работе, ибо все время был в разъездах – гастролы следовали одна за другой. Я же писал и переделывал тексты реприз и песен, требовавшихся по ходу репетиций. Горжусь, пожалуй, не этим, а другим: именно с моей подачи в этом спектакле впервые были применены лазеры. Это уже потом их широко будут использовать сначала в цирке, а потом на эстраде и в других смежных искусствах, а тогда это было абсолютной новинкой.

Началось же все с того, что за несколько лет до нашей премьеры я попал в экспериментальную студию электронной музыки, существовавшую тогда при фирме «Мелодия» и нашедшую себе приют в Музее Скрябина. Увиденное тогда меня потрясло. Именно здесь небольшая группа энтузиастов (в их числе, кстати, и ставший позже знаменитым композитор Эдуард Артемьев) вела эксперименты по соединению электронной музыки и лазерного цвета, продолжая композиторские опыты в этой области великого Скрябина. В полусферическом малюсеньком зале музея, прячущегося в одном из переулков Старого Арбата, творилась удивительная симфония, завораживающая буквально с первых тактов звучания синтезатора (кстати, первого в Советском Союзе, купленного на одной из международных выставок, проходивших в Москве, с личного разрешения тогдашнего руководителя Совета Министров Косыгина) и появления сложных многоцветных фигур, выводимых лазер-

ным лучом. Кого сейчас удивишь этим, а тогда... Тогда это казалось искусством будущего, подлинным прорывом в мир неведомого.

Я привел в студию Калмыкова, и он, так же как и я, был заморожен увиденным. Оставалось уговорить Дмитрия Иосифовича приобрести лазеры и попробовать использовать их на цирковой арене: дело не только новое, но и достаточно дорогостоящее. И мы его уговорили: Калмыков-старший дал денег.

Так в цирке в качестве полноправного светового оформления появились лазеры. Потом, на премьере, их увидит директор цирка на Ленинских горах Евгений Милаев, ему тоже захочется использовать лазерный свет, а еще позже лазеры широко появятся на эстраде и в театре – пример цирка окажется заразительным.

А пока Тульский цирк готовился к премьере. И вот назначен ее день. Слилса он для меня в одну нескончаемую пьянку: раненько утром из столицы в Тулу стартовал... автобус, в котором на премьеру я вез друзей-журналистов. Квасить начали с рассвета, продолжили, когда приехали в Тулу, закончили поздно ночью – уже после премьеры. И неважно, как она прошла, хорошие рецензии в центральной прессе были обеспечены. Что, собственно, и требовалось...

Так и пошел-поехал наш спектакль по городам и весям, принося Куклачеву творческие дивиденды, а мне и Валере Сухорадо весьма заметную прибавку к зарплате.

Впрочем, Валера свой хлеб ел не зря. Ибо спустя некоторое время мы поздравляли Юру Куклачева с присвоением ему звания лауреата премии Ленинского комсомола. Пройдет еще немного времени, и наш метко прозванный Калмыковым «лунный клоун» (в противовес «солнечному клоуну» Олегу Попову) вместе с супругой Леной, выступавшей в его репризах, окончит ГИТИС. Признаюсь, оба диплома были написаны мною, как и вышедшие вскоре две книги за фамилией Куклачева «Друзья мои кошки» и «Если хочешь быть клоуном». Вскоре Юрашка даже запоет – фирма «Мелодия» выпустит пластинку, где прозвучат две песни на мои стихи в его исполнении. Снимем мы и музыкальный фильм по моему сценарию, который потом покажут по Центральному телевидению.

Спустя годы вся эта работа даст мне основание шутить, что я уложил немало кирпичей в пьедестал для нынешнего народного артиста России. Заслуженно ли он им стал? Несомненно, Юра обладал немалым артистическим талантом, но цирк научил его и мощным пробивным способностям, а без этого в искусстве мало что, наверное, можно было сделать. Цирк же привил ему

умение пользоваться «нужными» людьми, одаривая их большими и малыми подношениями, научил идти к цели, не задумываясь, какой ценой она достигается. Я с грустью наблюдал, как с годами милый клоун Юрашка превращался в матерого борца за место под солнцем, стремящегося любой ценой достичь и весомых почестей, и столь же весомого материального достатка. Жизнь разводила нас все дальше друг от друга, пока, наконец, мы не пошли каждый своей дорогой. Уже в годы перестройки Юра уйдет из «Союзгосцирка», выбьет себе помещение на Кутузовском проспекте, где откроет свой Театр кошек и пустится в самостоятельное плавание по творческим волнам. Правда, с годами его имя, популярное в начале 90-х, как-то нивелируется, перестанет быть широко известно, да, собственно, разве только с ним одним приключится подобная метаморфоза?

И все же я благодарен Куклачеву, ведь с его легкой руки теперь на моем счету немало спектаклей, которые мы сделали с Сашей Калмыковым – ныне ставшим художественным руководителем Росгосцирка и народным артистом России. И по сей день я дружен с Калмыковым и со многими мастерами манежа, а когда пишутся эти строчки, в числе других изданий делаю цирковую газету. Само же искусство цирка внесло в мою жизнь немало ярких минут, позволивших судить о нем не как случайный зритель, а как заинтересованный профессионал.

Государство в государстве

Меня всегда поражало, что в годы советской власти с цирком были связаны имена многих крупнейших функционеров, государственных деятелей, а подчас и заметных криминальных фигур. Да и сами люди цирка, порой известные всей стране, были плотно связаны с миром власти, от которой получали различные льготы и награды, за что, соответственно, и платили: одни дорогостоящими подношениями, другие, бывало, даже собственными женами или дочерьми.

Удивительно ли, что именно цирк называли своеобразным «государством в государстве», где существовала своя иерархия и крутились немалые по тем временам деньги. Возможность их заработать давали гастроли за рубежом, и, чтобы попасть, к примеру, в Японию или Америку, артисты готовы были идти на любые ухищрения. А как иначе можно подготовить новый номер, изготовить реквизит, пошить костюмы? На бюджетные-то средства не особенно

развернешься. Вот и были гастролы тем источником, который питал и артистов, и их семьи. А заодно и функционеров, работавших в «Союзгосцирке» и Министерстве культуры – именно от них зависела возможность попасть в хорошую поездку.

Вот, как говорится, картинка маслом... Теплый июльский день начала 80-х... Центр Москвы... Ранним утром к церквушке, что притулилась рядом с Театром Ленинского комсомола, одна за другой подъезжают машины, по большей части иностранного производства. Выходящие из них люди постепенно заполняют пространство на одном из отрезков улицы Чехова, о чем-то таинственно переговариваются... Видно, что многие из них знакомы друг с другом, да и прохожие, не причастные к данному сборищу, порой невольно замедляют шаг, напряженно вглядываясь в некоторые лица: такое ощущение, что где-то когда-то кого-то из собравшихся они уже видели...

Так проходит час, второй... И вот со стороны Пушкинской площади на улицу Чехова сворачивают несколько огромных трейлеров с иностранными надписями на бортах. Еще через некоторое время возле церквушки появляются люди в форме таможенников. Под их бдительным оком собравшиеся, распахнув двери трейлеров, начинают переносить в церквушку большие и маленькие коробки с ласкающими взгляд надписями на иностранных языках. Случайные прохожие застывают в изумлении. Им, живущим в эпоху «развитого социализма», подобные коробки могли примерещиться разве что в фантастическом сне. Наиболее «продвинутые» интересуются: что здесь происходит? В ответ в лучшем случае слышится нечленораздельное мычание, а в худшем – известный русский фольклор. Причастные же к действию снуют как муравьи, и вскоре все коробки из трейлеров скрываются в недрах церквушки.

Проходит еще некоторое время, и из той же самой церквушки показываются счастливые обладатели иностранных коробок, спешащие к своим авто и набивающие драгоценным грузом их салоны и багажники. Одна за другой машины, переполненные импортными дарами, отпархивают от места сбора и растворяются на просторах московских улиц. Полчаса–час, и все приходит в первозданное состояние: тишина и покой воцаряются на улице Чехова.

И уж не в самом ли деле то был мираж? Да нет, все объясняется просто – в церквушке в то время размещалась одна из баз «Союзгосцирка», где проводилась растаможка той техники, что закупалась артистами цирка во время гастрольных поездок. Система была отлажена как часы: приезжали артисты, скажем, на гастролы во Францию, и тут же нарисовывался некий посредник, предлагавший каталоги с техникой по оптовым ценам. Главное – выбрать, а

уж оплатить вожделенные изделия можно было в конце гастролей. Дальше всю закупленную технику везли в столицу трейлерами и после вышеописанной процедуры раздавали ее законным владельцам или их родственникам.

Чего только не везли тогда наши гастролеры! Телевизоры и «видюшники», холодильники и пылесосы, оборудование для переделки двигателей машин под газ и унитазы, обои и уютюги... Словом, дефицит, который в магазинах страны и днем с огнем было не найти. И что характерно, в основном-то везли не для себя, а для продажи, а на вырученные деньги жили между гастролей, покупали кооперативные квартиры, машины, строили дачи, поднимали семьи. Так уж повелось, что, где-то начиная с середины 50-х годов, артисты цирка обували-одевали всю страну. Это благодаря им в СССР впервые появились плащи «болонья» и нейлоновые рубашки, складные зонтики и джинсы, серебряные цепочки и дубленки, авторучки с голыми бабами и штампованные часы-калькуляторы. Порой была то обыкновенная контрабанда: везли не сотнями – тысячами. Ну что стоило, скажем, засунуть две-три тысячи часов под настил товарного вагона, в котором из той же Японии везли тигров: иди, таможенник, проверь!

Схема за долгие годы была отлажена до мелочей. Цирковые знали все адреса во всех гастрольных городах мира, где можно было заплатить поменьше, а взять побольше, они поддерживали контакты со всеми зарубежными посредниками, порой сколачивающими целые состояния на наших артистах, щедро обменивались информацией насчет «купи-продай» с другими «выездными» – теми же артистами Большого театра или, скажем, спортсменами. Помнится, как был потрясен мой приятель Кирилл Привалов, трудившийся в то время собственным корреспондентом «Литературной газеты» во Франции, о котором я уже рассказывал, когда Куклачев предложил ему съездить в «одно местечко» в Париже, где можно было оптом «взять» вошедшие тогда в моду настенные телефонные трубки по бросовым ценам.

– Десять лет живу в Париже, – изумлялся Кирилл, – но даже не подозревал, что здесь существует такая улица, где «дают» трубки.

Я был свидетелем истории и похлеще – в Южной Корее, в городе Сеуле. Случилось это в начале «перестройки», когда с Кореей только налаживались связи, но дипломатические отношения еще не были установлены. И советский цирк – «посол мира» – первым отправился на гастроли в Сеул: до цирковых сюда еще не ступала нога советского артиста. В поездку включили и меня: в качестве корреспондента «СК», освещающего гастроли.

Прилетели мы под вечер, устали, вымотались за 12 часов перелета. Пока разместили всех по номерам, пока выпили с артистами «за приезд» – уже пятый час утра. Заснул я крепко, а проснулся от осторожного стука. Посмотрел на часы: около восьми утра по местному времени. Плохо соображая спрочно, побрел к двери, открыл... И обнаружил на пороге воздушную гимнастку Тамару Лязгину, известную в народе под прозвищем «бабушка русского воздуха»: было ей уже под пятьдесят, а она все вертелась под куполом, изображая юную прелестницу.

– Виктор Ильич, – доверительно прошептала Тамара. – Библии брать будете?

Пребывая все еще в полусне, я подумал, что мне примерещилось:

– Какие Библии, Тамара?

– Отличные Библии, на русском языке. Я тут неподалеку православную церковь нашла и договорилась с настоятелем, что он бесплатно Библии даст. Вам сколько?

Библии я, конечно, взял – себе и на подарки, ибо их тогда только-только разрешили ввозить в Союз, и являлись они страшным дефицитом. Но скажите вы мне, где и как надыбала их Тамара – в стране, где никогда не было советских артистов, где никто не говорит по-русски, и с которой, к тому же, отсутствуют дипломатические отношения. И все это за несколько часов, прошедших с момента нашего прилета? Поистине из всех загадок искусства эта загадка – самая непостижимая.

Вот так и ввозили в полуголодную и полураздетую страну все, что не мог произвести и продать своим гражданам «великий, могучий» Советский Союз.

Конечно, чтобы приобретать подобное добро, требовались деньги, а платили нашим гастролерам за границей в те времена сущие копейки. Что делать, сэкономили на всем: везли с собой на гастроли колбасу и концентраты каши, консервы (особенно почему-то пользовались популярностью «бычки в томате») и супы в пакетиках. Все, вплоть до кастрюль и кипятильников – сколько было случаев, когда наши артисты врубали кипятильники сразу во всех номерах, дабы позавтракать или поужинать, и в многострадальных гостиницах мгновенно из-за перегрузки выключался свет. Впрочем, иным и кастрюли не требовались: артисты приноровились варить супчик в... умывальниках. А что, умывальники-то стерильные: закроешь дно пробкой, набухаешь воды, засыплешь пакетик супа, всунешь кипятильник – и вари себе на здоровье. Сварил, похлебал, а что осталось – легко спустить в раковину: достаточно вынуть пробку. Иные умельцы и биде не брезговали...

Две истории на этот счет, причем второй свидетелем был сам. Итак, история первая: гастроль советского цирка в Италии. Музыканты оркестра решили вечерком сварить супчик. А надо отметить, что стояла в их номере шикарная мебель в стиле Людовик какой-то. Вот наши лабухи, не мудрствуя лукаво, застелили креслице этого самого Людовика газеткой, поставили на нее кастрюльку с водой, засыпали туда супчик из пакета, засунули кипяtilьник, а сами в ожидании ужина сели перекинуться в картишки. Да так увлеклись игрой, что и не заметили, как искомый супчик закипел, и жидкость, выйдя из берегов кастрюльки, пролилась на кресло, безнадежно испортив его обивку.

Кошмар, скандал! Придет утром горничная, увидит, пожалуется администратору, так тот, небось, заставит платить кровные гастрольные за ремонт... Что делать? Долго думали – и додумались. Один из музыкантов наведялся к мастеровитому клоуну, обнаружил в его реквизите ножовку, принес в номер... всю ночь наши ребята распиливали это кресло на мелкие кусочки, опять же аккуратно подстелив газетку, чтобы опилки не просыпались. А раненько утрачком, засунув останки многострадального кресла в свои футляры из-под труб да виолончелей, вынесли их на помойку. Все шито-крыто...

История вторая. Посчастливилось мне году в 83-м попасть с нашими артистами на Международный фестиваль циркового искусства, которой ежегодно проводится в Монте-Карло. После его завершения покойный ныне князь Монако Ренье традиционно устраивал банкет, который проходил в одном из лучших отелей города-страны – «Лев». И вот пришли мы на этот банкет. После голодной Москвы с ее талонами на продукты и наличием в магазинах исключительно рыбы со странными названиями «простипома» и «ледяная», показался мне этот гигантский зал неким мифическим воплощением сказок из жизни владык мира сего. Десятки столов просто ломились от еды и выпивки: устрицы, омары, дичь, мясо, сыры, – и запахи, запахи... Маленькая деталь: вдоль стен стояли скульптуры Родена (некоторые из них мне помнились по каталогам Лувра). Я поинтересовался у сопровождающего: что это, князь Ренье их специально, что ли, на банкет из Парижа привез? На что услышал совершенно изумительный ответ: «Ну что вы, князь богат, но не настолько, это копии скульптур, сделанные из масла...».

Бедная, голодная Москва....

А надо сказать, что князь Ренье хорошо изучил вкусы наших артистов, и потому имелись на банкете специальные столы, на которых стояла исключительно родимая водка. Так вот, в самый разгар действия подходит ко мне один наш силовой акробат – детина под два метра и весом килограммов под

сто пятьдесят. И так доверительно говорит: «Ильич, ты заходи к нам вечером в номер, посидим, выпьем». Изумившись, я ответил: «Саня, а мы что сейчас делаем?»

На что он, ничтоже сумняшеся, ответил: «Ну да, разве тут по-человечески посидишь...» И так же доверительно сообщил: «Я уже на вечер и зарядился...»

С этими словами он распахнул пиджак, и я увидел шесть (!) бутылок водки, засунутых в штаны и окружавших его нехилую талию!

Вечером – отказываться-то неудобно – я зашел в гостиницу (не самую плохую по меркам Монте-Карло), где жили наши акробаты. Едва лифт высадил меня на их этаже, я обеими ноздрями вдохнул густой запах... горохового супчика, плавно струившийся по коридору. Бедный, глупый князь Ренье... Что он со всеми своими омарами и скульптурами понимал в настоящем цирковом закусье!..

Не брезговали наши мастера манежа и тем, «что плохо лежит». Что там несколько бутылок водки с банкета увести – случались истории и посмешнее... Покойный Дмитрий Иосифович Калмыков рассказывал мне, как в конце 50-х отправился наш цирк на гастроли в Японию. Заселили их в роскошном «Хилтоне» – без малого человек 150. А в «Хилтоне» там была своеобразная традиция – каждый день в его номерах вместо халатов для постояльцев вывешивались кимоно. Причем все – одного цвета: в понедельник, скажем, голубые, во вторник – красные, в среду – желтые, и т.д. Естественно, в первые же дни гастролей все эти кимоно очутились в чемоданах наших артистов.

И вот через несколько дней пришел к Калмыкову, возглавлявшему поездку, управляющий отелем. Вежливо кланяясь и извиняясь, как положено у них, японцев, управляющий пояснил, что его службы не досчитались энного количества этих самых кимоно. Конечно, черт, мол, с ними, да дело в том, что кимоно эти изготавливались из какого-то там неповторимого шелка, который получали в течение многих лет с помощью шелкопряда и затем красили в определенный цвет, так что были они уникальны. А поскольку часть подобных кимоно пропала, отелю теперь придется перешивать одежду для всех номеров – несколько тысяч штук. Что сами понимаете, накладно... Так нельзя ли эти самые кимоно как-нибудь вернуть? – опять же с извинениями попросил управляющий.

Что делать? Провели партсобрание, поставили вопрос ребром: кто кимоно не отдаст, отправится назад, в любимое отечество. Под такую угрозу вернули...

Думается, вся эта система гастрольных поездок, унижительных гонораров, суровой дисциплины (не случайно каждый гастрольный коллектив сопровождал специальный представитель КГБ, в простонародье именуемый «Дзержинский») была специально разработана таким образом, чтобы советский человек чувствовал себя в неотрывной зависимости от государства. Оно, государство, могло быть милостивым, отпуская тебя за границу и давая возможность хоть как-то подзаработать – для этого требовалось лишь беспрекословное послушание, но оно же (государство) нещадно карало, опуская на твою пуги «железный занавес», стоило лишь в малейшей степени нарушить установленные им (государством) правила игры. Вот и приспособлялись артисты, как могли, ибо «шаг вправо, шаг влево» – и все, ты уже «невыездной», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единицы нарушали эти правила, оставаясь во время гастролей за границей навсегда, но большинство, подавляющее большинство, образовывало беспрекословно выполняющее команды стадо, повинующееся – куда там окрику – малейшему шевелению брови пастуха. Да только ли об артистах речь!

Дело Колеватова

Тот, перевернувший жизнь страны, многое определивший в ее дальнейшей истории достопамятный 1982 год начинался для меня в стенах Тульского цирка, где во время зимних школьных каникул шел спектакль «Город Мир». И Новый год встречали мы в Туле, еще не ведая, что провожать его стране предстоит под звуки траурных маршей, сопровождавших в последний путь к могиле у Кремлевской стены генсека Брежнева. «Верного продолжателя великого ленинского дела, пламенного борца за мир и коммунизм» – как будет сказано о нем в некрологе. Он умрет в 76 лет, и восемнадцать лет его всевластного пребывания в наивысших должностях – Генерального секретаря ЦК КПСС, а заодно и Председателя Президиума Верховного совета СССР, Председателя Совета Оборона СССР, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР – повергнут наше достославное Отечество в своеобразный анабиоз бессмыслия и безволия, при котором править бал станут коррумпированные чиновники всех рангов и мастей, защищенные партийными билетами.

В последние годы он был глубоко болен, этот шамкающий старик с отваливающейся челюстью, мешающей ему членораздельно произносить слова

и звуки. Помню, в дни какого-то очередного съезда партии, где еле стоящий на ногах генсек вынужден был произносить четырехчасовой доклад, я заехал по делам к своему бывшему соавтору, ставшему генеральным директором фирмы «Мелодия» Валере Сухорадо. Он, возглавлявший еще недавно отдел культуры ЦК комсомола, был переведен на новый пост с заметным понижением, а за какие такие провинности – кто его знает.

Валера напоминал загнанную лошадь.

– Извини, старик, – сказал он. – Нет ни минуты свободного времени.

– А в чем дело? – поинтересовался я.

– Понимаешь, к концу съезда мы должны выпустить пластинки с записью доклада Брежнева. Вот сидим круглые сутки, готовим запись. Главное – все эти «чмоки» у Ильича убрать, а там на четыре часа записи. Представляешь, работенка!

Я представил... В силу особенностей вставной челюсти Леонид Ильич характерно причмокивал во время своих выступлений. Причем едва ли не каждую минуту. Так вот, эти «чмоки» и убирали техники фирмы «Мелодия». Из километров записи! Мало того, генсек еще и отдельные слова нечетко выговаривал. Чего стоили одни его знаменитые «сиськимасиськи» вместо «систематически», вошедшие в анекдот. Так вот, из речи убирались нечетко выговариваемые Брежневым слова, а на их место вставлялись такие же слова, взятые из его ранних речей. Идиотское занятие, да ничего не поделаешь... Попробуй представь в ЦК «неотредактированный» доклад: прости-прощай руководящая работа, а то и партбилет.

Впрочем, мало кто в те годы задумывался и о состоянии здоровья Леонида Ильича, и о том, как он может, будучи глубоко больным, руководить страной. В этом плане сознание было как бы отключено: ну, вешают ему на грудь очередную награду Родины, ну, вручают какое-нибудь золотое оружие или Ленинскую премию... Подумаешь, дело понятное... Нас это не касается. Лишь бы на водку цены не поднял... Впрочем, и цены поднимались, и жить было сложно, да кто бы что сказал... Страх, генетически вбитый в людей со времен Ленина и Сталина, четко диктовал мозгу: «Шаг влево, шаг вправо приравнивается...». Наученные тем же генетическим, да и практическим опытом, мы прекрасно знали правила игры и играли по этим правилам.

Вспоминаю одну из ситуаций... Однажды главный редактор «Советской культуры» поручил мне почетное по тем временам задание: надо было поехать в Новороссийск и написать репортаж на первую полосу об открытии там мемориала «Малая Земля». Уже всю гуляли по стране отпечатанные

многомиллионными тиражами военные воспоминания Брежнева «Малая Земля», уже ежедневно по радио и телевидению звучали ура-патриотические песни, воспевающие подвиги полковника Брежнева во время действительно героической Малоземельской эпопеи, уже была вручена ему Ленинская премия за выдающийся писательский труд, сочиненный не им... И вот – открытие памятного мемориала в Новороссийске: безвкусного гигантского сооружения в духе монументальной советской пропаганды.

Как верный рядовой партии я, конечно же, воспел открытие этого чудовища, что и до сих пор торчит под Новороссийском. Вернувшись в Москву, скоренько написал духоподъемный репортаж и тут же отнес его главному: материал шел в номер.

Минут через десять у меня на столе раздался звонок внутреннего телефона.

– Немедленно ко мне, – услышал я в трубке гневный голос главного.

Романов был разъярен. Бросив, по своему обыкновению, на стол очки и покраснев так, что его, казалось, вот-вот хватит удар, он, не сдерживаясь, заорал:

– Как вы могли!

Я опешил:

– Да в чем дело, Алексей Владимирович?

– В вашем репортаже нет ни одной цитаты из книги «Малая Земля»! И это, когда речь идет об открытии судьбоносного мемориала!

Я чуть под стол не упал.

– Алексей Владимирович, а вы репортаж до конца прочитали?

– Я прочитал уже три страницы. И ни одной цитаты!

– Так вы до конца прочитайте!

Дело в том, что как раз в конце я и привел большую цитату из «эпохалки» генсека, зная, что будет она как раз к месту. И не ошибся. Романов дочитал репортаж, немедленно написал на нем «Срочно в номер!» и, отдавая его мне, удовлетворенно произнес:

– Ну, вот это совсем другое дело!

И ни слова извинения. Зато цвет его лица, к моему удовольствию, принял вполне нормальный оттенок...

Кстати, в ту поездку на Малую Землю повезло мне отправиться с Евгением Халдеем – нашим редакционным фотографом и в то же время всесоюзной знаменитостью, ибо принадлежал Евгений Ананьевич к плеяде тех самых фотокоров, воспетых Константином Симоновым, что прошли всю Отечественную «с «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом...». Это Женины знамени-

тые снимки Знамени Победы над тремя главными точками Берлина – Рейхстагом, Бранденбургскими воротами и вокзалом Темпельгоф – стали классикой, вошли во все книги и альбомы о войне. А еще он – фотокор ТАСС – снимал Потсдамскую конференцию, тройку лидеров – Рузвельта, Черчилля и Сталина... Впрочем, и снимок первого дня войны – люди на улицах Москвы, закинув голову к репродуктору, затаив дыхание, слушают сообщение ТАСС – тоже его. У него была (пишу «была», потому что Евгения Ананьевича уже нет с нами) прекрасная фотовыставка «От Мурманска до Берлина», объездившая полмира, потрясающая серия фотографий маршала Жукова, которого он знал близко; и так же близко дружил он с Симоновым – пронзительная фотография, запечатлевшая писателя перед его уходом в больницу (оттуда он уже не вернется), так и стоит перед моими глазами.

Добрейшей души человек, выпивоха, которого днем частенько можно было застать в редакционном буфете, где он, ни от кого не скрываясь, потягивал коньячок, Женя (а все мы звали его так, невзирая на разницу в возрасте) отнюдь не кичился своей славой едва ли не фотографа № 1 периода войны, не любил выступать на наших праздничных «землянках», и потому, считая, повезло, что именно из его уст в поезде Москва–Новороссийск услышал я забавную историю о тех самых Знаменах Победы, что стали, навечно запечатленные на снимках, символом того времени. А вспомнил я ее в дни, предшествующие 9 Мая 2007 года, когда в Госдуме разгорелись жаркие споры по поводу того, какое знамя считать истинным символом Победы – с серпом и молотом или без оно. Ох, умеют наши депутаты найти главные проблемы в жизни страны, и по-государственному, бескомпромиссно порешать их. Так и в данном случае: одни с пеной у рта доказывали, что флаг должен быть с серпом и молотом, другие – без оных... Долго спорили, увлеченно... Пока Путин не дал команду оставить все как было...

Я же вспоминал рассказ Евгения Ананьевича:

– Перед штурмом Берлина, – говорил он, неспешно потягивая коньячок под стук колес, – был я в Москве. Ну, и когда уже собрался возвращаться на фронт, дай, думаю, флаги с собой возьму, может, пригодятся. А где их взять, они же тогда не продавались. Зашел к завхозу нашему, ТАССовскому, и под честное слово, с возвратом, выклянчил у него большую красную скатерть, которой покрывали стол президиума в дни всяких собраний. А снимал я тогда комнатку в Москве у одного портного... Вот он-то мне из той скатерти и скроил три флага, которые я забрал с собой. И ведь пригодились: когда наши взяли Берлин, я прихватил свободных бойцов, что под руку попались, и загнал

их на верхние точки города. Там и сделал свои фотографии. Так они и вошли в историю. Только завхоз наш простить мне этого не мог: скатерть-то я ему так и не вернул, она над Берлином в трех частях висеть осталась...

Кто-то скажет, что байка эта умаляет нашу Победу. Да не умаляет она ее ничуть: постановочные снимки делали все фотокоры, и дело тут не в том, из чего был скроен флаг, как и не в том, что официально Знамя над Берлином водрузили утвержденные для этой миссии Сталиным Егоров и Кантария – русский и грузин, ставшие Героями Советского Союза. Что ж, выпала ребятам такая фишка, да и ладно... Дело ведь в сути: в Победе, в кровавой цене этой Победы, а не в том, нужно ли цеплять на флаг серп и молот или нет. Символ он и есть символ – хоть из скатерти, хоть из парчи...

Меня же всегда занимал иной вопрос: каким образом столь знаменитый фотокорреспондент ТАСС оказался в «Советской культуре» – газете далеко не первостепенной для мастера такого уровня. Прямо спросить об этом Женю я как-то стеснялся: мало ли что в жизни человека могло случиться? А ведь нашел я ответ на этот вопрос – когда уже ушел Евгений Ананьевич из жизни. Спустя несколько лет после его смерти попался мне на глаза ставший уже едва ли не библиографической редкостью сборник документов «Государственный антисемитизм в СССР. 1938–1953», выпущенный международным фондом «Демократия» под редакцией тоже уже ныне покойного Александра Николаевича Яковлева, о котором я писал в этой книге. В этом-то сборнике и нашел я любопытнейший документ, который привожу дословно:

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. СУСЛОВУ М.А.
от фотокорреспондента
ХАЛДЕЯ Е.А., члена ВКП(б)

Уважаемый товарищ Суслов!

Прошу Вас помочь мне, фотокорреспонденту, проработавшему в советской печати 16 лет, члену партии, получить возможность и дальше работать по специальности.

Мне 33 года. С 1933 года я постоянно работаю в фотохронике ТАСС и постепенно стал одним из ведущих фотокорреспондентов ТАСС. Мне поручались наиболее ответственные съемки: стройки Днепрогэса, организация первых колхозов, пуск домен Донбасса и так далее.

Очень многие мои фотоснимки печатались на страницах центральных газет. С первых дней Великой Отечественной войны я ушел в действующий Военно-морской флот.

Находясь в рядах Советской Армии в течение всех четырех лет войны, я был непосредственным участником обороны и штурма Севастополя, Кавказа, штурма Новороссийска, десанта в г. Керчь. С передовыми частями советских войск я вступал в Бухарест, Софию, Будапешт, Белград, Вену и Берлин. Я участвовал в воздушных десантах в Харбин и Порт-Артур.

Сделанные мною фотоснимки водружения советскими войсками флага Победы в Севастополе, в Порт-Артуре и над Рейхстагом в Берлине обошли все советские газеты и публикуются до сих пор в связи с юбилейными датами.

Фотохроника ТАСС неоднократно направляла меня в заграничные командировки с ответственнейшими заданиями: я производил съемку товарища И.В.СТАЛИНА на Потсдамской конференции, снимал Парижскую мирную конференцию и Нюрнбергский процесс.

После демобилизации в 1946 году я продолжал работать в фотохронике, делая съемки, посвященные восстановлению хозяйства страны. Меня по-прежнему направляли на наиболее важные и ответственные событийные съемки (пуск Днепрогэса, скоростной перелет МОСКВА – ВЛАДИВОСТОК, ледовый поход в Арктике и др.).

За все 14 лет работы в ТАСС я не имел ни одного партийного или административного взыскания, и много раз моя работа отмечалась благодарностями.

Вполне естественно, что для меня явилось полнейшей неожиданностью освобождение меня от работы в ТАСС 6 октября 1948 года «по сокращению штатов».

Для меня совершенно очевидно, что эта формулировка является лишь формальным предлогом для моего увольнения из ТАСС.

Однако я не мог добиться у руководителей ТАСС, каковы истинные причины моего увольнения.

С октября 1948 года я безуспешно пытаюсь устроиться на работу. Я обращался в целый ряд редакций и организаций (Совинформбюро, журналы «СССР на стройке» и «Огонек»). Хотя все эти организации заинтересованы во мне как квалифицированном

работнике, мне везде отказывают, ссылаясь на «неясность причин» моего увольнения из ТАСС.

Редакция журнала «СССР на стройке» заказала мне отпечатки и опубликовала шесть сделанных мною снимков историко-документального характера в номере, посвященном 70-летию товарища И.В.СТАЛИНА, не указав моей фамилии в числе авторов.

Считаю, что создавшееся положение вещей недопустимо. Без всяких к тому оснований и без объяснений причин меня, честного советского гражданина и коммуниста, оскорбляют, лишая законных авторских прав, и фактически не дают мне возможности работать по специальности.

В течение 15 месяцев мне не удалось устроиться на работу. Я вынужден обратиться за помощью в ЦК ВКП(б). Прошу Вас дать указание разобраться в моем деле и дать мне возможность продолжать работать в печати.

К этому письму я прилагаю 28 сделанных мною фотоснимков.

Е. ХАЛДЕЙ

Москва, Озерковская наб., д.48/50, кв.76

28 января 1950 г.

Такой вот документ. Суслов его получил и перенаправил Л.А.Слепову – тогдашнему заместителю заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Тот через некоторое время доложил своему начальнику, что «Е.А. Халдей не может быть использован в работе в печати, поскольку уволен по рекомендации органов госбезопасности, кроме того, его вызывали в ЦК и разъяснили, что «ему никто не запрещал работать в печати и продолжать деятельность фотографа»...». Такая вот иезуитская формулировочка...

История эта вполне показательна для того времени – времени рассвета борьбы с так называемым космополитизмом. Уже по приказу Сталина был убит народный артист СССР Соломон Михайлович Михоэлс, разогнан Еврейский антифашистский комитет, который он возглавлял, многие члены его были арестованы и впоследствии расстреляны, уже обнародовали знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с космополитизмом в театральной критике», закрыли еврейские театры, газеты и журналы, не за горами было «дело врачей» и, как пик истерии, – массовая депортация евреев из центральных городов в «места не столь отдаленные». Естественно, повсеместно: в литературе, искусстве, науке, печати – начались массовые увольнения евреев, сотнями,

тысячами... В их числе оказался и Халдей – и вряд ли какие-нибудь заслуги могли помочь ему. Хорошо, что не арестовали, не расстреляли – вполне могли «пришить» подготовку покушения на Сталина: ведь он был допущен к «святой святых» – съемке вождя. Так и мыкался Евгений Ананьевич без работы, пока антисемитская кампания после смерти «отца народов» не пошла на спад и ему не нашлось, наконец, место в «Советской культуре».

Конечно, всего этого я тогда не знал. А когда ушел из газеты, как-то потерял Женю из виду. Встретились мы случайно в Доме журналистов незадолго до его смерти, последовавшей в 1997 году. Он выглядел не слишком весело, жаловался на то, что его работа никому не нужна – настали новые времена, потребовались новые песни. Никому не нужны оказались и его архивы. Вскоре я узнал, что он вроде бы продал их: сотни уникальных негативов, воссоздающих историю времени, – в Германию: нужда достала, не было денег даже на лекарства. Парадокс: великие снимки войны, снимки Победы оказались нужнее побежденной стране, а не стране-победителю. И теперь каждый раз 9 Мая, слушая возвышенные речи отечественных ура-патриотов, я вспоминаю судьбу Евгения Ананьевича Халдея, нашего Жени – одного из тех военных фотокорреспондентов, кому сполна довелось хлебнуть и горький вкус войны, и не менее горький вкус послевоенного бытия.

Но вернусь к прерванному повествованию. Даже то, что Брежнев неуклонно шел к своему концу, мало кого волновало в обществе. За исключением «небожителей» – партийной верхушки, понимающей, что генсек долго не протянет, и задумывающейся о том, к кому перейдет власть. Им было что терять – всем этим «членам» и «кандидатам в члены», а с ними секретарям обкомов, крайкомов, горкомов и так далее. Проблема с преемником встала перед ними в 1982 году во весь рост. И тогда же на первый план в подковерной борьбе за власть выдвинулся Юрий Владимирович Андропов.

Стоит заглянуть в официальную справку, и мы узнаем, что за несколько месяцев до смерти Брежнева он занял пост секретаря ЦК КПСС – фактически второй по значимости после поста генсека. До этого назначения Андропов в течение 15 лет бессменно руководил КГБ и слыл, как полагали многие в нашей стране, самым информированным человеком в государстве. Наверное, так оно и было, но придя в ЦК, как рассказывали в кулуарах нашей редакции информированные люди, Андропов столкнулся с жесткой борьбой за право в уже недалеком (и это понимали многие) будущем занять высший пост партийной и государственной власти. В этой борьбе ему необходимо было набирать очки, сражаясь за вождьденное кресло не на жизнь, а на смерть с людьми,

входящими в «ближний круг» Брежнева. И, как показали события 1982 года, не только с ними...

... Не успел я в тот январский день 1982-го года войти в кабинет директора Тульского цирка Дмитрия Иосифовича Калмыкова, как он ринулся мне навстречу. Калмыков был явно взволнован:

- Ты слышал? Сегодня у себя в кабинете арестован Колеватов!
- Не может быть!

Дмитрий Иосифович протянул мне телеграмму. Адресованная всем директорам цирка, она подтверждала факт ареста и сообщала, что на время следствия Колеватов отстранен от должности генерального директора «Союзгосцирка».

К тому времени я уже неплохо знал Анатолия Андреевича. Не раз встречался с ним и по цирковым делам, и по газетным. Знал, что в Госцирк пришел он с поста директора Малого театра, был женат на одной из ведущих актрис Театра имени Вахтангова Людмиле Пашковой, являлся заслуженным деятелем искусств и среди цирковых слыл замечательным руководителем – все они в один голос утверждали, что такого количества званий, наград, квартир и т.п. для работников системы не пробивал ни один из его предшественников. Внешне всегда доброжелательный, улыбчивый, в отлично сидящем костюме, Колеватов казался абсолютно преуспевающим человеком, прекрасно знающим, что и как надо делать, дабы завоевать расположение и окружающих, и вышестоящего начальства. И вот – арест. Гром среди ясного неба...

Что же произошло? Весь цирк будоражило – какие только догадки, домыслы, слухи не циркулировали в первые дни среди народных, заслуженных и прочих артистов, да и всех сотрудников системы – а было их без малого двадцать тысяч человек. К тому же вместе с Колеватовым был арестован его первый заместитель Виктор Горский и (еще одна сенсация тех дней) народный артист России Евгений Рогальский.

Вскоре стало известно, что Колеватова и Горского обвиняют в получении взяток, а Рогальского – в их даче. Следствие раскручивалось – одного за другим на допросы вызывали артистов, сотрудников аппарата главка, директоров цирков. От них становилась известна суть обвинения: Колеватов и его заместитель брали взятки за то, что включали артистов в хорошие гастрольные поездки за рубеж. И не только за это – за представление на звания, награды и прочие блага.

Вообще-то я мог в это поверить. Поскольку знал систему «Союзгосцирка», его структуру, взлелеянную на общей системе жизни страны, где едва ли не

нормой бытия стал закон «Ты мне – я тебе...». Так уж повелось в нашей жизни: нижестоящие всегда расплачивались за некие услуги, оказанные им вышестоящими или теми, кто имел доступ к некоему «дефициту». И не суть, что это были за услуги: врач ли доставал редкое лекарство, начальник ли способствовал получению квартиры, кто-то кого-то пристраивал на «тепленькое местечко», или директор магазина помогал с дефицитными продуктами – за все и всегда принято было расплачиваться. И не важно чем маленьким сувенирчиком или большими деньгами. Факт остается фактом: платили. Да просто за то, чтобы поддерживать отношения с «нужным» человеком – тоже платили.

Почему же эта система должна была обойти «Союзгосцирк», где, как я уже писал, артист, попадающий в хорошую зарубежную поездку, мог обеспечить себя на долгие годы? Давали за это взятки? Скорее всего, давали, да только за время правления Брежнева слово это, как символ уголовно наказуемого деяния, давно снівелировалось в сознании и дающих, и берущих, превратившись в само собой разумеющееся действие. Иначе можно было бы посадить едва ли не всю страну.

Словом, требовались какие-то очень серьезные факторы, чтобы привлечь к уголовной ответственности столь заметного в обществе человека, каким был Колеватов. Но какие? Вот это и было главной загадкой в те дни.

И вот постепенно, из кулуарных разговоров, каких-то полунамеков и полупешотков в связи с «делом Колеватова» возникли два не менее громких имени – директора столичного цирка на проспекте Вернадского Евгения Милаева и дочери самого генсека Галины Брежневой.

Собственно, два этих имени оказались связаны между собой еще в 50-е годы, когда руководитель номера «Эквилибристи на вольностоящей лестнице» Евгений Милаев – было ему тогда далеко за сорок – женился на молоденькой дочери тогдашнего 1-го секретаря ЦК Компартии Молдавии Галине Брежневой. Как уж они там сошлись, не знаю, но факт остается фактом: номенклатурный отец дал согласие на этот союз, считавшийся мезальянсом в высших партийных кругах, где «свои», как правило, вступали в браки со «своими».

Семья эта просуществовала недолго, хотя Галя и родила мужу дочку, а папе внучку, которую называли в честь супруги Леонида Ильича Викторией. Все рухнуло в 1961 году, когда советский цирк отправился на гастроли в Японию. В поездку включили и номер Милаева и, естественно, его высокопоставленную супругу, зачисленную в труппу... костюмершей. Костюмами, правда, Галина Леонидовна не занималась, ибо нашла куда более приятное занятие: закрутила роман с 18-летним Игорем Кио.

История эта стоит того, чтобы рассказать о ней отдельно, ибо за прошедшие с тех пор годы обросла она многими домыслами и легендами, культивируемыми в цирковой среде. Мне же довелось ее услышать, как говорится, из первых уст – от самого, ныне покойного, Игоря, с которым связывали нас годы знакомства.

Итак, год 61-й... Игорю, сыну знаменитого в те годы иллюзиониста Эмилия Теодоровича Кио, – 18, Галя же на четырнадцать лет (!) его старше. Прикрытая именем своего отца, супруга Милаева уже тогда вела довольно свободный образ жизни и, как знали все, была особенно равнодушна к хорошеньким молодым цирковым артистам. В Японии, не особенно обремененная насущными заботами, она и «положила глаз» на Игоря. Вспыхнул роман, о котором вскоре узнала вся труппа. И в конечном счете сам Милаев. Вскоре между мужем и юным любовником состоялся крупный разговор. Как вспоминал сам Кио, Милаев без обиняков заявил ему: «Я хочу тебя предупредить, что Галина Леонидовна – не лучше, чем все остальные бабы. Я тебе советую, если ты увидишь ее на одной стороне улицы – переходи на другую. Она тебе «здрасьте» – ты не отвечай. Ты же умный парень, пойми, что тебе это не надо...».

Влюбленному, а может быть, движимому иным расчетом, Игорю оказалось «это надо»... Роман, несмотря ни на что, продолжался. Они вернулись в Москву (кстати, мне рассказывали, что семейство Милаевых везло из той поездки два вагона (!) различного барахла, которые не хотели пропускать на нашей таможне. Галя позвонила папе – вопрос был улажен). А вскоре последовал развод с Милаевым и новая, отпразднованная «по-тихому», свадьба – с Игорем Кио.

Однако брак длился недолго – всего... девять дней. Могущественный папа, узнав о свадьбе, очевидно, был взбешен экстравагантной выходкой дочки. И вот в Сочи, где новобрачные проводили «медовый месяц», пришла телеграмма на правительственном бланке, извещавшая их о том, что брак аннулируется в связи с... незаконным расторжением предыдущего брака Галины Леонидовны. Как вспоминал Кио, явившиеся вскоре в гостиницу, где они жили, начальник УВД Сочи и начальник паспортного стола изъяли у молодоженов паспорта. А вскоре Гале позвонил и сам Брежнев, потребовав, чтобы она немедленно убиралась из Сочи и прервала всякие отношения с Кио, иначе тому несдобровать.

Правда, роман этот, как говорил мне Игорь, длился еще почти четыре года. Но уже неофициально, ибо вскоре после инцидента в Сочи он получил свой паспорт с пометкой «Подлежит обмену». Страничка же, где стоял штамп

ЗАГСа о бракосочетании с Галиной Леонидовной Брежневой, была просто-напросто выдрана чьей-то безжалостной рукой...

Так закончился этот легендарный роман, ставший и концом супружества Галины Брежневой и Евгения Милаева. Но отношения продолжались, тем более что и самого Милаева с семейством генсека связывала дочка Виктория. Шли годы... Евгений Тимофеевич, благодаря протекции своего бывшего тестя, стал директором цирка на Ленинских горах, куда иногда заглядывал и дедушка Брежнев с внучкой. Для Леонида Ильича была оборудована специальная ложа с отдельным входом и буфетом, куда в антракте – он какое-то время продолжал одновременно выступать – приходил выпивать и Милаев. О связях директора цирка с «самим» знали все вплоть до министра культуры, да и еще выше, и потому не был он обделен ни званиями, ни наградами. Стал народным артистом СССР, а позже был увенчан и звездой Героя Социалистического Труда. Как уж он пробил для себя эту звезду, неведомо, но известно, что одному Милаеву давать ее было как-то неловко, и к нему «пристегнули» клоуна Карандаша и дрессировщицу львов Ирину Бугримову.

С Галей Милаев тоже поддерживал отношения, а та, в свою очередь, оставалась равнодушной к цирку, помогая многим артистам. Мстислав Запашный, знаменитый наш дрессировщик, народный артист СССР, ставший в 2003 году генеральным директором Российской государственной цирковой компании, рассказывал мне, как Галя выручила его младшего брата Игоря, когда тот убил свою жену, застав ее с любовником. Ему грозила едва ли не высшая мера наказания, и Слава обратился к Брежневой с просьбой, чтобы та устроила ему свидание с бывшим тогда председателем Президиума Верховного Совета СССР Николаем Викторовичем Подгорным. Галя охотно откликнулась на эту просьбу, но, правда, далеко не бескорыстно: как поведал Слава, слупила с него двадцать с чем-то тысяч – две «Волги» по тем временам. Однако слово свое сдержала – встречу устроила, а в результате брату Запашного был снижен срок.

Поделилась ли Галина Леонидовна деньгами с Подгорным, история умалчивает. Но вот любопытная деталь. В то время помощником Подгорного был Анатолий Головчанский, ставший спустя годы генеральным директором издательства «Литературная газета». Мы, в силу того что наши газеты печатались в издательстве «Литературки» (об этом – позже), общались много лет, и как-то, разговорившись с Толей, я спросил у него: не помнит ли он случайно факт встречи Запашного с Подгорным?

– Отлично помню, – ответил Головчанский. – Я эту встречу готовил и присутствовал при ней. А команду мне дал сам Подгорный. Позвонил и сказал: «Меня тут попросили принять этого, Запашного (он почему-то сделал ударение на предпоследнем слове фамилии), который в цирке яйца слонам крутит. Так что ты организуй...». Ну, я и организовал...

Но вернемся к Милаеву. Казалось бы, все есть у человека – и власть, и деньги, и награды. Ан нет, мало было. И однажды возжелал он, очевидно подражая бывшему тестю, написать мемуары. На роль летописца призвали меня. Мы были знакомы к тому времени не один год, он читал мои статьи в газете, знал и как циркового сценариста. Пригласил к себе. И состоялся у нас интересный разговор, который не забуду по сей день.

Вальяжно раскинувшись в кресле, Евгений Тимофеевич раздумчиво произнес:

– Ты же знаешь, что каждый мужчина в своей жизни должен сделать три главных дела: посадить дерево, воспитать ребенка и написать книгу. Два дела я сделал: не то, что дерево посадил – целый цирк возглавил. Ну, и детей воспитал. Дело за книгой... Поможешь?

Как отказаться от такого предложения? В голове мелькнула вся его выгода: книгу Героя Социалистического Труда издадут быстро, проблем с издательством не будет, да и гонорар, судя по всему, может оказаться не маленьким...

Приступили к обсуждению. Когда же разговор подходил к концу, я как раз и затронул тему гонорара.

– А как там у вас принято? – поинтересовался Милаев.

– Обычно тот, кто осуществляет литературную запись, получает 60 процентов. А 40 идет автору.

Только что добродушно обсуждавший свой будущий труд Милаев несколько изменился в лице. Подумав несколько секунд, он произнес:

– Ну, ты же знаешь, каким уникальным материалом я располагаю. Одни фотографии с Леонидом Ильичем чего стоят. Давай так: тебе 10, мне 90...

Я понял, что влип. Это что же: пахать не месяц, не два – может быть, год, и за сущие копейки... Но попробуй откажись. Ведь чего стоит Милаеву, к примеру, снять трубку и позвонить моему главному редактору: мол, что это за рвач у вас там работает, вымогательством занимается. Все, прости–прощай «Советская культура»...

И тут меня осенило... Как бы пропустив «деловое» предложение Милаева мимо ушей, я задумчиво продолжил наш диалог.

– Евгений Тимофеевич, я вот о чем подумал... У вас ведь много врагов...

– Да уж хватает, – живо откликнулся он.

– Представляете, напишем мы книгу, они палки в колеса начнут вставлять, в издательстве вредить...

– Так что же делать?

– Есть одна идея. Надо пробить... – тут я сделал паузу и выдохнул, – бюст на родине...

Для непосвященных поясню, что по существовавшим тогда правилам бюст на родине в обязательном порядке ставился (причем при жизни) тем, кто дважды был удостоен звания Героя Советского Союза или Социалистического Труда.

Удивительно, но это предложение не оставило Милаева равнодушным.

– А что, интересно, – протянул он.

На том мы и распрощались. А через дня два мне позвонил главный режиссер Юра Архипцев.

– Ты что это деду [*так звали Милаева в цирке – В.Ш.*] наговорил? – возопил он.

– А что стряслось?

– Так он созвал всю творческую группу и велел готовить спектакль к юбилею революции. Сказал, что добьется за его создание высоких наград Родины.

«Черт возьми, сработало», – подумал я. И в самом деле, сработало: при следующих встречах с Милаевым разговор о книге больше не заходил. Зато весь цирк стоял на ушах: готовили юбилейную программу. Ее премьера и состоялась к 7 ноября 1982 года. Какие уж там дальше собирался Милаев включать на самом верху механизмы, не знаю. Но, увы, делать это оказалось поздно: через несколько дней его бывший тесть и покровитель Леонид Ильич Брежнев скончался. А вскоре не стало и самого Евгения Тимофеевича.

Но к тому времени когда начиналось дело Колеватова, был он здоров и полон сил. Каким же образом оказался «дед» замешанным в этом деле? Приведу версию, о которой в те дни говорили многие. Речь шла об элементарной борьбе за власть: Милаев вознамерился сесть в кресло генерального директора «Союзгосцирка». Уж не знаю, что он не поделил с Колеватовым, но факт остается фактом: борьба разыгралась нешуточная. Длилась она довольно долго. Но съезд Колеватова оказалось не просто: видно, и у него были немалые связи наверху, которые не позволяли сдать «хорошего человека». И тогда, как позже мне рассказывали, Милаев пошел ва-банк: он «настучал» по поводу «темных делишек» Колеватова супруге Брежнева Виктории Петровне, та передала эту информацию члену Политбюро, всесильному в Москве первому

секретарю горкома партии Гришину, а от него последовала команда привлечь генерального директора «Союзгосцирка» к ответственности.

Кресло освободилось... Но Милаев занять его не успел все по той же причине – умер тесть.

Такова одна версия подоплеку этого, нашумевшего тогда, дела. Но была и вторая версия, гораздо более глубокая...

За некоторое время до описываемых событий была ограблена квартира уже упоминавшейся мною знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой, ставшей «героиней» труда. Она жила одиноко в высотном доме на Котельнической набережной и однажды, вернувшись с гастролей, обнаружила, что в квартире побывали воры: помимо прочего, из тайника в спальне исчезла шкатулка с драгоценностями, о которых ходили легенды по всей Москве. Известно было, к примеру, что в конце 1981 года Бугримова участвовала в праздничном представлении по случаю 60-летия советского цирка. На торжества были приглашены избранные представители столичного «света» и партгосноменклатуры. Все присутствующие женщины, как водится, надели к случаю свои лучшие украшения. Но даже они были поражены красотой бриллиантов семидесятилетней дрессировщицы.

Специалисты считали ее коллекцию одной из лучших среди частных собраний не только в СССР, но и в мире. Описание многих предметов, входивших в собрание Бугримовой, присутствовало в каталогах самых престижных ювелирных магазинов Западной Европы и Америки. Так вот, вечером 30 декабря 1981 года Ирина Николаевна обнаружила, что все бриллиантовые украшения исчезли. Вместо них на своей собственной постели Бугримова увидела... топор – видно, воры специально оставили его как знак, намекающий, что не стоит поднимать шум.

Однако шум все же поднялся большой. Тем более что в столице это оказалось не первое «бриллиантовое ограбление» – за год до того было совершено нападение на квартиру вдовы писателя Алексея Толстого Людмилы Ильиничны. Налетчики, ушедшие безнаказанно, захватили помимо бриллиантов и антиквариата уникальную брошь из коллекции Людовика XV, выполненную в виде королевской лилии, с огромным рубином в центре и тридцатью бриллиантами, образующими силуэты лепестков.

Два этих дела были объединены в одно, к расследованию подключились следственные органы КГБ. Вскоре по подозрению в организации ограбления был задержан солист Большого театра Борис Буряце, известный по прозвищу «Цыган». Но был он известен не только своим прозвищем, а еще и тем, чего

ни от кого не скрывал: сам повсюду рассказывал, что был любовником Галины Брежневой. А уж та слыла большой ценительницей различных драгоценностей и особенно бриллиантов, приобретать которые ей активно помогала жена министра внутренних дел СССР Светлана Щелокова, пополнявшая заодно и свою коллекцию.

Тут стоит вспомнить, что во времена правления Брежнева в СССР каждые 2–3 года происходило существенное повышение цен на ювелирные изделия из золота и драгоценностей. Причем сразу на 100–150 процентов. Решение об этом принималось на заседаниях Политбюро, куда приглашался министр финансов СССР, и оно считалось совершенно секретным. Однако не для «бриллиантовых девочек» Гали и Светы. Известно было, что еще за пару недель до очередного повышения цен они скупали партии драгоценностей на сотни тысяч рублей – по тем временам гигантские суммы. Лучшие образцы оставляли себе, остальные перепродавали втридорога.

Фамилии предприимчивых «девочек» были их лучшей визитной карточкой при посещении кабинетов директоров самых крупных ювелирных магазинов столицы. Но предпочтение они отдавали все же магазину «Алмаз» в Столешниковом переулке. И, прежде всего, потому, что с конца 70-х именно там, у входа в магазин, находилась нелегальная биржа по купле-продаже золота и «камушков», где без перерыва на обед тусовались дельцы, которые, не особо торгуясь, скупали у звездных подруг любое количество драгоценностей, минутами раньше извлеченных из сейфа директора «Алмаза». Нередко подруги приобретали драгоценности и непосредственно на Московской ювелирной фабрике, при этом, как правило, не расплачиваясь, а оставляя расписки, немалое количество которых было изъято позднее из сейфа директора фабрики при его аресте.

Информация обо всех проделках тандема «Галя – Света» бесперебойно поступала к Андропову, но до поры оседала в его сейфе. Сведения председателю КГБ поставлял особо приближенный к нему генерал Карпов, который вменил в обязанность своей агентуре регулярно посещать не только «бриллиантовую» биржу, но и другие злчные места столицы, где по полной программе «оттягивались» Галина Леонидовна и Светлана Владимировна. Удалось генералу внедрить своего человека и в окружение Бориса Буряце. Много позже журналист Игорь Атаманенко познакомит меня с некоторыми агентурными донесениями, попавшими ему в руки в период работы над книгой о «бриллиантовой мафии», и я прочитаю донесения агента Второго Главка КГБ СССР «Кузнецова», из которых многое становится ясным и в деле ограбления Бугримовой.

... За время, которое я провел... в обществе Галины Брежневой и Буряце, я понял, что Борис умный и изощренный человек, умеющий держать себя в руках.

Галина – крайне раздражительная и конфликтная женщина. Когда Борис напоминал ей, что пора возвращаться к родителям, которые отдыхали неподалеку, в Ореанде, Галина закатывала истерику. Швыряла в любовника гроздь винограда и обвиняла его в том, что он ее не любит.

Под конец, напившись, Галина стала плакать и кричать: «Я люблю искусство, а мой муж – мудака, хотя и генерал. Ну что поделаешь, чурбан – он и есть чурбан!»

По возвращении в Москву я несколько раз бывал в гостях у Буряце, в квартире на улице Чехова, которую для него приобрела Галина... Однажды, в декабре 1981 года, вернувшись из Гонконга, куда я летал, чтобы приобрести Борису видеоаппаратуру, я застал у него дома двух неизвестных мне молодых людей. Все трое оживленно обсуждали план тайного проникновения в квартиру какой-то артистки. Я хотел уйти, но Борис попросил остаться, сказав, что от меня у него секретов нет.

Из разговора мне стало известно, что в квартире этой артистки – драгоценностей на астрономическую сумму, и они необыкновенной красоты. Таких нет даже у Галины, что вызывает ее зависть и злость. Злость от того, что она якобы предложила артистке огромные деньги за коллекцию, но та отказалась ее продавать. После чего будто бы Брежнева сказала: «Если уж она не хочет мне их продать, то уж лучше, чтобы их вообще не было в Советском Союзе!».

Насколько я понял, родственник одного из присутствовавших молодых людей работает в отделе, контролирующем сигнализацию в доме артистки. Он должен был в обусловленное время отключить ее, чтобы сигнал тревоги не поступил в отделение милиции. Еще двое или трое мужчин должны были подъехать к дому на машине – фургоне и на глазах консьержа вытащить огромную елку.

В случае возможных вопросов мужчины должны были отвечать, что елка – новогодний подарок артистке, а они лишь выполняют поручение привезти и оставить дерево у дверей квартиры.

Буряце согласился с остальными заговорщиками, что все будет выглядеть естественно, и их действия не вызовут подозрений

у консьержа, так как у знаменитых артистов масса поклонников, которые способны выражать свои симпатии самым экстравагантным образом...

Кузнецов

Бугримову ограбили... Похоже, именно этого момента и дожидался Андропов, чтобы начать действовать. Под предлогом того, что из-за связей дочери может быть скомпрометирован сам Брежнев, он заручился его согласием провести оперативные мероприятия по защите чести «семьи». Поскольку бриллианты Бугримовой было практически невозможно сбыть внутри страны, генерал Карпов получил соответствующий приказ и дал указание ввести особый таможенный контроль во всех международных аэропортах и на пограничных станциях Советского Союза. А вскоре в аэропорту Шереметьево был задержан некий гражданин, в поле пальто которого был зашит замшевый мешочек с тремя самыми крупными бриллиантами из коллекции Бугримовой.

Еще через несколько дней оказались за решеткой и другие члены банды профессиональных грабителей, специализировавшихся, как они именовали свой промысел, «на изъятии у населения бриллиантовых излишков».

Расследование дела об ограблении квартиры Ирины Бугримовой получило новый импульс, когда несколько подследственных показали: наводчиком, «вознагражденным» за свои труды баснословными комиссиями после ограблений Бугримовой и Толстой, был не кто иной, как Борис Буряце.

«Цыган» был вызван на допрос. В кабинет следователя он вошел в норковой шубе и норковых сапогах, с болонкой в руках и дымящейся сигаретой во рту. Но спесь слетела моментально, как только ему было объявлено, что он арестован, и ближайшие десять дней, как минимум, ему придется провести в Лефортовской тюрьме...

Почти одновременно с Буряце арестовали и Колеватова. Позже возник слух, что во время обыска на его квартире нашли и некоторые драгоценности, принадлежащие Бугримовой. Выстраивалась стройная цепочка: Бугримова – Буряце – Колеватов – Брежнева. Стройная, по крайней мере, для сотрудников КГБ и того, кто ими руководил 15 лет, – Юрия Андропова.

Было ли все это именно так? Не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Но, вернувшись к началу главы, попробую поразмышлять над событиями, которые возникли после прихода Андропова на второй по значимости пост в партийной иерархии. Казалось бы, к моменту воцарения на Старой площади у него не было особых политических соперников: Андропова поддерживал

и назначенный им самим на должность председателя КГБ бывший руководитель чекистов Украины Федорчук, и министр обороны Устинов, да и другие «старрики» в Политбюро. Вот разве что министр внутренних дел СССР Щелоков был всецело «человеком Брежнева», да сам генеральный секретарь не торопился сдать власть... Не они ли стали в тот момент главной мишенью Андропова? Однако действовать напрямую он вряд ли осмелился бы... А вот «создать дело», непосредственно касающееся родственников генерального секретаря, – Галина-то была замужем за первым заместителем министра внутренних дел Юрием Чурбановым, да и от жены Щелокова исходил криминальный блеск драгоценных камушков... Словом, дело затрагивало тот самый круг, который позже, уже в эпоху Ельцина, получит меткое название «ближнего»... Можно было начинать некую психологическую войну против Брежнева, лишая его последних бастионов, стоящих на пути Андропова к высшей власти. И заодно давая будущему генсеку возможность прослыть в народе бескомпромиссным борцом с коррупцией: вскоре помимо «дела Колеватова» грянет процесс по делу фирмы «Океан» и ряда ответственных сотрудников Министерства рыбного хозяйства СССР, суд над директором Елисеевского магазина Соколовым, начальником управления торговли Москвы Трегубовым и другие громкие процессы.

Но «дело Колеватова» было, пожалуй, первым среди них. И если тот же Борис Буряце в конце концов тихо получил свой срок – пять лет (из зоны он не вышел – его там убили, и это еще одна загадка данного дела, хотя ни сокровища Толстой, ни камни Бугримовой так к ним и не вернулись), то суд над бывшим генеральным директором «Союзгосцирка» по делу о взятках длился довольно долго, вместив в себя немало и трагичного, и комичного.

Чего стоит хотя бы допрос на суде в качестве свидетеля «солнечного клоуна» Олега Попова. На вопрос судьи, правда ли, что в качестве взятки Попов дал Колеватову японскую стереосистему «Пионер», которая была обнаружена у последнего дома, Олег, как он мне сам рассказывал, ничуть не задумываясь, ответил:

– Конечно, дал. Послушать...

Зал грохнул...

Однако приговор оказался вовсе не смешным: Колеватову дали двенадцать лет, Рогальскому – восемь, Горскому – четыре года...

Пройдет несколько лет, и в гримерной № 1 цирка на проспекте Вернадского, которую в те дни занимал Олег Попов, он познакомит меня с начальником зоны, где отбывал наказание Колеватов. Средних лет майор, сияющий металлическими зубами, хорошенько подвыпив, повествовал, как вся

зона гордится тем, что у них сидит «такой большой человек». Майор рассказывает, что он назначил Колеватова на легкую работу – заведующим библиотекой, позже вывел его на поселение, а когда Анатолий Андреевич отсидел несколько лет, самолично ходатайствовал о том, чтобы Колеватова за «примерное поведение» освободили досрочно. Правда, ходатайство это было отклонено...

В общей сложности Колеватов отсидел шесть лет. И вот долгожданная свобода, да только оказалась она с горьким привкусом: за это время скончалась жена Анатолия Андреевича, потерял он и квартиру, где жил с супругой до ареста. Приютили его родственники... А через некоторое время в дверь моего кабинета в «Советской культуре» раздастся стук, и его порог перешагнет Колеватов... И я увижу, что он почти не изменился: был по-прежнему улыбчив и жизнерадостен, рассказывал какие-то байки, советовался по поводу работы...

Позже грянет перестройка, о многом можно будет говорить в открытую, и я, встретившись в очередной раз с Колеватовым, стану просить его написать воспоминания, поведав всю известную ему правду о деле, которое, как мне кажется сегодня, было все-таки вызвано тайными процессами, происходившими на самом верху власти. Даже дам ему диктофон, попросив надиктовать эти самые воспоминания, чтобы их потом можно было обработать.

Увы, из этой попытки ничего не вышло: дальше обычных биографических данных и общих слов дело не пошло. Но мы останемся по-прежнему в хороших знакомых – до самой его смерти...

Трагический конец ожидал и двух героинь этого повествования. Галина Брежнева в конце концов сопьется. Вплоть до 1995 года она будет жить на улице Алексея Толстого в своей огромной квартире, которая превратится в ночлежку для московских пьяниц и бомжей. Последний ее ухажер – сантехник из домоуправления некто Илюша, по возрасту годившийся ей в сыновья, поселится вместе с ней, лелея тайную надежду, что «мадам» по пьянке сболтнет, где она прячет свои драгоценности. В 1995 году взбунтуются соседи Брежневой по дому, которым отравляли жизнь ее пьяные дебоши. Они предъявят ультиматум дочери Брежневой и Милаева Виктории, и та вынуждена будет поместить мать в психиатрическую клинику, где Галина Леонидовна скончается 30 июня 1988 года. А вскоре покончит жизнь самоубийством и жена «главного милиционера» страны Светлана Владимировна Щелокова. Тогда же, в ожидании неминуемого ареста, выстрелом из дустволки в голову сведет счеты с жизнью и сам Щелоков...

Будет музыка...

Чтобы от темного перейти к светлому, начну-ка я эту главу прямо со стихов.
Собственного изготовления:

*Кальвар... Как много в этом слове
Для сердца русского слилось...
Затем в Баку отозвалось,
А для евреев уж тем боле...*

*Кальвар... Широкая душа,
К тому ж он знает эти ноты...
И их кропает не спеша
Для малоденежной работы.*

*Что жизнь его мне воспевать!
Она и так давно воспета.
И нынче дело для поэта -
Лишь в юбилей твой выпивать.*

*И все ж я пару слов скажу
В кругу друзей, тобой любимых,
Пока еще сей спич недлинный
По трезвости произношу.*

*Кальвар... Несутся годы, но
Нет повода тут для печали,
Коль Бог высокою печатью
Талант отметил твой давно.*

*О, эта музыка любви!
Бесценный дар твоих мелодий.
Подводят пусть глаза твои,
Но сердце, сердце не подводит.*

*И, оставляя в жизни след,
Ее ты музыкой наполнил,
Познав давным-давно по полной
Вкус поражений и побед.*

*По полной цену ты узнал
Пустым и лживым обещаньям,
Похмельным снам, дурным желаньям,
Фальшивым от коллег похвал.*

*Да наплевать! Да позабыть!
Ведь и иное в жизни было...
Итак, она звалась Эльмира –
Любви связующая нить.*

*Вино не горячит так кровь,
Как та красавица Востока,
Что в жизнь твою вошла высоко,
Даря и счастье, и любовь.*

*Кальвар... Ты сед, но ты не стар.
Еще не вечер, ты же знаешь!
Еще музыку нам лабаешь,
Еще не все ты нам слабал.*

*Еще торжественный хорал
Над Питером, как знак, несется,
Что ты живешь, что сердце бьется,
Что ты не сдался и не сдал.*

*А юбилей? Ядрена мать,
Он не последний, точно знаю.
Маэстро! Я прошу, к роялю!
Есть повод выпить и сыграть.*

Как легко может догадаться читатель, строки эти были написаны к юбилею – 70-летию человека, широко известного в узких творческих кругах по ласковому прозвищу «Кальвар». Речь идет об Анатолии Владимировиче Кальварском – замечательном питерском, а вернее, всероссийском, нет, еще вернее, всесоюзном композиторе, чьи песни исполняли Боярский и Долина, Караченцов и Миронов, Гурченко и Смеян, Кобзон и Понаровская, многие другие известные звезды эстрады.

Познакомил меня с ним в середине 80-х годов Саша Калмыков. Удивительное это было время: как после долгой зимней поры в воздухе едва чувствуются первые признаки подступающей весны, так и в обществе тогда, после череды «гонок на лафетах» – как прозвали следующие друг за другом похороны первых лиц государства – и прихода к власти Михаила Горбачева вдруг исподволь почувствовались какие-то легкие движения к открытости прежде на все пуговицы мундира закрытого общества. И что удивительно – месяц от месяца они нарастали, выражаясь в неслыханных прежде терминах «гласность» и «перестройка», в острых публикациях, о которых прежде нельзя было и помыслить, в критичности высказываний ряда политиков и представителей художественной интеллигенции, которых принято теперь называть либералами. Это не было еще половодье, всего лишь тонкий ручеек, но и он звенел все громче и громче, пробиваясь сквозь железобетонную плотину возведенного за годы советской власти «развитого социализма».

Именно тогда, в начале 1988 года, вместе с Калмыковым, ставшим режиссером спектакля, и его сорежиссером Александром Гримаило мы начали работу над мюзиклом «Кукла наследника Тутти», предназначенным к постановке в дни зимних школьных каникул на главной новогодней площадке страны – в московском спорткомплексе «Олимпийский». В основу этого мюзикла легла чудесная сказка писателя Юрия Олеши «Три толстяка», известная многим поколениям читателей. Случайно ли было выбрано это произведение? Конечно же, нет. Вспомним его сюжет: в некоем сказочном городе народ восстал против тирании Трех Толстяков – правителей, чья власть опиралась на штыки полицейских и армии. Восстание возглавили оружейник Просперо и цирковой гимнаст Тибул, а на помощь им пришли маленькая циркачка Суок и наследник Трех Толстяков – принц Тутти.

Именно на этом сюжете и базировался наш мюзикл, сценарий которого написали мы с Сашей. Но был ли это чисто детский спектакль? Сам сюжет позволял нам расширить рамки сказки Юрия Олеши, трактуя его как своеобразный политический памфлет, созвучный времени. Не случайно,

скажем, достаточно смело по тем временам (ведь еще никто не покушался на главные устои социализма) были решены маски Трех Толстяков – они шаржированно воспроизводили образы Сталина, Хрущева и Брежнева. Да и само действие – свержение народом тирании власти, борьба с полицейским режимом во имя идей свободы – как нельзя лучше вписывалось в контекст времени.

До сих пор не могу понять, как нам удалось преодолеть все еще существовавшую тогда цензуру и выпустить спектакль в свет. Достаточно сказать, что детские спектакли в «Олимпийском» проходили утверждение нескольких инстанций – столичные комитеты народного образования и культуры, горком партии, Министерство культуры СССР, Отдел культуры ЦК КПСС. То, что спектакль был разрешен, могу отнести разве что к состоянию чиновников всех этих инстанций, охваченных на заре «перестройки» глубокой растерянностью и мало понимавших, что же теперь можно и что нельзя. А ведь по сути дела, наш спектакль стал едва ли не «первой ласточкой» в истории культуры нового государства, идущего на смену тоталитарному строю.

Во многом способствовали этому песни, проходящие через весь спектакль. Вот тут-то и сказал свое слово композитор Анатолий Кальварский. Он нашел блестящих Ларису Долину и Павла Смеяна, исполнивших все партии в мюзикле, записал с ними около десятка песен.

Удивительно: вроде бы мы делали детский спектакль, но он нравился и взрослым – а ведь в «Олимпийском» побывали десятки тысяч человек. Увы, все когда-нибудь кончается, закончились и каникулы, а вместе с ними завершился и показ нашего спектакля. Остался теперь, как память, диск с записями песен и мелодий мюзикла. Но, к счастью, продолжилась наша дружба с композитором Кальварским.

Когда-то Людмила Гурченко, которой Толя помогал аранжировать и редактировать мюзикл «Бюро счастья», а потом принял немалое участие в подготовке юбилейного бенефиса, назвала его «штучным человеком». Впервые он сел за пианино в четыре года (дома был граммофон, и маленький Толя, внимая пластинкам, играл на пианино некую адскую смесь из услышанных мелодий и собственных детских сочинений), и за свою долгую музыкальную жизнь кое-что научился понимать в нотах.

Но, если уж говорить о детстве Анатолия Владимировича, эти музицирования продолжались недолго: в блокадном Ленинграде о музыке пришлось забыть. «Помню, – рассказывал как-то Кальварский, – мы с мамой так голодали, что уже не могли встать и получить хлеб по карточкам. Но тут папе чудом

дали увольнение на пару дней (отец воевал тогда под Ленинградом), он про-
рвался к нам и принес продукты...»

Он неохотно говорит о том времени, да и как расскажешь о страшном, что
творилось тогда в осажденном Питере. Я, кстати, не раз обращал внимание,
что те, кому довелось по-настоящему хлебнуть войны (не важно, Отечествен-
ной ли, Афганской, Чеченской), не любят вдаваться в подробности пережито-
го. Все равно слушатель или вовсе не поверит, или скажет: мол, привирает. Так
чего метать бисер... И хранят солдаты на дне души боль и грязь войны.

Однако вернемся к жизнеописанию композитора Кальварского. Когда за-
кончилась война, мама отвела мальчишку в музыкальную школу. А вот папа,
в отличие от мамы, отнюдь не считал занятия музыкой чем-то важным. Буду-
чи серьезным экономистом, он видел своего сына в столь же серьезном ин-
ституте – скажем, внешней торговли. Но папины надежды Толя не оправдал.
И поступил на теоретико-композиторское отделение музыкального училища
при Ленинградской консерватории. Папа потом долгое время с ним не раз-
говаривал... А непокорный сынок к тому же увлекся, как говорили в те време-
на, «неправильной музыкой», в первую очередь джазовой. Это о таких, как он,
тогда – в начале 50-х – говорили: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину
продаст...». К моменту окончания училища об увлечении Кальварского «бур-
жуазным» направлением в музыке уже знали все в училище. И в наказание,
объявив, что путь в консерваторию ему закрыт, распределили в далекий турк-
менский город Ташауз – на край света. И тогда, отказавшись в знак протеста
от диплома, Кальварский ушел работать в Ленгорэстраду.

Диплом он все-таки получил, и помог тому случай: Толя познакомился с
Арамом Хачатуряном – имя создателя музыки к балету «Спартак» гремело по-
всеместно. Услышав сочинения Кальварского, Хачатурян принял живейшее
участие в судьбе юного музыканта и даже звал его учиться в консерваторию,
в свой класс. Но, увы, к тому времени Кальварский остался единственным
кормильцем в семье. О консерватории пришлось забыть. А вот Хачатурян до
конца жизни не забывал этого отказа. И когда много лет спустя встретил
Кальварского в Союзе композиторов, сказал своему спутнику: «Этот человек
единственный, кто отказался у меня учиться»...

К тому времени Анатолий Владимирович написал уже немало и эстрад-
ной, и джазовой, и симфонической музыки, прочно заняв лидирующее поло-
жение среди композиторов Ленинграда. Долгие годы работал он и с Государ-
ственным джаз-оркестром Азербайджана. Именно там, в Баку, и встретил
свою жену Эльвиру. Об этом браке в свое время ходило немало легенд. Ее ма-

ма по вполне понятным причинам не хотела, чтобы дочь выходила замуж за джазового музыканта, да еще старше ее на восемнадцать лет, да еще не успевшего ко времени знакомства развестись с предыдущей женой. Вот и пришлось влюбленным буквально убежать – и из маминого дома, и из города, и из республики. Довелось тогда помыкаться по городам и весям. Но в конце концов все же вернулись в Ленинград – уже втроем, с маленьким сыном Сережей. Который теперь стал известным продюсером. Потом появился и второй сын – Эмиль, а теперь уже и внуки подрастают.

А еще он обожает хохмы из жизни музыкантов и сам не прочь отчебучить что-нибудь этакое... Впрочем, и с ним случалось разное. Вот только одна история. В Питере живет мой товарищ, известный дрессировщик Владимир Дерябкин. Прославился он тем, что не только долгие годы блестяще выступал на манеже с дрессированными медведями, но и создал уникальный, единственный в своем роде музей граммофонов. Вдобавок ко всему Володя пишет песни. И вот как-то раз сочинил Вова очередной шедевр и звонит Кальварскому: мол, послушай по телефону. Толя отвечивал:

– Знаешь, Володя! Ты буквально вытащил меня из ванной! В мыле стою... Буквально! Сейчас домоюсь и перезвоню тебе, где-то минут через пятнадцать....

Дерябкин ждал десять раз по пятнадцать минут. Потом это ему надоело и он решил отомстить. Позвонил директору Ленинградского цирка и выкнул:

– Слыхали про Кальварского?

– Что такое?

– Утонул!

– Как утонул?

– В ванной...

– Да ты что? Вот ужас.

А Вову уже несло! Он начал звонить всем, кто знал Кальварского, и даже в Москву, в Союзгосцирк. Шум поднялся невероятный. А Дерябкин на следующий день уехал на гастроли, оставив на своем автоответчике следующий текст: «Уважаемые соболезнующие! Не ругайтесь! Если человек в ванной и обещает позвонить через пятнадцать минут, а не звонит полчаса, значит, он утонул. Там же уплыть некуда!».

Помирились укротитель с композитором через несколько лет. Причем рассказывают об этой истории оба с удовольствием. Толя же добавляет:

– У меня через три дня – день рождения. А я не могу понять, почему никто из москвичей не звонит. Наверное, боялись траур нарушить!

Ну что ж, раз и ванна Кальвара не берет, значит, будем надеяться и на его творческое долголетие. О чем и свидетельствует 75-летие композитора, которое мы отметили в 2009 году записью нового диска «Старинный альбом».

И еще об одном своем «музыкальном» друге не могу не рассказать в этой книге. «Московский комсомолец» однажды назвал Юрия Петерсона мультимузыкантом. Наверное, так оно и есть, ведь если издать песни, которые он исполнил за свою жизнь, получится, наверное, несколько полноценных томов. А если собрать в одном месте всех, кто побывал на его концертах, то это уж точно будет многомиллионный город.

Нас с Юрой познакомил мой студенческий друг Володя Безяев, о котором я уже писал, и мы как-то сразу подружились – объединяет нас и общность взглядов, и понимание музыки, и этакий ироничный взгляд на жизнь. Может быть, поэтому и диск «Переходный возраст», к которому Юра написал музыку на мои стихи и сам исполнил все песни, я полагаю лучшим в своем, правда, не таком уж и обширном песенном творчестве. Юрик тонко воспринимает поэзию (конечно, не только мою), точно подчеркивает в своих песнях авторскую мысль, что удастся далеко не многим исполнителям. Ну, а первым исполнив песню «Снег кружится...» (и лучше его сделать это никому не удавалось), он превратил ее в подлинный шлягер «на века», заслужив при этом от самого Марка Бернеса уважительное определение «русский Адамо».

Латыш по национальности, он давным-давно врос корнями в наше Отечество, хотя и учился в Риге – в специальной музыкальной школе при Консерватории (позже будет и режиссерский факультет ГИТИСа). А в 1968 году поехал работать в Москву. Петерсона пригласили в только что организованный ансамбль «Веселые ребята». Руководил им Павел Слободкин, и это был один из первых ВИА. Правда, позже этот ансамбль обвиняли и в политической ангажированности и в том, что исполнял он песни сугубо комсомольско-молодежные, но не стоит забывать, какое на дворе стояло время. К тому же нелишне напомнить, что «Веселые ребята» были первыми, кто спел на большой эстраде песни «Битлз». И это был настоящий прорыв в истории советской музыки. Они записали две песни «битлов» на свою первую пластинку, которая разошлась тиражом 14 миллионов (!) экземпляров. Кстати, за эти 14 миллионов каждый музыкант получил тогда по... 36 рублей. Правда, как шутит сегодня Юра, «с копейками»...

Потом были в его судьбе суперпопулярные ансамбли «Самоцветы» и «Пламя», а соответственно, и шлягеры «На дальней станции сойду», «Багульник», «Мой адрес – Советский Союз», «Идет солдат по городу» и десятки дру-

гих; собственное творчество, сотни выступлений, тысячи поклонниц... А в сердце вошла только одна дама, но зато навсегда: боевая подруга, палочка-выручалочка Оля, или в кругу близких – Ляля. Долгие годы эта очаровательная женщина с командным голосом и нежной душой занимает должность заместителя директора Нового цирка на проспекте Вернадского. И потому судьба Юры, как и моя, оказалась связана и с манежем – доводилось ему выступать в составе оркестров во время зарубежных гастролей наших артистов, писать музыку к цирковым представлениям и даже благословить сына Яна на то, чтобы он работал в оркестре Нового цирка.

Пришлось Юрику хлебнуть и безденежья «перестройки»: в те времена талантливые музыканты оказались вдруг никому не нужными, и почувствовать зависть «коллег», когда, не сломавших под грузом обстоятельств, не запив, как иные, создал он собственный ансамбль «Пламя 2000», который с большим успехом выступает и сегодня. А еще он самый настоящий экстрасенс – запросто снимает головную боль и даже, по собственному утверждению, может разгонять тучи. Не знаю, как насчет экстрасенсорных способностей, но великой человеческой способностью дружить Юра обладает в полной мере. Увы, в нашем возрасте друзей не приобретают, скорее теряют. Тем ценнее для меня общение с ним и с его домочадцами – а в их числе появилась и невестка Таня, и обожаемая всеми внучка Леля. Вот и стали мы с тобою дедами, Юрка, но... «Не надо печалиться, вся жизнь впереди!»...

«Принимаю беду на себя...»

Но не цирком единым, да и не музыкой тоже жил репортер... Отдел информации загружал меня разнообразной поденщиной, которая и составляла будни газеты. А в ней самой к середине 70-х годов наметились перемены: после смерти Петра Степановича Дариенко на должность первого заместителя главного редактора был назначен Дмитрий Федорович Мамлеев. Это вроде бы не столь и заметное событие в наших весах, как оказалось, внесло существенные коррективы и в расклад «левых» и «правых» сил в самой «конторе», и в постепенный поворот газеты к материалам, ориентированным не только на идеологические сферы ЦК КПСС, но и на читателя.

Мамлеев пришел к нам из «Известий», где проработал более 20 лет, пройдя путь от собственного корреспондента газеты в Ленинграде до ее ответственного секретаря. Причем его основные «известинские» годы пришлось

на те времена, когда редакцию возглавляли всесильный зять Хрущева Алексей Иванович Аджубей, а вслед за ним Лев Николаевич Толкунов.

Думается, Мамлеев многое перенял от них. И осторожность, и стремление не делать опрометчивых шагов, которые могли повредить главной цели (а таковой становилось появление тех или иных «непроходных» до него материалов на страницах «Советской культуры»), и умение лавировать в коридорах власти... Но и принуждаемый обстоятельствами поступать не всегда так, как хочется, он не превратился в высушенного чиновника по «образу и подобию» идеологического хозяина страны Михаила Суслова, а сохранил живое обаяние и редкое свойство сопереживать, сочувствовать, соучаствовать...

Высокий, спортивный, с рано начавшей сесть шевелюрой, ДФ (как звали Мамлеева в редакции люди его «круга»), мог, по собственному выражению, «с большевистской прямоотой» и рубануть правду-матку, невзирая на чины и должности, и в то же время с дипломатическим иезуитством вести свою игру – но всегда в интересах дела. Редакционные дамы – барометр настроений – его любили и даже, слегка ревнуя, гордились тем, что был ДФ женат на замечательной актрисе Кларе Лучко, чья всенародная слава, особенно после появившегося в те годы фильма «Цыган», легким отблеском ложилась и на газету. В редакции Клару Степановну чуть иронично, но больше любовно называли «наша жена», и в ее редкие появления в редакционных стенах стремились заглянуть в приемную ДФ, чтобы, если повезет, перекинуться словечком.

ДФ не было легко в нашем «богоугодном» заведении. И, прежде всего, потому, что привык он к иным масштабам, к иному размаху. Только одна сеть собственных корреспондентов «Известий» по стране, подчинявшаяся ему, насчитывала более двухсот человек. В «Советской культуре» все было мельче, тише, да и тираж ее был не сравним с известинским. Может быть, оттого и конфликты, как внутри коллектива, так и те, что выплескивались на страницы газеты, были менее масштабны – словно в коммунальной квартире, где одни соседи объединялись против других в борьбе за первоочередное право пользоваться общим туалетом.

Мамлеев ценил работяг. Тех, кто приносил реальную пользу газете. И защищал их всеми возможными способами – не только по рабочим, но и по личным моментам. Когда разводился наш собкор по Дальнему Востоку Миша Бриман, и крайком партии настаивал, чтобы его разводу было придано едва ли не общественное звучание, ибо личная жизнь сотрудника газеты ЦК должна быть чиста и хрустальна, именно Мамлеев сделал все возможное, чтобы

Мишу не уволили, а перевели собкором в Красноярский край – вместе с молодой женой.

Большого счастья это Мишке, с которым мы подружились на долгие годы, правда, не принесло. Ребенок, который у них родился, из-за роковой ошибки врачей потерял слух. Потом, уже в годы перестройки, стало заносить Иру – разница-то у них была лет этак двадцать. В стремлении «рубить концы» Миша уехал из Красноярска в Израиль, забрав туда и жену, и Левочку. Да только и Земля обетованная оказалась для него горькой: через несколько лет Ира, буквально в одночасье, сторела от рака.

Но это все будет много позже, и я еще вернусь к жизни Бримана, да и не только его, но и многих моих друзей, в Израиле. А пока, в молодые наши годы, и Миша, и я, да и многие другие журналисты, стремящиеся сделать газету более интересной, как-то сразу потянулись к Мамлееву. Тем более что его круг объединил и Костенко, и нескольких руководителей отделов, даже в те годы отличающихся заметной «продвинутостью».

В их числе был и руководитель иностранного отдела Валерий Леднев. Я уже упоминал, что именно он стал моим своеобразным «крестным отцом» в газете. Заметный своей вальяжностью, ироничностью и каким-то особым, не «совковым» шармом, он был женат на одной из первых красавиц Москвы, артистке Театра Сатиры Зое Зелинской. Прекрасный знаток немецкого языка и культуры Германии, Валерий Вадимович еще в 60-е годы «прославился» тем, что был изгнан из «Известий» за написанную им совместно с Аджубеем и собкором газеты Поляковым книгу «Мы втроем видели Западную Германию». Книгу эту «наверху» сочли слишком «прогерманской», и после отставки Хрущева и снятия Аджубея с поста главного редактора «Известий» Леднева «сослали» в «СК» – на должность ответственного секретаря.

Впрочем, думается, в конечном счете это сослужило ему неплохую службу, ибо вскоре задули иные ветра, и Валерий Вадимович, ставший к тому времени редактором иностранного отдела уже цековской «Культуры», оказался востребован временем. А точнее, председателем КГБ СССР Юрием Андроповым.

Помнится, в свое время я был немало удивлен, узнав, что в нашем иностранном отделе в качестве корреспондента работает сноха председателя КГБ Таня Квардакова. Хорошенькая блондинка, генеральская дочка, она была замужем за сыном всемогущего руководителя чекистов Игорем. Уже отсюда можно было понять, что характер отношений Леднева с семейством Андропова носил явно неформальный характер. Но только годы спустя выяснилось,

что Валерий Вадимович, занимая скромный кабинет на шестом этаже «СК», именно оттуда под непосредственным руководством Андропова участвовал в деле, о сути которого в нашей стране знали всего несколько человек.

Речь шла о создании тайного канала связи между СССР и ФРГ, который позволил Брежневу и тогдашнему канцлеру ФРГ Вилли Брандту установить между собой неформальные отношения. Значительную роль в этом деле сыграл и крупный сотрудник КГБ генерал Вячеслав Кеворков – близкий друг Леднева и его коллега в деле установления новых отношений с Германией.

Началась эта история еще осенью 1968 года, вскоре после того, как советские войска вместе с войсками других стран Варшавского договора оккупировали Чехословакию. «Пражской весне», первым проблескам свободы и демократии в этой стране был положен конец. Однако в результате Советский Союз в очередной раз оказался в изоляции от стран Запада: там начали резко сворачивать совместные крупномасштабные экономические проекты, вводили всевозможные санкции, да и уровень дипломатических отношений значительно снизился. Полагаться в такой ситуации только на советский МИД, где всевластно правил суперконсервативный Андрей Громыко, было невозможно. Срочно требовался неформальный выход из создавшегося положения. Тогда-то и понадобился Леднев.

Задача им с Кеворковым была поставлена уникальная: с помощью неформальных связей среди немецких общественных и политических деятелей в течение полугода–года добиться установления на самом «верху» совершенно новых отношений с Германией, отношений достаточно доверительных. Причем в обход всех советских внешнеполитических ведомств, которые способны были только затормозить дело.

И эта задача была блестяще выполнена. Причем, забегая вперед, замечу, что, как стало известно много лет спустя, созданная система контактов позволила канцлеру ФРГ и генсеку ЦК КПСС практически напрямую откровенно обсуждать многие вопросы, добиваясь важных компромиссов. Достаточно сказать, что в результате этих переговоров с помощью посредников – Леднева и Кеворкова – были заключены основополагающие договоры по Западному Берлину, по проблемам возвращения на историческую родину советских немцев, урегулированы отношения между ФРГ и ГДР и даже согласованы действия по высылке из СССР Александра Солженицына и его приема на немецкой земле известным писателем Генрихом Беллем.

Кеворков в своей книге «Тайный канал» поведал, что одна из выстроенных цепочек шла от Леднева через корреспондента газеты «Франкфуртер

фрае пресс» Хайнца Лате и ее редактора Шмельцера к Эгону Бару – доверенному человеку министра иностранных дел, а впоследствии и канцлера Германии Брандта. Уже спустя многие годы Мамлеев, который был в курсе деятельности Валерия Вадимовича, расскажет мне, что тот, выполняя функции связника, в те годы более ста раз летал в Германию. Он даже в своем кабинете держал «горячий» портфель со сменой белья и зубной щеткой, ибо в любой момент мог получить команду на отлет. Мало кто знал и то, что по результатам этой работы был Леднев награжден орденом Красного Знамени, ибо сообщение о награде нигде не публиковалось, а сам орден Валерий Вадимович получил из рук Андропова в его кабинете.

«Тайный канал» просуществовал до 1982 года, и за все это время ни разу не дал сбой. И только конец брежневской эпохи, а потом и смерть Андропова остановили его работу. Начинаясь иная эра – Горбачева, и его команде требовались уже иные люди. Может быть, это в какой-то мере и ускорило смерть Леднева – рассеянный склероз изничтожил его буквально в считанные недели.

Конечно, в то время в редакции практически никто не догадывался, чем занимается Леднев в «свободное» от работы в газете время. Даже его частые отлучки, связанные с поездками в Германию, никого не наводили на мысль о сверхсекретной миссии, а уж тем более об особых отношениях с «небожителем» Андроповым. Зато с Таней Квардаковой сотрудники общались запросто: надо ли было достать какое-либо дефицитное лекарство или помочь в иных житейских мелочах – шли к ней. Никто ее в редакции особо не выделял, не вилясь вокруг нее охрана, и даже когда однажды на общередакционную пьянку в честь какого-то очередного революционного праздника пожаловал ее супруг, на это тоже не обратили особого внимания.

Впрочем, из редакции Таня вскоре ушла – она забеременела, и ее перевели в ТАСС, а затем отправили в Венгрию, где она благополучно и родила. А потом мы узнали, что оказалась наша Танюша аж «послихой» – Андропов, став генеральным секретарем, назначил своего сына послом в Грецию, куда вслед за ним отправилась и Таня. Говорили, что она была заботливой хозяйкой посольства, да только продолжалось это тоже недолго – умер Андропов, сын его начал здорово попивать, они вернулись в Москву, а спустя некоторое время развелись.

Конечно, история «тайной миссии» Леднева уникальна. Правда, в те годы многие журналисты в той или иной степени были связаны с КГБ – особенно те, кто работал за границей под прикрытием редакционных корочек.

Мы, пахавшие в родном Отечестве, конечно же, знали это и разве только слегка завидовали собкорам за рубежом, причастным к благам западного мира. У нас, репортеров, и проблемы были попроще, и командировки поживее – в Сибирь-матушку, на Урал, в Нечерноземье... За счастье почитали, если удавалось вырваться «на юга», дабы заодно понежить пузо на Черном море, поест шашлычков в Тбилиси, попить коньячку в Ереване.

Вот и командировка, выпавшая мне летом 1982 года в Сухуми, поначалу не предвещала ничего экстремального. Ее история началась в кабинете члена редколлегии нашей газеты, редактора отдела партийной жизни Игоря Бельдинского. Не знаю уж, почему его выбор пал на меня, но, пригласив к себе, он доверительно сказал:

– Знаешь, есть у меня старинный дружок, Сергей Самойлович Деноткин. Человек он бывалый, да и пост занимает немаленький. Но речь идет, собственно, не о нем, а о его сыне. Ты встреться с Деноткиным, поговори, он тебе все объяснит.

Полагая, что речь идет о каком-нибудь «дежурном» интервью с неким приятелем-функционером редакционного начальника, я через несколько дней позвонил по данному мне номеру. Еще не подозревая, что сведет меня судьба с неординарным человеком, а позже на долгие годы подарит дружбу с его сыном – тогда молодым врачом-реаниматологом, оказавшимся причастным к ситуации, в которой, как в зеркале бокового вида на старой машине, отразилась вся наша тогдашняя искривленная жизнь.

Деноткин-старший действительно занимал по «номенклатурным» меркам того времени немалый пост – был он начальником Управления туристских учреждения и маршрутов Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС. Иными словами, от него во многом зависели все имевшиеся тогда в Советском Союзе туристические объекты – турбазы, гостиницы, комплексы, да и вождеденные турпоездки за рубеж. В те годы индустрия туризма, как впрочем, и все остальные сферы «народного хозяйства», была жестко централизована, и именно Сергей Самойлович определял ее финансовое благополучие, распоряжаясь немалыми средствами, шедшими на развитие отрасли.

Был он открыт и доброжелателен, легок в общении, полон сил и энергии, и только сложная смесь тревоги и гордости за сына, как стало ясно из нашего разговора, теребила его сердце. Тревоги, потому что Витя, прожив несколько лет в неудачном браке, незадолго до описываемых событий развелся и женился снова. Первая его жена оказалась из разряда злопамятных

стерв и, решив уечь бывшего мужа, организовала в газете «Труд» публикацию, где Деноткин-младший нежданно-негаданно для себя был изображен таким злыднем, попирающим все нормы советской морали. «Сигнал» печати в больнице, где тогда трудился молодой врач, не прошел незамеченным: доктора готовились проработать по полной программе, что, в свою очередь, могло поставить жирный крест на его успешно начинающейся карьере – изничтожать людей «за бытовуху» в те времена умели...

Что же касается чувства гордости... Непосредственным поводом для нашей встречи и стала история, о которой мне поведал Сергей Самойлович. Разыгралась она в Сухуми, и так легла фишка, что именно Виктору довелось стать ее непосредственным участником и героем. Героем в прямом смысле этого слова, хотя Деноткин–старший специально и не подчеркивал этого. Он ни о чем меня не просил и ни на чем не настаивал, просто поведал мне фактуру ситуации, предоставив самому решать, заслуживает ли она внимания журналиста.

И я вылетел в Сухуми, туда, где и развернулись трагические события, что легли в основу моего очерка «Принимаю беду на себя», опубликованного в «Советской культуре». Забегая вперед, скажу, что, наверное, помог этот очерк доктору Деноткину, ибо после публикации уже никто его не прорабатывал «за бытовуху», а даже, наоборот, был он отмечен благодарностью в приказе руководителя столичной медицины, от которой, впрочем, думается, не стало ему ни тепло, ни холодно.

Но обо всем по порядку. Воспроизведу свой рассказ 1982 года, и при этом попытаюсь снабдить его комментариями, ибо многое из того, что я узнал за время той командировки, напечатать, конечно же, было невозможно, да и в голову подобное не приходило: что-что, а «лакировать действительность» мы умели.

Итак, вот начало очерка:

Люба заканчивала чистить грибы, когда вбежавшая со двора соседская девочка крикнула:

– Тетя Люба, идите быстрее, там ваши мальчишки снаряд разбирают.

Она не помнила, как рванулась на улицу. В это время тишину вечера сухо и гулко распорол взрыв.

Еще накануне шли дожди, бурные и теплые, какие в это время года нередко бывают в Абхазии. Но уже с утра налилось жаром солнце,

и сыновья Любы и Николая Холиди – четырнадцатилетний Харлампий и двенадцатилетний Юрик – решили сходить за грибами. К ним присоединился их двоюродный брат – тринадцатилетний Вовка, и ребята, прихватив корзины, отправились на лесистую гору, что почти нависает над их домом. Назад они вернулись радостные: нашли немало маслят илисичек. Но еще об одной ребячьей находке не знал никто – небольшой, густо покрытый ржавчиной снаряд им удалось пронести незаметно. Пока родители готовили обед, мальчишки, поделившись сокровенной тайной еще с одним двоюродным братом – двенадцатилетним Гарриком, – отправились к сараю позади дома...

Первую на минуту нить повествования. Скажу, что, когда взорвался снаряд (ребята решили извлечь из него порох), самый старший мальчик погиб сразу же.

Троих, истекающих кровью, без сознания, доставили в 1-ю Сухумскую городскую больницу. Особенно тяжелое состояние было у тринадцатилетнего Вовки: он стоял ближе всех к месту взрыва и буквально снизу доверху оказался прошит осколками.

О том, что происходило в больнице, чуть позже, а пока замечу, что в Сухуми я приехал в полной уверенности, что о трагедии, разыгравшейся в доме Любы и Николая Холиди, знает весь город. Ничего подобного: ни в обкоме партии, ни в местных правоохранительных органах, ни в министерстве здравоохранения никто не был в курсе событий. Позже, после бесед со многими очевидцами, мне станет ясно, почему так могло случиться. Дело в том, что пострадавшие ребята были из греческой семьи, а в Сухуми абхазов и греков традиционно разделяла (да и сегодня разделяет) стена неприязни. И потому практически никто(!) в тот давний субботний день не пришел к ним на помощь. Разве только врачи, да и те, столкнувшись с тяжелейшими, почти несовместимыми с жизнью травмами, оказались бессильны перед ситуацией: в больнице отсутствовало необходимое оборудование, медикаменты, перевязочные материалы, кровь для переливания...

Ничего не знал о разыгравшейся трагедии и Виктор Деноткин – в то время реаниматолог 68-й московской больницы. Вместе с молодой женой он проводил отпуск на одной из сухумских турбаз. Купался в море, загорал... Удивительно ли, что за время отпуска доктор несколько поиздержался... Поэтому в один из дней, предшествовавших трагедии, зашел он в больницу и договорился с коллегами насчет пары-тройки дежурств: ему с удовольствием разре-

шили подработать таким способом – врачей не хватало. В среду в два часа дня он вышел на свое первое дежурство и только тогда узнал о случившемся в субботу несчастье.

Но вернусь к очерку:

За свои 27 лет Виктору не раз приходилось видеть тяжелейшие травмы. Еще когда учился на лечфаке Московского медицинского стоматологического института, пришел он в детскую городскую больницу № 9. Работал сначала санитаром, потом фельдшером. Наверное, именно здесь, сталкиваясь со многими случаями тяжелых поражений у детей, познал, что нет ничего страшнее, когда умирают маленькие, беззащитные существа. И, может быть, именно поэтому избрал Виктор одну из самых нелегких в медицине специальностей – реаниматологию, встав после окончания института у той, самой последней черты, которая отделяет жизнь от смерти.

И теперь, оказавшись рядом с умирающими детьми, он повел борьбу за их спасение. Но, проведя около ребят первые сутки, понял, что положение обостряется. Начиналась гангрена, грозившая одному из них ампутацией ног...

И снова прерву повествование. Ибо не вошли, да и не могли войти тогда в мой очерк факты, которые довелось узнать в ходе журналистского расследования. Я не мог написать ни о равнодушии некоторых сухумских врачей, ни о дефицитных препаратах, которые были в клинике, но никто не торопился их выдавать, ни об отказе доноров дать кровь «этим грекам», ни о многом другом, с чем столкнулся Деноткин. Может быть, теперь, в наше, изломанное национальной враждой время, такие факты никого и не удивят, а тогда никакая цензура, ни один главный редактор подобное бы на страницы газеты не пропустил. Партийная печать изо дня в день неустанно «укрепляла» на своих страницах дружбу народов, интернациональную взаимопомощь и взаимовыручку... Вот и писал я, как верный «подручный партии», героический очерк, воспевая в нем и тех, кого тогда, по большому счету, надо было бы сажать на скамью подсудимых.

Впрочем, реальный герой в этом очерке все-таки был – Виктор. Он ни тогда, ни сейчас, наверное, не согласился бы с этим утверждением, но все обстоятельства развернувшихся далее событий позволяют говорить об этом. Ибо, проведя у постелей детей бессонную ночь и видя абсолютное равнодушие

окружающих, Витя принял единственно возможное в той ситуации решение: «Надо везти ребят в Москву».

Но как они перенесут дорогу? Ведь если положение двух мальчиков несколько стабилизировалось, то третий находился в таком состоянии, когда жизнь могла угаснуть в любую секунду. А времени уже не оставалось даже на то, чтобы вызвать специальный самолет.

И тогда доктор Деноткин позвонил отцу, рассказал о ситуации, сложившейся в больнице. Сергей Самойлович все понял: используя свои связи, он достал редчайшее по тем временам лекарство, способное помочь, и немедленно отправил его в Сухуми, а затем связался с местными медиками из военного санатория и попросил содействия в организации отправки ребят в Москву. Оставался еще один нюанс: объяснить все родителям, которые должны были забрать ребят из больницы «под расписку» и вручить их жизни Виктору.

Доктор Деноткин говорил с ними спокойно и медленно, ничего не обещая и ничего не гарантируя, честно предупреждая об одном на десять тысяч шансе на спасение. Виктор говорил и о том, что только он – реаниматолог – может и должен везти ребят. И, объясняя это, доктор знал, что всю ответственность за детей он принимает теперь на себя.

Родители дали согласие... Они не совсем понимали, зачем все это надо московскому доктору, и, приученные к тому, что в их южной республике все продается и все покупается, попытались всучить ему слиточек золота – «на расходы». Витя спросил: «Это так вы оцениваете жизнь своих детей?». Все стало понятным без слов...

Вернусь к очерку:

... Рейс номер 982 «Сухуми – Москва» выполнялся строго по расписанию. Вылет был назначен на 4 часа 30 минут утра. Уже заняли в салонах самолета Ил-18 свои места пассажиры, командир корабля запросил разрешение на взлет.

Земля ответила отказом...

В тот момент когда командир собирался выяснить его причину, он увидел, как по полю к самолету на полной скорости несутся три машины «скорой помощи». Выйдя в салон, командир приказал:

– Открыть люк.

Через минуту в последнем, третьем салоне самолета, стало тесно от людей в белых халатах. Они установили носилки на сложенные кресла и вышли. Остался только один. Пока он устанавливал капельницу

и объяснял что-то подоспевшей бортпроводнице, командир прошел на свое место и снова запросил разрешение на взлет.

Земля взлет разрешила.

... За двух ребят Виктор не беспокоился: после большой дозы снотворного они спали, пульс и давление «вели» себя неплохо. Третий мальчик был без сознания. Он умирал... Деноткин почувствовал это всеми клетками в тот момент, когда самолет, оторвавшись от земли, начал набирать высоту. Кислородная недостаточность... Ему показалось, что он крикнул, а на самом деле бортпроводница услышала сухой шепот врача: «Дайте кислород».

На борту было два баллона. Через минуту кислородная маска прижалась к губам ребенка. Наклонившись над ним, Виктор взял его почти ничего не весящую руку и вдруг, к своему ужасу, почувствовал, что пульс не прощупывается. Это потом он поймет, что сразу услышать пульс мешал шум моторов. А тогда он снова и снова искал этот пульс, пока не уловил тоненькое биение, гулкими ударами отдававшееся в сердце.

Он плохо помнит, как прошли эти почти три часа полета. Он снова и снова давал мальчику кислород, вводил лекарства, прислушиваясь к едва заметному дыханию. Он не знал и не мог знать, что самолет попал в грозовой фронт, и, обходя его, экипаж делал все возможное, чтобы машину меньше трясло, а это было непросто. Но время шло, и Виктор понимал, что ребенок все-таки живет, пусть у роковой черты, но живет, и будет жить, чего бы это ему, врачу, ни стоило!

Шасси лайнера коснулись посадочной полосы аэропорта «Домодедово»...

Их ждали. Предупрежденные Деноткиным, в аэропорт на автомобиле реанимации приехали врачи 9-й детской больницы. Взревев сиреной, машина помчалась в клинику. И только там, в приемном покое, Виктор передал ребят. Передал с надеждой и верой...

Он вышел на крыльцо приемного отделения. Подумал, что сегодня надо бы вернуться в Сухуми, где на турбазе его ждала молодая жена, а впереди у них была еще целая неделя отпуска. Достал сигарету, не торопясь, с наслаждением закурил... Так, как, наверное, закуривают все мужчины после нелегкого, но сделанного ими на совесть дела...

... До сих пор хранится у меня маленький осколок ржавого металла – один из тех, что удалили врачи из искалеченного взрывом тела мальчика. Того

самого, что ближе всех был к смерти – и выжил, вышел из больницы. Как и два других ребенка, которые уже давно не дети, а взрослые люди. Вряд ли они помнят того врача, который их спас, да и сам доктор Деноткин вряд ли хранит в памяти все подробности той трагедии. Не знает он и то, как сложилась судьба его «крестников» – в начале XXI века иные политические ветра задули над Абхазией. А с Витей мы дружим и поныне – на долгой жизненной дороге не растерял он свои душевные качества и по-прежнему, если человеку плохо, готов в любую минуту прийти к нему на помощь. Так учил его отец, и доктор Деноткин, похоже, неплохо усвоил эти уроки.

Золотая лихорадка

В отдел информации «СК» Я пришел, когда его возглавлял Александр Петрович Осипов. Тот самый Осипов, что когда-то пытался взять меня на работу, но то ли не очень этого хотел, то ли виноваты были привходящие факторы, – как бы там ни было, мне пришлось добираться до заветной репортерской службы окольными путями. Пара лет, проведенная в секретариате, сыграла свою роль: я чувствовал себя в какой-то мере независимым, частенько обращаясь напрямую к Костенко, тем более, что он был куратором нашего отдела. Конечно, это злило Осипова... Да, впрочем, кому понравится, что его без году неделя сотрудник прыгает через голову непосредственного начальника.

Конфликты возникали и по иной причине. До газеты Александр Петрович трудился в ТАССе, и потому, очевидно, был приверженцем коротких информационных сообщений. Боже, как же он выхолащивал материалы, умудряясь по ходу их правки превратить репортаж, а то и очерк в короткую информационную заметку. Ругались мы с ним по этому поводу невероятно. И только с приходом Мамлеева все встало на свои места: ДФ, будучи и сам прекрасным репортером, довольно быстро «оценил» то, что выдавали «информационщики» – все эти бесконечные, скучные до зевоты подборки заметок типа «В хорах и ансамблях», «В клубах и домах культуры», «Сельские культработники», «Новости из библиотек» и т.п. Это была основная продукция отдела, и, судя по ней, население нашей страны только и делало, что в свободное от работы время плясало и пело в самодеятельности, просиживало в библиотеках, увлеченно зачитываясь произведениями классиков соцреализма, а в перерывах культурно отдыхало в парках и скверах, любуясь садовой скульптурой и зелеными насаждениями. Вне этих тем Александр Петрович, должно быть, чувст-

вовал себя неуютно и потому на корню рубил все мало-мальски интересные предложения, «не соответствующие тематике отдела».

Редакция «СК» с ним в конце концов распрощалась. Но и в газете «Советская Россия», где Осипов возглавил отдел писем, он долго не задержался, умудрившись так запустить работу отдела, что этот факт попал в отчетный доклад Брежнева на очередном съезде партии, как пример невнимательного отношения к письмам трудящихся. Однако Александр Петрович все же не расстался с журналистикой, вынырнув в профсоюзном журнале с дурацким названием «Клуб и художественная самодеятельность», где, очевидно, и нашел себя в качестве пламенного пропагандиста культурного досуга населения.

А к нам в отдел пришел Володя Свирина, ставший мне другом и «старшим братом» на долгие годы. Блестящий журналист, репортер, что называется, от Бога, он до этого трудился в «СК» заместителем редактора партийного отдела. Думаю, что эта работа доставляла ему, пишущему неплохие стихи, замечательно владеющему словом, мало душевного удовольствия: Вова, в силу специфики работы своего отдела, специализировался на создании духоподъемных произведений, которые он писал за партийных функционеров самого высокого ранга – типа секретарей обкомов и крайкомов партии. Занимался он и самой муторной работой в редакции: ваял передовые статьи, которые по природе своей должны были давать трудящимся массам ценные указания по воплощению в жизнь партийных предначертаний. Создавать эти, по выражению Свирина, «какашки» было далеко не просто, ибо по раз и навсегда установленному кем-то из партийных идеологов закону они должны были иметь чеканную форму: ровно 13 (не больше и не меньше) абзацев, обязательно оснащенных двумя цитатами из бессмертных речей Брежнева или других классиков марксизма-ленинизма.

В отделе информации Володя, к своему вящему удовольствию, занимался этим в гораздо меньшей степени, что позволяло нам не только плодотворно трудиться над «облегченными» материалами, но и вечером пропускать рюмочку-другую, приятно беседуя за закрытыми от посторонних глаз дверями.

Работалось под его «чутким руководством» легко, оттого и мои репортажи, пройдя умную редакторскую правку, становились только лучше и качественнее. Конфликтов у нас практически не возникало, ибо был Свирина мудр, базируя свою жизненную философию на ряде сентенций, которые всегда выручали в трудную минуту. «Вспотел – покажись начальству», «Не рви на себе волосы» – эти и подобные высказывания, применяемые им, дабы

утихомирить мое, иногда чрезмерное, рвение по отношению к тому или иному заданию начальства, вполне заменяли мне успокаивающее средство в стрессовых ситуациях.

К тому времени и Костенко, как куратор отдела информации, и Мамлеев требовали от нас не просто интересных материалов – сенсаций (конечно, по советским идеологическим меркам). Помню, зашел однажды к ДФ, а он, пребывая в хорошем настроении, показывает на абсолютно пустую стену своего кабинета и спрашивает: «Что там написано?». Я в недоумении держу паузу, а он еще пуце: «Читай внимательно!» – «Да ничего там не написано, ДФ». – «Нет, – говорит, – там написано: где сенсации, твою мать!»

И я рыл землю, искал что-нибудь особенное... Да ведь и находил. Не хвально, скажу, что в январе 82-го года «вся Москва» говорила о «деле Полуботка» – моем очерке, рассказывающем о наследстве наказного гетмана Полуботка, которое и по сей день не дает успокоиться иным горячим головам: ведь речь-то идет о триллионе (!) фунтов стерлингов, которые теоретически и сегодня могут получить россияне или украинцы.

Вывел меня на это уникальное дело мой приятель Саша Гуров, юрист, работавший тогда в Инюрколлегии. Учреждение это вело дела советских граждан, которые получали наследство от своих родственников, умерших за рубежом. Именно сюда еще в 1958 году обратились с заявлением жительница Москвы О. Шеболдаева-Широченская и ее сын С. Широченский. Они, в частности, писали: «Вопрос, который мы поднимаем, требует выяснения, так как речь идет о значительных денежных суммах, которые можно было бы реализовать. Мы имеем в виду так называемое «наследство гетмана Полуботка». Нам известно, что до революции в г. Стародубе бывш. Черниговской губернии состоялся съезд наследников гетмана, на который была приглашена Инна Никандровна Шеболдаева (наша мать и бабка), работавшая в то время земским врачом в Полтавской губернии... Если вы найдете нужным расследовать это дело, то мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы обратить мертвый денежный груз на благо государства...»

Обратим внимание: не в карман положить, а государству отдать... Да кто бы тогда об ином и думать мог? Как бы там ни было, вопрос о наследстве был поднят. Так в конце 1958 года в Инюрколлегии появилось дело № 1340. Его-то и показал мне Саша Гуров со всеми прелюбопытнейшими бумажками, которые там хранились. Что же из них выяснилось?

...Шел 1720 год. Однажды теплым летним днем по улицам Архангельска промчались два расписных возка, остановились у постоялого двора. Четве-

ро приезжих казаков вошли сюда и расположились за столом. За едой и рюмкой крепкого разговорились со шкипером английской шхуны, прибывшей в Архангельск для закупки воска и пеньки.

Той же ночью казаки тайно погрузились на борт шхуны. Шкипер видел, как они внесли на судно деревянный бочонок.

... Миновав устье Темзы, шхуна ошвартовалась у причалов Лондона. Тут пожилой казак вновь завел разговор со шкипером. К согласию, очевидно, пришли и на этот раз, так как он вместе со шкипером и одним из казаков вскоре сошел на берег, сел в экипаж и отправился прямо в контору Ост-Индской компании, бывшей в то время крупнейшим банком Англии.

Здесь роли неожиданно поменялись: на первый план выступил молодой казак, потребовавший свидания с управляющим. Встреча эта состоялась, и молодой казак через шкипера-переводчика объяснил, что зовут его Яков Полуботок, и от имени своего отца, малороссийского наказного гетмана Павла Полуботка, он желал бы внести на хранение в компанию 200 тысяч рублей золотом. Компания, которой требовались наличные деньги, согласилась. Были выработаны и условия хранения – банк обязался уплачивать по вкладу четыре процента годовых. Деньги были положены на неопределенный срок до истребования их или самим Павлом Полуботком, или лицами, им назначенными, или, в крайнем случае, наследниками указанных лиц. В связи с этим было оговорено, что на вклад не распространяется положение о «конфискации за давностью».

Договорившись обо всех условиях и подписав необходимые бумаги, Яков Полуботок и сопровождавшие его казаки доставили в помещение компании деревянный бочонок, оказавшийся доверху набитый золотыми монетами. Спустя несколько дней казаки отбыли в Архангельск. А еще через пару недель явившийся в Лондон некий иностранный дипломат внес в Ост-Индскую компанию на хранение от имени гетмана Полуботка и на тех же условиях еще один миллион фунтов стерлингов...

Такова завязка этой истории. Неизвестно, проболтался ли шкипер, или еще какими-то неведомыми путями, но предание о тайном вкладе Полуботка пошло гулять по свету... Но все ли в этом предании является вымыслом?

Прежде всего зададимся вопросом: а существовал ли гетман? Оказывается, фигура эта вполне реальная. Впервые из исторических хроник становится известно имя Леонтия Артемьевича Полуботка – отца нашего героя. Человек незаурядной силы и храбрости, он был полковником войска Богдана Хмельницкого. После Переяславской Рады, принявшей решение о воссоединении

Украины с Россией, полковник одним из первых украинцев за свои воинские заслуги получил потомственное дворянское звание.

Сохранились сведения и о его сыне – Павле Леонтьевиче Полуботке, родившемся около 1660 года. Наиболее подробную справку о жизни Павла находим в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона 1898 года. Вот что там, в частности, говорится: «Полуботок (Павел Леонтьевич) – полковник и наказный гетман малороссийский. После измены Мазепы П. был одним из двух кандидатов на гетманскую булаву, но Петр Великий выбрал слабого Скоропадского, а о П. выразился так: «Этот очень хитер, он может Мазепе уравниться». Пожалованными грамотами за П. было утверждено более 2.000 дворов, и он сделался одним из первых богачей в Малороссии... Между тем П. «докучал» царю депутациями и челобитными о выборе гетмана... Петра это сильно раздражало; он послал в Малороссию Румянцева произвести следствие о челобитных, подававшихся П. от имени народа, а П. с товарищами велел посадить в Петропавловскую крепость. Имущество П. было описано, П. умер в крепости в 1724 г.».

О гетмане имеются и некоторые другие данные, опубликованные в различных источниках. Вот только ни один из них не проливает свет на предание о больших денежных суммах, переправленных Полуботком в Англию. Однако признаем, что предание это опирается на вполне допустимое утверждение: гетман, встав во главе украинской оппозиции Петру, хорошо понимал, чем это «чревато», и, поскольку опасался, что в любой момент может быть подвергнут аресту, переправил свое состояние на берега Темзы. *[Ну разве не усматриваются тут прямые аналогии с делами иных олигархов времен правления президентов Ельцина и Путина? – В.Ш.]*

Косвенно мог бы свидетельствовать об отправке в Англию сокровищ и такой факт: когда Полуботок был арестован, все его имущество описали, так как оно подлежало конфискации. Денег в описи показано «всего только два сундука монеты; мелких денег 84 мешка, в каждом мешке по 200 рублей; ефимков 24 мешка, в каждом мешке по 200 ефимков, в оных же сундуках червонных 1700...» Это слишком незначительная сумма для богатейшего землевладельца Украины. Куда же девался остальной капитал?

Трудно сказать, были ли известны слухи об утаенных деньгах Петру I. Во всяком случае, царь ненадолго пережил умершего в тюрьме гетмана. Предание гласит, что Меншиков и другие сподвижники царя от имени России неоднократно обращались к Англии с требованием вернуть незаконно вывезенный капитал, но получали отказ.

Шло время, и слухи о многомиллионном наследстве с новой силой вспыхнули в начале XIX века. В 1827 году газета «Сенатские ведомости» впервые сделала попытку хотя бы выявить возможных наследников Полуботка, опубликовав об этом объявление на своих страницах. В течение всего XIX века в газетах появлялись сообщения и заметки об огромном наследстве гетмана. Но, возможно, дело ограничилось бы только газетными публикациями, если бы за него не взялся профессор Петербургской консерватории, известный музыковед и композитор Александр Иванович Рубец.

Собиратель украинского музыкального фольклора, друг Чайковского и Римского-Корсакова, Александр Иванович «прославился» и тем, что последние несколько десятков лет своей жизни был одержим идеей разыскать пропавшее наследство, поскольку являлся одним из потомков гетмана. Кстати, список лиц, проходивших по поколенной росписи дворянского рода Полуботков и связанных с ним родов, составлял в то время 549 человек. Среди потомков гетмана было и немало известных людей: поэт и драматург В.Капнист, писатель Ф. Соллогуб, реформатор театра В.Немирович-Данченко и многие другие.

В 1895 году профессор Рубец уехал из Петербурга в свое имение под городом Стародубом, где содержал за свой счет музыкальную и рисовальную школы. Несмотря на болезнь, он не оставил и дела о наследстве, задавшись грандиозной идеей собрать всех здравствующих потомков гетмана на съезд, чтобы совместными усилиями выработать дальнейшую программу поиска денег. А дело, как полагал Александр Иванович, стоило того. Согласно его подсчетам, сумма вклада, увеличенная четырьмя процентами годовых, должна была с 1720 года вырасти в... 1062 раза (!) и составить капитал примерно в 213 миллионов рублей!

И в январе 1908 года съезд наследников гетмана открылся. В знак признания заслуг профессора он проходил на его родине в Стародубе. Более 350 человек собрались в этом городе. Вот как писала одна из украинских газет о столь необычном собрании:

г. Стародуб. 15 января состоялся грандиозный съезд наследников гетмана Полуботка, приехавших с разных концов Государства Российского... Профессор А.И. Рубец обратился к собранию с речью, в которой уверял, что вклад гетмана Полуботка в Английском банке действительно есть, что сведения эти получены им от лица, заслуживающего полное доверие. На просьбу назвать это лицо, г. Рубец объяснил,

что оно служит юрисконсульту в Английском банке, что сначала это лицо было русским подданным, а затем перешло в подданные Английской державы...

Можно ожидать, что процесс о фантастическом наследстве, если расследование только приведет к нему, станет самым значительным событием времени, невиданным по масштабам судебным делом за всю историю гражданского права.

Съезд избрал инициативную комиссию из 25 человек по поискам наследства. Последующие сведения об этом деле говорили, что комиссия намеревалась отправить в Англию делегацию, провести поиск архивных документов, обратиться с петицией к английскому правительству. Но никакой информации о практических результатах ее деятельности в материалах Инюрколлегии не сохранилось.

И все же, когда в конце 50-х годов XX века вопрос о наследстве гетмана был поднят вновь, теперь уже советские юристы дали ему ход. Прежде всего они запросили лондонскую адвокатскую контору «Кеннет, Браун, Бекер, Бекер», с которой и раньше вели дела, о том, нет ли в Англии каких-либо сведений о вкладах гетмана Полуботка. Лондонские юристы были немало удивлены этим вопросом: ведь речь шла о человеке, умершем более двух веков назад. И тем не менее они провели тщательные поиски, к сожалению ничего не давшие. Ост-Индская компания прекратила свое существование еще в середине XIX века, а единственный английский банк, который, возможно, был при жизни гетмана – «Банк оф Ингланд» – никаких сведений о подобном вкладе не имел. Не смог сообщить ничего утешительного и адвокат английского Казначейства, ведающий выморочными наследствами.

В течение многих лет сотрудники Инюрколлегии проверяли все возможные сведения, содержащиеся в дошедшем до наших дней предании. Скажем, исследования в архивах Украины и Москвы помогли обнаружить документы, касающиеся проведения Стародубского съезда. Выяснилось даже, что съезд издал тиражом 600 экземпляров брошюру «Письма наследников Полуботка». Ее, к сожалению, не удалось найти ни в архивах, ни в библиотечных фондах.

Был проведен и ряд серьезных исследований, касающихся личности самого гетмана и возможности вывоза им денег. Наиболее богатый фактический материал по этим вопросам дали документы, хранящиеся в Государственном архиве древних актов. В его фондах нашлось следственное дело

гетмана, датированное 1723 годом. Из «допросных речей» явствует, что гетману вменялись в вину должностные злоупотребления. Но ни в материалах допроса, ни в конфискованных при аресте Полуботка документах нет ни единого намека на то, что гетман обвинялся и в тайном вывозе за границу крупных сумм.

Так все-таки, были ли деньги? Ведь если представить на минуту, что два с лишним века назад гетман Полуботок действительно внес более миллиона фунта стерлингов в какой-либо английский банк, то теперь (если соблюдались условия процентного роста, о которых говорит предание) образовалась бы сумма, которую даже трудно вообразить. Да вот только юридические документы, подтверждающие этот факт, так и не обнаружены. А вдруг они до сих пор хранятся в каком-либо архиве? – задавал я риторический вопрос, завершая в 1982 году свой рассказ о наследстве гетмана Полуботка.

Шуму мой очерк наделал немало. В редакцию звонили, писали письма, слали телеграммы, некие энтузиасты с Украины создали даже клуб по поиску пресловутого наследства. Но постепенно, как это бывает с каждой сенсацией, она сошла на «нет». Мне казалось, что навсегда. Но не тут-то было.

Грянула перестройка, которая в конечном счете послужила катализатором развала СССР. От некогда «нерушимого» колосса одна за другой начали отделяться бывшие республики, превращаясь в самостоятельные государства. Начались подобные процессы и на Украине. И что удивительно: одной из первых отцы «самостийности» подбросили народу историю с наследством Полуботка. Именно тогда в украинском парламенте прозвучал базирующийся на моем давнем очерке запрос, авторы которого утверждали, что Полуботок завещал свой вклад именно Украине, но, по условиям завещания, страна должна получить свои миллиарды только тогда, когда обретет самостоятельность. Депутаты даже сделали свой, базирующийся на одним им известных данных, перерасчет за 270 лет и пришли к выводу, что Англия должна вернуть Украине 16 миллиардов фунтов стерлингов. Специалисты считать чужие деньги тут же определили: каждый гражданин Украины получит по 300 тысяч долларов, что позволит «парубкам и дивчинам» жить припеваючи на одни лишь проценты. Словом, галушки, как это и было описано великим Гоголем, должны были сами макаться в сметану и прыгать в рот.

Дальше – больше. Ведомые Леонидом Кравчуком, которому предстояло стать президентом Украины, а потом бесславно уйти в отставку, депутаты настояли на том, чтобы все материалы по делу Полуботка из Инюрколлегии

передали Украине. Что и было сделано! В последующие годы, когда Украина стала самостоятельным государством, ее посланцы регулярно летали в Лондон, но в «Банке оф Инглант» им так же регулярно сообщали, что ни о каких миллиардах какого-то гетмана здесь и слыхом не слыхивали. Увы, так до сих пор и не получили ребята халявное золото...

Рак: несбывшаяся надежда на победу

Но от громких сенсаций перейду, пожалуй, к более серьезной теме – истории одного моего журналистского расследования, которое длилось почти год, вызвало большой шум в самых высоких сферах и кончилось, как это часто бывает в нашем обществе, практически ничем.

А началась эта история году в 79-м, когда по каким-то своим репортерским надобностям попал я в Институт эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Интересовали меня разработки ученых в области профилактики гриппа: тема и в наши дни актуальная, а в те времена еще и почти секретная, ибо в любимом Отечестве все, что было связано с массовыми заболеваниями населения, тщательно скрывалось – всем в СССР полагалось быть здоровыми и счастливыми.

Вспоминается в связи с этим, как незадолго до описываемых событий ездил я в Ленинград, где в Институте гриппа впервые была создана электронная система, позволявшая делать прогноз развития эпидемий болезни по ста крупнейшим городам страны. Замечательной показалась мне штука: система на основе строгих научных данных выдавала сведения о том, в какие числа в том или ином городе грипп начнется, достигнет своего пика и затем пойдет на спад. Для профилактики лучше и не придумаешь: ведь если эти данные довести до населения, люди в «пиковые» дни будут осторожнее, поберегутся от всепроникающих вирусов.

Написал я репортаж на эту тему, а поскольку очередная эпидемия как раз и приближалась, взял у ученых прогноз и привел его в конце материала: пусть, мол, наши читатели в регионах знают, когда им принимать особые меры предосторожности.

Репортаж, учитывая его актуальность, поставили в ближайший номер. Я уже размышлял, что, задружившись с ленинградскими учеными, буду получать от них эксклюзивные прогнозы для публикации в «СК» – чем не благое дело, да еще способствующее популярности газеты? А вот хренушки... В по-

лосе, еще не успевшей дойти до типографии, материал прочитал Романов. И тут же вызвал меня «на ковер».

– Вы с ума сошли, – гневно возопил он. – Что вы тут такое понаписали?

– Все данные проверены, – я попытался успокоить главного. – К тому же материал завизирован директором института.

– Дурак ваш директор, – еще пуще распалился Романов. – Вы что хотите, чтобы завтра, прочитав в газете график развития эпидемии, люди не вышли на работу?! Вы хотите устроить панику?! Сорвать производственные планы?! Да знаете ли вы, чем это чревато...

И Алексей Владимирович недрогнувшей рукой начертал на материале незабвенную резолюцию «В разбор!», подчеркнув свое указание тремя жирными чертами.

Так замечательная разработка ленинградских ученых и не стала в то время достоянием читателей, а я лишний раз убедился в «политической мудрости» нашего руководителя.

Но вернемся в одну из лабораторий НИИ имени Гамалеи, где, интересуясь новыми вакцинами от гриппа, я и познакомился с доктором медицинских наук профессором Леонидом Рвачевым. Мы как-то сразу сошлись с ним: умница, обаятельный человек, он был достаточно молод, а потому еще не попал в плен научных догм, диктуемых официальной наукой. Может быть, поэтому наш разговор вскоре перескочил от разработок его лаборатории к широкому кругу медицинских проблем, которыми я в то время интересовался. Вот тогда-то и довелось впервые услышать информацию, которая сразу же заставила держать репортерские ушки на макушке.

– А знаете, – сказал Рвачев, – в Киеве есть женщина, которая создала вакцину от рака. Вы, конечно, о ней не напишете, да и не дадут вам об этом писать, но разработка, ей-богу, уникальная. Вы уж мне поверьте, как ученому.

Вакцина от рака – это была сенсация мирового уровня, а уж до сенсаций в те молодые годы я был охоч донельзя.

– Ну-ка, ну-ка, расскажите поподробнее.

– Если вам это интересно, – Рвачев призадумался, – приходите завтра. Тут подойдет еще один человек, который занимается этим вопросом, вот мы вместе обо всем и поговорим.

На следующий день в лаборатории Рвачева я увидел седого человека в форме полковника Советской Армии. Познакомились... Георгий Миронов рассказал, что служит в одном из закрытых военно-научных учреждений и, будучи математиком, проверяет различные научные разработки с точки зрения

математического анализа. С Леней Рвачевым были они старыми друзьями, и, когда тот рассказал ему о киевском «феномене», Миронов им активно заинтересовался.

О каком же феномене шла речь?

Тут нам придется вернуться в 60-е годы прошлого века, когда молодая выпускница Киевского медицинского института Зоя Успенская была по распределению направлена в обычную сельскую больничку. Трудилась она «за всех»: делала перевязки, лечила «от головы и живота», пользовала малых и старых – да мало ли чем приходится заниматься сельскому врачу, одному на всю округу. Наблюдала она, конечно, и беременных – гинеколога в их селе, естественно, не было.

– Вот с беременных все и началось, – рассказывала мне позже, когда мы познакомились, Зоя Павловна. – Я обратила внимание, что у женщин, ожидавших ребенка, какой-то особый взгляд, как бы обращенный внутрь. Задумалась: а какие же процессы происходят в это время в организме? А вот какие: возникновение плода – это ведь бурный рост новых клеток, отторгающих старые, в том числе и больные. Не случайно после родов женщины словно бы молодеют и даже забывают про многие прежние болезни. А коль так, нельзя ли создать искусственную вакцину, которая бы имитировала процессы, происходящие в организме беременной женщины, и в первую очередь вытесняя старые клетки, способствовала бы росту новых, молодых.

С этой идеей и пришла Зоя Успенская в лабораторию защитных механизмов клеток Киевского института микробиологии и генетики, а вскоре стала ее заведующей. Начались эксперименты, целью которых и было создание специальной вакцины. Примечательно, что именно в то время иммунология, как наука, ставящая своей целью укрепление защитных сил организма, перешагнула рамки узкоспециальной дисциплины и начала триумфальное шествие по миру, демонстрируя необъятные возможности. Уже к концу 70-х ученые доказали, что, к примеру, биологическая несовместимость при разного рода пересадках – результат деятельности иммунной системы организма. Выяснилось и то, что эта система осуществляет защиту организма от опухолей. А раз так, задавались вопросом специалисты во многих лабораториях мира, то не следует ли именно здесь искать средство борьбы с раком?

Задавалась эти вопросом и Успенская. Удивительно, но в плохо оснащенной, копейечно финансируемой лаборатории она шаг за шагом шла к созданию вакцины, которая в случае удачи сулила человечеству победу над самой опасной болезнью века. И первые образцы такой вакцины были созданы! Они прошли испытания на онкологически больных животных и дали блестящие результаты,

чему свидетельствовали многочисленные акты проверок, проведенных различными комиссиями. Более того, доктор Успенская попробовала применить свою вакцину и для лечения безнадежно больных – рак в четвертой стадии – людей. И в ряде случаев эта вакцина также дала положительные результаты.

Казалось бы, победа близка. Но не тут-то было. Официальная медицина, которая должна была бы, по идее, всячески стимулировать эксперименты Успенской, наоборот, делала все возможное, чтобы не дать ей развернуться. Ее лабораторию пытались несколько раз закрыть, эксперименты объявляли «антинаучными», из вышестоящих инстанций следовала проверка за проверкой. Работать в таких условиях становилось все сложнее и сложнее...

Всю эту историю вместе с копиями документов и выложили мне два профессора, верящие в силу печатного слова. А потому в конце нашего разговора и прозвучал сакраментальный вопрос: «Не возьметесь ли вы об этом написать?».

Все это было страшно интересно. Но написать? Каким образом? Ведь все, что касалось лечения рака, проходило под грифом «государственная тайна» и было раз и навсегда запрещено цензурой к публикации. Существовала, правда, маленькая «щелочка»: если бы материал на эту тему был подписан кем-нибудь из медицинских светил в ранге не ниже академика, да к тому же члена какого-нибудь из отделений Академии медицинских наук СССР, то в таком случае цензура могла дать добро на публикацию.

Все это я и объяснил Рвачеву и Миронову. Они переглянулись.

– Что ж, – сказал Рвачев. – Теоретически такая возможность есть. Попробую вас свести с академиком Барояном.

Фамилия академика Барояна в те годы была на слуху. Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, он был ученым с мировым именем, внесшим значительный вклад в медицину. Специалист сталинской закалки, избравший своим жизненным девизом фразу Бисмарка: «Нет постоянных друзей и врагов, есть обстоятельства», он, по слухам, пользовал самого «отца народов», а потому имел большой авторитет у столпов официальной медицины. И все же был он неординарным, отнюдь не застывшим в косности человеком, способным воспринимать новые веяния в науке и даже поддерживать их. Вот его-то согласием и предстояло нам заручиться в первую очередь, тем более что он уже знал об опытах Успенской.

Барояну меня представил Рвачев, который, как мне показалось, пользовался вполне устойчивым доверием академика. Внимательно выслушав Леню, Оганес Вагаршакович посмотрел на меня хитрым взглядом из под кустистых бровей, нависших над крупным армянским носом.

– М-да, – произнес он, – дело хорошее. Но подпишу я материал только тогда, когда вы мне положите на стол документы, убеждающие меня, что эксперименты Успенской, особенно в области лечения раковых больных, действительно дают результаты.

С тем мы, озадаченные, и вышли из его кабинета. С одной стороны, вроде бы не нарвались на отказ, и это было уже хорошо. Но где взять документы, которые смогли бы убедить академика?

Со всем этим ворохом сведений и проблем я и заявился к Костенко. Ким Прокофьевич, по обыкновению прикрыв глаза и откинувшись в кресле, долго и терпеливо слушал мой сбивчивый, во многом эмоциональный рассказ. Наконец я иссяк. В кабинете ответственного секретаря повисла долгая, почти «мхатовская» пауза.

Наконец Ким открыл глаза:

– Интересно, – произнес он. – Только верится с трудом. Тут вот какое дело: у меня умирает от рака сосед по лестничной клетке. Врачи говорят, что осталось ему недолго. Вот пусть твоя Успенская приедет и уколет его своей вакциной. Тогда и посмотрим.

И Зоя Павловна, убежденная просьбами Рвачева и Миронова о необходимости ее появления в Москве, приехала. Правда, потом я узнал, что наведывалась она в столицу довольно часто, ибо был у нее здесь высокий покровитель – начальник 5-го Управления КГБ СССР, курирующего в том числе и науку, генерал Филипп Денисович Бобков. Не ведаю, в силу каких уж причин взял он Успенскую под свое могучее крыло, но Миронов как-то рассказал мне, что была она причастна к лечению сильных мира сего. В частности, лечила от рака жену тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Воротникова и подарила ей несколько лет жизни. Во всяком случае, в каждый приезд Успенской в столицу встречала ее на вокзале черная «Волга» с всеильными «гебистскими» номерами, а для жительства был отведен ей постоянный номер в левом крыле гостиницы «Украина», где, как было известно, селили важных гостей, проходящих по ведомству Комитета государственной безопасности.

Забегая вперед, скажу, что тот же Миронов, когда мы уже собирали необходимые документы, раздобыл мне где-то домашний телефон Бобкова. Набравшись наглости, я и позвонил, втайне надеясь, что услышу его мнение. Генерал, одного мизинца которого, по тем временам, хватило бы, чтобы навсегда закрыть мне путь к печатному слову, собственноручно снял трубку. Я представился, коротко рассказал о сути занимавшего меня вопроса и попросил консультации. Филипп Денисович был сух и краток:

– Ничем вам не могу помочь, – отвечал он, нимало не удивившись (или сделав вид, что не удивился) моему звонку. – Вы пресса, вы и занимаетесь этими проблемами, если они вас интересуют.

Мы и занимались. Итак, Успенская приехала, мы познакомились, проговорили несколько часов, и я свел ее с Костенко. Дня через три он вызвал меня в кабинет.

Обычно мало эмоциональный, Ким Прокофьевич на этот раз был явно взволнован:

– Ты знаешь, – сказал он, – в этом действительно что-то есть. Она ввела свою вакцину, и сосед, который находился в коме, минут через пятнадцать очнулся, а еще через некоторое время самостоятельно помочился. Я не специалист, но все это похоже на правду. Давай так: ты пока занимайся этим делом, а там посмотрим.

Сосед Костенко все же вскоре умер. Что подделаешь: препарат Успенской находился в стадии разработки, и требовались значительные усилия, чтобы довести его до кондиции. А вот этого-то ей как раз и не давали. И все же нам с Рвачевым и Мироновым удалось найти документы, которые однозначно свидетельствовали: не только животные, но и люди после вакцинации излечивались (!). Костенко подписывал нам командировки, и мы, своеобразной бригадой из двух профессоров и одного репортера, отправлялись в Грузию и на Украину, в Молдавию и Узбекистан – туда, где, по словам Успенской, жили ее больные, которым она помогала и – даже если не могла излечить полностью, то значительно облегчала страдания.

Доходило до смешного. Помню, как в одном из онкологических диспансеров Тбилиси мы попросили принести карту больного, которого лечила Зоя Павловна. Главный врач онкодиспансера, которому принесли эту карту, посмотрел в нее и сказал:

– Да тут же рак в четвертой – неизлечимой стадии. Больной уже давно умер. А больной в это время не только не умер, но и, после вакцины Успенской, жил себе поживал на соседней улице. Известие об этом повергло главврача буквально в шок, но факт оставался фактом.

Однако эти факты отнюдь не торопились признать те, от кого во многом зависела судьба открытия. К их числу относился и тогдашний министр здравоохранения Украины Романенко. Мы долго беседовали с ним, клали на стол различные документы, свидетельствующие об исцелении раковых опухолей у животных, успешном применении вакцины для лечения безнадежных онкологических больных. Министр был непреклонен: его все это не убеждало.

Не убеждали опыты Успенской и президента Академии наук Украины академика Б.Патона. А ведь еще в начале 1979 года на его стол легла докладная записка руководителя лаборатории экспериментальной фармакотерапии Киевского НИИ эндокринологии и обмена веществ кандидата медицинских наук В.Шевченко и ученого секретаря этого института кандидата медицинских наук Н. Тронько. В ней говорилось:

В августе 1977 года мы познакомились с некоторыми результатами исследований, проведенных в лаборатории защитных механизмов клетки Института молекулярной биологии и генетики АН УССР. Тогда же руководитель этой лаборатории Успенская З.П. предоставила нам возможность провести эксперимент, чтобы убедиться в воспроизводимости некоторых полученных ею биологических феноменов.

Нами было проведено 2 опыта – один по излечению кроликов от метастазов в глаза карциномы Брауна – Пирс [*один из видов рака – В.Ш.*] и второй – по излечению мышей от карциномы Эрлиха [*также вид рака – В.Ш.*]. Краткое описание проведенных экспериментов и фотоснимки, на которых зафиксированы их результаты, прилагаем к записке.

Воспроизведенные нами феномены на сегодняшний день являются уникальными и представляют большой теоретический и практический интерес. Это побудило нас проинформировать Вас о полученных результатах.

К записке на имя Патона были действительно приложены описания опытов и акты, подтвержденные подписями многих известных украинских специалистов. Информация эта, казалось бы, не осталась без последствий. Вскоре президент Академии наук Украины дал поручение своему заместителю разобраться в сути дела. Результатом «разборки» стали еще два документа, вышедшие из-под пера кандидата медицинских наук А.Шевченко, адресованные вице-президенту АН УССР академику Ф.Бабичеву. Они подробно описывали создавшуюся ситуацию и рассказывали о сути феноменальных исследований доктора Успенской, касавшихся не только лечения раковых заболеваний, но и некоторых поистине сенсационных результатов применения ее вакцины. Приведу эти документы с некоторым сокращением, заранее извинившись перед читателем за изобилие научных терминов, но из песни, как говорится, слов не выкинешь.



То самое здание

«Никто мне не стелил ковровую дорожку у входа в здание по адресу: Новослободская, 73, где располагалась редакция газеты «Советская культура». Просто порекомендовали обратиться в отдел информации «СК» – к его редактору Александру Петровичу Осипову. Я обратился, получил первое задание, второе, третье... Прошло несколько месяцев – я исправно выполнял поручения Осипова, газета напечатала несколько моих материалов. И однажды Осипов сказал: «Что ж, пишете вы неплохо. Буду ставить вопрос о зачислении вас в штат редакции...»



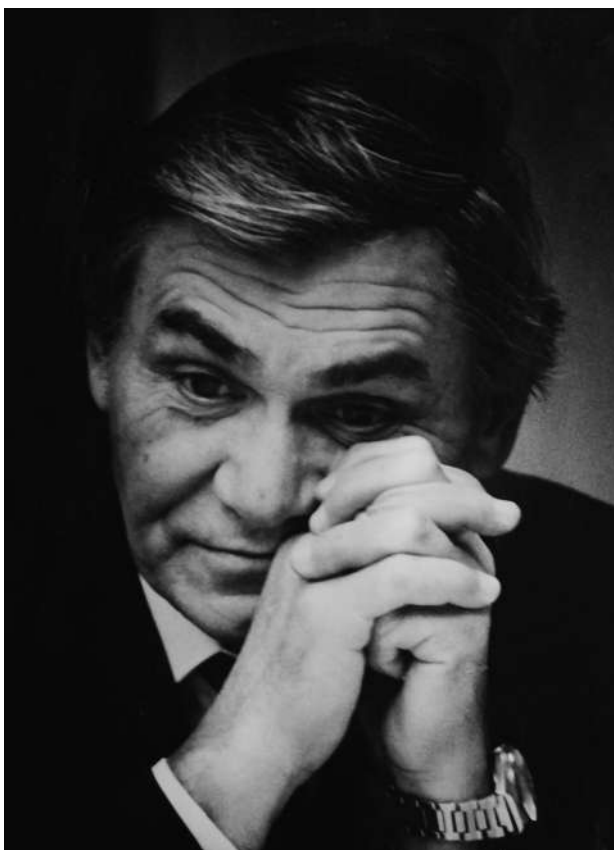
В кабинете Владимира Свириня идет работа над очередным номером

«Наш отдел возглавил Володя Свирин, ставший мне другом и «старшим братом» на долгие годы. Блестящий журналист, репортер, что называется, от Бога, он до этого трудился в «СК» заместителем редактора партийного отдела. Думаю, что эта работа доставляла ему, пишущему неплохие стихи, замечательно владеющему словом, мало душевного удовольствия...»



Валерий Вадимович Леднев

«Валерий Вадимович Леднев, ставший в начале 70-х редактором иностранного отдела уже цековской «Культуры», оказался востребован временем. А точнее, председателем КГБ СССР Юрием Андроповым...»



Ким Прокофьевич Костенко

«Секретариат был своеобразным штабом редакции, где создавались замыслы номеров, воплощаясь затем на газетных полосах. В самой гуще этого «центра» находился Ким Прокофьевич Костенко. Было ему тогда немногим за пятьдесят – молодежавый, подтянутый, чертами лица отдаленно напоминающий умудренную опытом черепаху, слыл он не просто профессионалом, но профессионалом высшего класса, успевшим хлебнуть и военного лихолетья, и послевоенных журналистских бурь и потрясений...»



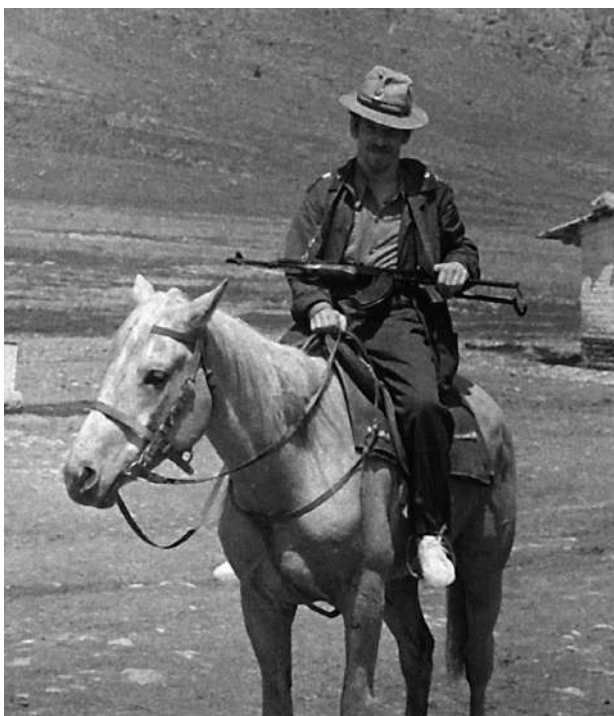
Вообще-то цветы для Аллы Пугачевой (Дмитрий Мамлеев, ведущая телепрограммы «Музыкальный киоск» Элеонора Белянчикова и другие известные лица)

«К середине 70-х годов в газете намелись перемены: на должность первого заместителя главного редактора был назначен Дмитрий Федорович Мамлеев. Он пришел к нам из «Известий», где проработал более 20 лет, пройдя путь от собственного корреспондента газеты в Ленинграде до ее ответственного секретаря. Высокий, спортивный, с рано начавшей сесть

шевелюрой, ДФ (как звали Мамлеева в редакции люди его «круга») мог, по собственному выражению, «с большевистской прямотой» и рубануть правду-матку, невзирая на чины и должности, и в то же время с дипломатическим иезуитством вести свою игру – но всегда в интересах дела...»



Врач-реаниматолог Виктор Деноткин



На погранзаставе «Яблонева» в горах Туркмении

«У нас, репортеров, и проблемы были попроще, и командировки пожиже – в Сибирь-матушку, на Урал, в Нечерноземье... За счастье почитали, если удавалось вырваться «на юга», дабы заодно понежить пузо на Черном море, поесть шашлычков в Тбилиси, попить коньячку в Ереване...»



С «солнечным клоуном» Олегом Поповым

«Моя репортерская судьба свершила неожиданный поворот. И я на долгие годы оказался связан с искусством цирка – искусством, густо пропитанным потом работы и ядом интриг, притягательным блеском огней манежа и грязью закулисных скандалов, высокой поэзией трюка и низменными человеческими страстями.

Есть в цирке примета: стоит человеку хотя бы один раз переступить барьер манежа и оказаться на арене, и он уже никогда с ней не расстанется. Я много раз входил в этот чарующий круг, оказываясь и в тишине шапито, когда гасли огни и брезентовый шатер погружался в оглушающую тишину, и на просцениуме больших дворцов, где верхние

ряды зрительного зала кажутся сливающимися в одну бесконечную темную полосу... Упругий каучуковый пол, призванный, казалось бы, отталкивать мощные тела акробатов, взлетающих над манежем, и в самом деле стал для меня тем магнитом, который не отпускает до сих пор, одаривая дружбой одних, неприязнью других и равнодушием третьих...»



На манеже «нового» цирка (в центре – знаменитый клоун Карандаш)



Слушая Юрия Никулина нельзя, было не улыбаться



Интервью у главного режиссера (с 1954 г.) Московского цирка на Цветном бульваре Марка Местечкина

«Спектакли в цирке, которые ставили многие известные режиссеры, – особая статья. И не только потому, что занимали они два полномасштабных отделения, имели собственный литературный сценарий, включали массу цирковых номеров, которые необходимо было как-то вписать в общий ход представления. И не потому, что «робить» их «под себя» могли только артисты-тяжеловесы, облеченные всевозможными званиями и регалиями. Под такие спектакли выделяли значительные по тем временам деньги, для артистов специально шили костюмы, создавали новый реквизит, писали музыку...»



Анатолий Колеватов

«Не успел я в тот январский день 1982-го года войти в кабинет директора Тульского цирка Дмитрия Иосифовича Калмыкова, как он ринулся мне навстречу. – Ты слышал? Сегодня у себя в кабинете арестован Колеватов! – Не может быть! Дмитрий Иосифович протянул мне телеграмму. Адресованная всем директорам цирка, она сообщала, что на время следствия Колеватов отстранен от должности генерального директора «Союзгосцирка». К тому времени я уже неплохо знал Анатолия Андреевича. Внешне всегда доброжелательный, улыбчивый, в отлично сидящем костюме, Колеватов казался абсолютно преуспевающим человеком, прекрасно знающим, что и как надо делать. И вот – арест. Гром среди ясного неба...»



С журналистом Кириллом Приваловым и клоуном Юрием Куклачевым в Париже



Нас познакомил в молодости манеж. Слева направо: ныне народный артист России Александр Калмыков, заслуженный работник культуры России Станислав Трахтенберг и народный артист России Юрий Кукес (лежа)



«И по сей день я дружен со многими мастерами манежа, а ныне, когда пишутся эти строчки, в числе других моих изданий делаю цирковую газету. Само же искусство цирка внесло в мою жизнь немало ярких минут, позволивших судить о нем не как случайному зрителю, а как заинтересованному профессионалу...»

Вот такой он, этот цирк!



Журналистам всегда было о чем поговорить (с Анатолием Рубиновым и Вячеславом Басковым из «Литературной газеты»)



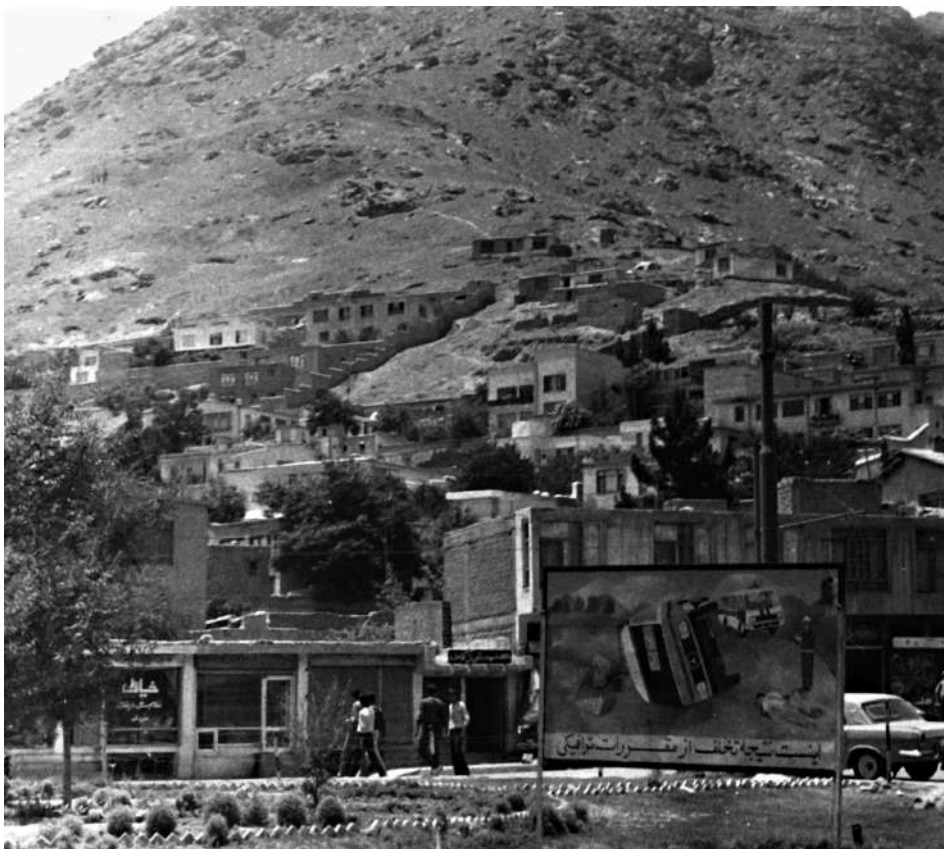
Анатолий Кальварский с женой

«В Баку встретил мой друг композитор Анатолий Кальварский свою жену Эльвиру. Об этом браке в свое время ходило немало легенд. Ее мама по вполне понятным причинам не хотела, чтобы дочь выходила замуж за джазового музыканта, да еще старше ее на восемнадцать лет, да еще не успевшего ко времени знакомства развестись с предыдущей женой. Вот и пришлось влюбленным буквально убегать – и из маминого дома, и из города, и из республики...»



Юрий Петерсон

««Московский комсомолец» однажды назвал Юрия Петерсона мультимызыкантом. Наверное, так оно и есть, ведь если издать песни, которые он исполнил за свою жизнь, получится, наверное, несколько полноценных томов. А если собрать в одном месте всех, кто побывал на его концертах, то это уж точно будет многомиллионный город...»



Таким я увидел Кабул

«О войне в Афганистане сегодня написаны тома, и нет нужды пересказывать все события этой трагедии, унесшей, по официальным данным, за 10 лет боевых действий жизни почти 15 тысяч молодых ребят – солдат и офицеров. Но кто подсчитает, скольких эта война искалечила физически и психически, сделала инвалидами, «достала» через многие годы после окончания боев.

Она вошла и в мою судьбу – в 86-м. Спустя шесть с лишним лет после начала боевых действий моя командировка в Афганистан

высветила для меня многое из того, что в Москве воспринималось абстрактно, сугубо отстраненно. Где-то там, на краю земли, шли бои, но они не казались всеобщей бедой, ибо не затрагивали ни тебя, ни твою семью, а значит, были как бы ненастоящие. Сознание, одурманенное советской пропагандой, высокими словами об интернациональном долге, борьбе с происками американского империализма, не впускало мысли о преступлении, о том, во имя чего гибнут наши ребята, для чего мы там – в чужих краях, на чужой земле...»



«В предбаннике «Шереметьево-2», дожидаясь вылета самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс по маршруту Москва–Ташкент–Кабул, я обратил внимание на невысокого, плотно сбитого паренька, округлое лицо которого показалось смутно знакомым. Разговорились, и тут же выяснили, что мы – коллеги: Артем Боровик по командировке от газеты «Советская Россия» тоже отправлялся в Афганистан...»

Артем Боровик

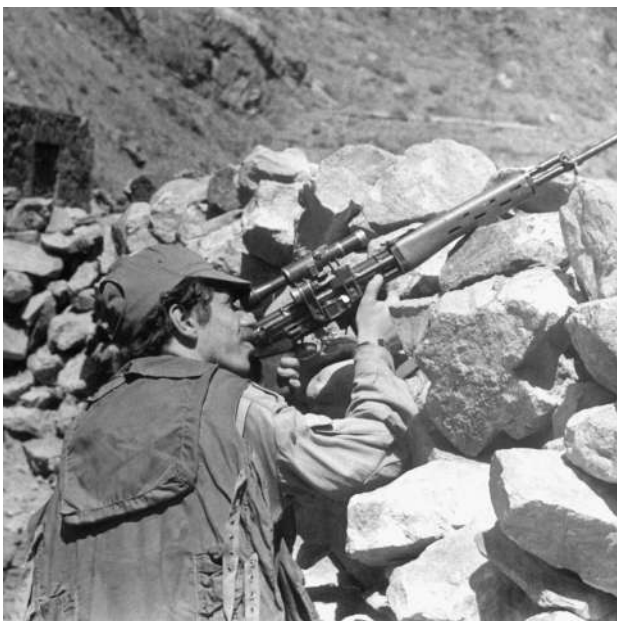


«Замполит танкового батальона капитан Саша Потин, имевший на воинском счету 26 боевых выходов, которого четыре раза подрывали на БТР и танках, да, к счастью, жив остался, расскажет мне многое. Сашу, которому до «дембеля» оставалось пару месяцев, прикрепили ко мне, и он был счастлив – мотался за журналистом, не мудхаясь в батальоне...»

*С Сашей Потиным на «дороге смерти»
Кабул–Джелалабад*



Кишлак Руха, где базировался полк майора Николая Петрова



Не пострелять, так хоть прицелиться...

«И спрашиваю я у Потина:
«В штабе армии мне называют
разные места, где обстановка
наиболее накалена. Но то
в штабе... А вот на твой взгляд,
капитан, где все-таки тяжелее
всего?». И ответил Саня,
не задумываясь: «Есть такой
кишлак в ущелье Панджшер.
Руха называется. Там полк наш
стоит. Вот где пекло
настоящее...».



Генерал Николай Петров

«Прошли годы... В начале 90-х дома раздался звонок. «Здравствуй, братка!» – услышал я в телефонной трубке уже подзабытое, но возможное только у одного человека обращение, различимое среди тысяч.

– Коля, ты?

– Я, братка. Вот нахожусь в Москве, хотелось бы повидаться.

Господи, как он изменился! И в то же время не изменился: все то же, характерого цвета лицо – буро-красное, опаленное въедливым афганским солнцем, кряжистая фигура, хрипловато-басистый голос... Вот разве что морщин стало побольше, седина чуть тронула волосы, да килограммов двадцать, а то и поболее, прибавилось. Да они ему и не мешали, а скорее придавали положенную солидность, ибо на плечах Николая Петрова шитым золотом светились уже не майорские – генерал-майорские погоны.

За те годы, что мы не виделись, довелось хлебнуть ему всякого – после Рухи, после того, как 40-я армия вышла из Афганистана, получил он новое – уже в звании полковника, – назначение командиром полка в Закавказье. Не надолго: последовала новая должность – начальником штаба дивизии в Кировакан. И там вскоре грянула беда – разрушительное землетрясение, и его дивизии пришлось разгребать завалы рухнувших домов, спасать людей, обустраивать и обогревать их. Снова горе, кровь, слезы... И уже всю разгорался конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе – по сути, настоящая война, где он, уже командир дивизии, был даже захвачен в плен – группа неизвестных, угрожая комдиву смертью, требовала от него передать в их подчинение всю технику танкового полка. Он и здесь выдюжил, не дрогнул...»



Друзья-генералы Владимир Гошкодера (слева) и Юрий Аверьянов

«С той поры мы подружились с Николаем Петровым уже совсем крепко. Я был в курсе всех его дел – встречались, обменивались новостями, выпивали с ним и его друзьями-однокашниками по Академии Генерального штаба, где все они учились: Юрой Аверьяновым, Володи Гошкодерой... Переживали вместе, как Коля выпускные экзамены сдаст, куда

назначение получит – выпало замкомандующего армией на Дальний Восток. Теперь уже перезванивались, иногда, когда по службе в столицу наезжал, непременно встречались. Все казалось бы, было мне известно о нем, да не все... Не знал тогда только одного – тяжело, очень тяжело был болен Николай Васильевич...»



А у нас родились ангелята...

«Пригородные электрички и поезда дальнего следования выбрасывали из недр вокзалов тысячи советских граждан, совершавших вояжи в Москву в надежде раздобыть пару батончиков колбасы, сырку, хорошей водочки да килограммчик-другой апельсинов: в провинции ничего этого не было.

Мою маленькую дочку – Алена родилась как раз в 79-м, – к счастью, все это не волновало: из всех лакомств она пока предпочитала мамину грудь. Мы поженились

с Мариной в 1978-м, и уже через год на свет появилось чудо, состоящее из самых настоящих ножек, ручек, глазиков, носика и всего остального, что полагается младенцам женского пола. В 80-м пару ей составит Антошка: сестра и брат будут расти вместе – до взрослости.

Итак, мама пока кормила Аленку, а маму подкармливал папа: редакция была обеспечена так называемыми «заказами» – нельзя же было оставить голодными партийных журналистов...»

Итак, документ первый, датированный 26.10.1979 года. Привожу его с некоторыми сокращениями.

Вице-президенту АН УССР академику Ф.С. Бабичеву
от руководителя лаборатории экспериментальной
фармакотерапии Киевского НИИ эндокринологии
и обмена веществ МЗ УССР
кандидата медицинских наук Шевченко А.В.

РАБОЧАЯ ЗАПИСКА

Глубокоуважаемый Федор Семенович!

Во время вашей беседы со мной мы обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью лаборатории защитных механизмов клетки Института молекулярной биологии и генетики АН УССР, руководимой З.П. Успенской. Однако некоторые из них ввиду особенностей, присущих нашей беседе, как форме общения, не были мною достаточно освещены и не получили соответствующих акцентов. Поэтому я считаю, что будет полезным для стоящего перед нами вопроса последовательно изложить аргументы, благодаря которым направление, развиваемое лабораторией, медленно, но неуклонно завоевывает себе признание в научном мире...

...После получения положительных результатов на животных и проверки противоопухолевых препаратов на острую токсичность сотрудниками лаборатории защитных механизмов клетки была предпринята серия попыток лечения больных людей с 4-й стадией опухолевого процесса. Ряд таких попыток увенчался успехом (список выздоровевших больных с указанием адресов, телефонов и лечебных учреждений, в которых были диагностированы злокачественные опухоли, направлялся в Президиум АН УССР). Однако значительное число попыток осталось безуспешным. Причина неудач сейчас уже частично известна, однако этот вопрос требует основательного изучения, проведения широких комплексных исследований. Я лично имел возможность встречаться и беседовать с некоторыми выздоровевшими больными с достоверно установленным диагнозом «рак», а также наблюдать ряд больных после применения противоопухолевых иммунопрепаратов.

Эти наблюдения говорят о том, что иммунологический метод лечения онкологических больных, разработанный в лаборатории защитных механизмов клетки, является весьма перспективным и может стать в ближайшем будущем одним из основных, но для этого требуется серьезное укрепление материально-технической базы этих исследований.

Исследования З.П. Успенской и ее сотрудников в области иммунотерапии злокачественных новообразований привели к открытию целого ряда новых, ранее не наблюдавшихся биологических феноменов.

Первый из них – расширение масштабов регенерации у млекопитающих. Этот феномен, в частности, проявляется в возникновении у мышей и крыс, излеченных от злокачественных новообразований иммунологическим методом, способности регенерировать ампутированные кончики хвостов. Этот эффект на сегодняшний день является уникальным.

Феномен был также воспроизведен нами в Институте эндокринологии. Описание эксперимента, его результатов и фотографии приложены к докладной записке Президенту АН УССР.

Увеличение регенераторных возможностей проявляется также и в полном восстановлении пораженных метастазами внутренних органов животных, излеченных от злокачественных новообразований иммунологическим методом З. П. Успенской.

Второй феномен – омоложение излеченных животных и людей. Так, у излеченных от меланобластомы [*вид рака – В.Ш.*] лошадей наблюдалось восстановление окраса, свойственного молодым особям, возобновление половой активности, восстановление резвости.

У людей феномен проявляется в омоложении внешнего вида пациентов, повышении их трудоспособности, исчезновении седины и других признаках...

Полученные в лаборатории защитных механизмов результаты совершенно оригинальны... Эти данные открывают путь к широким теоретическим обобщениям, практическое значение которых трудно переоценить. На их основе уже разработан ряд важных практических вопросов. Бесспорно, что в данном случае мы имеем дело с новой «точкой роста» в области биологических наук, которая заслуживает самого пристального внимания и поддержки.

К сожалению, ни для кого не является новостью, что неоправданный скептицизм по отношению к открытиям в науке, а тем более серьезным открытиям, является скорее правилом, чем исключением... Хочется думать, что в АН УССР отношение к обсуждаемым работам вскоре изменится к лучшему, и из нового научного ростка вырастет научное направление, в рамках которого будет решен ряд крупных теоретических и практических проблем современной биологии».

... Допускаю, что некоторые данные этой рабочей записки покажутся читателю малопонятными. И все же попробую пояснить одну из таких позиций, где речь идет о регенерации, то есть восстановлении у мыши, после вакцинации ее препаратом Успенской, ампутированного кончика хвоста. Любой специалист скажет, что это невозможно: мышь – не ящерица. И все же так было, что подтверждено солидными актами экспертиз. А теперь представим, что у человека, потерявшего ногу или руку, в результате введения ему определенной вакцины вырастают новые конечности. Фантастика? Да нет, именно такую возможность предвосхищали опыты, проведенные Зоей Павловной. Еще удивительнее то, что в этих опытах и у животных, и у людей наблюдался эффект омоложения. Черт возьми, да ведь Успенская замахнулась на бессмертие, ибо ее иммунологическая вакцина как раз и возвращала людям молодость. Бессмертие! Кто бы тогда, да, наверное, и сейчас не назвал это околонучными бреднями. Кто угодно, только не Зоя Павловна!

А вот второй документ – от 14.11.1979 года. Родился он из вышеприведенной рабочей записки, ибо результатом ее стало создание специальной комиссии, которой предстояло выяснить, чем же это все-таки занимаются в лаборатории защитных механизмов клетки, которую возглавляла З.П. Успенская.

Председателю Комиссии по проверке состояния научных исследований, которые ведутся Институтом молекулярной биологии и генетики АН УССР в области изучения защитных механизмов клеток академику АН УССР Ф.С.Бабичеву.

В соответствии с распоряжением Президиума АН УССР от 19.11.79 г. мы: директор Киевского НИИ эндокринологии и обмена веществ академик АН УССР В.П.Комиссаренко и руководитель лаборатории

экспериментальной фармакотерапии того же института к.м.н. А.В. Шевченко, как члены комиссии, ознакомились с материалами, отражающими научную деятельность лаборатории защитных механизмов клетки Института молекулярной биологии и генетики, и некоторыми ее результатами.

Кроме этого, мы в своем институте воспроизвели с положительным результатом два эксперимента, проводившиеся ранее в лаборатории защитных механизмов клетки.

Проделанная нами работа дает основание для следующих заключений.

Научные исследования лаборатории защитных механизмов клетки посвящены одной из наиболее острых проблем биологии и медицины – разработке эффективных методов лечения злокачественных новообразований.

Подход лаборатории к решению указанной проблемы оригинален и еще мало исследован.

В разработке проблемы лабораторией достигнуты определенные успехи: имеются документальные подтверждения излечения при помощи разработанных в лаборатории биологических препаратов животных со злокачественными новообразованиями. Имеется несколько случаев успешного лечения больных людей с 4-й стадией опухолевого процесса.

В лаборатории защитных механизмов клетки обнаружен феномен масштабов регенерации и эффект омоложения у особей, излеченных от злокачественных новообразований иммунологическим методом.

Последнее выходит за рамки онкологии и имеет общеприкладное значение. Мы расцениваем направление исследований, развиваемое в лаборатории защитных механизмов клетки, как весьма перспективное, требующее поддержки и дальнейшего развития.

Наши предложения:

1. Разработать комплексную программу научных исследований на ближайшие 3–5 лет, в которой предусмотреть:
 - а) Изучение эффективности противоопухолевых биологических препаратов при лечении злокачественных новообразований у сельскохозяйственных животных;

- б) Проведение комплекса исследований антибластомных биопрепаратов в соответствии с требованиями, предъявляемыми Фармкомитетом Минздрава СССР для получения разрешения на клиническое их испытание;
- в) Проведение исследований по усовершенствованию комплексных антибластических препаратов;
- г) Нарработку препаратов в количестве, достаточном для их широкого и детального изучения в ряде лабораторий;
- д) Исследование иммунологии получаемых антибластомных эффектов, а также возникающих при этом эндокринных и биохимических свойств;
- е) Проведение поисковых исследований возможностей расширения масштабов регенерации при некоторых видах патологии (например, при диабете).

К реализации программы привлечь кроме подразделений АН УССР (Институт проблем онкологии и др.) также учреждения Министерства здравоохранения УССР (Киевский рентгенорадиологический и онкологический институт, Киевский НИИ фармакологии и токсикологии и др.) и Министерства сельского хозяйства УССР.

2. Создать кадровые и материально-технические предпосылки для того, чтобы в лаборатории защитных механизмов клетки проводились ключевые исследования как антибластомных препаратов, так и их действия (при нынешнем штатном и материально-техническом обеспечении лаборатория с этой задачей справиться не сможет).

3. Войти с ходатайством перед МЗ УССР или МЗ СССР о получении разрешения на испытания антибластомных препаратов, разработанных в лаборатории защитных механизмов клетки, на больных 4-й стадии опухолевого процесса в условиях клиники.

4. Поскольку некоторые из разработок лаборатории защитных механизмов клетки, по всей видимости, соответствуют критериям охраноспособности, считаем целесообразным рассмотреть вопрос об оформлении соответствующих заявок и подачи их в Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.

В.П. Комиссаренко,
А.П. Шевченко

Ну чем не замечательная программа поддержки научных исследований З.П. Успенской! Да вот беда: ни один из ее пунктов не был реализован на практике. И превратилась эта программа в очередную бумажку, которая, в числе остальных, легла в нашу заветную папочку. А была она к тому времени уже достаточно толстой: акты, выписки из историй болезней, фотографии экспериментов, заключения специалистов, поддерживающих Зою Павловну, – все материалы, собранные за год нашего мотания в командировки по городам и весям, легли в ярко-красные картонные корочки.

Настала пора следующего этапа: создания материала, предназначенного для публикации в газете, и предоставления его вместе с собранными документами на визу маститому академику Барояну.

Рвачев, Миронов и я долго совещались, каким же должен быть этот материал. И в результате пришли к единодушному выводу: если будет он рассказывать только о научных открытиях Успенской, ни один цензор его не пропустит. И не только потому, что, повторю, лечение рака было «закрытой темой», обозначенной в так называемом «Перечне материалов, не рекомендованных к показу в печати» – настольной книге цензоров. Но еще и потому, что результаты ее исследований наверняка показались бы моему главному редактору фантастическими, сиречь антинаучными, а следовательно, невозможными для появления в серьезной партийной газете. И никакие ходатайства Костенко, бывшего в курсе абсолютно всех наших дел, не смогли бы убедить Романова в целесообразности публикации статьи.

И мы придумали хитрый ход: общими усилиями написали этакий мировоззренческий материал, смысл которого сводился к тому, что открытия в медицине не должны запаздывать. Для начала сочинили от имени некоего выдуманного нами читателя из Ленинграда письмо, в котором говорилось:

Принято считать, что выдающиеся научные открытия, которые в том или ином смысле являются поворотными пунктами и становятся спустя 50–100 лет символами эпохи, происходят только тогда, когда они подготовлены всем предыдущим развитием науки. Но всегда ли верен этот «принцип соответствия»? Не зависит ли он порой от тех или иных случайностей? Ведь истории науки известны примеры, когда какое-либо открытие делалось «преждевременно», и им долгое время не могли воспользоваться по тем или иным причинам. Но ведь вполне вероятно, что подобное происходит и в наши дни. Хотелось, чтобы кто-либо из известных советских ученых ответил на мой вопрос.

Академик Бароян «случайно» и оказался таким ученым. В его уста мы вложили рассуждения о научном прогрессе, об исторических парадоксах, связанных с совершением открытий, о важности для страны развитого социализма вовремя замечать «ростки нового» и укреплять их для достижения всеобщей цели, к которой ведет нас партия: построению материально-технической базы коммунизма. Все эти общие, а местами и вполне конкретные рассуждения понадобились нам только для одного – где-то к концу статьи в уста академика Барояна и была вложена «мина», ради которой мы потратили целый год.

Вот как она звучала в первоначальном (подчеркну это) варианте. Размышляя о прорыве, который в последние годы сделала иммунология, в том числе и по изучению возможностей лечения онкологических заболеваний, академик Бароян замечал: «А раз так, то не следует ли именно здесь искать средство борьбы с болезнью века – раком?».

И далее продолжал: «Я давно с интересом слежу за работой в этом направлении лаборатории защитных механизмов клетки Института молекулярной биологии и генетики АН УССР, руководимой З.П. Успенской, и знаю ряд случаев, когда с помощью разработанных ею в последнее время иммунологических методов удавалось получать необычные биологические эффекты, в том числе и воздействовать на раковые опухоли. Причем положительный эффект был получен не только на животных, но и позволял возратить в строй ряд больных, страдающих онкологическими заболеваниями, которым, по прогнозу специалистов, чей талант и квалификация не вызывали никаких сомнений, оставалось жить две-три недели.

Но можно ли с уверенностью сказать, что иммунологами найдена панацея от рака? Думается, что нет. Тем не менее требуется безотлагательная и обстоятельная проверка подобных работ, которая бы ответила на все имеющиеся вопросы и позволила понять, в чем заключается тайна «прикосновения» ученых к этому жизненно важному открытию. И в случае подтверждения имеющихся фактов – немедленная помощь со стороны ведущих научно-исследовательских учреждений».

Все: мина была поставлена на боевой взвод. С этой статьей и всеми собранными документами наша троица отправилась к Барояну. Он попросил неделю на ознакомление с материалами. И, чудо, ровно через неделю протянул мне статью, в которой не было поправлено ни слова, зато на последней странице красовалась подпись Барояна и жирная печать института, который он возглавлял.

Казалось бы, можно праздновать победу. Но, увы, до победы было еще далеко. Материал с визой академика я передал Костенко, и он немедленно отправил его в набор.

– Знаешь что, – лукаво улыбнулся Ким. – Будем печатать ее 1 апреля...

– То есть как 1 апреля? – изумился я. – Шутите?

– Вот и видно, что ты в политике ни хрена не понимаешь, – продолжил Ким. – Ты же хочешь, чтобы материал вызвал громкий резонанс. Вот поэтому-то и будем печатать 1 апреля.

О, мудрый, хитрый как змий, Ким Прокофьевич. Ну кто бы, кроме него, мог сообразить, что накануне этого числа генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Леониду Ильичу Брежневу будет вручена очередная, не помню уж какая, высокая награда Родины. Конечно же, все газеты станут писать об этом событии на первых страницах. Не минует чаша сия и «Советскую культуру». А на шестой странице и намеревался разместить Костенко нашу публикацию, которой он дал звонкий заголовок «Открытия в медицине не должны запаздывать!». И не менее звонкий подзаголовок «Рак: надежда на победу».

Расчет Кима Прокофьевича оказался необычайно тонок, и потому гениален. Было хорошо известно, что генеральный секретарь начинает каждое утро с просмотра газет ЦК КПСС. В этот раз они ему должны были быть особенно интересны: мол, как там подают придворные борзописцы награждение? Дойдя до «СК», Брежнев неминуемо полистал бы и ее. Ну разве не остановился бы взгляд глубоко больного к тому времени генсека на статье с кричащим заголовком «Открытия в медицине не должны запаздывать!»?!

Все свершилось почти по задуманному. Все, да не все. В последний момент, когда газета уже была готова к печати и оттиски ее полос легли на стол цензору, тот решительно потребовал убрать из статьи всяческое упоминание об... Успенской. Никакие уговоры, никакие ссылки на авторитет и визу академика Барояна на него не подействовали: ни фамилию ученого, ни место, где работала Зоя Павловна, упоминать было нельзя. И точка!

Предпринимать что-либо было уже поздно. Так и вышел материал с выхолощенным абзацем, где теперь уже речь шла о неких абстрактных работах ученых по лечению рака иммунологическими методами. Все остальное, правда, осталось, в том числе и о возвращении в строй больных с 4-й – неизлечимой – стадией рака.

Но зато задумка Костенко сработала блестяще.

Где-то часа в два следующего дня, когда газета давно уже продавалась в киосках, на моем столе зазвонил телефон. Я снял трубку. Нежный девичий голос проворковал:

– Виктор Ильич? С вами хотел бы поговорить академик Блохин.

Ни фиги себе! Уж о ком, о ком, а о Николае Николаевиче Блохине я знал не понаслышке. Президент Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, он возглавлял всю онкологию в нашей стране, являясь к тому же основателем печально знаменитого Онкологического центра в Москве, известного в народе под именем «Блохинвальд». Многие специалисты, правда, говорили, что большего ретрограда в онкологии, чем Блохин, отыскать трудно. И вот он, так сказать, собственноручно звонит мне – обычному репортеру.

Не без трепета я прижал к уху телефонную трубку.

– Виктор Ильич, – раздался в ней уже тронутый старостью голос. – С вами говорит академик Блохин. Сегодня в «Советской культуре» опубликована ваша беседа с академиком Барояном. И там приведены любопытные факты, касающиеся лечения рака. Я поговорил с Оганесом Вагаршаковичем, и он сказал мне, что все документы по этому поводу хранятся у вас. Не могли бы вы мне их показать?

– Когда, Николай Николаевич?

– Желательно бы сегодня. Подъезжайте часикам к пяти в Президиум Академии. Я буду вас ждать.

– А не позволите ли вы мне приехать со специалистами, которые вместе со мной занимались этими вопросами? – спросил я.

– Ну, конечно, подъезжайте. Буду рад их видеть.

И Блохин повесил трубку. Я немедленно перезвонил Рвачеву и рассказал ему о разговоре.

– Конечно, и мы с Мироновым поедем, – отреагировал Леня. – А что касается звонка Блохина, я тебе по дороге расскажу его предысторию.

И мы втроем отправились в Президиум Академии медицинских наук. По дороге Рвачев поведал мне, что же предшествовало звонку главного онколога страны. Леня сидел в кабинете Барояна, когда туда позвонил Блохин. Оказалось, утром его вызвал к себе Брежнев! Протянув «Советскую культуру» со статьей «Открытия в медицине не должны запаздывать!» и указав слабеющим перстом на отчеркнутый абзац, касающийся лечения рака, Леонид Ильич удивленно спросил своего президента Академии:

– Николай Николаевич, а где, собственно говоря, лечат рак в четвертой степени? Тут из статьи что-то ничего не понятно.

Блохин, ни сном, ни духом не ведающий о публикации, прочитал протянутую ему статью и недоуменно пожал плечами:

– Я разберусь, Леонид Ильич, и обязательно вам доложу.

После чего и последовал звонок академику Барояну. Изложив ему вышеприведенную историю, Блохин вежливо поинтересовался: а о ком, собственно, речь в этой статье? Есть ли у Барояна документы, подтверждающие его далеко идущие выводы? На что хитрый Оганес Вагаршакович отвечивал: мол, документы есть, но находятся они у некоего журналиста, который и готовил данный материал к печати. Вот тогда-то, соответственно, у меня и зазвонил телефон...

Итак, ровно в пять часов вечера мы вместе с профессорами Мироновым и Рвачевым предстали пред светлые очи академика Блохина. Несмотря на толпу в приемной, к нему нас пропустили мгновенно. Академик гостеприимно предложил чаю и повел неспешный разговор об онкологии. Собственно, мне в этой беседе досталась роль этакого почтальона Печкина, поскольку ученые беседовали в основном на своем, малопонятном мне научном языке, а я по ходу дела доставал из красной искомой папочки документы, дабы подтвердить то или иное утверждение моих профессоров.

Удивительно, но за все время разговора, а длился он не один час, Блохин ни разу не высказал особую заинтересованность в исследованиях Зои Павловны Успенской. Время от времени он делал какие-то пометки в лежащем перед ним блокноте да прихлебывал горячий чаек, своевременно обновляемый бесшумно входившей в кабинет секретаршей. Ни гнева, ни одобрения не читалось на его бесстрастном лице.

Когда беседа закончилась, был уже десятый час вечера. Мы вышли из кабинета президента Академии медицинских наук и по опустевшим к тому часу коридорам прошли в гардероб, где в сиротливом одиночестве висели наши с Рвачевым пальто и полковничья шинель Миронова.

– Ну, наконец-то, – встретила нас возгласом возмущения гардеробщица. – Как вы, однако, долго! Николай Николаевич никогда еще так поздно в Президиуме не задерживался...

Мы молча переглянулись. Похоже, наш рассказ все-таки заинтересовал всесильного в медицинском мире президента Академии...

И вот спустя пару недель после встречи с Блохиным в моем кабинете раздался еще один звонок:

– Виктор Ильич? Вас беспокоят из Военно-Промышленного комитета. Не могли бы мы с вами встретиться?

Я назначил свидание в редакции. Часа через два ко мне в кабинет зашел невысокий коренастый человек, на лице которого были написаны радушие и деловая заинтересованность. Он протянул мне красное удостоверение. Внутри значилось, что предъявитель сего является представителем Военно-Промышленного комитета при Совете Министров СССР. О ВПК в то время ходили разные слухи. Известно было, что эта, поистине всеильная организация объединяла усилия всех министерств и ведомств нашей страны, когда нужно было решать некие глобальные задачи, в том числе в области науки или техники.

Обладатель «крутого» удостоверения тем временем произнес:

– Я к вам по делу Успенской. Мы бы хотели получить в свое распоряжение документы, которые вы собрали.

Я растерялся: что значит, «получить документы»? Отдать их просто так, что ли? Кому? Зачем? В силу какой необходимости?

Все эти вопросы я и задал моему собеседнику. И услышал от него ответ, возразить на который было нечего:

– А что бы вы хотели: чтобы документы хранились без надобности у вас, или чтобы мы помогли Зое Павловне?

Так заветная папочка перекочевала в руки представителя Военно-промышленного комитета, оставившего мне, правда, расписку в ее получении. Увы, ксероксов тогда не было, и потому я не мог сохранить у себя копии собранных материалов. Да и зачем, в самом деле, они были мне нужны: статья, хоть и в усеченном виде, опубликована, а значит, я свою миссию выполнил. Главное – чтобы дело делалось...

О, как я был тогда наивен! Спустя годы ловлю себя на мысли: неужели я мог даже на минуту допустить, что главный онколог страны даст хотя бы малейший ход исследованиям Успенской! Ведь в случае ее победы надо было бы пересматривать все устои онкологии, которые составляли прочную идейную и материальную базу жизни Николая Николаевича Блохина и иже с ним.

Как же развивались события? Вначале дальнейшие работы Успенской были засекречены, их кураторами стали военные. Все материалы, выходящие из лаборатории, помечали грифом «Совершенно секретно». Даже директор института, в состав которого входило подразделение Зои Павловны, не знал, чем оно занимается.

Так продолжалось несколько лет. А потом, в 1984 году, лабораторию Успенской... закрыли. Животных уничтожили, а всех сотрудников уволили.

Кандидаты и доктора медицинских наук с огромным трудом смогли устроиться участковыми врачами в поликлиниках, а одному из них пришлось даже какое-то время работать сторожем.

– Когда разогнали лабораторию, Зоя была просто раздавлена, – вспоминала позже одна из ее бывших сотрудниц. – У нее не было ни семьи, ни личной жизни. Закрытие лаборатории убило Успенскую. У нее еще оставалась слабая надежда на Москву, и она отправилась в столицу, добилась приема в Отделе науки и здравоохранения ЦК КПСС. Ее приняли в три часа дня и слушали до половины девятого вечера. Потом объяснили, что с восстановлением лаборатории надо немного подождать, и посоветовали сидеть дома, меньше бывать на улице, аккуратно переходить дорогу, не ходить под балконами. Зоя Павловна вернулась домой и закрылась там. Сутками сидела перед телевизором, почти ничего не ела... Ждала. Оживала, только когда приходили больные. И спустя несколько месяцев внезапно умерла. У меня как раз был день рождения, а Зоя Павловна простудилась и осталась дома. Один из моих гостей видел, как она садилась в карету «скорой помощи». Я очень удивилась: неужели ей стало настолько плохо, что она вызвала «скорую»? Через час мне позвонили и сообщили, что Зоя Павловна умерла от отека легких. Я немедленно помчалась к ней домой, где застала двоих мужчин. Они отняли у меня ключ от квартиры и две недели рылись в бумагах Зои...

Вот такой, почти детективный финал у этой истории. Такой грустный конец у волшебной сказки, в которой мудрая фея однажды решила осчастливить человечество, избавив его от страшной болезни и подарив бессмертие. Но на то они и сказки, чтобы никогда не сбываться. Особенно в нашей стране...

Афганский излом

А теперь вернемся в то время, когда страна готовилась отмечать 1980 год. Уже по традиции на Манежной площади, тогда еще не изгаженной чудовищными зверушками Церетели, установили огромную елку, площади и улицы столицы вместе с традиционными звездочками и снежинками увешали символами грядущей Олимпиады-80. Пригородные электрички и поезда дальнего следования выбрасывали из недр вокзалов тысячи советских граждан, совершавших предновогодние вояжи в Москву в надежде раздобыть пару батонов колбасы, сырку, хорошей водочки да килограммчик-другой апель-

синов: в провинции ничего этого не было, а так хотелось, чтобы новогодний стол хоть чем-то радовал глаз.

Мою маленькую дочку – Алена родилась как раз в 79-м, к счастью, все это не волновало: из всех лакомств она пока предпочитала мамину грудь. Мы поженились с Мариной в 1978-м, и уже через год на свет появилось чудо, состоящее из самых настоящих ножек, ручек, глазиков, носика и всего остального, что полагается младенцам женского пола. В 80-м пару ей составит Антошка: сестра и брат будут расти вместе – до взрослости, до того момента, пока сами не станут родителями: у дочки и ее мужа Матвея появится маленький Максимка, а у Антошки и его жены Светы – Данечка, а потом и Анечка.

Итак, мама пока кормила Аленку, а маму подкармливал папа: редакция, как обычно, была обеспечена так называемыми «новогодними заказами» – нельзя же было оставить голодными на праздник партийных журналистов.

Все события декабря 1979 года казались обыденными, рядовыми. Серая Москва, чуть припудренная новогодней мишурой, серая жизнь, вялотекущая, как хронический триппер. Могли ли мы знать, что как раз в эти декабрьские дни на самом верху зреет решение, которому предстоит сыграть трагическую роль в истории страны, а во многом и изменить ход самой истории, придав ей новый, кровавый оттенок – один из тех, что несмысленными пятнами загадили историю России XX века.

Роковой датой стало 12 декабря, когда в Кремле в обстановке строжайшей секретности собрались четверо главных руководителей Советского Союза: генеральный секретарь партии Брежнев, председатель КГБ Андропов, министр обороны Устинов и министр иностранных дел Громыко. Облеченные высшей, практически никем не контролируемой властью, кремлевские старцы рассматривали вопрос о положении в Афганистане.

Не буду вдаваться в политические составляющие этой проблемы, скажу только, что речь, по сути, шла о военном перевороте, который было задумано совершить в суверенной стране. Совершить, опираясь на силу советских войск под благовидным предлогом «оказания интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан и пресечения возможных угроз безопасности Советского Союза». Именно такая формулировка и была выработана на «совете четырех», именно так она и была озвучена в решении Политбюро о вводе «ограниченного контингента советских войск в Афганистан».

О войне в Афганистане сегодня написаны тома, и нет нужды пересказывать все события этой трагедии, унесшей, по официальным данным, за 10 лет боевых действий жизни почти 15 тысяч молодых ребят – солдат и офицеров.

Но кто подсчитает, скольких эта война искалечила физически и психически, сделала инвалидами, «достала» через многие годы после окончания боев.

Она вошла и в мою судьбу – в 86-м. Уже пошла в школу Аленка, готовилась отправиться туда и Антошка, а война все шла, и конца ей не было видно. Спустя шесть с лишним лет после начала боевых действий моя командировка в Афганистан высветила для меня многое из того, что в Москве воспринималось абстрактно, сугубо отстраненно. Где-то там, на краю земли, шли бои, но они не казались всеобщей бедой, ибо не затрагивали ни тебя, ни твою семью, а значит, были как бы ненастоящие. Сознание, одурманенное советской пропагандой, высокими словами об интернациональном долге, борьбе с происками американского империализма, не впускало мысли о преступлении, о том, во имя чего гибнут наши ребята, для чего мы там – в чужих краях, на чужой земле...

Зачем я выпросил эту командировку? Какое дело репортеру «Советской культуры» до войны в Афганистане? Есть же «Правда», «Известия», «Красная звезда», наконец. Но что-то заставляло меня без конца ходить и к Костенко, и к Мамлееву, упрашивая их договориться в ЦК партии (а именно там решали подобные вопросы) об этой поездке.

Наверное, еще в дни Олимпиады-80, ход которой мне довелось освещать, исподволь, потихоньку начало приходить осознание того, в какое дерьмо мы вляпались. Цивилизованный мир в едином порыве отреагировал на вторжение наших войск в Афганистан: Олимпиада, в которую Советский Союз, не способный обеспечить достойную жизнь своих сограждан, вгрозил три миллиарда долларов во имя своих пропагандистских интересов, по сути, провалилась. Ибо свыше 60 стран присоединились к бойкоту, объявленному нашей стране Америкой в знак протеста против оккупации (иначе вторжение и не называли) Афганистана. Из 13 тысяч спортсменов в Москву прибыло немногим более пяти тысяч, да и то все больше из стран так называемого социалистического лагеря и народной демократии.

Вспоминается, как незадолго до начала Олимпиады открывался новый московский аэропорт «Шереметьево-2», построенный как раз для приема иностранных спортсменов и зарубежных гостей, которые, по расчетам властей, должны были прибыть на Игры. Казавшиеся по тем временам гигантскими внутренности «Шереметьево» были пусты и печальны. После пресс-конференции по поводу открытия аэропорта, на банкете я разговорился с заместителем министра гражданской авиации Константином Гулаковым, с которым мы были давно и хорошо знакомы. Он казался чем-то сильно озадачен.

– Что грустите, Константин Константинович? – спросил я после того, как мы пропустили пару рюмок.

– Да вот анекдот вспомнил. У одного одесского еврея рос сын, которого папаша с детства приучал к бизнесу. И вот приходит сынок к папе, глаза горят, довольно потирает руки и говорит: «Папа, я таки узнал, что у нас в Одессе самый большой дефицит». «Что, сынок?» – спрашивает папа. «Наконечники для клизм! Я уже взял все наши деньги, заказал в Америке пароход, и сюда везут пять миллионов наконечников». «Сынок, – печально говорит папаша, – может быть, это и бизнес, но где ты в Одессе столько жоп найдешь?» Так вот, гляжу я на пустые кресла в «Шереметьево» и думаю: «Где же мы для них столько жоп найдем?».

Заместитель министра хорошо понимал, какие убытки потерпит «Аэрофлот» из-за бойкота Олимпиады. Да и только ли об авиакомпании шла речь? Все было доведено до абсурда. Накануне начала Игр мне довелось увидеть генеральную репетицию их открытия. То еще зрелище: участниками парада, как оказалось, стали не спортсмены, а наши солдаты, срочно мобилизованные на проведение этого помпезного мероприятия из-за отсутствия участников олимпийских команд. Сверкая бритыми затылками, они послушно отрабатывали церемонию вноса и выноса флагов, зажжения Олимпийского огня, различного рода построений. На репетиции присутствовали «свои»: аккредитованные на Олимпиаде советские журналисты, спортивные и партийные функционеры, и потому никого не смущало эхо команд, разносившееся над Центральным стадионом имени Ленина: «Первая рота, шагом марш! Вторая рота – левое плечо вперед! Третья рота – как идете, тяни носок!». Вот и получили, в конце концов, Олимпийские игры – гигантское событие в жизни любой страны – прозвище «Спартакиада дружественных армий».

Да и сама Москва в дни Олимпиады казалась словно вымершей: над ней царил не атмосфера праздника, а атмосфера какой-то подавленности, напряжения и страха. На самых дальних подступах к столице были перекрыты все шоссе, въезд в Москву запретили, и потому поток приезжих, исчислявшихся миллионами, а то двумя-тремя в день, сразу иссяк. Непривычное зрелище представляли полупустые улицы столицы, заполненные разве что милиционерами и странного вида штатскими в одинаковых спортивных куртках.

Позже мне попадет в руки документ, из которого станет ясно, сколько же милицейских и чекистских сил было задействовано в дни Олимпиады. И не только потому, что силовые структуры опасались каких-либо терактов: своим гражданам мы, как повелось, доверяли меньше, чем чужим.

Прочитую секретную докладную записку, направленную в ЦК КПСС накануне Олимпиады министром внутренних дел СССР Щелоковым и председателем КГБ Чебриковым:

...Проводятся оперативно-чекистские и профилактические мероприятия, направленные на укрепление общественного порядка в г. Москве и Московской области и усиление борьбы с антиобщественными элементами.

Для более эффективного осуществления указанных мер ... непосредственно для выполнения мероприятий на олимпийских объектах будет привлечено 8525 человек (30% от штатной численности милиции города Москвы).

Одновременно для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в период проведения XX Олимпийских игр имеется в виду командировать в г. Москву из территориальных органов и учебных заведений МВД СССР 37 116 человек... Кроме того, для усиления охраны общественного порядка на олимпийских объектах в Московской области, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Московской железной дороги привлекаются 4409 человек из внутренних войск, органов внутренних дел и учебных заведений МВД СССР.

Указанное количество сотрудников и курсантов учебных заведений, а также части личного состава Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома распределяются следующим образом.

В охране Олимпийской деревни будет занято 4100 человек... Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на 22 спортивных комплексах – 21758 человек, в 9 гостиницах, где будут проживать аккредитованные на Олимпийских играх иностранцы – 6813 человек; в 120 местах проживания туристов, – 3482 человека... Для обеспечения безопасности и усиления охраны общественного порядка в аэропортах – 1299 человек. Для оперативных заслонов на железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах в целях предупреждения проезда в Москву антиобщественных элементов и ограничения въезда иногороднего транспорта – 4036 человек.

Личный состав органов и войск МВД, привлекаемый для несения службы на олимпийских объектах, отобран из числа хорошо зарекомендовавших себя коммунистов и комсомольцев.

Единовременно на объектах по охране правопорядка в форме работников милиции и внутренних войск будут нести службу 12–15 тысяч человек. В штатской одежде – 7800, в униформе – 10 000 человек.

Что же касается сотрудников КГБ, привлекаемых к обеспечению безопасности в г. Москве, то все они будут нести службу в штатской одежде и униформе...

Нет, не случайно казалась вымершей столица, заполненная разве что людьми в погонах и без оных. Прочитую еще один секретный в те дни документ – постановление ЦК КПСС «О введении временных ограничений на въезд в Москву в период Олимпиады-80 и направлении граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные, пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года»:

Учитывая интерес к Олимпийским играм, которые проводятся в СССР впервые, можно предположить, что летом 1980 года значительно возрастет поток приезжающих в г. Москву в неорганизованном порядке советских граждан из других городов страны. Такой приток создаст серьезные трудности в их размещении, организации питания и иных видах обслуживания, так как все гостиницы, предприятия общественного питания будут обслуживать участников Олимпийских игр и иностранных туристов.

Большой наплыв граждан потребует принятия дополнительных мер по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка.

В связи с этим представляется целесообразным ввести в указанный период временные ограничения на въезд в г. Москву советских граждан, не связанных с участием или обслуживанием Олимпиады-80.

Куда уж там пускать собственных граждан поглазеть на Олимпиаду! Обойдётся, мол, телевизором. Мало того что закрыли все въезды в Москву, обрубил любые командировки, выслали из столицы не только проститутток и прочих

сомнительных лиц, но даже студентов и школьников, так даже традиционные вступительные экзамены в вузы отменили! И наступила на столичных улицах тишь, гладь да Божья благодать. Вот разве только 28 июля привычный порядок нарушили тысячи людей, пришедшие к театру на Таганке проститься с Владимиром Высоцким. Но и панихиду по команде спецслужб быстро свернули – устроили прощание не по-божески, по-советски.

Спорт и политика, как ни мечтал об этом основатель Олимпийского движения Пьер де Кубертен, оказались все же неразделимы. И вот результат: по официальным подсчетам, из-за бойкота Олимпиады-80 Игры принесли нашей стране полтораста миллионов рублей убытков – гигантские по тем временам деньги. Об убытках моральных говорить не приходилось: первые Олимпийские игры в социалистическом государстве, для которых это самое государство не жалело ничего, обернулись полным политическим провалом.

Пройдет еще четыре года, и на XXIII Олимпиаду в Лос-Анджелесе наша страна в отместку за бойкот Московской Олимпиады не пустит собственных спортсменов. А война в Афганистане все будет продолжаться, но уже многие прозреют, ибо все чаще и чаще будут приходить из Афгана скорбные «грузы 200» – так закодированно станут называть свинцовые гробы с телами ни в чем не повинных мальчишек, которым уже никогда не доведется увидеть отчий дом.

Наверное, все эти обстоятельства и заставят меня добиваться командировки в Афганистан. И вот разрешение «Инстанции», как тогда табуированно называли ЦК КПСС, получено. Репортер отправлялся на войну...

В предбаннике «Шереметьево-2», дожидаясь вылета рейсового самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс по маршруту Москва – Ташкент – Кабул, я обратил внимание на невысокого, плотно сбитого паренька, округлое лицо которого показалось смутно знакомым. Разговорились, и тут же выяснили, что мы коллеги: Артем Боровик, сын известного в те времена политического обозревателя – американиста Генриха Боровика, по командировке от газеты «Советская Россия» тоже отправлялся в Афганистан. Мало кто знает, что именно с этой командировки и началась «крутая» карьера недавнего к тому времени выпускника факультета журналистики МГИМО: при советской власти он не без помощи папы побывает в ряде «горячих точек», напишет книги об афганской войне и американской армии, а в годы перестройки уйдет работать в «Огонек» и потом в газету «Совершенно секретно», основанную известным писателем Юлианом Семеновым. После смерти Семенова дела газеты перейдут к Артему, он, благодаря близости к Ельцину и мэру Москвы

Лужкову, создаст свой холдинг, займется книгоиздательскими и телевизионными делами, выпустит еще одну газету – «Версия». Но бизнес, очевидно, будет складываться не слишком удачно, что заставит Артема искать финансовую поддержку у предпринимателей. Один из них – владелец крупнейшей в России лотереи «Русское лото» Малик Сайдулаев – познакомит его с президентом концерна «Группа «Альянс» Зией Бажаевым, который, как говорили, и приобретет холдинг «Совершенно секретно». А потом наступит трагический день 9 марта 2000 года, когда Артем вместе с Бажаевым, отправляясь куда-то по своим делам, на самолете ЯК-40, принадлежащем какой-то частной компании, вылетит из аэропорта «Шереметьево»... И самолет рухнет при взлете, погребя под искореженной грудой металла всех, кто в нем находился, а причина его гибели, обрастая различными слухами и домыслами, так и останется загадкой для широкой общественности.

Но в описываемые мной времена мало кому еще известный 26-летний Темка только начинал свой, так трагически завершившийся путь, и перед отлетом в Афганистан мы с ним как следует выпили за удачу – в том самом «Шереметьево», которое спустя много лет (судьба!) станет последней точкой его жизни.

В Кабуле нас должны были встретить – Артема кто-то из представителей посольства, меня – знаменитый тогда на весь Союз собственный корреспондент Гостелерадио в Афганистане Михаил Лещинский. Едва ли не каждый советский человек знал этого высокого, с грубой лепки лицом и хрипло-басовитым голосом тележурналиста, практически ежедневно ведущего репортажи из «горячих точек» Афгана, которые показывали в главной государственной информационной программе «Время». Спустя годы придет понимание, что были эти репортажи насквозь лживы, но не вина в том Лещинского, а беда его, общая наша журналистская беда, ибо кто бы из нас тогда осмелился сказать правду, не получив в ответ на это сей же час «волчий билет», навсегда делающим тебя изгоем.

Лещинский встречал меня по косвенной необходимости – в «Советской культуре» была оформлена собственным корреспондентом по Афганистану его жена Ада Петрова. Писала она у нас нечасто, все больше материалы о культурных достижениях народа, который «уверенно» вела к процветанию Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) с помощью братского Советского Союза. Аде и пришлось по служебной обязанности принимать корреспондента «из центра», за которым она отправила в аэропорт собственного мужа.

Вот тут-то меня подстерегала первая неожиданность. Едва Ту-154 приземлился в Кабульском аэропорту, на стоянках и полосах которого не было ни одного гражданского лайнера, и несколько десятков пассажиров вышли на прокаленную нещадным солнцем землю, как к ним тут же со всех сторон ринулись встречающие. Кто приехал на автобусах, кто на легковых или грузовых машинах... В общей сумятице я не заметил, как кто-то увез Боровика, какие-то военные и штатские в буквальном смысле слова расхватили других пассажиров, и через несколько минут я... остался один – в абсолютно пустом аэропорту. За мной никто не приехал! Трудно описать охватившую меня панику: представьте похуже на сарай грязное здание аэропорта без единого человека, без телефонов, выжженный кусок желтой земли перед ним – и ни одной живой души, ни одной машины! Вообще никого!

Тогда я не знал, чем обусловлена такая спешка при встрече самолета: аэропорт все время обстреливался моджахедами (сиречь бойцами афганского сопротивления), и встречающие, зная это, отнюдь не хотели рисковать ни собственной головой, ни головами прилетевших. Впрочем, от этой информации мне вряд ли стало легче. Минут десять, тихо паникуя и вспоминая все матерные слова из моего отнюдь не бедного лексикона, я метался перед зданием аэропорта, пока вдруг, к своему великому облегчению, не заметил вдали желтый столб пыли, поднятый стремительно приближавшейся легковушкой. Это и был собственнолично товарищ Лещинский.

– Извини, старик, чуток опоздал, – произнес он таким привычным по телевизионным репортажам голосом, когда мы наконец-то познакомились. – Поехали в город.

И мы поехали, по дороге разговаривая отнюдь не о войне, а на какие-то другие, вовсе отвлеченные темы. Правда, без «военных» сюрпризов не обошлось: Лещинский зачем-то попросил меня открыть «бардачок», и я увидел громадный пистолет, лежащий в его глубине.

– Что ж ты хочешь, идет война, – сурово произнес Миша, отвечая на мой немой вопрос. Однако мне почему-то показалось, что была в этом эпизоде некая нарочитая демонстрация. И позже, уже дома у Ады и Миши, такой же туфтой для приезжих гостей показалось мне сразу же бросившееся в глаза пулевое отверстие в окне, с гордостью продемонстрированное хозяевами.

– Сука какая-то стреляла, – Миша ткнул пальцем в отверстие. – Хорошо, нас дома не было...

Много лет спустя, уже зная, что жили Лещинские в том престижном районе Кабула, который славился как квартал богатых вилл и потому, по тайной

договоренности с моджахедами, не обстреливался и тщательно охранялся бойцами ХАТ – местного КГБ, я прочту в одной из газет интервью с Михаилом Борисовичем. «Мы жили, – скажет он, – в Кабуле, среди афганцев, автомат у кровати, пистолет под подушкой и ящик гранат в комнате – вот и вся моя охрана...» Наверное, я слишком много выпил во время обеда, приготовленного гостеприимной Адой, – во всяком случае, ни автомата, ни гранат я не заметил, а что лежало у Лещинского под подушкой, честно признаюсь, не знаю...

Вечером Лещинский отвез меня в гостиницу. Это была гостиница Народно-демократической партии Афганистана, и ее, опять же по какой-то секретной договоренности с моджахедами, не обстреливали, а потому она считалась самой безопасной в Кабуле. Внутри – смесь роскоши и грязи, в холле – изогнутая восточная мебель, весьма, замечу, обшарпанная, и до боли знакомый холодильник «Памир-5» с отломанной ручкой... Заграница, одно слово!

Каково же было мое удивление, когда в номере, который мне отвели, на соседней койке обнаружился... Боровик – он уже спал, очевидно измотанный теплой встречей, которую ему устроили посольские ребята.

Наутро нам предстояла первая «боевая» операция: надо было обменять чеки, полученные еще в Москве, на афгани – местную валюту. Лещинский повез нас в какой-то банк, где и предстояло это сделать. По дороге мы жадно рассматривали утренний Кабул с его грязными лавчонками, хаосом движения неуклюжих, тяжело груженных машин с высокими бортами, прозванных «барбухайками»; как будто вкатившихся в город прямо со страниц «Повести о Ходже Насреддине» осликами, запряженными в широкие арбы. Над почти пересохшей речкой, пересекавшей столицу Афганистана, в мутно-желтой воде которой плескались ребятишки и тут же стирали белье седобородые афганцы, широкими уступами поднимались глиняные домики, тесно прилепленные друг к другу. Мальчишки, торгующие с рук сигаретами, нелепые рекламные плакаты, будто намалеванные незабвенной рукой Остапа Бендера, развалы фруктов, арабская вязь полустершихся вывесок, женщины, чьи лица скрывали плотные чадры... Следы войны были видны повсюду – разрушенные дома, воронки от бомб, немалое число вооруженных людей... И над всей этой полуэкзотической-полуирреальной картиной, абсолютно непривычной для глаза человека, попавшего сюда из относительно цивилизованного мира, – нещадно палящее солнце: температура в Кабуле доходила до 50 градусов.

Пешком по городу советским людям ходить было запрещено – случилось, смельчаки, которые отваживались на подобные прогулки, бесследно исчезали. Искать их было бесполезно: в хитросплетениях домишек и тесных улочек невозможно было разобраться даже опытному специалисту. Передвигались на машинах – как правило, по несколько человек. Складывалось такое впечатление, что в городе боятся все и всех: кабульцы – советских, или, как их называли, «шурави», наши – любого афганца: ведь каждый, даже чумазый мальчишка, мог оказаться сражающимся на стороне моджахедов.

Помнится, как повели меня покупать пресловутую афганскую дубленку – в них тогда ходила половина Москвы, ибо привозили «дубли» из Афгана на продажу в немереных количествах. Дабы чего-нибудь не вышло, дали нам в провожатые двукратного чемпиона ДРА по тяжелой атлетике. Этот 22-летний парень пользовался в Кабуле громкой славой и служил надежным гарантом того, что с нами – белыми людьми – не произойдет что-нибудь нехорошее. Тем не менее был похож наш поход на «подвиг разведчиков»: машина подъезжала к очередной лавке, мы быстро выскакивали из нее, стремительно влетали в лавчонку, а потом, после осмотра местных изделий, столь же стремительно возвращались назад.

Так же стремительно, подгоняемые Лещинским, влетели мы с Боровиком в банк, дабы обрести вожделенные афгани. В засранном, иначе и не назовешь, «офисе» нас встретил доброжелательно улыбающийся клерк и, бережно взяв наши чеки, куда-то удалился. Через несколько минут все тот же улыбающийся клерк появился из недр своего заведения, неся в руках по... громадному пластиковому пакету – наподобие тех, которые используются под мусор. В них лежали кучи купюр – килограмма этак на полтора-два!

Когда в гостинице мы с Артемом разложили это богатство на собственных койках, нас охватил гомерический хохот: мы впервые почувствовали себя миллионерами. Денег было и впрямь немерено – мы пересчитывали их бесконечно долго, сбиваясь и начиная снова. Кстати, эти зеленые купюры, которые и в руки-то было противно взять, настолько они были грязны, печатали в Советском Союзе – в неизмеримых количествах, и потому инфляция в Афганистане была ужасающей: любая, самая примитивная вещь типа одноразовой зажигалки стоила тысячи афгани.

Впрочем, афгани имел только штатский командированный люд. В армии же существовали так называемые чеки – и солдаты, и офицеры получали денежное довольствие именно в этих виртуальных деньгах. По сути,

копейки. Позже, в «образцово-показательном» 180-м полку 40-й армии, стоявшем на окраине Кабула, куда отправляли всех приезжих журналистов «на экскурсию», дабы не увидели они истиной правды войны, замполит танкового батальона капитан Саша Потин, имевший не на денежном, на воинском счету 26 боевых выходов, которого четыре раза подрывали на БТР и танках, да, к счастью, жив остался, «после литры выпитой» расскажет мне, как униженно оплачивала Родина «ратный труд» тех, кто рисковал своей жизнью, а порой и терял ее.

Сашу, которому до «дембеля» – отправки домой оставалось пару месяцев, прикрепили ко мне, и он был счастлив – мотался за журналистом, не мудочаясь в батальоне. Выпивали мы с ним крепко, благо афгани у меня были не считаны. И однажды он попросил:

– Витек, ты ведь в штабе армии бываешь. Попроси у них талончик на технику.

– Какой талончик?

– Да понимаешь, тем, у кого есть такие талоны, в Военторге продают японские музыкальные центры, видеки, прочую мутату с большими скидками. Только талоны эти уходят по начальству. Мне скоро на дембель, денег нет, что ж, ехать домой с пустыми руками? Неудобно как-то.

– А почему денег-то нет?

– Да сам посуди. Получаю я двести сорок чеков. За еду, обмундирование отдай, партвзносы заплати – это раз. К «чекистке» хоть раз в месяц сходить надо – это 40 чеков. Ну и, как минимум, бутылку водки взять с собой – еще 30 чеков. Шмотки хоть какие-нибудь гражданские подкупить – дома ходить не в чем... Да жене послать... Вот и считай...

Уточню, что «чекистками» в Афгане назывались официантки, обслуга в прачечных, медсестры в госпиталях и т.д. Словом, те дамы, часть которых к установленному им окладу служащей Советской Армии подрабатывали еще и первым древним способом. Никто не кинет в них камень – порой девушки и приезжали за этим в Афганистан, ибо на нищенскую зарплату трудно было прожить в благословенном Советском Союзе. Зато самые успешные из них уезжали домой, разбогатеv непомерно. Кстати, и в самой армии существовала четкая система отбора новопривывших дам – наиболее симпатичных оставляли в Кабуле и ближайших к нему точках; тех, кто личиком да фигурой не вышел, отправляли подальше. Не потому ли в офицерской столовой штаба 40-й армии, который располагался в центре столицы, работали красотки – глаз не оторвешь?

Солдатам на войне приходилось еще хуже. В чем вскоре и пришлось убедиться, когда вместе с танкистами батальона Потина отправились мы на проверку сторожевых застав, что расположились вдоль «горячей» двухсоткилометровой трассы Кабул – Джелалабад, тянущейся до границы с Пакистаном. Над неширокой лентой дороги – едва двум машинам разъехаться, образуя ущелье, нависали почти черные горы, практически лишенные растительности, в которых и таились моджахеды, время от времени обстреливая полк, нпадая на его сторожевые посты или минирруя по ночам эту стратегически важную асфальтовую нитку. Здесь все время шли бои: об этом свидетельствовали остовы сожженных машин, валяющиеся по обочинам трассы.

Наш БТР, оснащенный двумя пулеметами, двигался осторожно – на скорости не больше 40 километров в час. Впереди, примерно метрах в пятидесяти, на такой же скорости шла БМП – боевая машина пехоты, вооруженная скорострельной пушкой и пулеметом. Такая предосторожность не случайна: если первая машина подрывается, происходит это на достаточном расстоянии, чтобы вторую не посеколо осколками.

А мимо едва ли не ежеминутно проскакивали тяжело груженные «барбухайки», везущие из Индии и Пакистана бог знает какое добро. Контрабанда в Афгане существовала почти официально – вот и везли по дороге, идущей до границы и дальше, в Пакистан, все, что было угодно душе и состоятельным людям – от кожаных изделий до мебели и сантехники. Не случайно многие наши эстрадные знаменитости так любили поездки в Афган: и культурный долг по линии ЦК ВЛКСМ выполняли, и разжиться было чем. Особенно ценились полудрагоценные камни, которые стоили здесь сущие гроши, да и места в багаже занимали немного.

Мой друг, известный ныне иллюзионист, народный артист России Юра Кукес, рассказывал мне, как однажды он «по линии ЦК ВЛКСМ» попал в одну поездку с Кобзоном. На полученные в Афгане командировочные Юрий купил тогда супруге шубу и показал ее Иосифу Давыдовичу. Тот повертел товар в руках и презрительно выдохнул: «Зайди-ка ко мне в номер». Когда Юра зашел, Кобзон открыл шкаф, и глазам изумленного молодого артиста предстал мини-магазин, заполненный великолепными шубками и дубленками. Кобзон взял шмотку Кукеса, повесил ее в шкаф, а взамен со словами «Пускай супруга хоть раз хорошую вещь наденет» выдал ему шикарнейшую шубу, не попросив даже доплаты. Что тут скажешь: широкая натура у Иосифа Давыдовича.

– Когда же мы улетали, – рассказывал приятель, – все артисты притащились в аэропорт с чемоданами и баулами. Смотрим, один Кобзон – с пусты-

ми руками. Мы еще подивились этому, но наше удивление длилось недолго: вскоре к самолету подъехала машина с несколькими контейнерами, которые принадлежали певцу. Что уж там было, кто его знает.... Наверное, подарки для ЦК комсомола, а может, и еще для кого покруче...

Но вернемся на дорогу Кабул – Джелалабад. День, испепеленный невозможно жарким солнцем, разрастался, и, когда впереди показалась первая застава, мечталось только об одном – глотке холодной воды.

Окопы в пересушенной каменной земле... Мешки с песком, предназначение которых – защищать от пуль... Прижавшийся к скалам БТР... Два десятка солдат, обустроившихся в брезентовой палатке... Это – застава. В горах – ее выносные посты: на каждом – человек пять, чья обязанность – вовремя обнаружить противника и сообщить о его передвижениях, по возможности не вступая в бой. Застава охраняет дорогу, обеспечивает безопасность наших колонн, везущих военные грузы, почту, продовольствие. Последнее – словно насмешка: мы подъехали к самому обеду, и нам предложили... щи из квашеной капусты, макароны с тушенкой... И это в жару за пятьдесят...

А мимо тащатся «барбухайки», груженные апельсинами, ананасами, кока-колой, свежим мясом, различными сладостями... Как тут устоять нашему солдатику, чье питание было обусловлено нормами, выработанными вкусно питающимися тыловиками, засевавшими в высоких начальственных креслах... Им война – мать родна... А солдатику в жару только и остается, что щи из квашеной капусты хлебать... Не тут-то было: приспособились при молчаливом согласии офицеров.

Способов получить приварок к скудному солдатскому питанию на трассе Кабул – Джелалабад, собственно, было два. Садился солдат на трассу, опираясь на автомат, а рядом ненавязчиво ставил каску. Догадливые шоферы, видя застывшую в задумчивости фигуру, тут же притормаживали и опускали в каску кто сто афгани, кто двести... За день набиралось немало, и можно было отправляться в близлежащую лавочку за продуктами. А недогадливые.... Те, кто не притормаживал, тут же получали пулю в шину... А это значило, что нужно было менять колесо... Попробуй поддомкратить тяжело груженную «барбухайку»... Приходилось снимать груз... Если не успевал бедолага-шофер сделать это до наступления темноты (а темнота в Афгане наступала быстро), от груза его мало что оставалось: то ли наши растаскивали, то ли свои – пойдя спроси у ночи... Хорошо, если не убивали... Впрочем, недогадливых водителей, не желающих притормаживать у заставы, практически не было – афганский устный телеграф быстро разносил в годы войны любые новости...

Второй способ получения «приварка» был еще забавнее: раздобывали где-нибудь наши солдатики дохлую корову и, подцепив к БТРу, выкладывали на середину дороги... Для афганцев, как и для индусов, корова – животное священное, дотронуться до нее не могли... Вот и приходилось останавливаться и идти на поклон к служивым – уберите, мол, дохлятину, а то ни пройти ни проехать.... Ну и благодарили за труды соответственно: кто деньгами, а кто частью груза, который везли...

Все это, конечно, было бы смешно, если не думать о цинизме военачальников... Выбрасывая на войну в Афганистане десятки миллионов, да не рублей, а долларов, они даже не задумывались о том, чтобы хотя бы достойно кормить свою армию. С Афгана хранится у меня «замечательный» документ, названный «Суточный рацион питания на одного человека «Горно-зимний». Приведу его полностью, оговорясь, что такой рацион выдавался тем, кто зимой в горах участвовал в боевых операциях и должен был, по любой военной логике, питаться особенно усиленно.

Так чем же питала родная Советская армия своих бойцов?

ЗАВТРАК

Консервы мясные	100 г
Чай сухой	2 г
Сахар-рафинад60 г
Галеты из муки обойной	100 г
Лимонная кислота	2 г
Салфетка гигиен.	1 шт
Сухое горючее25 г
Спички	1 пач
Консервовскрывать	1 шт

ОБЕД

Консервы: первое обеден. блюдо350 г
Консервы: второе обеден. блюдо350 г
Сок плодово-ягодный	140 г
Галеты из муки обойной	200 г
Карамель витаминиз.	10 г
Поливитамин «Гексавит»	1 г
Салфетка гигиен.	1 шт
Сухое горючее25 г

УЖИН

Консервы мясные	100 г
Молоко сгущен. с сахар.	110 г
Галеты «Поход»	45 г
Чай	2 г
Сахар-рафинад	30 г
Салфетка гигиен.	1 шт
Сухое горючее	25 г

Пробовал я этот паек... Открыл банку «второго обеденного блюда», произведенного, помнится, в Молдавии, а там картошка в основном и несколько волоконцев мяса.... Есть невозможно... Представим, что выдавался этот «рацион питания» бойцу весом этак килограммов под сто, который вместе с товарищами уходил зимой на боевую операцию в горы, и неделю, а то и две, не зная, вернется ли, вкушал «галеты из муки обойной» и поливитамины «Гексавит»... Не случайно стограммовые баночки мясных консервов, полагающиеся ребятам на завтрак и ужин, они прозвали «таблетками для дистрофиков»...

А теперь, сравнения ради, приведу еще один любопытный документ «Меню Общего зала столовой ЦК КПСС». Датирован он 5 мая 1988 года – еще шла война в Афганистане.

ОБЩИЙ ЗАЛ

ЗАКУСКИ

Салат с крабами	100 г
Салат из квашеной капусты с яблоками	100 г
Салат из редьки с луком	100 г
Салат из огурцов	100 г
Салат из моркови с орехами	100 г
Салат из помидоров с раст. маслом	50 г
Икра паюсная с луком	20/5 г
Спинка осетра с огурцом	30/10 г
Треска по-шведски	90 г
Бекон с хреном	30/10 г
Сыр домашний	100 г
Кефир	180 г
Кумыс	80 г

Простокваша	180 г
Ряженка	180 г
Сливки	100 г
Творог с сахаром и сметаной	130 г
Сметана	50 г
Масло сливочное	10 г
Сахар-песок	10 г

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Суп картофельный с осетриной	300/25 г
Суп харчо с бараниной	300/25 г
Щи из свежей капусты со сметаной	300/10 г
Суп молочный гречневый	300 г

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Кижуч отварной	75 г
Муксун вареный	75 г
Тельное из судака	90 г
Котлеты полтавские	100 г
Треска тушенная с овощами	100/75 г
Судак в тесте жареный	150/40 г
Эскалоп из свинины	75 г
Макароны с сыром	180 г
Колобок творожный с курагой	150/25 г
Оладьи со сметаной	150/10 г
Оладьи с протертой малиной	150/30 г.
Каша пшенная молочная с маслом	200/10 г
Пирожок слоеный с печенкой	60 г

ОВОЩНЫЕ БЛЮДА

Пудинг из свеклы со сметаной	100/15 г
Рагу из овощей с грибами	150/5 г
Биточки морковные с изюмом	100/20 г

ГАРНИРЫ

Картофель жареный	150 г
Картофельное пюре	151 г

Капуста тушеная квашеная	105 г
Рис припущенный	110 г
Свекла тушеная	130 г

СЛАДКИЕ БЛЮДА

Кисель из черной смородины	180 г
Кисель с мороженым	150/30 г
Компот из свежих фруктов	180 г
Сок из брусники	200 г
Чернослив со взбитыми сливками	60/40 г
Брусника с сахарной пудрой	50/10 г
Пирожное	1 шт
Мороженое	100 г
Молоко	190 г
Чай зеленый с сахаром	1 ст
Чай с сахаром	1 ст
Чай с вареньем ореховым	1 ст./30 г
Какао	180 г
Кофе с молоком	180 г
Кофе черный с мороженым	150/30 г
Кофе черный	80 г
Лимон	7 г

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД

Суп харчо с бараниной	300/25 г
Котлеты полтавские	50 г
Кисель из черной смородины	180 г

ПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА

(готовятся по заказу)

Похлебка по-суворовски с расстегаями	300/2 шт.
Осетрина жареная	75 г
Котлета юбилейная	125 г
Шампиньоны в сметанном соусе	150 г
Окунь по-московски	320 г
Филе со сложным гарниром	75/150 г
Омлет с зеленым луком	115 г

ХЛЕБ

Хлеб столовый	76 г
Хлеб ржаной заварной	71 г
Хлеб ржаной российский	43 г
Хлеб пшеничный	36 г
Батоны нарезные	30 г

Примечание:

По желанию вторые блюда отпускаются без гарнира,
при этом стоимость блюда уменьшается на 6 коп.

Цитата по книге М.Восленского «Номенклатура»

Зал, напомню, общий – не для членов ЦК, тем более Политбюро: для инструкторов и другой «мелочи». Умышленно не привожу цены на весь этот пир по-цековски, ибо стоили все блюда по тем временам сущие пустяки – скажем, тот же комплексный обед можно было получить за 52 копейки. И это притом, что в магазинах уже царил абсолютная пустота, а в обычных столовых подавали разве что разбавленный донельзя водюю бульон с яйцом да пельмени с мясом, в которых мясо практически отсутствовало.

А к чему это вы? – быть может, спросит кто-то. Вы хотели бы, чтобы на войне организовывали ресторанное питание, что ли? Да не о том речь. Просто, вспоминая тот скудный афганский паек, думаю, что был он неким мериллом отношения государства к своему защитнику, к солдату, которому, быть может, так и не довелось вернуться домой, или довелось – в цинковом гробу с биркой на ноге. Позже, уже в конце XX века, когда в Югославии вспыхнет конфликт между сербами и хорватами и туда войдут миротворческие натовские войска, мой приятель Коля Пасхин, работавший в Югославии заведующим корреспондентским пунктом Агентства печати «Новости», пришлет мне, как сувенир, паек солдата НАТО. И я обнаружу в нем мясные и рыбные консервы (не такие, как достопамятные молдавские, а полноценные, высококалорийные), настоящий куриный бульон в концентратах, шоколад, колбасу и сыр, и даже складную спиртовку с запасом сухого спирта, не говоря уже о жевательной резинке, презервативах и зубочистке... И еще раз вспомню палящее солнце Афгана да щи из квашеной капусты, что, утирая пот, хлебали наши ребята из котелков, примостившись рядом с трассой смерти Кабул – Джелалабад.

Будет потом и Чечня, но мало что изменится в отношении военачальников к воюющим там ребятам. Ничему-то их Афган не научит...

... А военоторговский талончик на видеотехнику я Сашке Потину все-таки достал. Позже, будучи проездом в Москве, он отблагодарил меня, накрыв «поляну» в каком-то кабаке, и мы за рюмкой досыта навспоминались о тех днях, когда свела нас судьба, о том благополучно завершившемся рейде по заставам, и о тех, кто погиб на этой дороге, – в их числе был и Сашкин комбат, капитан Женя Морозов, едва отметивший свое 30-летие. Впрочем, и я был благодарен Потину, потому что, если бы не он, судьба не подарила бы мне знакомство с еще одним замечательным человеком, с которым на всю жизнь связала нас настоящая мужская дружба.

Горячие скалы Николая Петрова

А было так... После благополучного возвращения из рейда пошли мы с Потиним, как водится, в баньку. Попарились, выпили... И спрашиваю я у него: «В штабе армии мне называют разные места, где обстановка наиболее накалена. Но то в штабе... А вот на твой взгляд, капитан, где все-таки тяжелее всего?». И ответил Саня Потин, не задумываясь: «Есть такой кишлак в ущелье Панджшер. Руха называется. Там полк наш стоит. Вот где пекло настоящее...».

И задался я целью попасть в Руху. Да только не просто это оказалось – в штабе армии на мою просьбу ответили категорическим отказом. Так бы, наверное, не довелось мне оказаться в тех местах, если бы не подоспела неожиданная помощь...

В тот день, зайдя в приемную начальника политотдела армии генерал-майора Щербакова, увидел я там нескольких человек, бесцельно восседающих в креслах. Разговорились. Оказалось, что дожидается здесь приема делегация Союза писателей – писатель Юрий Тарский и поэты Юрий Беличенко и Феликс Чуев – такие же, как и я, бедолаги, стремящиеся увидеть «настоящую войну», да только не допускаемые дальше образцово-показательных частей. Тут-то я и поделился своей идеей: рассказал о Рухе и предложил: давайте, мол, вместе надавим на военное начальство, может, и пробьем эту стену.

Ребята воодушевились... То еще было зрелище – всем кагалом ввалились мы в кабинет генерала, и пошло–поехало... И матерок зазвучал в генеральском кабинете, и уговоры слезные, и угрозы жаловаться «вплоть до ЦК». Не выдержал генерал, сдался – отдал приказ выделить «вертушки» и доставить нас в Руху...

Уже потом, побывав в этом спрятанном в ущелье Пяти Львов (так переводится название «Панджшер») кишлаке, я понял, почему нас не хотели туда отправлять. Бои в ущелье шли практически ежедневно, и никто не хотел рисковать жизнью «гражданских» во имя удовлетворения их любопытства. Но и нас можно было понять – мы хотели увидеть войну без прикрас. И мы ее увидели...

Дабы не «растекаться мыслию по древу», приведу сохранившиеся у меня записи, сделанные по ходу той поездки. Они отрывочны, ибо особо не было времени, да и условий, чтобы писать подробный дневник. И все-таки, на мой взгляд, отрывочные эти записи передают мои тогдашние ощущения, атмосферу двух дней и одной ночи, которые довелось провести в Рухе:

Вертолет, борт 91. От Кабула до аэродрома подскока Баграма – 20 минут лета. Командир части назвал наших вертолетчиков «баграмские каскадеры». Они летают в самые горячие точки и садятся там, где другим бортам никогда не сесть. По ходу отстреливают тепловые ракеты на малой высоте, чтобы нас не могли достать ракетами «земля–воздух» душманы.

В Баграме предстоит загрузиться почтой, продуктами и боеприпасами. Затем летим в Руху.

Командир нашего вертолета – капитан Сергей Лебедев, три месяца в Афгане. Капитан Виктор Петров – штурман. Старший лейтенант Александр Снегуров – бортовой техник. Это – штатный экипаж.

Надеваем парашюты. Красная ручка – объясняет командир – аварийная. Если что, прыгать только по моей команде.

Здесь не шутят понятиями жизнь и смерть. Смерть каждую секунду бродит рядом.

Пошла первая вертушка, мы за нею.

Пробираюсь в кабину, прошу разрешить посидеть на месте штурмана. Командир протягивает каску: садись на нее. Спрашиваю, зачем? А чтоб яйца не отстрелили, если снизу ударят – поясняет без тени улыбки командир.

Район Кабула кончается, начинается район Баграма. Там ущелье Саланг, за ним – Панджшер.

Высота 4700. Ниже 4500 опускаться нельзя, могут достать. Александр Снегуров – стрелок, здесь около года. Награжден орденом Красного Знамени. Но практически любой в экипаже может сесть на его место.

Саше 49 дней до замены. Летчики здесь служат по году.

В прошлом году во время боевой операции в Панджшере вывозили бойцов из-под обстрела, очищали район от моджахедов, которыми командовал Ахмат Шах Масуд. Вывозили людей под пулеметным огнем. Работали днем, закончили поздним вечером. Летаем, говорит командир, даже ночью: если есть раненые.

Прозвище у вертолета – «пчелка». Потому что трудимся как пчелы – смеется штурман.

Вертушки летают на посты, возят продовольствие, боеприпасы, воду. На постах в горах наши держат оборону, а вокруг все заминировано. Кроме вертолета, ничем не доберешься. Когда летаем на посты, надеваем бронезилеты, хотя они и тяжеленные – никому неохота жопой рисковать.

Входим в Панджшерское ущелье. Идем над кишлаками, они – душманские, мирных нет.

Проходим над кишлаком Анава, где стоит наш батальон десантников. Вокруг него посты – от 8 до 15 человек. На Анаве пришел командир батареи новый, через неделю духи уже знали его фамилию и давали за его голову 80 тысяч долларов. Дороже всех духи оценивают головы летчиков, потому что они приносят больше всего неприятностей.

Летчики все время наблюдают по сторонам. Один вправо, другой – влево.

В вертолете резко запахло кислым: ударил для острастки наш ПКТ – танковый пулемет Калашникова. Проходим над рекой Панджшер, внизу – расположение нашего полка.

Вертушки высадили нас на пяточок полянки и мгновенно улетели. Возле простреленного насквозь газика нас встречают двое: командир полка майор Николай Петров и его заместитель по политчасти майор Александр Литвиненко.

Чем сложен этот район? – рассказывает командир. – Богатейшая Панджшерская долина, через которую издавна проходили важнейшие караванные пути. Все коммуникационные сообщения идут через Панджшер. Мы у них здесь как бельмо на глазу. У полка – выносные посты на господствующих высотах. Они ежечасно докладывают о перемещениях душманов, вызывают огонь артиллерии. Нет ни одного места на территории Рухи, которое бы не подвергалось обстрелу.

Когда брали эту долину, проводилась армейская операция: в кишлаке все дома были заминированы. Километрах в десяти от Рухи стоит дом Ахмат Шаха Масуда. Он – 1952 года рождения, руководитель моджахедов, ведущих бои в этой долине, сын полковника королевской армии, обучался в Пакистане методам ведения партизанских войн. Богатейший человек, ему принадлежат алмазные и лазуритовые копи, находящиеся в нескольких километрах от Рухи.

Каждые сто метров движения в Панджшере – это две-три мины, которые снимаются человеческой кровью. Для того чтобы провести сюда колонну с продовольствием, весь полк уходит на блокировку дороги.

Никто не верит, что в Рухе можно жить, а мы живем, сказал командир.

Николай Петров. Командир полка. Надел погоны в 16 лет, окончил Суворовское училище, затем в Орджоникидзе Высшее общевоинское командное училище, служил в Чехословакии пять лет, два года в Прикарпатском военном округе, затем окончил Академию Фрунзе, год побыл начальником штаба полка, затем командиром полка в Союзе. Уже год в Рухе. Родился в 50-м. В октябре должен получить подполковника.

Двое детей: Тимофею 10 лет, Ольге – 12. Супруга – Маша, Колина землячка, родом из Астрахани. Видел их два месяца назад, когда приезжал по делам в Ташкент, и они приехали туда, чтобы повидаться.

Вчера сестренка написала письмо. Пишет: разница даже в тех письмах, что ты пишешь мне и матери. Я и маме, и жене о страшном стараюсь не писать.

Руха – самый сложный боевой участок во всем Афганистане. Если на нас нападут, помощи ждать неоткуда. Помощь может пробиться сюда только на вторые сутки. Да и то при самых благоприятных условиях.

Замполит полка Саша Литвиненко. Как и командир, майор. Он моряк у нас, сказал Петров. Родился в 52-м, в семье военнослужащего. В 66-м поступил в Ленинградское нахимовское военно-морское училище. В 74-м – окончил Киевское высшее морское политическое училище. Затем по собственному желанию перевелся в сухопутные войска. Мечтал о морях-океанах, да здоровье подвело: зачем клешами асфальт подтирать.

Отец – генерал-майор в отставке, брат – подполковник. И жена – военнослужащая. С 1983 года Саша – замполит мотострелкового полка. Заменял в Рухе своего товарища, замполита полка подполковника Сергея Архипова, раненного навывлет в грудь. С января 85-го в Рухе участвовал во всех операциях прошлого и нынешнего года, дважды ранен: оба раза в голову и ноги.

Предлагали Саше идти на повышение, он отказался: столько вложено в полк, он стал родным в полном смысле слова. Все радости, неудачи, горе мы переносим вдвоем с командиром. И отвечаем здесь за все. И вообще все тяготы службы здесь несут поровну и командиры, и солдаты. Даже питаются из одного бака.

Замполит рассказывает: первое мое впечатление от духа – здоровенный парень 23 лет. Одет в куртку пакистанского военного образца, широкие шаровары. Автомат, семь магазинов к нему. Даже не стал разговаривать с нами в знак презрения.

Петров: Писганарский крест, Киджольский перекресток в горах – самые духовские места. На Киджольском перекрестке сложились обстоятельства так, что мы очень быстро, практически внезапно вышли на него. А перед этим душманы взорвали кусок дороги и вся бронетехника не смогла пройти, осталась сзади. Начался интенсивный обстрел. Я лежал с автоматом за камнем, рядом солдат с радиостанцией. Сзади

слышу крик: «Товарищ майор, отходите!». Поворачиваюсь, ни один солдат не отошел. Под их прикрытием мы отходили с перекрестка. На тот момент нас было два, а то и в три меньше, чем духов.

Когда приехал сюда, жили в землянках. Взрывали грунт, перекрывали воронки, чем можно: тут же ни деревьев, ни досок – ничего. И посты точно так же строились.

Первое мое впечатление было – 23 января прошлого года я прилетаю, ссаживаюсь с вертолета, и он резко уходит. А в это время идет обстрел Рухи. У меня солдат хватает чемодан, говорит: «Товарищ майор, бежим». А куда бежать? Забрался под грузовик, посидел там немного, только вылез – опять стрельба. И так практически каждый день.

Коля Петров: Когда человек говорит, что он не боится в бою, – это вранье. Когда в горах впервые я упал на снег, мне замполит батальона кричит: откатывайтесь. А куда откатываться – кругом снег, и я – темное пятно. Страшно! Но знаешь одно: ты командир, и должен принять решение. Ты – старший. Я здесь 17 месяцев, и все не могу привыкнуть к тому, что в меня стреляют. И никогда не смогу, наверное, привыкнуть еще и к тому, что вот только что ты разговаривал с человеком, а через минуту его нет... Вот командир нашей роты капитан Ольков. Я даю ему приказ перейти на ту сторону ущелья, чтобы закрепиться там. Он: товарищ майор, я выполняю приказ, но... Как чувствовал. А мне в это время начальство сверху по радио: ты Сталинград забыл, сука, негодяй, снимем погоны, то да се... Бери ущелье любой ценой! Вот я с Ольковым только что разговаривал, а через час его несут: разнесло из ДШК полностью. К этому невозможно привыкнуть.

Замполит в кармане носит фотографию дочки и жены. И рисунок зайца – дочка прислала, пишет: папочка, смотри, какой хороший зайка, гляди на него и вспоминай нас. Дочке Жене 13 лет, это она такой мне талисман сделала.

Первый раз замполит был ранен 17 июня прошлого года. Душманы захватили афганский гарнизон, который воевал на нашей стороне, мы силами батальона выдвинулись к нему на помощь. Душманы начали бить по нам из горных пушек. Пошли мы в атаку. Там воронка была

от взорванной мельницы, ее я помню, и еще помню – разрыв рядом. Очнулся – лежу я головой вниз в этой воронке, сорвана кожа на ухе, автоматный ствол прожег кожу на руке, между пальцами. И меня еще завалило жерновами. Честно говоря, с жизнью простился: вылезти сам не могу, кругом стрельба. Но солдат и командир роты этот жернов, килограммов 150, вдвоем приподняли, и я выполз... Дотащили меня до первых домов кишлака, там перевязали...

А второй раз меня вытаскивал командир полка. На себе нес до вертолета.

Как с жизнью прощался, о чем думалось? А ни о чем героическом. Просто подумал, что мне 33 года и так не хочется умирать. Очень много неслучившегося. Просто неслучившего.

С командиром полка на операциях мы только чай пьем. Каждые 15 минут нам его приносят. Как бы про запас напиваемся, ведь бывает, когда одна фляга на двух человек на трое суток. Конечно, с доставкой сюда очень трудно. Вода и воздух – это местное, остальное привозят: спички, сигареты, мясо. И полбеда – довести от Союза до Саланга, а беда – сюда. В горах однажды в расположение нашей роты выбросили нам сухой паек на целый полк. Набрали мы его столько, что уже нет сил нести. Пришлось эту еду расстреливать, чтобы душманам не досталась. Так и подрывали весь сухой паек. Вертолет ведь в наших местах выше, чем на три тысячи, не поднимается, никакие грузы не везет. Однажды вертушка развалилась на глазах у командира полка: не смог потянуть, врезался в скалу, и все. А сначала ему в двигатель попали. А у нас воды совсем нет, несколько суток. До такой степени мы были без воды, что вертолет горит, а солдаты побежали термосы с водой вытаскивать. И вытащили. Вода была прогорклая, но вода.

На операциях никто не спит. Какой отдых – кругом душманы. Смотришь – не поймешь: где офицеры, где солдаты. Все из одного котелка хлебают, один спальный мешок – на троих. И солдат становится таким родным, таким близким...

Артиллерийский дивизион полка. Здесь, на этой глине и скалах, где, казалось бы, все мертво, наши солдаты сажают и умудряются выращивать даже редиску и петрушку.

Самые высокие посты полка – 3052 метра над уровнем моря. Солдат доходит туда за четыре часа. Там, еще выше, караванная тропа, которую используют душманы для снабжения своих формирований на Саланге продовольствием, медикаментами, оружием. Там действуют отряды Пано Хана.

Через весь полк вырыты ходы сообщений. Их называют «рухинское метро». Все выкопано в скальном грунте.

Против Рухи стоят исламские батальоны, сформированные по структуре воинских частей. Имеют свои знамена, свою форму одежды. Проходят обучение в Пакистане, который в 40 километрах от Рухи. Структура такая: два месяца они воюют, потом уходят на отдых, на замену подходят другие части. Наши захватывали немало оружия: китайское, египетское, мины итальянского производства, автоматы Калашникова китайские.

Воюют против «советских» и дети: с 11–12 лет. Был недавно случай: шла в колонне наша машина со снарядами, пацаненок закинул мину в кузов. Благодаря солдату, который вовремя среагировал, схватил эту мину и выбросил ее из кузова, машина не взорвалась.

Выносной пост артдивизиона. Рассказывает командир дивизиона майор Валерий Довгаль:

– Здесь было афганское кладбище. Получили приказ обосноваться на его месте, потому что лучшего участка для артдивизиона – чтобы он захватывал все цели – нет. И нам пришлось, чтобы установить ровно пушки, снимать слои земли. На этом пяточке подорвались 40 солдат. Своими ногами они разминировали это место, чтобы создать огневую позицию. А мины тут были поставлены специальные, с которыми мы тогда еще не умели обращаться.

И вообще, когда брали Руху, весь кишлак был заминирован: каждый вход в дом, каждый подоконник, каждая вещь... В полкишлака мы и до сих пор не суемся: там все заминировано.

От реки мы с Николаем Петровым поднялись на высоту 2220 метров, где еще один наш пост. Еле дошли: пот градом, страшно разреженный воздух, полный мошки, которая с каждым вздохом попадает в рот. От-

паивали нас компотом. Коля Петров шутит: за такой подъем в Союзе дают 2-й юношеский разряд по альпинизму. Командир полка, показывая вниз, говорит: завтра нам предстоит операция. В гарнизон Пишгор колонна везет боеприпасы, продовольствие, одежду на полгода, поскольку после этого всякое сообщение гарнизона с внешним миром прекращается. Почему? Потому что вся дорога, по которой пойдет колонна и вся долина, – не наша, Руха – единственная точка, а вся остальная территория занята духами. Перед нами стоит задача: с боем прорваться до Пишгора, выгрузиться и уйти. Это отсюда двадцать километров, двадцать кровавых километров. Вчера саперы полка на отрезке дороги в 15 километров, по которой должен пройти караван, нашли 85 фугасов и около 120 пехотных мин. Сейчас дорогу прикрывают наши БМП и БТР, чтобы душманы повторно не смогли ее заминировать.

Завтра ожидается бой, и в этот бой уйдут и командир полка, и замполит. По разведанным в этом районе сейчас более 800 душманов.

Коля Петров: если по союзным меркам положено проходить один километр за тридцать минут, то здесь мы один километр проходим за трое суток: вот какие здесь ведутся бои.

В декабре мы прошли из Рухи до Пишгора 18 километров, каждый – с боем. У нас было уничтожено более 30 боевых машин, 160 человек убитых и раненых. Здесь вообще страшные бои.

Я со взводными не успеваю знакомиться: в полку нет ни одного взводного, чтобы больше полугода командовал, – убит или ранен. В некоторых ротах по три раза ротные сменились: тоже убиты или ранены.

В полку даже собачка Чишма – боевая. Ее привезли из Термеза, вместе с частью она входила в Афган. В 85-м году при обстреле полка была ранена. Есть и еще одна собака – Мечта. Ходила даже на операции. Когда взлетают три красные ракеты – знак обстрела – Мечта умело прячется в укрытие.

Коля Петров: В Афган я так уходил: приезжаю из Москвы в свой областной Талды-Курган, где тогда служил, захожу домой. У жены вопрос в глазах: «Зачем тебя вызывали в Москву?» Я говорю: «Афганистан, мать!» –

«И ты согласился?» «Нет, говорю, – не согласился, потому что я подонок и за шкуру свою трясусь. Ты так хотела?» Гляжу, дети заплакали. Говорю жене: «Ты скажи им, чтобы успокоились, я так не могу, они мне рвут сердце». Проходит десять месяцев – это было два месяца назад – я встречаю их в прифронтовом городе Ташкенте, они выросли, каждый на голову. Дочка покрупнее, Тимоха помельче. Конечно, рады: папка приехал. Я им подарки, все прочее... Теперь письма пишут: не надо нам ничего привозить, только пусть папка приедет. Хотя бы на одну минуточку...

На этом мои записки заканчиваются. К вечеру мы улетели, пробыв в Рухе сутки, и за эти сутки увидели и поняли столько, сколько не довелось узнать за всю командировку в Афганистан. Мы поняли цену этой войне, весь ее ужас, боль и кровь, благородство и храбрость тех, кто по воле власть предержащих был вынужден воевать – и умирать – на этой чужой земле. Мы поняли, что есть неизмеримо более высокие ценности, чем звания, награды, посты, – глоток холодной воды, минута тишины, помощь друга. Мы всю отведенную нам тогда Судьбою ночь пили с командиром полка и замполитом водку, а когда водка кончилась, то пили и спирт, читали стихи, пели песни, памятные по той великой войне, что называли Отечественной, и разговаривали, разговаривали... Мы были для них людьми с Большой земли, чудом заброшенные в этот испепеленный кровавыми боями уголок Афганистана, и они жадно расспрашивали нас о Москве, о новых кинофильмах и театральных премьерах, которые, они это знали, им не повезет увидеть. А мы – три столичных литератора и один журналист – отвечая на их вопросы, рассказывая им свежие московские анекдоты, еще не понимали до конца, до самого сокровенного, что именно они, два молодых командира, уйдут завтра в бой – не киношный, настоящий и, кто знает, может быть, уже никогда не вернуться. Не понимали мы и того, что именно этим молодым майорам в их небольшие годы давно открылась Истина – что есть Жизнь и Смерть. И цена этой Истины – страшная цена, которую платили эти ребята и их товарищи за никому не нужную войну.

* * *

Прошли годы... В начале 90-х дома раздался звонок. «Здравствуй, братка!» – услышал я в телефонной трубке уже подзабытое, но возможное только у одного человека, обращение, различное среди тысяч.

– Коля, ты?

– Я, братка. Вот нахожусь в Москве, хотелось бы повидаться.

Господи, как он изменился! И в то же время не изменился: все то же, характерного цвета лицо – буро-красное, опаленное вьедливым афганским солнцем, кряжистая фигура, хрипловато-басистый голос... Вот разве что морщин стало побольше, седина чуть тронула волосы, да килограммов двадцать, а то и поболее, прибавилось. Да они ему и не мешали, а скорее придавали положенную солидность, ибо на плечах Николая Петрова шитым золотом светились уже не майорские – генерал-майорские погоны.

За те годы, что мы не виделись, довелось хлебнуть ему всякого: после того как 40-я армия вышла из Афганистана, получил он новое – уже в звании полковника – назначение командиром полка в Закавказье. Ненадолго: последовала новая должность – начальник штаба дивизии в Кировакане. И там вскоре грянула беда – разрушительное землетрясение, и его дивизии пришлось разгребать завалы рухнувших домов, спасать людей, обустраивать и обогревать их. Снова горе, кровь, слезы... И уже всюду разгорался конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе – по сути, настоящая война, где он, уже командир дивизии, был даже захвачен в плен – группа неизвестных, угрожая комдиву смертью, требовала от него передать в их подчинение всю технику танкового полка.

Он и здесь выдюжил, не дрогнул... Дети, жена – вот за кого было страшно. Маша, наверное, и передохнула-то первый раз в жизни, когда приехал супруг в Москву, учиться в Академии Генерального штаба. Относительно комфортабельная квартира в общежитии Академии, возможность на концерт с мужем сходить, в театр... Никогда они такой роскоши не имели – за все годы совместной, да назовешь ли ее совместной, жизни.

С той учебной поры в жизни Коли мы подружились уже совсем крепко. Я был в курсе всех его дел – встречались, обменивались новостями, выпивали с ним и его друзьями-однокашниками: Юрой Аверьяновым, Володей Гошкочерам.... Переживал, как Коля выпускные экзамены сдаст, куда назначение получит, – выпало замкомандующего армией на Дальний Восток. Теперь уже перезванивались, иногда, когда по службе в столицу наезжал – непременно встречались. Все, казалось бы, было мне известно о нем, да не все... Не знал я тогда только одного – тяжело, очень тяжело был болен Николай Васильевич, братка...

Позже он мне все-таки расскажет о том, еще афганском эпизоде, с которого и начала его доставать болезнь. Армейская разведка сообщила: в районе

Рухи появился сам Ахмат Шах Масуд. Петров получил команду: захватить его в плен. Дурацкая, бессмысленная команда: прекрасно оснащенный и вооруженный, стремительно перемещавшийся из точки в точку, Ахмат Шах был практически неуловим. Но приказ есть приказ... Группу поисковиков возглавил сам Коля. Лазили по горам несколько суток – почти налегке, с полной выкладкой там не побегаешь. А осень на вершинах – штука коварная: днем солнце, ночью – резкий холод. Однажды ночью вышли на перевал. Командир, видя, насколько измучены его люди, дал команду: спать! Упали, как стояли – на снег, заснули в мгновение. Ночью их холод и достал – кто тяжело обморозился, а у Коли почки прихватило...

И дали знать те почки о себе на Дальнем Востоке. Сначала одну удалили, процесс на вторую перешел... Хотели вообще из армии списать, да вступился тогдашний министр обороны Игорь Николаевич Родионов: знал он Петрова многие годы – и когда командовал 40-й армией, и когда был начальником академии, где Коля учился. Тот и звал его «батей».

И получил Николай Васильевич свое последнее назначение – облвоенкомом в Пензу.

Кто мог тогда знать, что назначение это действительно станет последним. Процесс углублялся, Коля раз за разом оказывался на больничной койке. Чуть оклемается – опять выходил на службу, сделав свой военкомат одним из лучших в стране. И снова госпиталь... Он держался на своей последней почке как мог: несмотря на едва выносимые боли, на то, что почти ослеп. Маше однажды, в минуту ее отчаяния, сказал: «Не бойся, я не застрелюсь...». А боли действительно были адские...

Он умер в 49 лет. Не дожив всего год до полста, до той счастливой поры, когда его военные сверстники, ставшие генералами, только вступали в пору взлета карьеры. Не нажив имущества особого, не дождавшись внуков... Афган все-таки достал братку... Проклятый Афган...

Операция «СПИД»

Стала ли моя командировка в Афганистан той отправной точкой, которая помогла «прозреть», понять, как усилиями советской пропаганды и агитации извращается правда – не важно, о войне ли, о нашей жизни внутри страны, о реалиях существования каждого советского человека? Покривлю душой, если скажу, что та, пусть даже в небольшой степени открывшаяся мне горь-

кая истина о наших боевых действиях в Афгане, перевернула душу, пробудила диссидентские настроения, заставила, в конце концов, положить на стол партийный билет. Ничего подобного! Дух приспособленчества диктовал нам правила игры, квинтэссенцией которых была родившаяся в недрах народа поговорка: «Не ссы против ветра...». Потому-то, вернувшись в Москву, и написал я об Афганистане так, как требовали условия игры – вполне духоподъемно. Да и кто бы тогда отважился на иное – разве что диссиденты-одиночки в самиздатовских публикациях, которые доходили до Отечества в трансляциях «Голоса Америки» и «Свободы», чьи радиоволны едва прорывались к нам сквозь вой многочисленных глушилок.

Нет, не был я ни диссидентом, ни, как сказали бы теперь, оппозиционным журналистом, а был исправным членом партии, в которую вступил в 1981 году. Вступил, прекрасно отдавая себе отчет, что только «через партию» можно делать карьеру, а значит, добиваться неких благ, которые полагались по мере карьерного роста – более высокая должность, соответствующая зарплата, казенная дача, специальная поликлиника... Так оно и вышло – вскоре после вступления в партию я стал заместителем Свирина, который и был одним из тех, кто рекомендовал меня в «ряды». Вторым был Костенко – и его рекомендация дорогого для меня стоила: я был единственным человеком в редакции, которого Ким рекомендовал в КПСС. Все это было нужно не столько мне, сколько семье – подрастали сын и дочь, их требовалось кормить, лечить, «выгуливать» на свежем дачном воздухе, но все это – и дача, и спецполиклиника пресловутого 4-го Управления, и казенные пайки – давалось тебе только в том случае, если ты исправно соблюдал законы «стаи».

Так жили миллионы, десятки миллионов – одни похуже, другие получше, и я отнюдь не был исключением. И все-таки командировка в Афганистан, открывшееся мне там, нет-нет да давали о себе знать какой-то глухой, едва ощущаемой болью – то ли в сердце, то ли в мозгу. Что-то изменилось во мне – необъяснимо, неуловимо, заставляя время от времени задумываться о том, как же хреново все мы живем, погруженные в густую атмосферу вранья. Я не мог никому рассказать об этом... Написал только несколько стихотворений, где попытался передать свои ощущения от поездки в Афганистан, но никому их не показывал (только много позже мой друг Юрий Петерсон положит эти стихи на свою музыку и впервые исполнит наши песни в концертном зале «Олимпийский» на вечере-встрече афганцев, а затем они будут выпущены на диске).

И все-таки мое журналистское любопытство порой подкидывало мне ситуации, которые отнюдь не по моему желанию, а уж тем более предвидению,

шли вразрез с общеустоявшимися правилами. Так произошло и в нашумевшей истории с одним из моих интервью, которое «Советская культура» опубликовала 7 декабря 1985 года. Называлось оно «Что же такое СПИД?» и имело подзаголовок «На этот вопрос отвечает директор Института вирусологии имени Д.И. Ивановского АМН СССР, академик АМН СССР профессор В.М. Жданов».

Собственно, «раковая эпопея», о которой мне уже довелось рассказать, только упрочила мой интерес к исследованиям в области медицины. Я поддерживал контакты со многими видными учеными, в том числе и с Виктором Михайловичем Ждановым – крупнейшим нашим вирусологом, ведущим специалистом по гриппу и вирусному гепатиту. В сфере его интересов оказался и СПИД – заболевание, к которому в 1985 году в силу определенных причин (об этом я расскажу чуть позже) было приковано внимание не только ученых, но и политиков ведущих стран мира.

Напомню, что вирус болезни, получившей у нас название СПИД – Синдром Приобретенного Иммунодефицита (современное название: ВИЧ-инфекция – Вирус Иммунодефицита Человека) был впервые обнаружен в 1983 году французским ученым Люком Монтанье из Института Пастера. Дальнейшие исследования показали, что вирус этот, попадая в организм человека, атакует клетки, которые играют существенную роль в формировании иммунитета. Этот процесс может приводить к очень глубоким изменениям в защитной системе организма: он оказывается беспомощным против любой, самой безобидной инфекции, которая в данном случае становится смертельно опасной.

Сегодня о ВИЧ-инфекции, уже убившей миллионы человек, знают все. Но тогда она была еще мало изучена и скорее привлекала внимание ученых, чем простых людей. Вот тут-то, казалось, и должны были вступить в действие средства массовой информации, чтобы разъяснить смертельную опасность, которую таил неизвестный прежде вирус. Они и вступили: но отнюдь не по нормам цивилизованного мира, а по воле КГБ, задумавшего очередную тайную пропагандистскую операцию.

Все началось в середине 1983 года, когда в малоизвестной индийской газете «Патриот» появилась статья, утверждавшая, что вирус СПИДа создан искусственно в результате генетических экспериментов, якобы проводившихся в военных лабораториях Форт-Детрика (штат Мэриленд, США) с целью разработки новых видов биологического оружия. Годы спустя станет известно: издававшаяся в то время в Дели газета «Патриот», выходявшая тиражом около 35 тысяч экземпляров, была просоветским органом, созданным Советским Сою-

зом в Индии для пропагандистских целей. По словам перешедшего в 1980 году на Запад бывшего офицера КГБ Ильи Джирквелова, «Патриот» был создан КГБ в 1962 году специально «для публикации дезинформации».

Но тогда эти факты не были известны, и публикация в «Патриоте» сразу же привлекла внимание специалистов. В ответ на запрос американцев, интересовавшихся, на чем базируются утверждения газеты, редакция сообщила, что обвинения эти будто бы содержались в письме на имя редактора. Это письмо было якобы отправлено из Нью-Йорка «известным американским ученым-антропологом», который предпочел «остаться анонимным». В письме заявлялось, что «таинственная смертельная болезнь (СПИД), по-видимому, является результатом экспериментов Пентагона по разработке нового опасного биологического оружия».

Итак, информация была брошена. И вот спустя два года, 30 марта 1985 года, через 27 месяцев после появления упомянутого выше письма в газете «Патриот», орган Союза писателей СССР «Литературная газета» опубликовала большую статью Валентина Запевалова, озаглавленную «Паника на Западе, или Что скрывается за сенсацией по поводу СПИДа». По словам автора, статья эта «раскрывает историю СПИДа и привлекает все факты, даже те, которые кажутся малозначимыми». А далее прямо говорилось, что автор большую часть своей информации почерпнул из... «влиятельной индийской газеты «Патриот». И, действительно, некоторые из обвинений, выдвинутых «Литературкой», почти слово в слово повторяли утверждения, приводимые «Патриотом», в том числе и то, что «специалисты из Форт-Детрика создали таинственный вирус СПИДа», который Запевалов вслед за индийской газетой назвал «биологическим оружием». Он, правда, не упомянул ни первоисточник обвинения – некое анонимное письмо, ни дату публикации в «Патриоте» – тем самым создавалось впечатление, будто газета только-только выступила со своими разоблачениями.

И началось... Изложение публикации «Литературки» тут же повторило Московское радио, вещавшее на зарубежные страны, статьи на ту же тему появились в «Советской России», «Красной звезде», многих других изданиях, в публикациях ТАСС и АПН. Усилиями последних сообщения эти распространялись по всему миру, появлялись в десятках газет, как симпатизирующих СССР, так и ничего не подозревающих о тайной операции КГБ. Все эти публикации так или иначе разрабатывали утверждение о том, что «создание» в Соединенных Штатах вируса СПИДа является новым, еще более чудовищным примером деятельности США в области разработки биологических вооружений. Причем

в нарушение существовавших тогда международных соглашений по контролю над вооружениями.

Вся эта кампания, раздутая в первую очередь в советских средствах массовой информации, преследовала сразу несколько целей. Во-первых, ставилась задача в очередной раз дискредитировать США и разжечь антиамериканские настроения у советских людей. Подкреплялись и выдвигаемые советской пропагандой в те годы обвинения, будто Соединенные Штаты заняты подготовкой к биологической войне. К тому же идеологическая операция, рожденная в недрах КГБ, связывая присутствие американского персонала в других странах с распространением СПИДа, преследовала и задачу подрыва оборонительных договоров США с их союзниками: подобное давление было направлено на ликвидацию там американских военных объектов. Наконец, убеждая советских граждан в том, что «американский империализм» несет ответственность за проникновение страшной болезни в СССР и Восточную Европу, наша пропаганда тем самым предупреждала развитие контактов соотечественников с американцами – туристами, дипломатами, деловыми людьми.

Что ж, война есть война, даже если она «холодная», базирующаяся на клевете и дезинформации. В конце концов, тайные службы всего мира занимаются этим испокон веку. Но задумаемся о другом: утверждая, что СПИД – «чудовищное порождение Пентагона», КГБ тем самым связывал руки нашим ученым, лишая их возможности всерьез заняться изучением ВИЧ-инфекции, перекрывая им доступ к важнейшей информации об исследованиях мировой науки в этой области. А ведь в те годы наша вирусология была одной из самых сильных в мире. Позже академик Жданов расскажет мне, что, несмотря на многочисленные приглашения из-за рубежа, его – ведущего специалиста страны по проблеме СПИДа – даже не выпускали на международные симпозиумы и конференции, где ученые вели серьезный разговор о том, как же победить «чуму XX века».

Конечно же, все, о чем я рассказал выше, в те годы было мне неизвестно. Естественно, я читал статью в «Литературке», других изданиях, и мне просто захотелось рассказать читателям «Советской культуры» о том, что же это такое – СПИД? С этой целью я и попросил Жданова о встрече и интервью.

Академик согласился. Кто бы тогда мог подумать, что интервью с ученым вызовет подлинную сенсацию во всем мире.

Что же произошло? Казалось бы, ничего из ряда вон выходящего – просто Виктор Михайлович честно и неподвзято изложил мне свою точку зрения на происхождение СПИДа. По его словам (цитирую по опубликованному мною

в газете тексту), «было бы ошибочным считать, что болезнь возникла, скажем, в 1981 году. Предположительно можно говорить, что это произошло в давние исторические времена. Просто ее не умели распознавать... Мне думается, что в Центральной Африке болезнь существовала многие столетия, если не тысячелетия. А первые выходы ее по миру могли произойти еще в эпоху работорговли... Что же послужило толчком к резкому распространению СПИДа в США и Западной Европе в наше время? К одной из общих причин можно было бы отнести резкое усиление международных общений, происшедшее в послевоенное время, особенно начиная с 60-х годов XX столетия. Умножились контакты – увеличилась и возможность заболевания. Но, пожалуй, наиболее весомым фактором в распространении СПИДа стала так называемая «сексуальная революция», происходившая на Западе в 70-е годы...».

И ни слова о происках Пентагона! Вместо этого – вдумчивое, серьезное рассуждение большого ученого об истоках болезни, ее истории, положении дел, перспективах борьбы с ВИЧ–инфекцией. А ведь знал, знал Виктор Михайлович о публикациях в советской печати. Уверен: совесть исследователя, осознание того, что человечеству грозит смертельная опасность, не позволили ему повторять лживые измышления советской пропаганды. Кстати, спустя год после публикации нашего интервью Жданова все-таки выпустили в Париж на Вторую международную конференцию по проблемам СПИДа. Когда в ходе состоявшейся там пресс-конференции корреспондент агентства «Рейтер» прямо спросил его, был ли все-таки вирус СПИДа создан в США, Виктор Михайлович ответил: «Абсурдный вопрос. Может, виноваты марсиане...».

Но это, напомним, произойдет год спустя, а пока я стал обладателем интервью, внимательно прочитанного и завизированного академиком Ждановым. Говорю об этом намеренно, ибо визе ученого и предстояло сыграть решающую роль в предыстории нашей публикации.

Итак, текст интервью был получен, и, как требовали тогда правила, я направил его в цензуру для предварительного прочтения. Были у меня тогда с цензором, который изучал материалы «Советской культуры» перед их публикацией, вполне дружеские отношения – особенно когда мы как-то выяснили, что оканчивали один и тот же факультет педагогического института. Прочитав интервью и вроде бы не найдя в нем ничего особенного, цензор позвонил мне и задал только один вопрос: является ли Жданов членом какого-либо из Отделений Академии наук СССР?

Вопрос был не случаен. Дело в том, что по установленным тогда правилам только виза такого «члена» давала «зеленую улицу» для публикации материала

в печати без дополнительных контрольных проверок со стороны цензуры. Я прекрасно знал это, как и то, что Жданов был «всего-навсего» академиком Академии медицинских наук СССР, а не членом, как ее называли тогда, «большой» Академии. Знал и, каюсь, сознательно обманул цензора, утвердительно ответив на его вопрос.

Почему я это сделал? Сегодня, спустя много лет, ответить на этот вопрос непросто. Нет, я ни сном ни духом не ведал, какую взрывную силу таит наше интервью. Скорее, быть может, интуитивно чувствовал, что в ситуации со СПИДом «что-то не так», но, зная Жданова не первый год, абсолютно полагался на его научную компетенцию и политическую осторожность – вряд ли, думалось мне, директор крупнейшего научно-исследовательского института допустит в своем интервью какие-нибудь «ляпы». К тому же хотелось избежать лишних цензурных «проволочек» – слишком хорошо знал я эту организацию, способную из соображений «как бы чего не вышло» загубить любой материал.

Вот уж поистине, обманывая цензора, не ведал я, что творил. Как бы там ни было, он поверил мне на слово, разрешив публикацию, и 7 декабря 1985 года интервью, снабженное крупным заголовком «Что же такое СПИД?», было напечатано в «Советской культуре». Тут-то все и началось...

Через несколько дней, случайно включив «Голос Америки», я, к своему изумлению, услышал сообщение, повергнувшее меня в ступор: посол США в СССР господин Артур Хартман сделал официальное представление «Литературной газете» и «Советской России» по поводу публикации ими дезинформационных материалов в связи с якобы искусственным происхождением вируса СПИДа в военных лабораториях США. Основанием для подобного представления и послужило интервью академика Жданова в «Советской культуре».

На следующий день, как только я пришел на работу, меня вызвал Костенко. Ответственный секретарь был явно в замешательстве.

– С утра звонили главному, – сообщил он. – И из ЦК, и из КГБ. Интересовались, каким образом в газете появилось твое интервью с Ждановым.

– А что случилось? – я изобразил недоумение. – Интервью как интервью. Есть виза академика, печать института, который он возглавляет.

– А что цензура?

– Цензура разрешила, – спокойно ответил я, конечно же умолчав о своем обмане.

– Тогда ничего не понимаю, – удивился Костенко. – Чего они все так всполошились...

Я, честно говоря, тоже ничего не понимал. Ну, интервью, ну, точка зрения ученого на проблему СПИДа... Разве могло мне тогда прийти в голову, что данная публикация, изложение которой было перепечатано всеми ведущими изданиями мира, нанесла серьезнейший удар по кампании лжи, рожденной в недрах КГБ. Но, увы, не остановив ее. Еще почти год в советских газетах появлялись материалы, муссирующие всю ту же тему. Но уже как-то вяло – на Лубянке, очевидно, просто пытались смягчить удар, нанесенный советской пропаганде академиком Ждановым.

А о том, что удар этот оказался достаточно сильным, свидетельствует официальное письмо, направленное послом США в СССР Хартманом главному редактору «Литературной газеты» Александру Чаковскому 25 июня 1986 года. Вот его текст:

Уважаемый г-н Чаковский!

С чувством огорчения и разочарования я вынужден вновь писать Вам по поводу странного обращения вашей газеты с тематикой СПИДа. На сей раз речь идет об опубликованной 7 мая статье, повторяющей абсурдное обвинение в том, что СПИД якобы представляет собой разработанное ЦРУ и Пентагоном средство химической войны. Утверждения эти столь же возмутительны, сколь и лживы. Можно было бы ожидать, что издание, афиширующее себя в качестве органа творческого союза, постаралось принять все меры к тому, чтобы появляющиеся в нем материалы были соответствующим образом проверены и научно достоверными. Тем не менее, анонимный сотрудник Вашей редакции, отредактировавший оскорбительную статью, по-видимому, не осведомлен даже о мнениях советских ученых по поводу СПИДа. Например, всемирно известный иммунолог академик Виктор М. Жданов в номере «Советской культуры» от 7 декабря заявляет, что все данные указывают на то, что болезнь зародилась в Центральной Африке, что она, по всей видимости, родственна аналогичному вирусу, обнаруженному у обезьян, и что вирус этот, возможно, существует уже несколько сот и даже тысяч лет или развился из другого вируса...

Исследования, в которых принимает участие и Советский Союз, не выявили ни малейшего доказательства в поддержку утверждений о том, что американские правительственные органы каким-либо

образом ответственны за создание и распространение болезни. Читая многочисленные клеветнические статьи, появившиеся за последнее время в Вашей газете, я прихожу к выводу, что все они не более, чем неприкрытая и злонамеренная попытка посеять среди советских граждан ненависть и страх к американцам и использовать медицинскую трагедию, непосредственно касающуюся всех жителей Земли, включая и советских граждан, для низменных пропагандистских целей...

Прошу опубликовать настоящее письмо в разделе писем редактору.

С уважением,
Артур А. Хартман.

Конечно же, письмо это опубликовано не было. Равно как и аналогичное письмо, направленное послом Хартманом главному редактору газеты «Советская Россия» Валентину Чикину. Очевидно, на этот раз цензура свое не пропустила...

Перестройка начинается

Но, быть может, у того факта, что за публикацию о СПИДе отделался я легким испугом, были свои, гораздо более глубокие причины. Ведь за несколько месяцев до этой публикации 11 марта 1985 года, на следующий день после кончины «очередного» престарелого генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко на его место был избран Михаил Горбачев – молодой, по меркам старцев из Политбюро, секретарь ЦК: было ему тогда 54 года. Вскоре он произнесет историческую фразу: «Больше демократии, больше социализма», и с этого момента начнутся в обществе процессы, которые в конечном счете приведут и к развалу Советского Союза, и к краху мировой системы социализма, и, если говорить менее глобально, кардинально изменят мою судьбу.

Как бы незаметно, исподволь приближалась к нам в те годы реформа общества, которую позже назовут «перестройка». В редакции первый ветерок перемен почувствовали еще при жизни Андропова, когда на пенсию был отправлен Алексей Владимирович Романов. Едва ли не накануне отставки в банкетном зале гостиницы «Советская» мы праздновали его 75-летие, на ко-

торое он пригласил практически всех сотрудников редакции. Уже поговаривали, что «деда» отправят в отставку, но верить этому не хотелось – мы свыклись и с его характером, и с причудами, знали, что он пропустит в газету, а что «завернет», и, если говорить без обиняков, вообще-то любили его, понимая, что имеем дело не с самым худшим главным редактором в нашем газетном мире.

Вскоре на место Романова с поста первого заместителя министра культуры СССР был назначен в газету Юрий Барабаш. Впрочем, проработал он в газете всего около двух лет: Барабаш долго и тяжело болел, и потому в редакции мы его почти не видели. Да и в памяти о нем почти ничего не осталось: вот разве запомнилось, что, в отличие от Романова, в кабинет которого можно было зайти в любое время, Барабаш повесил над дверью, словно у входа в гинекологический кабинет, табло, на котором огненно светилась надпись: «Не входить! Идет работа над номером!». Над каким уж там номером Юрий Яковлевич работал в гордом одиночестве, было известно, очевидно, ему одному, но к нему особо никто и не рвался. Ибо бывший первый замминистра, а до того директор Института истории искусств был так же далек от газетных будней, как и созданные им труды типа «О методологии литературного анализа» или «Вопросы эстетики и поэтики».

Но вот оттремели траурные салюты по почившему в бозе Андропову, а вслед за ним и Черненко, канул в небытие Барабаш... Волна перестройки, накотив на редакцию, вплеснула в редакторское кресло Альберта Андреевича Беляева – фигуру, прежде широко известную в основном в писательских кругах. А известен он был тем, что, будучи заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС, был основным куратором Союза писателей и литературных журналов.

Писатель Анатолий Рыбаков, заставивший многих поверить в общественные перемены после того, как был опубликован его роман «Дети Арбата», в своей книге «Роман-воспоминание» писал: «Сектором литературы в ЦК КПСС ведал Альберт Андреевич Беляев, в прошлом комсомольский работник, а до того матрос торгового флота, он знал английский язык, в общем, ходил в «филологах». Человек лет сорока, с холодными голубыми глазами...», Беляев и вправду служил когда-то матросом, о чем напоминал якорек, неприметно вытатуированный на кисти руки. Был он подчеркнуто вежлив, но как-то отстраненно, без видимого благорасположения. И холодом от него веяло каким-то «номенклатурным»: высокий пост в ЦК и право решать судьбы писателей и их произведений не могли не наложить на него свой отпечаток. Слыл он верным стражем

идеологических догм эпохи застоя, и тем удивительнее казался новый виток его карьеры – в «Советскую культуру» он был направлен в качестве проводника демократических перемен, провозглашенных Горбачевым.

Именно в это время в наш обиход вошло новое словечко «гласность». Авторство этого термина приписывали секретарю ЦК Александру Яковлеву, который, по его словам, «активно способствовал тому, чтобы живительные воды гласности утолили духовную жажду правды в обществе, продвинули человека к свободе». За этими красотами стояла непримиримая борьба, разгоревшаяся между Яковлевым и еще одним секретарем ЦК – Егором Лигачевым. Первый достаточно широко трактовал такие понятия, как «свобода слова», «историческая правда», понимая под ними право тех же средств массовой информации на полную открытость – начиная от правды о прошлом до реалий настоящего. Второй полагал, что гласность обязана служить укреплению социалистических идеалов, она должна регулироваться и дозироваться, дабы не навредить партии и государству.

К этой борьбе мы еще вернемся, пока же скажу, что приход Беляева в «Советскую культуру» с первых дней его работы вызвал в редакции чувство всеобщей настороженности. Это чувство усугублялось с каждым днем: вскоре стало известно, что уходит Мамлеев – своего первого заместителя Беляев и «съел» едва ли не первым. Правда, к моему глубочайшему сожалению, до этого в «Труд» ушел Володя Свирин, очевидно почувствовав изменившуюся к худшему обстановку в редакции.

Мне было особенно грустно в те дни, ибо я во многом считал Мамлеева своим учителем, сыгравшим большую роль и в становлении меня как журналиста, и в карьерном росте – с его подачи я к тому времени вместо Свирина уже исполнял обязанности редактора отдела информации. И вот ДФ уходил... А ведь это именно он, пожалуй, первым ощутил плодотворные, живительные возможности гласности для газеты – на страницах «Советской культуры» стали появляться такие материалы, о которых и помыслить-то раньше было невозможно. И читатель оценил изменившийся характер «СК» – как на дрожжах стал расти ее тираж.

Мамлеев будоражил всю редакцию, требуя от меня и других журналистов острых, ярких материалов, и мы невольно загорались его идеями, ощущением пьянящего чувства свободы, открытого временем. Беляев же отнюдь не разделял этих чувств. И та правда истории, которая вырвалась из темных подвалов спецхранов, виделась ему скорее «по-лигачевски» – догматик, ориентированный еще на сталинские «табу», он с трудом восприни-

мал, а уж тем более пропускал на страницы газеты материалы, так или иначе разрушающие крепостные валы идеологии советского периода.

Помнится, в те дни наш собственный корреспондент по Воронежской области Эдик Ефремов прислал мне неизвестные ранее фотографии периода воронежской ссылки Осипа Мандельштама, найденные местными краеведами. Казалось бы, маленькая, но сенсация. «Мы не будем печатать это», – через губу произнес Беляев. И нашел потрясшую меня мотивировку: «Мы – не «Литературная газета»

Дело понятное: для бывшего партийного функционера от литературы фамилия Мандельштам была подобна красной тряпке для быка. И если бы только она одна... Прошло несколько месяцев, и вместе с моим другом Борей Шапиро-Тулиным мы написали статью, в которой, быть может, впервые в нашей стране рассказали правду о гибели великого актера Соломона Михоэлса, убитого по прямому приказу Сталина. На этот раз Беляев отказался печатать этот материал без всяких отговорок: прочитав гранки, он просто вернул их мне через своего секретаря.

Спас дело случай: в начальные годы перестройки стало модно устраивать выездные встречи редакции с читателями по разным городам и весям. Готовилась такая встреча и в Ленинграде, причем ее должно было транслировать телевидение в прямом эфире. И я подговорил своего ленинградского приятеля Мишу Кушнира, отправившегося на эту встречу, задать Беляеву вопрос о Михоэлсе. Улучив момент, когда речь шла о творческих планах «Советской культуры», Миша поднялся и спросил: «А собирается ли газета рассказать о трагической гибели Михоэлса?». Куда было деваться Беляеву: тут уже не сошлешься на то, что это, мол, не наша тема. И он ответил утвердительно. Причем на всю страну. Прямо перед телекамерами.

На следующий день, когда группа вернулась в Москву, я зашел к Альберту Андреевичу и положил ему на стол гранки статьи о Михоэлсе. Молча, ничего не комментируя. И также молча Беляев написал на них: «Печатать!»...

В подобной атмосфере Мамлееву приходилось, конечно же, тяжелее всех: демократ по натуре, он и газету стремился сделать сугубо демократический. Но вместе с единомышленниками – а первым в их числе был Костенко – постоянно натыкался на плотный заслон идеологических рогаток.

В последний день работы он неожиданно вызвал меня в кабинет. Достав из папки, лежащей на столе, какую-то бумажку, протянул ее мне:

– Это все, что я могу сделать для тебя, – сказал он.

Я вчитался в печатные строки. Они гласили, что с сегодняшнего дня я назначен редактором газеты по отделу информации...

Надеюсь, что ДФ никогда не жалел об этом поступке. Я и потом, когда жизнь повернулась к нему далеко не самой светлой своей стороной – много позже его настигнет инсульт, а потом уйдет из жизни замечательная Клара Степановна Лучко, и он, по сути, останется один, опекаемый только дочерью актрисы Оксаной, – старался всячески поддерживать его: отнюдь не в знак благодарности за когда-то сделанное, а в знак величайшего к нему уважения. Я буду уговаривать ДФ написать книгу воспоминаний, и он сделает ее, а главы из этой книги впервые появятся на страницах «Частной жизни». И отрывки из книги воспоминаний Клары Степановны «Виновата ли я?», соавтором и редактором которой он стал, тоже впервые будут напечатаны в нашей газете. А когда она уйдет – в одночасье, за несколько месяцев до своего 80-летия, – чем могу, помогу, чтобы на ее могиле на Новодевичьем встал памятник, достойный этой замечательной актрисы. Время от времени ДФ, в зависимости от самочувствия, будет заглядывать к нам в редакцию или я буду заезжать к нему в «высотку» на Котельнической набережной, и мы снова и снова станем погружаться в воспоминания, общаясь почти на равных, хотя и разделенные возрастом более чем на два десятка лет: Учитель и ученик.

Одиноким, живущим на скудную пенсию, он, конечно же, будет тосковать по жене и однажды скажет: «А знаешь, я постарался внушить себе, что она в долгой командировке, на съемках...». И я незаметно для него сглотну комочек, внезапно перекрывший горло и саданувший по сердцу... Что поделаешь: жизнь часто несправедлива к хорошим людям: так оказалась она несправедлива и к тем, кто навсегда вошли в душу мою – и Ким Прокофьевич, и Дмитрий Федорович...

Между тем, вскоре после ухода Мамлеева из редакции, в его кабинете воцарился новый первый заместитель Беляева – Олег Иванов. Очередной посланец ЦК, где он трудился на посту заведующего сектором изобразительных искусств. Подбиралась та еще команда – бывший цекковский начальник писателей, бывший начальник художников... Но, поскольку Бог любит троицу, третьим оказался бывший заведующий сектором телевидения и радио ЦК Григорий Оганов – в прошлом начальник телевизионщиков, пришедший к нам на введенный специально для него пост политического обозревателя, а, по сути, ставший то ли правой, то ли левой рукой Беляева. Во всяком случае, отныне газетой руководила именно эта троица.

И наступили в «Советской культуре» новые времена. Собственно, это тоже была перестройка, но на какой-то особый манер, привнесённый новыми руководителями со Старой площади. Началась кипучая реорганизация: отделы сливали, разливали, переименовывали, внедряли новые штатные расписания, переселяли людей из кабинета в кабинет – жизнь кипела и бурлила... Конечно, все это делалось не в одночасье, а на протяжении нескольких лет, и были эти годы отмечены глобальными процессами, происходившими в стране.

Собственно, страны как таковой уже не было – она разваливалась. Пожалуй, впервые я это остро почувствовал, когда в 1987 году вспыхнул конфликт в Нагорном Карабахе, свидетелем и очевидцем которого мне довелось стать.

Так уж исторически сложилось, что в Нагорном Карабахе более 70 процентов населения составляют армяне. Но это отнюдь не принималось во внимание, когда в 1923 году эти территории были преобразованы в Нагорно-Карабахскую область и включены в состав Азербайджана. Кто бы тогда осмелился пикнуть! Осмелились только спустя 60 лет, на волне всеобщих преобразований в стране – армяне потребовали присоединить Нагорный Карабах к своей исторической родине. Азербайджан ответил резким отказом... Вспыхнул конфликт – кровавый, страшный, усугубленный многовековыми межнациональными распрями, копившимися и все годы советской власти.

Информация о возникшей ситуации стекалась в Москву крайне противоречивая – та, которая была выгодна той или иной враждующей стороне. И вот, чтобы получить хоть какую-то объективную картину, в ЦК приняли решение сформировать две группы журналистов. Одну направить в Армению, вторую в Азербайджан, дабы потом они могли поменяться местами.

Я, к своему вящему удовольствию, оказался в одной группе с Володей Свириным – нас направили в Баку. Конечно, за годы журналистской деятельности довелось повидать многое, но то, что открылось нашим глазам в столице Азербайджана, стоит перед глазами и по сей день. В городе был введен комендантский час, улицы блокировали танки и БТРы. Несмотря на это, центральная площадь Баку – имени Ленина – напоминала кипящий котел, до краев переполненный взбудораженной, орущей толпой, требовавшей расправы над армянами. Десятки тысяч людей взрывались в едином порыве, взметая над головами антисоветские и националистические лозунги. По периметру бушевавшей площади стояли палатки, где неделю за

неделей жили азербайджанцы, приехавшие в Баку со всей республики. Горели костры, над ночной площадью метались лучи прожекторов... Город, некогда славившийся своим интернационализмом, объединявший под теплым солнцем русских и армян, евреев и украинцев, всех, кто хотел найти здесь работу, любовь, жизнь, в одночасье превратился в страшный человеконенавистнический анклав, жаждущий чужой крови и плоти.

Вот только одна сцена... Разъяренная толпа человек в двадцать несется по улице за пожилой армянкой, убегаящей от преследователей. Еще миг, и, кажется, ее растерзают – немолодая женщина в последнее мгновение находит спасение у наших солдат, окруживших ее плотным кольцом и передернувших затворы автоматов. Только это останавливает преследователей, ведомых полубезумным бритоголовым азербайджанцем в длинной солдатской шинели и с зеленой повязкой на лбу. И – пена у рта, налитые кровью глаза, бессвязные выкрики...

Еще страшнее было видеть разрушенные в ходе конфликта армянские и азербайджанские села, сожженные дома, разгромленные школы... Все повторялось зеркально – и в Азербайджане, и в Армении. Я видел войну – в Афганистане, но здесь была другая война: без оглядки на «своих» и «чужих», без пощады к старикам и детям, против иноверцев, против «чужой» крови. И ведь кто-то стоял за ней, кому-то она была выгодна... Вопрос «кто?» и по сей день остается без ответа, как и по сей день не определен статус Нагорного Карабаха – конфликт, словно пожар на торфяниках, бушует скрытно, готовый вновь разгореться в любой миг.

А в ЦК наши отчеты, написанные после приезда, по-моему, так никого особенно и не заинтересовали. Впрочем, может, и не до них было: повсюду в стране бушевали мало управляемые страсти. Нам в своих газетах ничего не разрешили писать об увиденном – к чему, мол, подливать масло в огонь. Отдельвались сообщениями ТАСС, официальными материалами.

В период перестройки многодумное ЦК осенила и еще одна идея. Принадлежала она Егору Кузьмичу Лигачеву (впрочем, Егором он был для народа – приближенные партработники почему-то называли его в обязательном порядке Игорем). И заключалась эта идея в том, чтобы отправить несколько десятков журналистов центральных газет в провинцию – там, мол, перестройка идет медленно, так пусть передовой отряд мастеров пера займется ее «ускорением».

В этот «передовой» отряд угодил и я. Командировка, полученная мною в ЦК КПСС, гласила: «Тов. Шварц В.И. командировается в г. Малоархангельск Орловской области для оказания помощи Орловской областной партийной ор-

ганизации». Суровая подпись Лигачева под круглой печатью удостоверяла, что данные мне полномочия весомы и непоколебимы. Этаким революционный мандат, да вот только обладатель его отнюдь не горел желанием совершать в далекой провинции какую-либо революцию.

Как я редактировал сельскохозяйственную газету

И вот на долгие четыре месяца я был в буквальном смысле слова сброшен на голову ни в чем не повинного коллектива малоархангельской районной газеты «Звезда». Помимо редактора Василия Агошкова, трудились в ней человек двадцать, включая типографских рабочих, в чьем распоряжении было печатное оборудование, помнящее, очевидно, славную эпоху Гражданской войны и становления Советской власти на Орловщине.

У Марка Твена есть рассказ «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» – воспоминания человека, причудю судьбы возглавившего некое сельхозиздание, но ни ухом ни рылом не понимавшего в сельской жизни. Не раз за месяцы командировки в Малоархангельск – маленький районный центр, чье население едва ли превышало тысяч десять-пятнадцать, вспоминал я этот рассказ, ибо оказался в точно таком же положении. На инструктажах в ЦК нам, собственно, никто так и не объяснил, что же мы должны делать, оказавшись в идеологической ссылке: пришлось самому додумывать, что «делать надо как-то по-другому». Забегая вперед, скажу, что это «по-другому», стоило мне уехать из Малоархангельска, тут же было отменено: как рассказал потом Агошков, едва машина, увозящая меня домой, скрылась за поворотом, его тут же вызвал хозяин района – первый секретарь райкома партии Медведев – и велел «забыть все нововведения».

Итак, однажды в суровую зимнюю пору, в феврале 85-го, началась моя командировка. Ввиду отсутствия в городе гостиницы, мне отвели шикарную по местным понятиям двухкомнатную квартиру в двухэтажном доме – единственном на весь Малоархангельск. Была в ней и печка – долгими зимними вечерами, подобно Штирлицу, я в полном одиночестве пек в ней картошку и выпивал рюмку-другую коньяка,

С коньяком история особая. Напомню, то было время борьбы за всеобщую трезвость, и человек, приехавший по заданию ЦК из Москвы, обязан был быть образцом нравственности и, соответственно, этой самой трезвости. Отнюдь

таковым не являясь, я прекрасно понимал, что за каждым моим шагом наблюдают десятки глаз, обладатели которых «стучат» в райком обо всем, что я делаю. Не случайно одним из первых, кто нанес мне «официальный» визит, был местный уполномоченный КГБ. Не знаю уж, каких шпионов ловил комитетчик в этом Богом забытом городе, но в нашей беседе он прозрачно намекнул, что информацию о моем пребывании, исходящую от «хороших» людей, едва ли не ежедневно докладывают первому секретарю райкома.

Выпить, тем не менее, время от времени хотелось, ибо тоска в Малоархангельске была несусветная. Но не пойдешь же в местную винную лавку – тоже единственную на весь город: тут же стукнут. И я, как-то с оказией оказавшись в Орле – областном центре, куда входил и мой городок, затарился впрок несколькими бутылками коньяка, ибо местную водку пить было невозможно – делали ее из какого-то дерьма, да такого, что на поверхности налитого стакана плавали синие разводки. Так и попивал я этот коньячок всю зиму, а пустые бутылки, дабы не светиться, бросал в глубокий снег, залегший под окнами.

Наступила весна... Под пробившимся солнцем снег стал оседать, и, подобно первым подснежникам, из-под него показались... горлышки бутылок. Кошмар: любой сосед по дому, увидевший этот натюрморт, тут же скумекал бы имя его автора – кто бы еще стал пить в городе дорогой по местным масштабам коньяк, кроме заезжего «ревизора». А снег таял все быстрее... Необходимо было принимать решительные меры. И как-то, дождавшись едва забрезжившего рассвета, я тихонько, подобно татию в ночи, выскользнул на улицу, добрался до предательского сугроба и стал выгребать из него пустую тару. Ну чем не подвиг разведчика! Собрав приличную сумку, я, так же крадучись, отправился к протекавшей неподалеку незамерзающей речонке и с чувством исполненного долга утопил в ней пустые бутылки. Партийные установки были выполнены!

Впрочем, все это мелочи по сравнению с той работой, которой приходилось заниматься. Ветры перестройки отнюдь не спешили дуть в направлении Малоархангельска. Районная газета была скучна до предела. Заполненная бесконечными таблицами надоев молока и прочей яйценокости, парадными отчетами местных начальников и колхозных партработников, тошнотворными заголовками типа «Все силы и средства – на социальное переустройство села», она и не могла быть другой под прессингом местных идеологических указаний. Стиль и смысл подобных газет выстраивался десятилетиями – еще со сталинских времен. Предполагать, что заезжий журналист из Москвы за каких-нибудь четыре месяца разрушит устоявшиеся догмы, было верхом глупости идеологов из ЦК КПСС. Да, думается, там об этом и не помышляли, затеяв данную

кампанию для очередной «галочки» в отчетах о претворении в жизнь горбачевских идей о перестройке.

И все же я старался, как мог, заставляя напуганного на всю жизнь главного редактора «Звезды» изменить газету, сделать ее хотя бы чуть-чуть более острой, критичной, интересной. Удавалось все это с трудом: «низ-з-з-я» было стилем и смыслом жизни журналистов районки. Их можно было понять: местные жители, они и в социальном, и в материальном плане были целиком и полностью зависимы от тамошнего, своего партийного начальства. Попробуй пикни, и ты тут же лишился работы, а вместе с нею и определенного социального статуса. Впрочем, уверен, что и сегодня, когда пишутся эти строки, ситуация остается неизменной: районная печать (да только ли она!) в экономическом плане по-прежнему зависит от благорасположения начальников.

Не думаю, что изменилось что-либо и в самом районе, его хозяйствах. Мне пришлось в то время вдоволь поездить по колхозам и совхозам – какое же уныние они вызывали! Непролазная грязь на деревенских улицах, разбитая техника, валяющаяся по обочинам полей, испитые лица, отсутствие в избах мало-мальски приемлемых удобств для нормальной жизни – все это было привычным, будничным, неизменным... Никто не помышлял ни о каких переменах, не требовал их, не стремился к ним. Перемены были где-то далеко, в Москве, а здесь вялотекущая обыденность – серая, как осеннее небо над головой, диктовала свои правила: от рождения до последней дороги к деревенскому погосту.

Конечно, я был здесь чужаком, но одновременно и неким «ревизором» из центра, и постепенно, проведая о моем приезде, потянулись в редакцию «Звезды» местные жители: с жалобами, с извечными надеждами, что «Москва» поможет разрешить их проблемы, которые не могли или не хотели решить собственные начальники. Жаловались, как правило, на жилищные дела, на денежные обиды – по поводу пенсий, зарплат, социальных выплат, на различные притеснения. Доходило до курьезов: в качестве примера приведу одно из писем, полученных мною в те достославные дни, полностью сохранив его стиль.

Депутат – слуга народа. Люди идут к депутату со своими горестями и радостями. Депутата выбирает народ. Работает дояркой на ферме колхоза «Победа коммунизма» Титова Нина Александровна. Она заслуженная доярка, ее фото было помещено на страницах районной газеты. Она же является депутатом сельского совета. Но как же можно совместить эту высокую общественную должность, ее высокие производственные показатели с ее моральным обликом. Казалось бы,

почтенная особа, знает жизнь, у самой есть ребенок и разбила чужую семью, у меня двое детей, девочке 4 г. и мальчику 2 г. Я стала замечать, что муж приходит домой постоянно в нетрезвом состоянии. Однажды он не явился совсем. Выяснилось, что она его подпавала и, в конце концов, стала с ним сожительствовать. Как же идти к такому депутату, скажем, к примеру, с семейным вопросом? Как у нее хватило совести и наглости влезть так нахально в чужую семью? Очевидно, она руководствуется лозунгом: «Своя рубашка ближе к телу»? Или если у нее высокие показатели, то значит ей все должно сходить с рук? Неужели, выбирая ее депутатом, никто не интересовался ее моральным обликом? И место ли таким людям на депутатских постах?

Каково, а? И ведь не за собственное счастье переживает страдальца, а волнует ее моральный облик депутата. Разве откажешь такой в политической грамотности? На партком разлучницу, на партком – тот разберется...

Впрочем, и смешно все это, и грустно. Наверное, уместно тут было бы поразмышлять о нашем народе, о трагедии его, истоках бед и деградации, да что-то не хочется – оставим эту тонкую материю радетелям «убогой и обильной, могучей и бессильной»... Лучше все же о смешном – о том, как, например, довелось мне в Малоархангельске принимать 1 Мая «парад и демонстрацию трудящихся».

Накануне приехала меня проведать супруга. Исконно городской житель, она широко открытыми глазами смотрела на мою «деревенскую» обитель и на все, что меня окружает. Но особенно расширились ее глаза, когда пошли мы с ней по городу. Как водится, раскланивался я со знакомцами, ее представлял. И встретила нам на центральной площади дама – вся из себя статная, в ярком цветастом платье и... папиюотках, обильно украшавших ее волосяной покров. Разулыбались мы друг другу, разпоздравлялись с наступающим... А когда распрощались, Марина спросила с изумлением: «Кто это?» – «Секретарь райкома по идеологии». – «Но почему она по городу в папиюотках ходит?» – робко поинтересовалась жена. «Так к празднику готовится, – ответствовал я, ничуть не удивившись тогда сему факту. – Чего ей стесняться, тут все свои».

Между тем центральную площадь города уже украсила трибуна, куда на следующий день меня и пригласили подняться вместе с супругой. Собралось тут все районное руководство – от первого секретаря райкома до военкома. Почему-то с женами, которые образовали за нашими спинами вторую шерен-

гу почетных гостей Первомай. И началось... По отмашке распорядителя двинулись мимо трибуны праздничные колонны трудящихся – труженики местных производств, колхозники, школьники... Шарик, ленточки, бумажные цветочки, портреты руководителей района – кошмар... Я стоял рядом с первым секретарем райкома, выкликавшим поздравительные лозунги, и едва сдерживал смех: все это действие было чистой пародией на подобные же демонстрации в столице, повторяя их один в один, да только с малоархангельским уклоном. А над площадью звучало: «Привет лучшим дояркам района!» – и мимо трибуны стройным маршем шли грудастые тетки, опоясанные красными лентами. И вздымался к небу новый клик: «Поздравляем лучших механизаторов» – по площади продвигались малобритые мужики, чья нестройная поступь свидетельствовала: праздник они начали отмечать с утра. А школьники в шароварах, словно заимствованных из фильмов 30-х годов, а местная интеллигенция – и редакция моя в полном составе, и работники из Дома культуры, и учителя... Картина, достойная кисти Глазунова... Но я-то, я что здесь делаю?.. Еще пуще меня разобрало, когда первый секретарь, заметив некую мою пассивность, подтолкнул меня под бок и шепнул: «Махайте им, махайте...». Пришлось поднять руку в приветственном жесте... Ну, прямо Брежнев на трибуне Мавзолея...

К вечеру весь город был в стельку пьян. Первомай удался на славу!

Пожалуй, лучшего финала для командировки было и не выбрать – через несколько дней моя почетная миссия, к счастью, закончилась. Уверен, что ее результаты пользы не принесли никому. Впрочем, пожалуй, и вреда тоже. Зато вскоре довелось мне воочию лицезреть деятеля, по воле которого я был отправлен в Малоархангельск – Егора (Игоря) Кузьмича Лигачева.

Период полураспада

Вырваться из захолустья и вновь вернуться в Москву – к детям, которых не видел четыре месяца: это ли не радость? Алена и Антон подрастали, уже начинали осмысленно вглядываться в этот мир, правда, еще не подозревая, что детство их пришлось ровнехонько на тот срок, когда реформаторские замыслы Горбачева растревожили неподвижное болото их исторической родины, и оно заходило ходуном, выбрасывая порой на поверхность вонючие миазмы прошлого.

В «Советской культуре» все эти процессы ощущались достаточно остро. Дабы не быть голословным, приведу отрывок из мемуаров Александра Яковлева «Омут памяти», как нельзя лучше характеризующий то время.

В конце марта 1986 года состоялся съезд композиторов СССР. В прес-се он освещался скупо. Не сразу была опубликована и речь председателя правления Союза Родиона Щедрина. Почему? Да потому, что Щедрин с трибуны съезда остро и образно говорил о наболевших проблемах творчества, о конкретных чиновных людях, мешающих этому творчеству. Речь Щедрина активно пересказывали, она обростала слухами и вымыслами.

Газета «Советская культура» опубликовала эту речь. *[Добавлю: именно после того, как Беляев получил на этот счет прямое указание Яковлева. – В.Ш.]* Номер газеты в рознице разошелся мгновенно. И тут же последовал в редакцию звонок по «вертушке». Позвонил зам. зав. отделом пропаганды ЦК Севрук. Какая, мол, необходимость выбирать для печати именно это выступление? Оно отличается односторонностью и безапелляционностью суждений... Когда я узнал об этом, пришлось вмешаться и утихомирить часового у ворот партийной прессы.

Другой пример. 1 ноября 1986 года газета «Советская культура» напечатала статью Юлиана Семенова на тему о личной заинтересованности человека в труде, расширении правового поля для развития инициативы и предприимчивости людей. Он сокрушался, что «мало разрешающих законов – сплошь запрещающие». А чиновники толкуют эти «запрещающие» законы по своему разумению и усмотрению. Писатель ссылался при этом на опубликованную в газете «Советская Россия» статью под названием «Властью сельского совета». В ней восторженно говорилось о том, как председатель одного сельсовета сел за руль трактора и без лишних слов снес частный дом, парники и теплицы для цветов, так как они были построены «на захваченных государственных землях».

Семенов спрашивал: «Имеет ли право председатель сельского совета ломать «Беларусью» дом, парники, хоть и поставленные в нарушение каких-то правил и уложений?». И отвечал: «Нет, для этого существует институт судебных исполнителей»...

В ответ Семенову «Советская Россия» вместо передовой печатает «обозрение» редакционной почты, в которой цитирует хвалебные отзывы читателей о действиях председателя сельсовета. Так, мол, и надо этим частникам. И далее следовало внушение «Советской культуре»: «Приходится, к сожалению, слы-

шать и другое. Не далее как во вчерашнем номере газеты один писатель негодует против действий коммуниста Дмитрия Куликова – получается, напрасно воюет тот с владельцами мандариновых плантаций, ведь «они не водку пьют, а трудятся в своих теплицах от зари до зари!». Писатель даже Даля вспомнил – неверно, оказывается, у нас толкуют слово «нажива»: это всего лишь доход, получаемый с хозяйства...

Юлиан Семенов – про Фому, а «Советская Россия» про Ерему. Сама мысль, что кто-то осмелился выступить в защиту тех, кто своим трудом стремится «много» заработать, приводила в ярость сторонников произвола и блюстителей уравниловки. Писатель вел речь о том, что представители власти на местах должны блюсти закон, а не демонстрировать свое самодурство. Но как раз это и не устраивало номенклатурное общество...».

Обе газеты, упоминаемые в процитированном отрывке, встали по разную сторону баррикад. Главный редактор «Советской культуры» Беляев оказался, волею свершившихся обстоятельств, все же «человеком» Яковлева. А возглавлявший «Советскую Россию» как раз в 1986 году Валентин Чикин слыл «рупором» Лигачева. Противостояние этих двух секретарей ЦК, «разместившихся» на левом и правом флангах перестройки, естественно, вылилось и в противостояние двух газет. Не случайно именно в «Советской России» в 1988 году появилось знаменитое письмо преподавателя химии из Ленинграда Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Инспирированное «командой» Лигачева, оно было воспринято общественностью, как сигнал конца перестройки, ибо в основе своей содержало мысль о незыблемости исторических, сиречь сталинских принципов существования советской власти. Страна поняла это письмо как отмашку, свидетельствующую об откате начинающих демократических процессов. И только через полтора месяца в «Правде» появилась редакционная статья «Принципы перестройки: революционность мышления и действия», объявлявшая письмо Нины Андреевой реакционным, идущим вразрез с «линией, намеченной партией».

А спустя некоторое время ко мне зашел приятель, заведующий отделом информации газеты «Советская Россия» Андрей Черненко.

– Есть предложение, – сказал он. – Я ухожу учиться в Академию общественных наук. Переходи на мое место: Чикин не возражает.

С материальной точки зрения в «Советской России» было покруче: более высокие оклады, попрестижнее «кремлевские» поликлиника и больница, дача, прикрепленная «Волга»... Но работать с Чикиным, слывшим в нашем журналистском сообществе не только ретроградом, но и полным самодуром... Ходил

к примеру, анекдотический слух о причинах его горячей нелюбви к Мамлееву: однажды они, бывшие некогда приятелями, выпивали дома у Чикина, и ДФ за чем-то полез в холодильник. В этот момент по кухне летал любимый попугайчик Чикина, ненароком впорхнувший в этот самый холодильник. Мамлеев не заметил его – и закрыл дверцу... Попугайчик замерз, а Мамлеев приобрел врага на всю жизнь... Нет уж, тут никаких благ не захочешь. Да еще пришлось бы «продвигать» в жизнь ортодоксальные идеи Лигачева...

Несмотря на уговоры Черненко, я отказался. Впрочем, это не помешало нам остаться в друзьях и по сей день. Андрей, коль к слову пришлось вспомнить о нем, уйдя из «Советской России», сделал фантастическую карьеру. Вот уж в то время никогда бы не подумал, что репортер, начинавший свою журналистскую деятельность в газетах Тульской области, после окончания Академии общественных наук для начала создаст собственное дело, придумав с «нуля» газету МВД «Щит и меч», а потом перейдет на работу в это самое МВД, получив звание полковника. Дальше – пуще: из МВД он перейдет на должность начальника Центра общественных связей Министерства безопасности России (бывшего КГБ), а потом будет и помощником председателя МБ, став при этом генералом (!), откуда «упадет» на должность заместителя директора издательства «Русская книга» и «поднимется» до поста заместителя председателя Комитета РФ по печати. Очередной виток номенклатурной судьбы – и Андрея назначают... первым заместителем министра по делам национальностей, а через два года снова возвращают в МВД – на этот раз заместителем министра по кадрам. И опять на два года: в мае 1999-го, после назначения Степашина на должность премьера, Черненко становится руководителем аппарата Правительства России. Правда, на этот раз всего на четыре месяца: Ельцин, любящий устраивать премьерскую чехарду, «уйдет» Степашина, и вместе с ним свою должность покинет Черненко, став (очередная неожиданность для меня) директором Государственной фельдъегерской службы РФ, а заодно и генерал-полковником!

Думаете, все? Как бы не так. Всего через опять же два (с небольшим) года к, вящему изумлению друзей, Андрей вновь окажется в МВД – на этот раз в качестве заместителя министра – начальника Федеральной миграционной службы. А через год (похоже на анекдот) Путин перебросит его с этого поста первым заместителем к Валентине Матвиенко, отправленной незадолго до того в Питер представителем президента по Северо-Западному федеральному округу.

А потом новый виток – Матвиенко становится губернатором Санкт-Петербурга, а он – ее заместителем. Еще год – и президент вновь возвращает его в

Москву, вернув на должность начальника миграционной службы. Может быть, вся эта кадровая чехарда и привела Андрея к беде – не выдержало сердце, ему сделали сложнейшую операцию, после которой он по состоянию здоровья ушел в отставку. Но без работы долго не остался: был назначен заместителем председателя правления крупного банка.

А ведь, напомним, был Андрюша когда-то отличным репортером. Но если журналистика в свое время потеряла ценного кадра, то, наверное, не менее ценного кадра приобрела номенклатура. Уж не знаю, свидетельствует ли столь феерическая карьера Андрея о том, что в стране явно не хватает чиновников, умеющих нормально делать свое дело? Но точно знаю одно: в душе нынешний генерал-полковник (хотя и в отставке) остался все тем же репортером, и, как знать, может быть, должности свои нынешние и прошлые рассматривает как тему для очередного репортажа, а то и книги, которые, даст Бог, когда-нибудь напишутся.

Но вернемся в те дни, когда мы с Андреем еще работали в редакциях, занявших глубоко эшелонированную оборону по разные стороны баррикад перестройки. Очевидно, Егора Лигачева сильно раздражала позиция дружественной к Яковлеву, а не к нему, «Советской культуры». И вот нашу редакцию до основания потрясло известие: к нам едет Лигачев! Второй человек в ЦК собственной персоной. И это при том, что редакционные стены не выдвигали начальства большего, чем обыкновенный инструктор Центрального комитета. А тут – Лигачев! Сам!

И понеслось! Для начала кем-то наверху была дана команда отремонтировать помещение редакции, и в первую очередь актовый зал, где предстояло выступить Егору (Игорю) Кузьмичу. Тут же затеялся ремонт, равный потопу: покрыли мрамором стены, поменяли паркет и унитазы, постелили ковры, выкрасили коридоры... Ремонт был завершен в рекордно короткие сроки, но возникла иная проблема: лифты. Дело в том, что в свое время при их установке была допущена какая-то технологическая ошибка, и одно из двух подъемных устройств (причем каждый раз было неизвестно какое) хронически не работало. «А вдруг, – пришло кому-то из начальства в голову, – Егор Кузьмич будет подниматься на лифте и застрянет! Кошмар!». Что-то надо делать... Но поменять сами лифты было невозможно, и тогда, учитывая, что редакционное начальство располагалось на втором этаже, один из лифтов привели в порядок, а второй закрыли черным металлическим щитом: мол, на ремонте.

Приехавшее руководство из издательства «Правда», в состав которого тогда входила «СК», инициативу одобрило. Но велело перекрасить черный на

веселенький розовый цвет. Выкрасили! Однако через несколько дней в редакцию нагрянули представители «девятки» – 9-го управления КГБ, занимавшегося охраной особо важных персон. Первым делом их внимание и привлек тот самый злополучный щит. Последовала команда: немедленно убрать – а вдруг за ним, мол, спрячется какой-нибудь злоумышленник, решивший посягнуть на второе лицо в партии. Щит убрали, а на лифте повесили стыдлившую табличку «Ремонт».

Но Лигачев все не ехал и не ехал, откладывая свой визит, очевидно, по причине более важных государственных дел. Его ждали каждый день, и сигналом к тому, что визит возможен сегодня, служили новенькие полосатенькие урны, выставляемые неизвестной рукой у входа в редакцию: если они появлялись утром, когда мы дружно топали на работу, была надежда, что высокий гость почтит «СК».

И, наконец, этот славный день настал. С утра урны оказались на положенном им месте, а вскоре к подъезду со свистом причалили две машины, заполненные молодцеватыми ребятами из «девятки». Одного из них я, к своему изумлению, обнаружил через некоторое время засевшим в лифте, когда вызвал данный транспорт по какой-то необходимости, второй зачем-то тщательно проверял пожарные шкафы на нашем этаже, а третий отыскался в... сортире. Причем не за естественным делом, а тщательно брызгающим вокруг цветочным дезодорантом. Чем занимались остальные хлопцы, не знаю: очевидно, столь же полезными делами.

И вот на улице взвыли сирены, машины ГАИ перекрыли движение, и к подъезду редакции, лихо развернувшись перед ней, ведомый машинами сопровождения, подкатил черный ЗИЛ, называемый в народе «членовоз». Ибо полагался данный транспорт только членам Политбюро. Редакционный народ прилип к окнам: когда еще такое увидишь? А из «членовоза» на глазах у изумленных москвичей, ожидавших троллейбус на расположенной по соседству с нашей конторой остановке, в сопровождении... автоматчиков вышел, скорее, даже выпорхнул долгожданный Егор (Игорь) Кузьмич.

На доклад, который ему предстояло сделать, пригласили отнюдь не всю редакцию, а только членов партии. Пока народ дисциплинированно подтягивался в зал, главный редактор знакомил гостя с ведущими отделами газеты. Таковыми в то время, с идеологической точки зрения, считались отдел партийной жизни и отдел с натошак не выговариваемым названием: коммунистического воспитания и марксистско-ленинской эстетики. Именно туда и был увлекаем Лигачев.

Со всеми остальными беседа состоялась в актовом зале. Зайдя туда, секретарь ЦК КПСС мило пошутил: «Вижу, что к моему приезду ремонт сделали. Все-таки польза...». В чем, по большому счету, и был прав, ибо суть его выступления свелась практически к тем же позициям, что ранее были изложены в пресловутом письме Нины Андреевой. Поведая нам о «бережном отношении к исторической правде», о том, что «не стоит негативно оценивать прошлое», и о том, что «необходимо хранить революционные завоевания советского народа», Кузьмич под вой сирен машин сопровождения благополучно отбыл в направлении Старой площади.

Редакция же осталась со своими проблемами и суровыми буднями. Ибо будни действительно суровели день ото дня. И не только в политическом, но и в житейском плане: вскоре волны перестройки повымели из магазинов все, что можно было есть, носить и использовать в быту. Костлявая рука голода нависла над страной: словно по мановению чьей-то злой волшебной палочки дефицитным стало все – от мыла и туалетной бумаги до сахара и соли.

И тут на авансцену нашей редакционной жизни вышел человек, о котором и до сих пор в журналистской Москве ходят легенды: Николай Варганович Айвазян.

Биография его темна и запутанна. Родом из Сухуми, попал он в столицу неизвестными путями, и был некогда то ли банщиком, то ли грузчиком. Позже каким-то образом очутился на должности завхоза «Строительной газеты», а уж оттуда занесло его в «Советскую культуру», где и развернулся Колян в полную силу.

Газету наш новоиспеченный завхоз рассматривал отнюдь не как печатный орган, а как плацдарм для предпринимательской деятельности. Все еще пугающая народ аббревиатура «ЦК КПСС», стоящая на бланках редакции, открывала ему заветные двери кабинетов торговых начальников малого и большого калибра и, соответственно, давала доступ на базы, склады, в подсобки магазинов, где проистекала своя, никому не ведомая жизнь, доступная разве что малому кругу посвященных в нее людей. Коля Айвазян как раз и получил доступ в этот круг и, соответственно, к товарам первой и не первой необходимости.

Вскоре в обиход редакции вошло ласковое слово «распродажа». Актовый зал, еще недавно сотрясаемый пламенными речами Лигачева, постепенно превратился в подобие торгового центра. Коля продавал здесь все: колготки и косметику, постельное белье и обувь, продовольственные наборы и швейные машинки, холодильники и ковры. Журналисты перестали работать: едва ли не каждое утро начиналось с вопроса: а что сегодня привезет Айвазян? Дел хватало всем: местком штамповал и распределял талончики на право занять

очередь и приобрести вожаденный товар, сотрудники бегали в поисках, где бы перехватить денег до зарплаты... Жажда приобретательства сотрясала коллектив: народ, надо – не надо, жадно хватал бюстгалтеры и прочие дамские штучки, сгребал шампуни и зубную пасту, кожаные пальто и зимние сапоги, часы и кофемолки с кофеварками... Чем меньше хороших и разных товаров было на прилавках магазинов, тем больше оказывалось их у нас на распродажах.

Коля разворачивался вовсю... И вот уже холл первого этажа редакции превратился в своеобразную торговую точку: здесь стояла... колода, на которой (все это на глазах изумленных посетителей, не понимающих, куда, собственно, они пришли) рубили дефицитное мясо. Время от времени возникали и бочки с селедкой – ее развешивали тут же, заворачивая, естественно, в «Советскую культуру», и пряный рассол стекал сквозь нее на мраморные плитки пола. Ноздри будоражили запахи копченых колбас, сыра, ветчины, кофе – ну, прямо «Елисейский» гастроном времен угара нэпа...

Постепенно слава об Айвазьяне вышла за пределы редакции, и к нам потянулись мастера искусств, народные артисты, иные достославные деятели культуры, приходившие сюда в иные времена разве что для обсуждения творческих вопросов. Теперь в их робких глазах читался немой вопрос: «Нельзя ли и мне?». Коля, широкая натура, не отказывал никому: у него хватало для всех – и для народных, и для заслуженных... Он был со всеми на «ты», со всеми запанибрата, и редакционные стены порою сотрясал его могучий голос, обращенный к помощникам: «Выдай ему (имярек) мешок сахара из моих запасов – ему надо, он в кино хорошо играет».

Это был какой-то рок, наваждение... Да только ли у нас творилось подобное? Анатолий Смелянский, долгое время бывший завлитом сверхпривилегированного МХАТа, в книге «Уходящая натура» вспоминает об одной из подобных распродаж, устроенных в театре (подозреваю, что Айвазьян приложил руку и к этому – торговал он широко, по многих организациям, имевшим отношение к культуре). Итак, дадим слово известному театроведу, повествующему о распродаже дефицита в святая святых искусства – МХАТе, тогда еще не разделившемся на две части:

Репетиционный зал и верхнее фойе отвели под мелочевку, нижнее – под тяжелые предметы, а именно под чешские паласы, которые виселись в центре пространства серой мрачной кучей. Наверху дело шло быстро, коллектив организованно встал в извилистую линию, как в Мавзолей. Выдавали по заранее полученным квиткам индий-

ские комплекты постельного белья с голубыми фиалками на светлом поле, светлые замшевые сапожки, которые можно было сверху шикарно заворачивать, нижнее белье и перчатки... В нижнем фойе царствовал Виктор Лазаревич [*Эдельман, один из заместителей директора театра – В.Ш.*]. Он перекрыл вход в фойе плюшевыми веревками, а сам расхаживал там, как по вольеру, выкрикивая предупреждения: «Первыми идут народные артисты СССР, потом РСФСР, потом простые артисты». Народные СССР и РСФСР, которых у нас было пруд пруди, разбирали чешские паласы под мрачными взглядами очереди из «простых». Чуть смущенный, с загадочной мышкинской улыбкой прошел к своему паласу Иннокентий Михайлович Смоктуновский, потом с шутками и прибаутками пожаловал Евгений Александрович Евстигнеев. Среди «простых», в которых оказался и я, постепенно нарастало раздражение. В те времена кто-то провел исследование, посвященное психологии очереди. Почему, скажем, человек, которого спрашивают, кто последний, с видимой неохотой откликается на безобидный вопрос? Ответ такой: человек боится спугнуть товар. Страх спугнуть товар овладевал людьми. Среди первых нетерпеливцев оказался пожилой актер-ветеран Михаил Ефимович Медведев. Служил он в театре с начала 30-х годов, отличался образцовой порядочностью. Недавно перенес инфаркт и, видимо, посчитал это уважительной причиной, чтобы чуть продвинуться к заветному плюшевому заграждению. Маневр был немедленно замечен и пресечен...

Вечером, когда страсти по паласам успокоились, Виктор Лазаревич заговорщицки прошептал: «Тебе еще один палас нужен?». Отказаться от такой чести было невозможно, взял для друга... Друг по имени Миша Швыдкой [*на момент, когда пишутся эти строки – недавний министр культуры России. А ведь когда-то приходил ко мне в редакцию, приносил заметки – В.Ш.*] явился поздним вечером забрать подарок. Чудовищно тяжелый, колючий, будто стеклом заполненный половик был нами укрощен, скатан, завязан, и пошли мы вдвоем с паласом через плечо ловить машину...

И так повсеместно продолжалось не месяц, не два – годы... А в нашей редакции Айвазян (подобно одному из героев повести «Республика ШКИД» Сластенову, обретшему могущество, обирая зависимых от него голодных воспитанников приюта) вскоре почувствовал себя едва ли главным человеком.

Собственно, так оно и было, ибо и главный редактор, и прочее руководство смотрело на его махинации сквозь пальцы, поскольку тоже не брезговало услугами нашего завхоза. Правда, в очередях оно, руководство, не стояло: весь необходимый дефицит Коля заносил в кабинеты начальников – а уж так ли или за деньги, тайна сия покрыта мраком.

Впрочем, себя он тоже не обделял: покупая товары оптом, подешевле, а продавая их с наценкой, Айвазьян вскоре стал таким финансовым магнатом, предтечей будущих олигархов. Позже, уже в годы окончательного развала газеты, дело дойдет до того, что он вознамерится ее купить – да что-то, видно, помешало. И тогда Коля ударится в политику: снедаемый на этот раз не финансовыми, а политическими амбициями, он в 1994 году создаст Партию бедноты – некое карликовое образование, объединившее полусумасшедших или просто сумасшедших люмпенов, которых он будет подкармливать из собственного кармана. И начнет все-таки (а как же, большой опыт в журналистике) издавать газету «Набат бедноты» – безграмотный листок, заполненный портретами вождя партии и его бредовыми высказываниями.

Мне иногда казалось, что был он просто болен – жил на некоей грани психического слома, сквозившего и в его поступках, и в манере поведения – полублатной, полуторгашеской, подпитываемой свалившимися на него деньгами, позволявшими с презрением глядеть на человеческую массу, кормящуюся с его руки. Он умрет довольно рано – не дожив до пятидесяти, но для меня и по сей день Коля останется своеобразным символом того времени – начала 90-х: горького времени несбывшихся надежд и попранных прав, крушения привычных устоев и зарождения новых устремлений.

Пир во время чумы, устроенный Айвазьяном, только укреплял меня в убеждении, что газета гибнет. Гибнет потихонечку, исподволь... Под давлением команды Беляева, и в первую очередь его заместителя Олега Иванова, из «Советской культуры» убирались профессионалы, разрушался тот творческий костяк, который и составлял суть и смысл редакции. На их место приходили какие-то странные люди: незаметные ни для газеты, ни для ее содержания, они, повертевшись какое-то время в отделах, так же незаметно исчезали, не оставив по себе ни следа, ни памяти.

А Беляев со товарищи тем временем затеяли новую реорганизацию: вскоре газету зачем-то разделили на три части, добавив к ней два приложения – «Экран и сцена» и «Архитектура». Из основного издания перевели туда немало сотрудников, что еще более ослабило редакцию.

Ведущая роль во всех этих действиях принадлежала Олегу Иванову. Долгие годы на посту зав. сектором изобразительного искусства отдела культуры ЦК КПСС наложили на него свой неизгладимый отпечаток. Забавная деталь: мой кабинет находился на 4-м этаже редакции, его – на 2-м, но каждый раз, вызывая меня к себе, он звонил по внутреннему телефону и произносил незабвенную фразу: «Поднимитесь ко мне...». Оговорка точно по Фрейдю: Олег Тимофеевич, очевидно, не мог представить, что кто-то располагается выше его, пусть даже и в междуэтажной иерархии.

Начинал он карьеру литсотрудником в каких-то прибалтийских газетах, и оттуда, с Балтийского моря, приобрел, очевидно, свое единственное увлечение: любовь к парусному спорту. Но это романтическое занятие отнюдь не добавило в его характер мягкости и теплоты. Был Олег Тимофеевич своеобразным духовным иезуитом из породы тех людей, которые «мягко стелют, да жестко спят». Тех, кто ему не нравился, он начинал «грызть», доводя до иступления мелочными придирками и нелепыми претензиями. В журналистике он, конечно же, не был профессионалом, но полагал себя таковым, вмешиваясь в редакционные процессы и по праву начальника, и по собственному, далекому от интересов дела, разумению.

Будучи истинным приверженцем позиции «как бы чего не вышло», он не терпел острых материалов, особенно, когда они «стояли» в номерах, которые Олег Тимофеевич вел как дежурный редактор. Нет, он не высказывал свою позицию прямо, но, вызвав автора в свой кабинет, предлагал ему переписать тот или иной абзац, убрать то или иное утверждение, «смягчить тональность»... В результате материалы оказывались выхолощенными донельзя. Автор же, обессиленный сражением с Ивановым и потому соглашавшийся в конце концов на любые правки, читая свою статью в опубликованном виде, искренне недоумевал, ибо в газете в итоге появлялось прямо противоположное тому, что он хотел сказать.

Зато поощрял Иванов всякого рода наушничества и сплетни, которые стекались к нему от «доброжелателей». Этим он отечески привечал, и редакционные наблюдатели потому легко вычисляли «стукачей», стараясь держаться от них подальше. Что, впрочем, не мешало Олегу Тимофеевичу, блестяще владевшему искусством «аппаратных интриг», освоенным за долгие годы работы в ЦК КПСС, успешно расправляться с теми, кто так или иначе противостоял его деятельности.

В их числе вскоре оказался и Ким Прокофьевич Костенко. Впрочем, иначе произойти и не могло: ответственный секретарь оставался, пожалуй,

последним «маячком», на свет которого стремились журналисты, безоговорочно принявшие «перестройку». Это к нему в кабинет шли, чтобы «поплакаться» на положение дел в редакции, попытаться спасти тот или иной острый материал, отстоять свою позицию в борьбе с цензурой команды Беляева.

Естественно, о том, что происходило в кабинете ответственного секретаря, и Беляев, и Иванов были прекрасно осведомлены. Да он и сам не скрывал неприязни к новому руководству – ему ли, человеку, прошедшему войну, побывавшему в крутых газетных передрягах, пристало скрывать свою позицию. Резкие конфликты, сшибка мнений все чаще происходили на редколлегиях, на летучках. Отступить, менять точку зрения в угоду начальникам Ким не привык, да он просто не умел этого делать. В таких условиях его уход становился неизбежным.

А тут и случай удобный представился – исполнилось ему 65. Этим не преминули воспользоваться наши начальнички – Костенко было предложено отправиться на «заслуженный отдых».

Ким ушел гордо – не оформляя пенсии, переводом в журнал «Новое время», который возглавлял тогда его друг еще по «Комсомолке» Виталий Игнатенко. Ему предложили «почетное» место – собкором в Чехословакии, все резче выбивавшейся тогда из стран соцлагеря. Я понимал, как трудно было Киму принять это решение – уезжать на старости лет из страны, менять устоявшиеся привычки, оставлять здесь жену, работавшую в «Комсомолке», дочь, сына. И все же он уехал – и его отъезд стал прологом к трагедии, разыгравшейся спустя недолгое время.

Буквально за несколько дней перед случившейся бедой Ким, будучи проездом в Москве, заглянул ко мне в кабинет. Рассказал, что собирается в Тольятти – ему, как ветерану войны, были положены новенькие «Жигули», и он договорился получить их прямо на заводе. Собирался ехать не один – с нашим сотрудником Сергеем Синявиным, который и взялся перегнать машину.

Мы говорили о разном, но больше о редакции, о том, что дела в ней становятся все хуже и хуже – падает тираж, уходят последние из «могикан». Уже в первые минуты, когда Ким зашел ко мне, я поразился, как он плохо выглядит – всегда бодрый, улыбчивый, он казался каким-то потухшим, с обострившимися чертами лица и взглядом, ушедшим куда-то вовнутрь. Он побыл у меня недолго, надо было торопиться – в Москву он выбрался всего на пару дней: жаловался, что все еще не может приспособиться в Чехословакии, пытался шутить... А через день, едва придя на работу, я узнал, что при перегоне машины из Тольятти Ким разбился на трассе...

Парадоксально, но первым эту новость я услышал от Иванова – он позвонил мне и попросил помочь организовать похороны... Он, сделавший все возможное, чтобы Ким ушел из редакции. Остался бы в «Советской культуре» – как знать, может, и судьба его сложилась бы по-другому. А буквально через несколько минут раздался другой звонок – звонила Наташа Татаринова, жена Сергея, который и взялся помочь Костенко перегонять машину.

Я знал ее многие годы – начинали вместе в «Московской правде», в том самом «предбаннике», который и стал стартовой площадкой в моей журналистской судьбе. Знал, что муж ее когда-то был шофером, возил главного редактора «Московской правды», а потом каким-то образом очутился у нас в газете на должности выпускающего. Но и там долго не задержался: вскоре (еще один парадокс) по протекции Костенко его перевели в секретариат на должность заместителя ответственного секретаря.

Наталья, приехав в редакцию, едва сдерживала слезы: виновником аварии оказался Сергей, который и был за рулем. Он почти не пострадал, когда на скорости (и скорости, очевидно, немалой – Сергей вообще любил гонять за рулем), обходя какого-то тихохода, лоб в лоб врезался в машину, идущую по встречной полосе. Сергей отделался ушибом ключицы, Ким же, сидевший рядом, скончался мгновенно...

Забегая вперед, скажу, что Синявина в конце концов «отмазали» – ГАИ и в советские времена любила брать взятки. Да и не о Синявине, собственно, речь... Я стоял возле гроба своего Учителя и думал о том, как же нелепо он, человек, прошедший всю войну, погиб... Впрочем, тут, очевидно, сошлись многие обстоятельства, о которых я уже говорил выше. Думал и о том, что, может быть, такая – мгновенная – смерть и стала благом для Кима, измученного свалившимися на него неприятностями последнего времени: говорят, что так умирают праведники. А он и был праведником – чистым человеком на этой грязной земле...

К тому времени я все чаще и чаще задумывался о том, что из редакции пора уходить. Смерть Кима Прокофьевича еще резче подтолкнула меня к этому решению. Но если уходить, то куда? Что делать, на что жить? Дети еще учились в школе, не так уж много зарабатывала и жена, а жизнь все дорожала, и конца-края этому не было видно. Я мучился вопросами о будущем – расплывчатом и неясном – и не находил ответов.

Последней каплей стала ситуация, разыгравшаяся в конце января 1991 года. Ближе к вечеру раздался звонок внутреннего телефона – в кабинет вызывал Иванов.

Первый зам был как всегда вальяжен и раздумчив.

– Вот что, Виктор, – произнес он. – Приближается очередная годовщина со дня смерти Ленина. Есть идея: поручите-ка одному из своих корреспондентов съездить в школу (он назвал ее номер). Там открывают бюст Ленина. Надо бы дать хороший репортаж об этом на первую полосу.

Я не поверил своим ушам: какой бюст Ленина? Иванов – что, существует вне времени и пространства? Или это очередной способ порадеть о коммунистических пристрастиях Лигачева?

– Олег Тимофеевич, – попытался возразить я. – Писать сейчас, отринув все, что мы теперь знаем о Ленине, по меньшей мере, странно.

– Не вижу ничего странного, – ответил Иванов. – Дети решили установить бюст вождю, и это надо только приветствовать.

«Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» – мелькнула в голове пастернаковская строчка. Я промолчал, ибо понял, что возражать бессмысленно. Но еще бессмысленнее выполнять это идиотское задание.

Раздражение подкатывало к горлу.

– Я это задание выполнять не буду!

– То есть как?

– А вот так! Ищите себе другого мальчика для ваших забав. Я ухожу из редакции.

И, повернувшись, вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.

На следующий день я подал в отдел кадров заявление об уходе. 17 лет моей жизни в «Советской культуре» остались позади...

ЧАСТЬ 3

**«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
И ЕЁ ОКРЕСТНОСТИ**

Прорыв в неизвестность

15 марта 1991 года... Этот день запомнился на всю жизнь, ибо именно тогда, распрощавшись с «Советской культурой» и получив трудовую книжку, я переступил порог журнала «Столица» – издания, созданного незадолго до памятного мне дня. Предшествовали этому многие разговоры с друзьями и раздумья, которые, в конце концов, и привели меня в редакцию этого журнала.

Привели не случайно, хотя я отнюдь не собирался поступать сюда на работу. Вспомним, что идея создания «Столицы» была поддержана за пару лет до моего ухода из «СК» существующим тогда Моссоветом, преобразованным позже в мэрию, который возглавлял один из лидеров так называемой «первой волны демократии» Гавриил Попов. Собственно, Моссовет на первых порах и финансировал это издание, и выделил ему пристройку к дому на Петровке, 22, где ныне располагается Московская городская дума. Дом этот был славен тем, что здесь жил до своей трагической гибели во время гастролей Андрей Миронов. «Столица» стала как бы опорой, рупором демократического движения, которое в те годы – годы появления первых независимых газет и журналов, рожденных законом «О средствах массовой информации», олицетворяли Межрегиональная депутатская группа и партия «Демократическая Россия». Не случайно редколлегию журнала украшали такие звонкие по тем временам имена, как Сергей Станкевич, Илья Заславский, Галина Старовойтова, Марк Захаров...

С первых дней появления «Столицы» сюда пришли журналисты демократического спектра, и потому, наверное, издание в начале своего пути завоевало славу смелого и принципиального. Возглавил его Андрей Мальгин – 34-летний главный редактор был известен прежде как критик, работавший когда-то лите-

ратурным секретарем Евгения Евтушенко, а затем трудившийся в «Литературной газете». Мы не были раньше знакомы, да, собственно, не его имя привлекло меня в «Столицу». К тому времени я уже вынашивал идею создания собственной газеты, полагая, что были у меня к этому не только творческие основания. В последние годы работы в «СК» начал потихоньку осваивать и рекламный бизнес – практически стихийно, ничего еще не зная о его законах и подводных течениях.

Собственно, до «Советской культуры» никто из центральных газет рекламой не занимался. Разве что «Вечерняя Москва» – единственная, которой в советское время по статусу разрешалось публиковать рекламные объявления: да и то не столько от частных лиц, сколько от государственных организаций. Вот почему, когда я впервые пришел к Беляеву с предложением печатать рекламу, он с ходу отверг эту идею – во-первых, на его взгляд, реклама «принижала» газету, а во-вторых, никаких нормативных документов на этот счет в ЦК КПСС не существовало.

Понадобилось немало усилий и аргументов, чтобы уговорить Беляева хотя бы обсудить этот вопрос в ЦК – с Александром Яковлевым. Я убеждал его, что пользу газете реклама принесет несомненную: мы могли располагать хотя бы частью свободных денег, которая шла бы на нужды редакции и поощрение ее сотрудников. К тому же (и это был едва ли не главный мой «политический» аргумент) отдавали бы часть прибыли издательству «Правда» (ныне «Пресса»), где печаталась «СК». За что «наверху» (уговаривал я главного) нам бы только сказали спасибо. Последнее, скорее всего, Беляева и убедило – и он, наконец, отправился в ЦК, откуда вернулся, заручившись согласием начальства. «Сделка», правда, была та еще: нам оставили 20 процентов доходов от рекламы, а остальное постановили отдавать издательству «Правда».

Но и это было уже кое-что. Так к возглавляемому мною отделу информации добавилось словосочетание «и рекламы», а на страницах газеты впервые в истории современной отечественной журналистики стали печататься рекламные объявления. Начало им положила акция, разработанная вместе с «Союзгосцирком»: как раз подошло время отметить 60-летие моего старого знакомого, замечательного клоуна Олега Попова, и мы вместе с ним уговорили цирковое начальство сделать это нестандартно, уйдя от традиционных славословий в адрес мастера. Как сейчас помню, цирковая компания перевела нам 30 тысяч рублей (немалые по тем временам деньги), а газета выделила «под юбилей» Попова целую полосу, опубликовав на всю страницу большую фотографию «солнечного клоуна» и написав внизу всего одну фразу: «Олегу Попову – 60!».

Ныне, когда Олег уже давно обитает в Германии и, когда пишу эти строки, потихонечку приближается к 80-летию, он вряд ли помнит ту историю. Уехал он в начале 90-х, ощутив, по его словам, полную ненужность. Живет под Нюрнбергом с женой Габи, которая намного его моложе, и продолжает работать. В Россию не собирается: обижен он на нее крепко, ибо, в отличие от европейских цирков, оказался здесь абсолютно не востребован. Обида осталась и на Старый цирк, что на Цветном бульваре, и на покойного Юрия Никулина: тот отказал Попову в просьбе отметить на манеже Старого свое 70-летие. А ведь Олег Константинович здесь начинал, и вот такой пассаж... Не знаю, что уж здесь сыграло свою роль: то ли ревность одного мастера к другому, то ли не захотел Попов платить деньги за аренду манежа... Но в конфликт не вмешался никто: ни Министерство культуры, ни московская мэрия, коей фактически принадлежит здание... И пришлось проводить юбилей в Германии, где Попова знает каждая собака.

Кстати, о собаке... На этот юбилей я, исполняя давнюю мечту мастера, послал ему маленького щенка – точь в точь такого, какой когда-то был у Карандаша. Копия знаменитой Кляксы, щен благополучно совершил далекое путешествие к своему новому хозяину. Радости Олега не было предела...

Но вернемся к нашим первым шагам в области рекламы. Акция с Олегом Поповым, а вслед за ней и прочая реклама, появившаяся в «СК», была сразу же замечена, и к нам за опытом потянулись журналисты других изданий. Мы же пошли еще дальше: вскоре при газете было создано творческое объединение «Эскарт» – по сути, первое в Москве рекламное агентство. Оно собрало под своей крышей неравнодушных людей, в основном молодых, которым было интересно попробовать себя в неизведанной прежде области журналистики. Не могу не упомянуть, что некоторое время в нем работала Аня Политковская – пройдут годы, и ей суждено будет навсегда войти в историю мировой журналистики, как человеку с отважным сердцем, никогда и ни при каких обстоятельствах не предававшему своей профессии. Кто мог знать, что после рокового выстрела на Лесной 7 октября 2006 года я буду писать в «Частной жизни» строки в ее память, которые не могу не воспроизвести ныне, дабы еще раз вспомнить Аню и то время, которое убило ее.

У писателя Бруно Ясенского, уничтоженного Сталиным, в книге «Заговор равнодушных» в качестве эпиграфа были приведены такие слова: «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не

убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство».

Мы стали равнодушными... Помню вечер 28 февраля 1995 года, когда в доме обычного подъезда на Новокузнецкой прозвучали два выстрела, и не стало Влада Листьева... Казалось, эти выстрелы ударили не только в нас, тех, кто хорошо знал Владика... Казалось, вся Россия впала в шок, в ступор... Прервали свои передачи телевизионные и радиоканалы, тысячи людей пришли к дому на Новокузнецкой, где пролилась кровь, ведущие политики не слезали с экранов, комментируя случившуюся беду, в «Останкино» приехал президент Ельцин, чтобы выразить свое соболезнование коллегам Влада. Потом были похороны... И вновь тысячи, может быть, десятки тысяч людей пришли к Ваганьковскому кладбищу, чтобы проститься с Листьевым. Думаю, что большинство из них привело сюда не праздное любопытство, а истинная тревога за судьбу страны, где убивают лучших ее представителей – как оказалось, убивают безнаказанно, ибо мы так и не узнали имена ни подлинных убийц Влада, ни заказчиков этого убийства.

Немало горя произошло в России за минувшие годы. Многие погибшиеполнили скорбный список жертв в Чечне и Беслане, при взрыве московских домов и захвате «Норд-Оста», гибели подводной лодки «Курск» и обрушения кровли аквапарка «Трансвааль»... Список этот можно длить и длить... Добавив в него последнюю (на то время, когда пишутся эти строки) трагедию – убийство 7 октября 2006 года журналистки и правозащитницы, обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

И снова, как и в вечер убийства Влада, звучали выстрелы в подъезде ее дома на Лесной, снова когорты представителей правоохранительных органов вели свое расследование «по горячим следам», объявлялся план перехвата, изучались плохо получившиеся видеозаписи момента убийства, генпрокурор взял преступление под личный контроль... Все как всегда, да не все... Ибо продолжали транслировать веселую музыку бесчисленные радиоканалы, на ТВ обычным порядком (субботний вечер) шла «развлекуха» – юморили юмористы, по полной отрывались звезды шоу-бизнеса, до упаду веселились персонажи комедийных сериалов, и только новостные программы скуповыдавали информацию о происшедшем. Немногие пришли и к дому на Лесной, чтобы возложить цветы на место убийства и зажечь поминальную свечу... И на следующий день, когда у памятника Пушкину собрались люди, чтобы почтить память журналистки, пришли не десятки, не сотни тысяч – едва ли пара тысяч человек...

Не будем сравнивать социальную значимость и общественную привлекательность Влада и Ани – готов согласиться, что популярный шоумен в глазах народа был более привлекателен, и его смерть глубже затронула обывательское сознание, что и вызвало соответствующую реакцию. Не будем сравнивать и времена, когда произошли обе трагедии, – нынешнее, по сравнению с серединой 90-х, жестко управляемо, а значит, сводит на «нет» неконтролируемую общественную активность. Зададимся иным вопросом: почему так вяло прореагировало общество на трагедию, которая задевает каждого из нас? Ведь Анна Политковская принадлежала к числу тех немногих людей, которые защищают наши непосредственные интересы перед властью и безвластием.

Две сферы бытия страны были в центре ее внимания – ситуация в Чечне и на Северном Кавказе и ржа коррупции в обществе. Этим темам были посвящены ее бескомпромиссные (я бы даже сказал, бесстрашные) публикации в «Новой газете», выступления в электронных СМИ – в том числе и последнее, на радио «Свобода», где речь шла о продолжающихся похищениях людей в Чечне. Причем это, последнее выступление, состоялось при трагических для самой Ани обстоятельствах: умирала от рака в больнице ее мама; папа, отправившийся ее навестить, по дороге в клинику скорострительно умер от инфаркта... Тем не менее Аня нашла в себе силы, чтобы прийти на «Свободу» – это была ее тема, ее боль, ее долг.

Да и в вечер убийства Политковская собиралась ехать в редакцию «Новой» – в понедельник в газете должен был появиться ее очередной материал о ситуации в Чечне. В редакции ее так и не дождались...

Сейчас высказываются разные предположения о причинах убийства политической журналистки. Но какие бы версии ни приводились: «чеченский след», борьба с высокопоставленными коррупционерами, противостояние разжиганию национализма, все – от правозащитников до правоохранительных органов – сходятся в одном: речь идет о преступлении, связанном с профессиональной деятельностью Анны Политковской. Следовательно, это убийство – суть террористический акт, поскольку направлено оно против интересов страны и ее граждан. Ибо трудно представить, чтобы страна наша не хотела стать лучше, чище, праведнее – а ведь именно этому посвящена работа журналистов: не тех, кто продается за лакомый кусок или высокое место во власти и рядом с ней, а тех, кто, как, Анна Политковская, идет в бой «не ради славы – ради жизни на земле».

Но не слышны голоса лидеров страны, которые бы назвали истинные причины и последствия произошедшего теракта. Не принимает громких заявлений Дума, не собирается Совет безопасности, молчит пропрезидентская партия, да и сам президент. Ах, как громко звучали в дни, предшествовавшие убийству Политковской, заявления в связи с ситуацией с Грузией! Как оперативно чистили бандитские гнезда в казино, ресторанах и на рынках, как тщательно пытались выявить «грузинский след» в московских школах, как лихо запрещали взлет самолетам и выдачу виз... Россия демонстрировала всю свою мощь, всю силу власти, поскольку – справедливо или нет, другой вопрос – почувствовала себя оскорбленной. Но разве не оскорбляет нашу страну убийство одной из ее лучших журналисток? Да, многие выступления Политковской могли не нравиться тем, кто и есть власть, или тем, кто кормится за счет этой власти. Но разве это весома причина для молчания, порождающего безнаказанность преступников? Ведь пуля не выбирает, и сама власть в любой момент может оказаться под прицелом – не это ли подтверждает недавнее убийство зампреда Центробанка Козлова, по сути имевшего ранг министра?

Ну, а мы, обычные граждане? Мы в массе своей тоже молчим, заняты решением обыденных проблем и насущных дел. Допускаю, что большинство обывателей понятия не имели, кто такая Политковская и чем она занималась, не читали ее статей, не слышали ее выступлений. Ну а можно ли назвать бурной реакцией общества и каждого гражданина в отдельности на иные громкие, да и не обязательно громкие, преступления, коим за годы после развала Советского Союза несть числа? Попривыкли мы к ним, что ли? А может, давно взяли на вооружение поговорку «своя рубашка ближе к телу». Но ведь и эта «рубашка» может в любой момент треснуть по швам, если в обычной семье изнасилуют дочь, не вернется сын из «горячей точки», по ложному обвинению арестуют мать или отца, посадят «на иглу» школьника-третьеклассника... Беда ходит рядом с каждым из нас, и наше равнодушие – не лучшее от нее защита.

Так что же делать? – вправе спросить читатель. Рвать на себе волосы, идти на площадь, рисовать гневные плакаты? У меня нет готовых рецептов, да и не может их быть, ибо каждый решает проблему сам. Напомню только слова эпитафии из романа великого писателя Эрнеста Хемингуэя: «Не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол. Он звонит по тебе»... По ком из нас прозвонит Колокол в следующий раз?

Мне еще предстоит рассказать и о Владе Листьеве, с которым соединяли нас годы совместной работы, пока же замечу, что и его гибель, и гибель Ани горькими вехами отметили историю существования нашего Издательского дома. Напомню еще раз, что ему предшествовало создание рекламного агентства «Эскарт», которое с моей легкой руки возглавил Игорь Сикорский – бывший сотрудник «Комсомолки». Игорю я и оставил все рекламное хозяйство, когда ушел из газеты. Ушел, уже имея за плечами некий опыт рекламной работы и отчетливое понимание, что ни одна частная газета не сможет просуществовать достаточно долго, если не будет обладать определенным рекламным бюджетом.

Почему же думалось о новом издании? Причем издании частном, подчиняющемся только закону о СМИ и, соответственно, главному редактору; свободном от всякого рода учредителей и независимом от финансовых вливаний со стороны. Для меня и сегодня непросто ответить на этот вопрос. Хотелось свободы от разного рода идеологических начальников, коих хватало на моем веку? Несомненно... Мечталось о газете нового типа, которая станет необходима читателям, черпающим из нее не политическую белиберду советского образца, а нужные для нормальной человеческой жизни советы – словно на приеме у умного психотерапевта или в откровенном разговоре с другом на кухне? И это так... Верилось, что свобода слова, право иметь собственное мнение, честно и открыто высказывать его – это надолго? Да, конечно, ибо в то удивительное время – в начале 90-х годов – читающую публику буквально захлестнул шквал материалов, открывающих неведомую ранее правду о нашей прошлой и настоящей жизни, а пишущей братии дающих возможность выплескивать с кончика пера наболевшее за долгие годы. Все это были составляющие моей мечты о новой газете, но мечты смутной, пока не облеченной в строгую форму газетных полос.

Конечно, думал я и о финансовой стороне издания. Идти к кому-либо на поклон за деньгами – эта идея была отброшена сразу, потому что я понимал: кто заказывает музыку, тот и танцует даму. Но и без денег не то что газету не выпустишь – скрепок не купишь. А платить надо было за все: гонорары авторам, зарплату будущим сотрудникам, за газетную бумагу, за услуги типографии, за помещение, за лампочку на письменном столе, в конце концов... Впрочем, и за письменный стол тоже. И я дни напролет взвешивал собственные материальные возможности, думая и о том, что мог бы продать, дабы рассчитаться с долгами, если бы задуманное предприятие потерпело крах.

Меньше всего в то время я размышлял о «концепции» газеты (и по сей день не люблю это слово). Идея была ясна: неполитическое издание, в меньшей сте-

пени дающее новостную информацию (таких газет было много), и в большей степени – обучающее, печатающее практические советы для тех, кто был настолько зашорен всей прошлой жизнью, что абсолютно растерялся, едва открылись шлюзы перестройки и на людей хлынула правдивая информация и социального, и личного плана. Забавным примером такой зашоренности стал состоявшийся в те времена первый телемост между СССР и США, когда на вопрос из-за океана: «А как у вас обстоят дела с сексом?», некая дама, представлявшая в студии отечественную аудиторию, ответила, сразу же войдя своим ответом в историю: «Секса у нас нет!».

Был, был у нас секс... И пьянство было, и наркомания, и измены, и нищета, и социальная неадаптированность к происходящим переменам, и пустые прилавки, и самоубийства, и преступность – все было, но пресса молчала, задвленная идеологическим гнетом. А как хотелось иногда, подобно Льву Николаевичу Толстому, крикнуть так, чтобы тебя услышало как можно больше людей: «Не могу молчать!».

Словом, вопросов, мечтаний, сомнений, надежд хватало... Тут-то и выручила меня «Столица», вернее, не сам журнал, а сотрудники, многих из которых я хорошо знал. Дело в том, что незадолго до моего разрыва с «СК» из нее именно в «Столицу» ушли работать наш заместитель ответственного секретаря Володя Петров, сотрудник моего отдела Юра Бычков, еще несколько человек.

Трудился здесь коммерческим директором (тогда эта должность только появилась в отечественной журналистике) и мой товарищ Миша Пекелис. До прихода сюда он был главным редактором газеты «Цирк» (позже «Арена»), учредителем которой являлся «Союзгосцирк». Талантливый организатор, человек сугубо демократических взглядов, он сумел превратить чисто профессиональное, а потому малотиражное издание в общеполитическую газету, привлекая немало интересных авторов и, соответственно, читателей, далеких от циркового искусства, но зато живо интересующихся переменами, происходящими в стране. Резкие, порою открыто антисоветские материалы, появляющиеся здесь, конечно же, не могли не раздражать старое руководство «Союзгосцирка», и Миша, в конце концов, был вынужден уйти, обретя пристанище в «Столице».

Вот с ним-то, близким мне по духу и творческим устремлениям, и повели мы разговор о воплощении моей мечты. Миша сразу же ухватился за идею, а вскоре познакомил меня и с Андреем Мальгиным – «милым человеком, разводящим дома пираний» (выражение журналистки Аллы Боссарт). Мальгин (о наших возникнувших позже сложных отношениях я еще расскажу) сразу же

предложил выпускать газету как... приложение к своему журналу. Идея эта была отвергнута мною на корню – все из-за того же нежелания быть зависимым. Тем не менее нам удалось договориться (на определенных финансовых условиях) об использовании полиграфической и технической базы «Столицы» для выпуска пробного номера газеты «Частная жизнь» – название это, придуманное в минуту творческих мук, на мой взгляд, как нельзя лучше соответствовало тематике будущего издания.

Итак, согласие было дано, и редакция «Частной жизни» – хотя и с единственным штатным сотрудником: ее главным редактором – приступила к выпуску первого номера газеты.

Дело завертелось: Володя Петров рисовал макеты будущего издания, художник «СК» Костя Валов придумал логотип «Частной жизни», украшающий с тех пор ее первую страницу; не стало дело и за авторами – все мои друзья-журналисты (о многих мне еще предстоит рассказать) писали материалы, заручившись моим твердым обещанием получить гонорары после выхода в свет первого номера.

Этот номер, напечатанный тиражом в 100 тысяч экземпляров, как я и рассчитывал, был готов 9 апреля 1991 года – я специально старался выпустить его ко дню своего рождения. Ведь, по сути дела, и я родился заново – как главный редактор. Еще не очень-то понимая, какой груз ложится на мои плечи. Ибо в те дни парения и озарения все казалось легко и просто: не случайно первый номер «ЧЖ» был сделан всего за две недели.

О чем же поведал он «городу и миру»? Пересказывать содержание газеты, тем более газеты, которая в 2009 году отпраздновала свое 18-летие, дело неблагодарное. А потому прибегну лучше к цитированию необычной заметки, которую, отмечая выход нового издания, напечатала газета «Труд». Конечно же, сделала это газета не из любви ко мне – ее автор Володя Свирин, продолжавший работать в «Труде», выходящем тогда 22 миллионным тиражом, используя свое «служебное положение», придумал хитрый ход: написал скорее не рекламный, а антирекламный материал, памятуя, что антиреклама – лучшая реклама. Да в ином виде его главный редактор Александр Потапов, бывший до назначения в «Труд» инструктором ЦК КПСС и курировавший (ирония судьбы!) «Советскую культуру», заметку эту вряд ли бы пропустил (конкуренция!).

Итак, цитирую «Труд» от 25 апреля 1991 года. Заметка с хлестким названием «Стриптиз перед замочной скважиной» была напечатана под рубрикой «Ну и ну!»:

Английская поговорка «Мой дом – моя крепость» у нас в эпоху коммуналки трансформировалась в энергичное «Не лезь в мою жизнь!». Отбивались этим окриком от любителей заглядывать в чужие кастрюли, принимать любопытствующим взглядом к замочной скважине, посредством приставленной к тонкой стене металлической кружки внимать разговорам в соседской комнате. И вроде бы удачно отбивались – умирала традиция, копаться в чужом белье стало считаться неприличным. И вдруг...

Читаю новую московскую газету «Частная жизнь». Чуть ли не весь номер – из «замочных скважин». Чтобы показать, например, итальянскую порнозвезду Чиччолину, как она занимается любовью «одновременно с двумя, тремя, четырьмя мужчинами...». Или представить отечественного кандидата в партнеры Чиччолины, объявляющего печатно: «Для тебя, женщина в возрасте от 18 до 45 лет. Я готов удовлетворить тебя во всех видах секса. Страстный, 28 лет». Ну а тем, для кого секс – не первостепенное дело, не испытывающий неловкости автор статьи «Перегоним – будем пить» рассказывает, при помощи какой подручной техники и по каким рецептам лучше всего готовить самогонку. И, видимо, знает дело, все время акцентирует внимание на тонкостях. Другой автор наставляет по части спекуляции: что и почему надо покупать в заграничной командировке, чтобы выгоднее продать в родном Отечестве. А третий, тоже имеющий отношение к экономике, обучает искусству жить по формуле «Ты – мне, я – тебе», «чтобы любому человеку был понятен принцип, по которому он должен искать опору».

Этот стриптиз почему-то назван редакцией «школой передового опыта». А раз так, то, следуя стилю «Частной жизни», следует, видимо, ждать в следующих номерах и прочие откровения, выражаясь языком газеты, мастаков. Может, уроки квартирному вору. Может, инструкции для начинающего сутенера. Или – краткий практикум по финансовому мошенничеству... Ведь редакция, по ее признанию, «в эту школу пошла». Что ж, вольному – воля. Но зачем тащить туда и читателей?

Хлестко, не правда ли? В те дни благодаря моим друзьям и в ряде других газет появились мини-рецензии, связанные с выходом «Частной жизни». Но они просто констатировали этот факт, хотя и служили неплохой рекламой. Но шедевр (без всяких преувеличений) Свирина, на мой взгляд, превзошел всех! Особенно, если знать его маленькие секреты...

Скажем, статья в «ЧЖ» об итальянской порнозвезде Чиччолине, той самой, которая «и двух, и трех, и четырех...» и о которой так гневно отзывался автор, была написана по моей просьбе никем иным, как... собственной супругой Свирина – блестящим знатоком итальянской культуры Людмилой Борисовной Филатовой, работавшей в иностранном отделе «Советской культуры». Похожие истории были и с авторами других материалов – Володя всех их знал, со многими дружил. И вовсе не пытались наши авторы заглянуть в «замочную скважину» – скажем, раз уж разрешили в то время производить самогон для собственных целей, то они рассказывали, как лучше это сделать, дабы не отравиться всякой гадостью. Или, к примеру (только-только открыли границы), давали советы будущему племени «челноков» о том, что надо привозить из-за рубежа, дабы заработать свой честный рубль, а то и два... Словом, газета попыталась впервые (и это явилось ее главным отличием от других изданий) стать своеобразным практическим пособием для читателей. Оказавшихся один на один с тем жутким временем галопирующей инфляции, которая захлестнула народ в начале 91-го года. Когда (еще до «гайдаровских» реформ) с прилавков повымело все товары, зато даже на главных магистралях столицы появились вызывающие жалость соотечественников и недоумение заезжих интуристов старушки, пытавшиеся заработать хотя бы несколько копеек на перепродаже сигарет или водки.

Одним из подобных «шедевров», к примеру, стала напечатанная в «ЧЖ» заметка, связанная с тем, что из продажи тогда исчезли и сигареты (их выдавали по талонам). Читатель в своем письме делился опытом: он, оказываясь, разминая полусырую (как правило) сигарету, сыпал табак в специальную баночку, а потом вертел из него самокрутки и, используя подобный «режим экономии», вполне наслаждался жизнью. Сейчас это кажется неправдоподобным, но и такое было...

Конечно, публиковались в первых номерах газеты и другие материалы – к примеру, интервью со звездами театра, кино, эстрады (но, опять же впервые, не об их творческих успехах, как привыкли писать журналисты, а о личной жизни, семье, любимых, родителях) – в этом плане показательна обложка первого номера «ЧЖ», где была напечатана фотография замечательной актрисы Светланы Крючковой не на сцене или в кино, а идущей с грудой сумок из магазина. Писали мы все последующие годы и о приватной жизни многих исторических фигур (эта тема тогда была практически скрыта от читателей), и о карьере зарубежных звезд, и о секретах сохранения здоровья, и о психологии личности: одиночестве, комплексах, причинах неудач, умении их преодолевать. И, конечно, говорили о сексе – в открытую, ничего не утаивая и не скрывая. Авторами этих материалов были специалисты, с которыми я дружил многие годы: психотерапевты

Алик Палеев, Николай Наричин, Диля Еникеева, которые стали сегодня широко известны, и не в последнюю очередь благодаря «ЧЖ». А тогда они получили возможность, быть может, впервые заговорить с читателем, не опасаясь рамок идеологической цензуры и удавок редакторских ограничений. Нашим лозунгом, по сути, стало: «Говорить можно обо всем, важно – как говорить...». И поэтому мы старались (стараемся и сейчас) не ворошить грязное белье, не заглядывать в чужие постели, не смаковать ту же сексуальную тематику, а вести с читателем умный разговор обо всем, что его волновало и волнует сегодня.

Конечно, с высоты сегодняшнего времени все эти темы могут показаться давно отработанными множеством изданий. Но тогда – в 91-м – об этом практически никто не писал. Это позже наши идеи, рубрики, да что рубрики – порой даже заголовки! – растащили по десяткам, сотням печатных «квартир», по сюжетам телефильмов и телепередачам, радиостанциям, интернет-сайтам. Пользуйтесь, ребята, не жалко: мы ведь все равно были первыми...

Отдельный разговор об объявлениях «сексуального характера», появившихся в первом номере газеты – также впервые в советской (тогда еще) прессе. Но вначале вообще об объявлениях от граждан, напечатанных в первом номере. Мы находили их просто: на стенах домов и фонарных столбах, а затем звонили их авторам и спрашивали: не будут ли они возражать, если их объявления бесплатно появятся у нас в газете? Не возражал практически никто. Так была заполнена целая страница – первая среди сотен других.

Ну, а «украшением» ее стали объявления особого свойства. Их было два: одно процитировал Свиринов в своей заметке (его мы для прикола опубликовали под номером 007), а второе звучало так: «Пара ищет пару для дискретных [читай «интимных» – В.Ш.] отношений». Оно значилось за номером 121. Открою секрет: эти объявления мы придумали сами, скалькировав их из зарубежной печати. Зачем они понадобились? Конечно (не скрою) для привлечения читателей. Но была у них и другая, более глубокая задача. Коль скоро газета называлась «Частная жизнь», то и подобные объявления (впоследствии их уже не надо было придумывать) стали отражением нашей частной жизни. Еще работая в «Советской культуре», общаясь со многими психотерапевтами (сексологов тогда не было по определению), я не раз убеждался, насколько тонка та личностная, интимная сфера человеческой жизни, которая порой и приводит к разладу в семье, к сексуальным преступлениям, к житейским драмам, к страданиям и боли. Наша сексуальная жизнь слишком многолика, и только сам человек имеет право решать, как поступать ему в том или ином случае. Мы же, газетчики, по моему твердому убеждению, имели только одно право: подсказывать, но не решать за наших читателей...

И объявления «сексуального характера», которые мы начали печатать, были именно такой подсказкой, помогающей людям делать то, что они добровольно желали делать.

Кстати, с этими двумя объявлениями после выхода первого номера произошла забавная штука. Моя жена, используя «служебное положение», на странице объявлений разместила два личных сообщения: одно гласило, что ей нужен мастер для ремонта стиральной машины, а второе – что она ищет электроплиту коричневого цвета с двумя конфорками. И, естественно, указала наш домашний телефон.

Газета вышла... Через какое-то время дома раздался телефонный звонок. Жена сняла трубку.

– Скажите, – спросил чей-то мужской голос, – вы давали в «Частной жизни» объявление о мастере для стиральной машины?

– Давала, – бодро откликнулась жена и поинтересовалась. – А вы мастер?

На другом конце провода мужчина томно хмыкнул и произнес:

– Мастер... Вы газету-то сами читали?

– Ну, вообще-то читала, – озадаченно произнесла жена. – А в чем дело?

– Так вот, я мастер под номером 007!

– Молодой человек, – моя супруга еле сдержала смех. – Вы уж извините, но мне нужен совсем другой мастер – по ремонту стиральных машин.

И повесила трубку...

Часа через два снова зазвонил телефон.

– Вы давали объявление о коричневой плите с двумя конфорками? – спросил ласковый мужской голос.

Жена узнала его: это был все тот же «мастер».

– Знаете, молодой человек, – возопила супруга. – Если вы полагаете, что я ищу мулату с двумя членами, а не коричневую плиту с двумя конфорками, то вы глубоко ошибаетесь.

И хлопнула трубку на рычаг...

Так мы заочно познакомились с одним из первых наших читателей, почему-то решившим, что все объявления, напечатанные в «Частной жизни», носят замаскированные сексуальные предложения. Вот и возжелал он выдать себя за придуманного нами героя под джеймбондовским номером 007, который был «готов удовлетворить женщину от 18 до 45 лет во всех видах секса», названивая по всем указанным на странице телефонам. Фантом, придуманный нами, обрел плоть и кровь... Надеюсь, без особого ущерба для женщин...

Вскоре (меня в этом упрекали многие) появится у нас и реклама «девушек легкого поведения», кои в Москве уже в то время развелись в невероятных количе-

ствах. Поразмышляю и об этом, но позже, ибо у такого рода рекламы была своя история...

Так что, когда Володя Свирин писал свою сакраментальную заметку, он все прекрасно понимал, ибо и сам принимал непосредственное участие в выходе первого номера. Но написал «от обратного», рассчитывая на умного читателя. «Антиреклама» сработала: буквально в считанные дни тираж газеты был раскуплен. Я, правда, не обольщался, поскольку, по моему убеждению, первый номер «ЧЖ» был не показателен: его могли купить просто из любопытства. Показательна (так уж сложилась практика журналистики) судьба последующих номеров, когда можно судить, нашло ли издание свое место на газетном рынке, обрело ли устойчивый интерес читателя? Но и выход первого номера, конечно, был для нас – тех, кто его делал, заметным событием. Которое мы, соответственно, и отметили...

Автора!

Невозможно представить себе ни одного издания без авторов – людей, которые пишут для газеты, и без которых само ее существование просто немыслимо. Это могут быть и штатные сотрудники, и внештатные – работающие «на гонораре». Но они – тот «теин в чаю» (по выражению Тургенева), которые придают газете свое лицо, неповторимое своеобразие. Поэтому эту главу я хочу посвятить именно им.

За годы, прошедшие со дня выхода первого номера «ЧЖ», у газеты было немало авторов. И случайные люди, приносившие или присылавшие свои материалы, которые мы публиковали, если они представляли интерес для газеты, и те, кто задерживались на какое-то время, но потом исчезали, очевидно найдя иную, более привлекательную пристань. Да извинят они меня, коль скоро не будут упомянуты в этой книге – так или иначе всем им огромное спасибо за вклад в становление газеты. Мой же рассказ о тех журналистах и писателях, которые, если так можно сказать, прикипели к «ЧЖ» едва ли не с первого дня и вот уже многие годы сотрудничают с нашим издательством. Называется оно теперь «Издательский дом Шварца», а «Частная жизнь» была его первенцем. Потом в нашем издательском доме появятся и другие газеты – но то особый сказ: главное сейчас о них – наших «старейших» штатных и внештатных сотрудниках.

О Владимире Павловиче Свиристине я рассказывал в этой книге уже немало. Но вот какая закавыка: и по сей день не знаю, что заставило его, вполне

благополучного члена редколлегии, редактора отдела новостей престижного в 90-х годах «Труда» бросить насиженное место и перейти первым заместителем главного редактора в «Частную жизнь». Я не сулил ему огромных зарплат и гонораров, не обещал манну небесную, но, правда, уговаривал его долго и нудно, а он, по праву сомневаясь, все-таки однажды решился, и с тех пор, как когда-то в «Советской культуре», мы работаем вместе «спина к спине», переживая и все наши победы, и все невзгоды.

Еще до прихода в «ЧЖ» он начал писать в газету, специализируясь в основном на исторических очерках, – из-под его пера всегда выходили маленькие шедевры, украшавшие номера и превратившиеся потом в несколько его собственных книг. Но особенно ценно для меня то, что Володя не гнушается никакой «поденщиной»: он с одинаковым мастерством правит, а порой (бывает и такое) просто переписывает заново чужие материалы, если надо – сочиняет заметки, имидж-рекламу, «лиды» – короткие анонсы к статьям: да всего, что составляет редакционную текучку, и не перечислишь.

В редакции он по праву считается таким «дуайеном» – человеком, к которому сотрудники идут за помощью, коль скоро возникают некие конфликтные ситуации. Свирина микширует мой далеко не идеальный характер, утишает бури, дает ценные советы, руководствуясь все тем же, запомнившимся мне еще со времен работы с ним в «СК», правилом: не рви на себе волосы! Во время редакционных застолий ему по праву принадлежит первый тост, а говорить, как, кстати, и пить, он умеет: сказываются многотрудные годы работы в советской журналистике!

И когда в феврале 2007-го грянул его юбилей – 70-летие, мне в это было трудно поверить, как трудно поверить и в то, что связывает нас более чем тридцатилетняя дружба. Впрочем, стихи, написанные мною «по случаю», быть может, лучше всего отразили суть юбилейного «момента».

*Ах, Владимир Павлович, вот и юбилей.
Подступило к горлу круглое число.
Ах, Владимир Павлович, ну, давай, налей,
Выпить нам сегодня вовсе не грешно.*

*Ах, Владимир Павлович, так и шли года.
То ли чет, то ль нечет – легкие, как пух.
Были мы моложе, и несла судьба
Нас по этой жизни, аж сводило дух.*

*Много мы грешили. Только был ли грех?
Много мы любили, да порой не тех,
Ну а те, иные, что любили нас,
Как туман, уплыли. Да о том ли сказ?*

*Ах, Владимир Павлович! Отряхни печаль,
Ведь не отгорела на столе свеча.
И пока сияет дружбы маячок,
Ощути надежды крепкое плечо.*

*Ах, Владимир Павлович, друг мой драгоценный,
Семьдесят, я знаю, вовсе не предел.
Как актер, упрямо ты идешь на сцену,
Только зритель в зале что-то поредел.*

*Но пока есть силы, что нам горевать.
Хвори подступают? Так гони их вон!
Нам еще с тобою жить да поживать,
Не для нас пока что колокольный звон.*

*Ах, Владимир Павлович, что богов гневить.
Нам труба играет все еще подьем.
Мы дружить умеем, верить и любить,
Ну а это значит, мы не пропадем!*

А вот долго уговаривать еще одного моего близкого друга – Аркадия Казимирова, с которым мы начинали в «Московской правде», практически не пришлось: он пришел в «ЧЖ» буквально вслед за мною, оставив «Учительскую газету», где трудился в качестве заместителя ответственного секретаря. Правда, время для этого оказалось подходящее: из «Учительской» тогда выжили замечательного главного редактора Владимира Федоровича Матвеева, сделавшего это издание особенно популярным среди учителей и родителей, потому что оно откровенно и честно писало о проблемах школы, выдвинув в качестве главной идеи перестройки педагогики глубокое уважение к личности ребенка. На место Матвеева, вскоре сгоревшего от рака, прислали Геннадия Селезнева – того самого, что потом долго надувал щеки в качестве спикера Государственной думы. Работать с ним журналистам демократического настроения было

невозможно, ибо стараниями Геннадия Николаевича из газеты вскоре была вытравлена вся острота и принципиальность.

Ушел из газеты и Аркадий, заняв изначально в табеле о рангах «ЧЖ» многотрудную должность заместителя по производству. Сколько проблем свалилось на его голову буквально с первых дней выхода газеты! Типографии, где мы печатались, – песня особая. Ибо все они в те времена были похожи – в первую очередь своими кадрами: вечно пьяными представителями рабочего класса, именуемыми печатниками. Иногда складывалось впечатление, что без стакана те просто были не в состоянии подойти к ротационной машине – сложнейшему электронно-техническому сооружению, из которого на адской скорости вылетает тираж. Сколько же раз в этом веселом состоянии они нам портачили: то страницу напечатают вверх ногами, то краски перепутают, то заголовки не пропечатают... Аркаша с каждым из печатников умудрялся находить общий язык. А уж сколько «для дела» было выпито с ними водки, сколько поставлено и «проставлено» – история об этом умалчивает.

Кстати, газету «Частная жизнь» мы начали печатать в типографии «Московской правды» – нас с Аркадием там еще помнили. А вскоре именно здесь возник курьезный конфликт, о котором мы с улыбкой вспоминаем до сих пор. Напомню, шел 1991 год, в то время существовали еще и ЦК, и горком партии: именно туда директор типографии «Мосправды» ежедневно отсылал для отчета образцы выпускаемой им продукции.

И вот решили мы напечатать заметку о только зарождающемся тогда фермерстве. Подобрали к ней в качестве иллюстрации забавную фотографию: некий селянин вбивает в землю кол с табличкой, на которой крупно написано: «Земля моя! Не трогать, получите пизды!». Подумали, подумали, и решили напечатать эту «правду жизни» как есть: мол, из песни слов не выкинешь. Тем более что по действующему тогда закону о СМИ за содержание газеты полностью отвечал главный редактор. Я, в случае чего, и решил ответить, подписав материал с этой фотографией в печать.

Каково же было наше с Аркадием изумление, когда, получив из типографии свежий оттиск газеты, мы с удивлением обнаружили ту самую фотографию со слегка исправленным текстом: «Земля моя! Не трогать...». Мама родная, а куда же девалось родимое русское слово, столь близкое миллионам советских людей?! Рванулись мы к директору типографии... Тот и повинился: ребяташки, я понимаю, перестройка, гласность и все такое, ну не мог я с таким текстом посылать вашу «Частную жизнь» в горком партии – мне бы там за подобные штучки как раз той самой и дали бы... Вот мы при печати и зацарапали это ваше словечко... Что тут бу-

дешь делать: директор вроде и закон нарушил, и понять его можно: не под Богом, под горкомом тогда ходил. Посмеялись мы, да и махнули рукою...

Сейчас все это вспоминается, как анекдот. А в те, заревые годы существования «ЧЖ», Аркаше было не до смеха: он ведь и первые наши компьютеры для набора и верстки налаживал, и кадры для них подбирал, и корректуру заводил. Технические сотрудники газеты, которым предстояло всем этим заниматься, находящиеся в подчинении у Казимирова, – в большинстве своем женщины, а женщины, как известно, существа капризные. Пойди-ка найди с ними общий язык: то критические дни, то с мужем поссорилась... Но Аркаша – парень красивый, ему это как-то удавалось, и даже без амурных дел... Боец, одним словом! А он ведь еще и пишет для наших газет, и фотографии, будучи профессионалом в этом деле, создает, и, когда в нашем издательском доме появилась газета «Тайная власть», Аркаша стал ответственным за ее выпуск... Потом сменил профиль: в молодые годы он, как фотограф, не раз бывал вместе со мною на цирковых представлениях, и по старой памяти взял на себя подготовку газеты «Цирк: парад-алле!», которую мы выпустили вместе с Российской государственной цирковой компанией. Отвечает он и за издание газеты «Очная ставка». Если же добавить сюда, что дочку Машу, в силу сложившихся обстоятельств, он практически один воспитывал, да и сына Мишу вырастил... Что ж, нам, многостаночникам, не привыкать...

С давних времен работы на Чистых прудах, где в одном здании находились четыре московские газеты, протянулась нить нашей дружбы и с Аркадием Вениаминовичем Бутлицким. Кто бы поверил, видя этого невысокого, подвижного, как ртуть, человека, что ему уже за 80... На Чистых прудах он работал заведующим международным отделом газеты «Ленинское знамя» – учредителем ее, как сказали бы сейчас, являлся московский областной комитет партии. Было это в 70-е годы, и всегда Аркаша трудился, «не покладая перо». К журналистике он шел через армию, вернее, флот: в 1940 году поступил в Бакинскую военно-морскую школу (прообраз нынешних нахимовских училищ), а в конце 43-го, когда исполнилось восемнадцать, оказался на Черноморском флоте. Ходил на подводной лодке класса «Малютка», служил и на большом тральщике... Для него война не кончилась и в 45-м: его корабль вел боевое траление, очищая Черное море от немецких магнитных мин. Ордена Красной звезды и Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги» – вехи тех боевых походов. Потом было Высшее военно-морское училище в Ленинграде, служба на Тихоокеанском флоте. Ну а журналистика? В нее он пришел после окончания экстерном Ленинградского университета по специальности «История международных отношений», когда начал сотрудничать во флотской газете «Боевая вахта».

Вот же, уже к 85 подбирается наш Аркадий Вениаминович, а пишет – молодым не угнаться. И была его жизнь, и корежила порой, а ведь закалила – да так, что не сдастся он ни времени, ни возрасту. Таких в нашей журналистике почти и нет теперь. А жаль...

Многие наши авторы достались мне в «наследство» и от «Советской культуры» – ведь было там немало замечательных журналистов. В их числе – Эдичка Графов, замечательный Эдуард Григорьевич... Я всегда преклонялся перед людьми, которым генетически присуще чувство иронии – высший пилотаж человеческого общения. В те далекие годы, когда мы познакомились в «СК», Эдик был профессиональным фельетонистом – представителем редчайшей в журналистике специализации, ибо требует она не просто владения неким мастерством, но и умения так обработать слово, что оно, кажется, обретает материальную сущность. В фельетонах Графова слово, как изысканное лакомство, можно взять на язык, почувствовать его вкус, поиграть с ним, пожонглировать, словно мячиками, в воздухе... Читая его фельетоны, которые, в конце концов, превращались в книги, я завидовал этому умению Эдика, ибо сам всегда мучился, добиваясь легкости письма и далеко не всегда достигая ее. Эдик и говорит, как пишет, и пишет, как говорит – легко, иронично, вкусно. Может быть, это и есть важнейший показатель интеллигентности: а уж в этом Эдуарду Григорьевичу не откажешь! Он интеллигентен до кончиков пальцев – один из тех, кого с грустью можно причислить к разряду «уходящая натура»: в моей жизни таких людей остается все меньше и меньше. Не случайно его одаривали дружбой такие корифеи прошлого, как Ростислав Плятт и Рина Зеленая, Фаина Раневская и Зиновий Гердт, Михаил Жаров и Булат Окуджава – да разве всех перечислишь. Позже воспоминания Эдика об этих встречах станут частью рубрики «Поминальная молитва» – и это будет одна из тех рубрик «ЧЖ», которые дороги моему сердцу, ибо это не просто дань прошлому, а лучшему, что в нем было, и лучшим людям этого, уже далекого времени.

А начинал Эдик в молодые годы в «Известиях», причем, что для меня удивительно, довольно долго был, как сказали бы сегодня, представителем «кремлевского пула». Иными словами, официальным журналистом, аккредитованным при тогдашних Совете Министров и Верховном Совете СССР от газеты, учредителем которой и была сия достопочтенная контора. Но, впрочем, послушаем лучше рассказ об этой поре самого Эдика.

– Уж не знаю, с чего главный редактор «Известий» Лев Николаевич Толкунов вздумал аккредитовать в Кремле и меня. Так что некогда и я сподобился...

Много я в Кремле нагляделся. Усмехаюсь, когда говорят, что наверху все – дураки. Не без того, конечно, но я в Кремле встречал и очень умных людей. Только иной раз им приходилось бредом заниматься.

Как-то при мне референты Косыгина, председателя Совета Министров СССР, тщательно готовили финансовый документ ему на подпись. Речь шла о том, чтобы... коллективу самодеятельности завода «Серп и молот» купить новые костюмы для танцев. Коллектив ехал на гастроли в Венгрию. Я даже несколько расшумелся: «И это вы готовите на подпись Косыгину? У него что, других дел нет?». А ведь пришлось, так сказать, кремлевскому царю подписать документик насчет костюмов для заводских танцоров. Уж все так было обустроено – так положено!!!

Нет, дураков среди себя поищем! Редко встречал такого умного человека, неугомонного трудягу, как начальник канцелярии Совета Министров Исаак Маркович Клячко. При знакомстве он сразу заявил: «Я здесь с 1937 года! Да, и при Молотове, и при Нем!»». Как понимаешь, имел в виду Иосифа Виссарионовича Сталина. У Клячко был чудовищный, неправдоподобный еврейский акцент. При таких «данных», знаешь ли, надо было быть поболее, чем просто мудрейшим, да еще с 1937 года! Клячко никогда никому ничего не передоверял, с утра до ночи сидел на работе.

А в соседнем кабинете сидел его заместитель Петр Иванович Савиц – милейший седенький старичок, ветеран партии, затуманенный склерозом. Петр Иванович с утра газеты почитает, цветочки польет. И потом целый день тихонечко сидит перед пустым столом. А на столе этом стоял деревянный стакан с карандашами. И вижу: на кончике грифеля одного из карандашиков изящно выточена фигурка шахматного конька. Представляешь, сколько на эту филигранную работу ушло вдохновения у кремлевского старичка! Как видишь, Петр Иванович без дела не сидел.

Из известных мне в Кремле людей самый яркий был, несомненно, управляющий делами Совмина Михаил Сергеевич Смиртюков. Что никак не было тогда в Кремле принято: обязательно в великолепно пошитом костюме и всегда при хорошего вкуса импортном галстуке. Очень был артистичный человек, уж такие спектакли именно для меня устраивал: я ведь выйду из Кремля и стану рассказывать, какой он замечательный. Вот, например...

Сидели, разговаривали... Вдруг в кабинет впорхнул тучный мужчина с толстым портфелем: «Миша! Я такую замечательную штуку придумал!».

«Да брось ты, – хмуро говорит Смертюков. – Я ж тебя знаю: ты обязательно из кармана советского человека украдешь!». Тот обиделся и упорхнул. Это был министр финансов СССР Зверев.

Как-то зазвонил телефон с золотым гербом. Михаил Сергеевич слушал, делая мне большие глаза и корча в телефон выражения лица. «Да верю я тебе, верю. Спасибо тебе, спасибо». Потом сказал: «Чудак! Это министр обороны Гречко. Он говорит: «Я для тебя все, что хочешь, сделаю». А что он для меня сделает, если на нас атомную бомбу сбросят!» И впрямь!..

А помнишь, Эдик, ты рассказывал, как тебя срочно выдернули «наверх» после какой-то бурной пьянки, и ты явился в Кремль, даже не успев переодеться: в помятой рубашке, да еще со следами крови на воротничке от пореза после бритья. И в таком виде общался аж с самим Косыгиным, который и вида не подал, что в твоём внешнем виде что-то не так. И только после окончания аудиенции, сопровождающий, который шел с тобой к выходу, «тонко» заметил: «Вообще-то у нас в Кремль принято галстук надевать...».

Что скрывать, в свое время Эдик «попил» немало. Но ведь и все мы были не без греха!

Да только пили не по причине алкоголизма, а скорее, чтобы подсознательно снять с себя напряжение, которое постоянно висело над нами дамокловым мечом от работы в идеологической сфере, где за ошибки, а тем более ошибки политические, карали немилосердно, выгоняя с «волчьим билетом» на все четыре стороны. Сколько я знаю таких сломанных судеб – замечательных ребят, чья жизнь была искалечена из-за одного неверно сделанного шага. Эдик прошел по этому «минному полю» и в «Известиях», и в «СК», а выйдя на пенсию, смею надеяться, обрел тепло любви и дружбы в «Частной жизни», где он – постоянный автор. А еще он – «автор» кучи детей, внуков и супруг удивительно мужественной женщины и прекрасной журналистки Лиды Графовой: в годы перестроечного лихолетья она взяла на себя заботу о беженцах – несчастных людях с изломанной распадом СССР и чеченскими войнами судьбою, которые оказались никому не нужны в нашем достославном Отечестве. Разве только Лиде, которая не устает биться во все инстанции, писать раздирающие душу статьи, да порою и просто приводить беженцев в их с Эдиком дом, чтобы хоть как-то обогреть и ободрить.

Мне повезло, что на моем жизненном пути встретилось немало именно таких, нравственно чистых людей, умниц, по-настоящему талантливых про-

фессионалов, умеющих все понимать и сострадать, видя, по словам классика, «свинцовые мерзости жизни». Я помню, как Эдик заплакал, когда я дал ему прочесть сборник о гибели еврейских детей во время террористического акта, устроенного палестинцами в дискотеке «Делфинариум». В этой тель-авивской дискотеке погибло и немало подростков – выходцев из бывшего СССР: воспоминания очевидцев взрыва, письма, рисунки убитых, рассказы родителей, пропитанные кровью, словно напалмом прожигали насквозь душу, и Эдик – уже пожилой, седой человек, повидавший немало горя на своем веку, не мог сдержать слез. Он написал тогда блестящее эссе на эту тему – конечно, тот материал не остановил кровавую бойню, длящуюся уже более полувека, но, судя по откликам читателей «ЧЖ» (а статью перепечатали и израильские газеты), стал ярчайшим образцом протеста против насилия, против террора. А, значит, в какой-то мере выполнил и свою миротворческую миссию.

И уж коль скоро мы заговорили об Израиле, не могу не заметить, что именно Эдуард Григорьевич сотворил «Библейскую версию» создания газеты «Частная жизнь». С нескрываемым удовольствием воспроизвожу ее на этих страницах:

В начале, как вы знаете, было Слово!

А уж потом Жизнь, состоявшая, соответственно, из слов. Естественно, «Частная жизнь», другой в те времена просто не было.

В День Первый Создатель сотворил, простите, арендовал в проезде Серова ну уж совсем первобытную развалюху, сохранившуюся еще до Потопа. Есть, правда, версия, что это более позднее архитектурное несчастье, уцелевшее в городах Содом и Гоммора. На них ведь обрушился ливень серы и огня, и воцарилось Молчание смерти. А домик уцелел! В общем, не новое помещение.

В День Второй Виктор Ильич сотворил воды. То есть к развалюхе подключили водопровод. И даже канализацию типа сортир, что совершенно лишило Шварца возможности орать на коллектив «Засранцы!».

На Третий День Шварц воскликнул: «Да будет свет!». И работяги за три пол-литры подключили развалюху к городской электросети.

На Четвертый День Создатель призвал чудища и всякую живую тварь. То есть в помещение хлынули тараканы. Их приятно привлекла сырость, которая посредством дождей сквозь дырявый потолок превращала полы в хляби. Как-то хляби разверзлись, и тараканы вместе с некоторыми сотрудниками провалились со второго этажа на первый.

На Пятый День Шварц, как и положено, создал звезды. На небосклоне своей грядущей славы. Звездой ему пришлось назначить меня. Поскольку нормальные авторы просто не решались заходить в этот кошмар типа офис.

На Шестой День Шварц создал Главного редактора по образу и подобию своему. И воскликнул Шварц: «Это хорошо!».

Седьмой День Создатель, в соответствии с Библией, отдыхал от трудов. В забегаловке «Иртыш», что супротив здания ЦК КПСС.

Вот так прошла первая неделя Жизни. Я имею в виду «Частной жизни».

В понедельник Шварц воскликнул: «Плодитесь и размножайтесь!». Что и стало на последующие годы эксклюзивным помешательством газеты «Частная жизнь».

Аминь!

Летописец-очевидец
Эдуард Графов

К подобным Эдику Графову, близким моей душе людям, относится и Аркадий Арканов, сотрудничающий с «ЧЖ» с первых лет ее существования. Аркан, Михалыч – таковы его дружеские прозвища – талантлив многогранно, да об этом не стоит и говорить, ибо он широко известен и читательской публике, и уж, конечно, тем, кто смотрит телевизор. Но, думается, мало кто по-настоящему знает Аркадия Михайловича, впрочем, и я, собственно, не претендую на то, чтобы воссоздать его портрет во всех красках и мельчайших подробностях. Да и не стоит передо мною такая задача – я ведь рассказываю о наших авторах, которые за время существования «ЧЖ», смею полагать, стали не только друзьями газеты, но и моими друзьями.

Нас познакомил Боря Брайнин – поэт, в свое время активно сотрудничавший со знаменитым в конце 70-х – 80-х годах Клубом «12 стульев» «Литературной газеты». Боря писал и нам, и однажды привел с собой Арканова... Мы как-то сразу сошлись, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте. Впрочем, я не знаю ни одного человека, у которого Аркан вызывал бы чувство отторжения: настолько он обаятелен или, как сказали бы сейчас, обладает «положительной харизмой». Уверен, кстати, что доведись Михалычу быть рядом, когда пишутся эти строки, он обязательно бы пошутил насчет этой своей «харизмы». А делать это он умеет блестяще, мгновенно импровизируя по поводу подходящего случая.

Помнится, как-то сидел он в моем кабинете, по обыкновению пил чай, а я в это время срочно правил какой-то материал... И попалась мне в тексте фамилия Эйзенхауэр. Я, оторвавшись от рукописи, и говорю:

– Аркан, ты знаешь, наверное, так теперь писать нельзя – просто Эйзенхауэр. Теперь надо писать полностью: президент США в таких-то годах Дуайт Эйзенхауэр. Ну кто сейчас из молодых помнит этого деятеля...

Арканов, оторвавшись от стакана с чаем, тут же выдал с присущим ему мрачным выражением лица:

– Какой, на хуй, Эйзенхауэр... Они уже забыли, кто такая Алена Апина...

Я рухнул... Кстати, для действительно подзабывших, напомню, что Алена Апина – известная российская поп-звезда, потихоньку в те годы уже сходявшая со сцены. Но какой импровиз!

Конечно, для подобных мгновенных импровизаций надо иметь определенный склад ума. Арканов вообще, на мой взгляд, видит мир немножечко по-другому, чем обычные люди: ему дано от Бога умение заглядывать в некое Зазеркалье, где и слова, и краски жизни, да, пожалуй, и мы, люди, существуют в ином, быть может, весьма ироничном измерении, и уж во всяком случае, не выглядят столь серьезно, как в обыденности повседневного бытия.

Наверное, именно это свойство и придает особенность его таланту. Помнится, как на пляже в Тель-Авиве я с изумлением наблюдал за одной бывшей нашей семьей, которая в буквальном смысле ржала в полный голос, ничуть не стесняясь окружающих. «Интересно, чего это их так разбирает?» – подумал я и подошел поближе. Оказывается, они читали книгу Арканова «От Ильича до лампочки» – удивительно смешной и своеобразный учебник отечественной истории, написанный Михалычем еще в начале «перестройки». Тот, кто читал эту книгу, может понять и наших «олим», получающих кайф на золотом песочке тель-авивского пляжа.

Но те, кто думает, что Арканов – всего лишь этакий «смехач», писатель-сатирик (последнее определение он, совершенно справедливо, не приемлет), удел которого – развлекать публику, глубоко ошибаются. Или просто не знакомы, скажем, с его глубоко философским рассказом «И снится мне карнавал», с некоторыми его песнями (например «Вальс» или «Вот и кончается нынешний век»), с романом «Рукописи не возвращаются». Именно в них – отголоски той непростой жизни, которой вдосталь хлебнул Михалыч. По профессии врач, он, решив уйти из медицины, не просто входил в литературу 60-х: и в силу «неарийской» родословной, и в силу того, что уже тогда там – в журналах, на эстраде, в театре – существовала своя «мафия», с трудом допускавшая новичков к

«кормушке». Но он все-таки пробился, работая вначале в соавторстве с уже ушедшим замечательным драматургом Гришей Гориним. А потом грянула катавасия с «Метрополем»... Впрочем, не стану рассказывать об этой на шумевшей в те годы истории. Лучше предоставлю слово самому Аркадию Михайловичу, тем более что впервые с присущей ему иронией описал он ее по моей просьбе именно в «Частной жизни», и этот рассказ будет, уверен, интересен для читателей книги.

В один из дней приблизительно середины 1977 года в Центральном доме литераторов ко мне подошел Вася Аксенов, который для меня, и не только для меня, был безусловным лидером молодой советской литературы. Я очень дорожил нашими приятельскими отношениями и дорожу ими до сих пор, хотя прошедшие годы и развели нас географически... Так вот, Вася подошел ко мне и сказал: «Арканыч, мы собираем сборник произведений, которые по тем или иным причинам у нас не публикуются. Этот сборник мы передадим в ВААП (Всесоюзное агентство авторских прав), и они предложат его для публикации за границей...».

Надо сказать, что ВААП тогда (конечно, не по собственной инициативе) изредка проводил хитрые проститутские акции: отдельные произведения или пьесы отдельных прогрессистов, «завернутые» по политическим и цензурным соображениям в СССР, продавались на Запад. ВААП получал за это валюту, какие-то крохи скидывал авторам, и таким образом убивались два зайца: с одной стороны, можно было демагогически орать на весь мир – мол, какая у нас свободная литература, а с другой стороны, сгребалась какая-никакая валюта.

Аксенов назвал мне еще около дюжины имен, быть в числе которых мне всегда казалось большой честью. Были среди них Анатолий Гладилин и Фазиль Искандер, Георгий Владимов и Владимир Войнович, Белла Ахмадулина и Юнна Мориц, и Евтушенко, и Высоцкий, и Битов, да и многие другие были там. И вот через несколько дней я передал Васе рукописи двух моих (на то время лучших) рассказов: «И снится мне карнавал» и «И все раньше и раньше опускаются синие сумерки»...

Отдал и отдал. Не ожидал, не интересовался и не нервничал – не было оснований. Месяца через три Вася, Фазиль Искандер и Женя Попов показали мне отпечатанный экземпляр увесистого красивого сборника, в котором стояли и два моих рассказа. Не скрою – мне это было очень приятно и лестно.

В начале 1978 года я возвратился в Москву из длинной поездки по Сибири, и кто-то из моих друзей взволнованно сообщил: «Аркан! Тут такая история завернулась! По «Свободе» передавали твои рассказы из «Метрополя»! И по «Немецкой волне»! Уж не знаю, поздравлять или сочувствовать!».

После этого стали звонить многие. Кое-кто предупреждал о возможных неприятностях...

Неприятности последовали очень быстро. Появились гневные публикации в прессе, состоялся пленум Союза писателей СССР, который дал однозначную оценку альманаху «Метрополь» как предательской, антинародной и антисоветской акции группы «так называемых» молодых писателей. С одной стороны, я стал одним из «героев», с другой стороны, не скрою, мне стало немножко мутно: последствия могли быть весьма тяжелыми и для меня, и для моего сына, которому тогда было одиннадцать лет. В прессе стали появляться угрозы: исключить всех участников из Союза писателей, выслать к чертовой матери из страны, посадить...

В Центральном доме литераторов стало довольно противно появляться – указывали пальцами, подходили в пьяном и трезвом виде, особенно правоверные писатели, говорили: мол, как ты мог, с кем ты связался и т.п. Некоторые стали обходить стороной... Кое-кто втихаря поддерживал... Кое-кто говорил, что историю с альманахом не поддерживает, но разнужданное улюлюканье в наш адрес не одобряет.

Я не понимал только одного: почему разразился такой дикий политический скандал, если предполагалось передать альманах за границу официально?... А события развивались по нарастающей. Все договоры, заключенные нами с разными издательствами и журналами, были расторгнуты, рукописи возвращены. На телевидение меня не подпускали на пушечный выстрел и даже снимали с эфира актеров, исполнявших мои произведения. Вернули рассказ даже из моего отчего журнала «Юность». Но обид у меня ни на кого не было. Я понимал, что по-другому они поступить не могли. Им было строго предписано.

В это время мне хотелось куда-нибудь уехать, переждать... Но куда?

К счастью, страна наша велика и непредсказуема. Однажды в разгар шабаша (это был февраль 1978-го) мне позвонил мой друг (в это время симферопольский поэт) Саша Ткаченко и сказал, что, едучи в поезде, познакомился с начальником Симферопольского Военно-политического

училища... Генерал проявил очень большое познание в литературе, обмолвился, что очень любит мое творчество. Когда Саша сказал, что мы с ним друзья, генерал попросил меня приехать в Симферополь для участия в торжествах училища по поводу Дня Советской Армии. С этим предложением Саша и позвонил мне в Москву.

– Саня, ты что, опупел?! – удивился я. – Сейчас, в разгар «метропольщины», я должен ехать выступать в Военно-политическом (!) училище? Ты соображаешь, что говоришь?

– Аркадий, – ответил он, – в Симферополе об этом никто не знает. Не докатилось еще. Приезжай. Генерал очень просил. Он отличный мужик...

В голове моей забегали чертики: а ведь забавно! Опальный писатель едет выступать – и куда? На передний край идеологической обработки – в Военно-политическое училище! Будет что вспомнить!..

В Симферополе меня встречал генерал со свитой. Оркестра, правда, не было. В машине он сказал мне, что программа моего участия в празднике состоит из двух частей. 23 февраля на плацу во время торжественного построения я должен быть на трибуне и короткой речью поздравить училище с Днем Советской Армии. Затем генерал зачитает указ о присвоении очередных воинских званий преподавателям училища, а я (!) вручу им погоны: майорские, подполковничьи и полковничьи.... Я стал упираться, но генерал был неумолим – он сказал, что для офицеров этот день станет вдвойне незабываемым.

– Я вас очень прошу, – добавил он. – Для нас это важно. Тем более что будет присутствовать руководство Крымского обкома партии (!)...

Тут я понял, что может произойти приличный конфуз... Ну ладно, генерал не в курсе скандала, но уж секретарь обкома по идеологии точно осведомлен... Но я решил: будь что будет!

В 12 часов дня 23 февраля меня пригласили на трибуну и представили руководству обкома. Они здоровались со мной с протокольной вежливостью, секретарь по идеологии даже улыбнулся, и я понял, что ни о каком «Метрополе» они не подозревают. Тогда я и убедился, что советская идеологическая машина работает не столь уж исправно...

Я поздравил курсантов с праздником, и генерал объявил, что акт торжественного вручения погон будет осуществлять «наш гость из Москвы, известный писатель-сатирик Аркадий Арканов». Мы с генералом спустились с трибуны. Генерал вызывал из строя офицера, зачитывал ему приказ о присвоении очередного воинского звания и передавал мне погоны.

Офицер отделялся от строя и четким парадно-строевым шагом направился ко мне с шашкой наголо. Мне было торжественно, страшно и смешно. Я поздравлял офицера, вручал ему погоны, а он, приняв погоны, произносил мне лично: «Служу Советскому Союзу!». А я думал: «Господи! Знал бы этот офицер, что погоны ему вручает «идейный враг», которого завтра могут выгнать из страны или посадить!». Время от времени я косил взглядом в сторону стоявшего поодаль Ткаченко. У него было бесовское выражение лица. По-моему, он получал плохо скрываемое удовольствие от фарса, который сам и затеял... После этого был «офицерский чай» и мой концерт перед курсантами. Справедливости ради должен сказать, что более горячего приема, чем в тот вечер, я не помню. Отправляли меня в Москву, как правительственную персону. Генерал даже приказал задержать вылет самолета. К трапу меня доставили в генеральской машине с мигалкой...

... Когда травля достигла своего апогея, начала реагировать зарубежная общественность, которая заговорила о свободе слова в стране, где через два года должны были проходить Олимпийские игры. И вдруг из ЦК КПСС последовала команда: травлю прекратить и все спустить на тормозах... Сразу же стали звонить из газет и журналов... Внешние страсти постепенно улеглись... Но если до «Метрополя» меня иногда выпускали в Болгарию (только в Болгарию!), то после «Метрополя» до 1989 года мне и Болгария была заказана...

Такая вот, полуанекдотичная, а вообще-то, с учетом реалий того времени, малосмешная история приключилась с Аркадием Михайловичем. В том числе и благодаря Саше Ткаченко, ставшем спустя годы, когда Арканов нас познакомил, не только автором «Частной жизни», но и моим близким другом. Горько писать о том, что Александр Петрович – известный правозащитник, вице-президент и генеральный директор Русского ПЕН-центра – Российского отделения Всемирной писательской организации – в декабре 2007 года скоропостижно скончался. О его жизни я еще расскажу, а пока, закачивая разговор (времененно) об Арканове, замечу, что не только его писательская, но и личная жизнь сложилась непросто: первым браком он был женат на известной в свое время певице Майе Кристалинской. Но этот брак быстро распался, а спустя время Майя умерла от рака. Скончалась и вторая жена Аркадия Михайловича, с которой он жил долгие годы в любви и согласии и которая подарила ему сына, ставшего известным телевизионным журналистом. Василий Арканов несколько

лет передавал на канал НТВ свои репортажи из Америки, но расстался с телевидением, когда оно превратилось в «пропагандиста и агитатора» политики Путина. Далеко не все просто и в жизни Аркадия Михайловича с Наташей – третьей супругой, но подробности этих отношений вывертывать наружу абсолютно не хочется...

Мне жалко, что Михалыч в последние годы больше времени уделяет эстраде и несколько отошел от писательского стола (приблизившись, правда, в какой-то мере к столу игровому – он один из опытейших покеристов). Но так уж распорядилась жизнь: в наше время экономического беспредела на рассказы или стихи не проживешь, вот и приходится вертеться, мотаясь с концертами от Крайнего Севера до Америки. В 2008-м году, когда мы праздновали 75-летие Аркана, я смотрел на него, восседающего во главе юбилейного стола, и думал, что должен быть благодарен судьбе, подарившей мне общение с этим человеком, а газете – замечательного автора, умеющего сделать так, чтобы улыбнулось сердце...

Не могу не упомянуть в этих заметках о Толе Макарове – писателе и журналисте, постоянном авторе рубрики «Как молоды мы были», которая регулярно публикуется в «Частной жизни». Ностальгически щемящая, она – о детстве и юности, пришедшихся на довоенные и послевоенные годы теперь уже прошлого века, о времени первой любви и первого глотка портвейна, первой выкуренной сигареты и первых, таких желанных джинсов, об «аксеновском» времени романтики стилиг и бути-вуги, московском Бродвее, как прозвали тогда центральную улицу Горького, ныне Тверскую, о дворах и катках нашего детства, о вокзалах и аэропортах, еще не оцетинившихся антитеррористической аппаратурой, и о тех юных московских красавицах, к ногам которых столичные пижоны готовы были сложить все сокровища мира, да только сокровищ-то этих у них и не было. А впрочем, к чему перечислять – Толя пишет о давно ушедшем, о том, о чем теперь остается только вспоминать...

Он начинал эту тему еще в «Известиях» и «Неделе», знаменитых на излете 70-х, а дружбу нам с ним подарила все та же «Советская культура». Достаточно замкнутый, одинокий человек, в душе он «француз», готовый отдать за старую песенку о Парижских бульварах частицу своего сердца. Правда, в последние годы безденежье заставляло его толкнуться на телевидение, переквалифицироваться в обозревателя газет, но не его это все, и каждый раз, когда я смотрел на экран, где Макаров с умным видом давал оценку политическим новостям и событиям, я вспоминал нашу совместную поездку в Израиль, и берег ласкового Средиземного моря, и зеленую бутылочку холодного сухого

вина, и почему-то старую песенку Вертинского, о котором Толя написал блестящую книгу.

Будь моя воля, я собрал бы на этом берегу под хорошую бутылочку вина всех своих любимых авторов и, смею надеяться, друзей, чьи материалы постоянно появляются на страницах «ЧЖ» и других наших газет. Вспоминая о них, я мысленно люблюсь этими людьми – уже не молодыми, битыми-перебитыми жизнью и судьбою, но не потерявшими ни свежесть взгляда, ни остроту пера. Настоящими профессионалами, газетной элитой – уж простите меня, ребята, за высокий штиль, и дай Бог вам подольше пожить на этой грешной и много-страдальной Земле...

Надорванное сердце Александра Ткаченко

Беда всегда приходит неожиданно. Вот и на этот раз телефонный звонок – как удар ладонью по горлу. Скоропостижно скончался Александр Ткаченко... Саша, Саня – близкий друг, с которым мы еще пару дней назад говорили по телефону и сговорились, как обычно, повидаться в воскресенье у меня на даче в Переделкине – он жил по соседству и частенько за прогулку заходил в гости, чтобы посидеть, поболтать, выпить рюмку-другую, обменяться последними новостями, а то и подарить свою новую книгу, а они, особенно в последнее время, выходили довольно часто. И в то воскресенье забежал на часок, гордо вручил новый сборник своих рассказов и повестей «Стукач». Да так мы что-то заболтались, что и автографа он не поставил. Когда уходил, я напомнил ему об этом. Он улыбнулся: «Ну забегу в следующее воскресенье, обязательно надпишу книгу».

И вот настало договоренное воскресенье, но он не пришел, и уже не придет никогда... Никогда – какое страшное слово. В глубинной сути своей скрывающее обреченность, последнюю черту, за которой уже нет надежды, нет воли, нет ничего... И как поверить в это «никогда», в его смерть, в уход полного сил 62-летнего мужчины, который, казалось, совсем недавно купался в холоднющей воде моего маленького дачного прудика, гонял по Переделкину на велосипеде и азартно «стучал» в футбол на торпедовском стадионе с такими же, как он, ребятами, многие из которых когда-то были высокими профессионалами.

Он вообще все делал азартно – писал рассказы, повести, стихи, рисовал картины; будучи генеральным директором и вице-президентом, руководил повседневной деятельностью Русского ПЕН-центра, участвовал в правозащитном движении... Главный парадокс его жизни заключался, наверное, в том, что на

заре туманной юности Сане приходилось в основном зарабатывать ногами, а в зрелые годы делал он это исключительно с помощью собственной головы. Когда-то был Саня любимцем футбольного Крыма, ибо играл нападающим за суперизвестную в этих благословенных местах команду «Таврия» и в 1965 году даже умудрился стать серебряным призером чемпионата СССР среди дублеров. Играл он и в ленинградском «Зените», и в московском «Локомотиве»... Уже много позже это время он вспомнит в написанных им книгах «Футбол» и «Левый полусладкий». Думается, нет в нашей литературе более честных и откровенных книг о футболе, о том, что происходит «за кулисами» игры, о тех, кого футбол и возвышает, и изничтожает.

Близкий друг Саши, поэт Андрей Вознесенский, считавший Ткаченко своим учеником в литературе, позже посвятит ему, всегда игравшему по левому краю, стихи:

*Левый крайний!
Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной,
Бито стекло — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
Блещет попкой из трусов
Левый крайний.
Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
Прожигательным стеклом
Над дымящимся мячом.
Правый край спешит заслоном,
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поувечил.
Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!
О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,
мяч,
мяч,*

Только — вмажь,
 вмажь,
 вмажь!
 «Наши — ваши» — к богу в рай...
 Ай!
 Что наделал левый край!..
 Мяч лежит в своих воротах,
 Солнце черной сковородкой.
 Ты уходишь, как горбун,
 Под молчание трибун.
 Левый крайний!
 Не сбываются мечты,
 С ног срезаются мячи.
 И под краном
 Ты повинный чубчик мочишь,
 Ты горюешь
 и бормочешь:
 «А ударчик — самый сок,
 Прямо в верхний уголок!»

И, как знать, может быть, суждено было Ткаченко достигнуть самых больших футбольных высот, если бы не полученная в 25 лет серьезная травма позвоночника, приведшая его на больничную койку, а в конечном счете (что, наверное, и к лучшему) — к писательскому столу. И тут надо отдать ему должное: большинство спортсменов, обласканные в то время начальственными подачками и неплохими денежными дотациями, оказись в его положении, скорее всего, кончили бы, как один из героев известного фильма «Москва слезам не верит»: пропивая остатки спортивной славы. Саня же не только не спился, но за минувшие годы написал с десятков поэтических сборников и прекрасных прозаических книг. А заодно, работая в правозащитном движении, как я уже говорил, стал вице-президентом Русского ПЕН-центра, приобретя славу бескомпромиссного, как и на футбольном поле, где я его, к сожалению, не видел, бойца. Сколько раз я наблюдал, как Саня остро атакует противника, невзирая на его чины и регалии. Помнится, как в прямом эфире ТВ (когда «ящик» еще не отличался однообразием «говорящих голов» и цензурированным эфиром) он обрушился на «батьку» Лукашенко, задушившего свободу слова в Белоруссии — тому, пытающемуся хоть как-то оправдаться, только и оставалось, что мекать

нечто нечленораздельное, ибо оправдаться было нечем, а Саня бил и бил его точными фактами на глазах у миллионов телезрителей.

Можно было бы вспомнить и о «деле» военного журналиста из Приморья Григория Пасько, обвиненного в «шпионаже», где Ткаченко выступал общественным защитником, мотаясь по несколько раз в месяц во Владивосток и обратно, и о многих других, ладно скроенных «делах». Да только лучше открыть Санины книги, в том числе и «Русский суд», где изложено в том числе и «дело Пасько»: предельно честно, по правде и по совести – благодаря тем самым качествам его души, что в наше время встречаются все реже и реже.

Он был одним из самых ярких представителей правозащитного движения – а дело это по нашим временам далеко не простое. За годы президентства преемника Ельцина в стране намного изменилось отношение к краеугольным постулатам существования демократического общества. И правозащитники одними из первых почувствовали это на себе. Их научились давить по-хитрому, исподволь: с помощью налогового пресса, спешно принятых и во многом специально подогнанных под «давиловку» законов, регистрационных капканов. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: «Был бы правозащитник, а статья найдется...» В полной мере испытал на себе это и ПЕН-центр, и его генеральный директор. И налоговая «наезжала», и чуть ли не уголовным преследованием грозили. И сами писатели, и Ткаченко держали удары как могли... А ведь в отечественный ПЕН-центр, созданный в 1989 году, как отделение Всемирной Ассоциации писателей, входит элита российской словесности: Андрей Битов и Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Василий Аксенов и Виктор Ерофеев, Людмила Улицкая и Фазиль Искандер, многие другие замечательные литераторы.

Если уж эту структуру «мочили», не давая выполнять обязанности, определенные Всемирной писательской хартией... В этой Хартии сказаны замечательные слова, которые, догадываюсь, у многих вызывают негативное восприятие: *«ПЕН-клуб выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами, его члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным. ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и полити-*

ческих институтов. Поскольку свобода предполагает добровольную сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступить против таких негативных аспектов свободной печати, как лживые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фактов или тенденциозно бесчестная их интерпретация ради политических, групповых и личных целей». (Хартия ПЕНа является частью Конституции Международного ПЕН-клуба, принятой на Конгрессе в Рио-де-Жанейро в 1979 году).

Тут уместно напомнить, что Международный ПЕН-клуб (название «ПЕН» является аббревиатурой английских слов «Poet, Essayist, Novelist» – сокр. PEN (по-английски «ручка») был организован по инициативе выдающегося английского писателя Джона Голсуорси еще в 1921 году как неправительственная, негосударственная общественная организация. До горбачевской «перестройки» в нашей стране было запрещены не только контакты советских писателей с ПЕНом, но и всякое упоминание о нем.

А ведь помнится, Владимир Владимирович Путин, еще только готовясь к президентству, начал приобщение к интеллектуальным элитам с визита именно в Русский ПЕН-центр, посетив хилый особнячок на Неглинке и подивившись обшарпанным стенам, проваливающимся полам и полуразваленной мебели. Будущий президент, трудившийся тогда на посту премьера (как, впрочем, и ныне), посочувствовал писателям и пообещал создать им более приемлемые условия. Да только все осталось по-прежнему...

В Шашиной жизни было много треволнений. Вот и год его ухода выдался непростым – ПЕН-центр воевал с налоговиками, Ткаченко грозили едва ли не уголовным преследованием, но и суды удалось выиграть (а как это непросто в наше время), и честь свою отстоять. Вместе с женой Таней волновались за судьбу сына – Федя окончил школу, к счастью, поступил в институт, и тут же начался военкоматовский накат... Конечно же, он, человек с ярко выраженной гражданской позицией, переживал за будущее страны, не раз выступал публично, отстаивая свои сугубо демократические взгляды и по поводу выборов, и по поводу будущего любимого им Отечества. Все это не могло не отразиться на здоровье, стало пошаливать сердце. Он как-то пожаловался на это, и я тут же погнал Ткаченко к специалистам – кардиологам, а те, посмотрев его, немедленно положили Сашу на операционный стол, вживили кардиостимулятор. И успокоили: теперь все в порядке, и не надо особенно менять ритм жизни, ну, конечно, будьте поаккуратней, берегите себя.

Но беречь себя – это не для Шаши. Не случайно в некрологе ПЕН-центра говорилось: «В последнее время он работал особенно жаростно, на износ...».

Буквально за месяц до ухода Ткаченко закончил уникальный труд – книгу «Сон крымчака, или Оторванная земля». Она об исчезающем народе – крымчаках, проживающих на территории Таврии. Когда-то цветущий, со своей историей и культурой, малый народ этот был практически изничтожен: и в годы войны, когда в декабре 1941-го немцы расстреляли почти 8 тысяч крымчаков – стариков и мужчин, детей и женщин, и в послевоенные годы – остались ныне не тысячи, две-три сотни жителей «оторванной земли». Ткаченко, и сам крымчак по матери, буквально по крупицам собрал свою последнюю книгу – в ней повести и притчи, новеллы и байки, исторические экскурсии и прекрасные старые фотографии, с которых смотрят одухотворенные, но давно ушедшие в небытие лица. Писатель словно бы снова вернул их к жизни, оставив теперь в веках энциклопедию жизни крымчаков – труд, за который не брался никто до него, и вряд ли когда-нибудь продолжит после него.

Он часто приходил в нашу редакцию: когда просто так забегал на огонек, а когда приносил новые рассказы. Мы с удовольствием печатали их и на страницах «Частной жизни», и в других газетах издательского дома. Его любили в нашем коллективе, да и нельзя было его не любить, ибо был он одновременно и жестким, и нежным, неизменно ярким, но никогда не подличавшим, никогда не подставлявшим кого-либо в угоду собственным интересам. И если уж говорить о патриотизме, о котором сегодня так много рассуждают, именно Сашу я отнес бы к истинным патриотам – не тем, кто с пеной у рта на каждом углу орет о национальной гордости великороссов, а к тем, кто хотел бы видеть свою страну истинно свободной, демократичной, радеющей о каждом своем гражданине и живущей по законам цивилизованного общества, а не мафиозных структур.

...Его хоронили под звон колоколов на Переделкинском кладбище – том самом, знаменитом, где покоится Борис Пастернак. И где ныне прекрасное «пастернаковское поле», помнящее, как вдоль него несли гроб с телом великого поэта, изгажено «коттеджным строительством» – изничтожено теми, кому в погоне за немереным «баблом» абсолютно наплевать и на русскую культуру, и на ее великие символы. Это они и такие, как они, надорвали Сашино сердце. Страшно и горько, когда один за другим уходят в небытие хорошие люди. Когда словно бы вымывается слой отечественной интеллигенции, становясь едва различимым под навалами «попсового» дерьма. Но, к счастью, нам остается память, овеянная в настоящей музыке, настоящей живописи, настоящей литературе. Нам остаются пронзающие время и небо глаза ушедших, глаза, словно бы молча вопрошающие живых: «Что же будет с Родиной и с вами?»...

«Столичные» штучки

Вернемся все же в 90-е... «Частная жизнь» – номер за номером – выходила в свет и, похоже, становилась все популярнее у читателей. Об этом свидетельствовали и ее нарастающие тиражи, и очереди так называемых «ручников» (продающих газеты с рук), выстраивающиеся ранним утром в коридорах «Столицы», чтобы, дождавшись очередного тиража, привезенного из типографии, поспешить с пачками «свежеиспеченных» газет к станциям метро и другим «точкам» Москвы, через которые проходили наибольшие потоки людей.

Замечу, что, с моей точки зрения, лучшим реализатором «Частной жизни» оказался мой собственный сын. Антошке в 91-м было одиннадцать. И именно тогда он решил заработать первые в своей жизни деньги – продавая газету. Приходил в редакцию, брал пачку – и отправлялся к метро, где всюю и разворачивался его коммерческий дар. Хитрец умудрялся встать с газетами в самой гуще потока пассажиров, идущих ко входу метро. Ну как было не выдать мальцу рубль за издание, которое уже было у многих на слуху.

А моей дочке Алене, которой тогда было двенадцать, предпринимательская деятельность оказалась не по душе. Прирожденный гуманитарий, она с детства сочиняла стихи и рассказы, а к окончанию школы уже публиковалась в молодежных изданиях и училась писать статьи для «Частной жизни».

Так и повелось у нас «по жизни»: во взрослые годы таланты Антона развились по части бизнеса – он создал и возглавил издательско-полиграфическую структуру, а Алене досталась «идеологическая часть» семейного дела: она стала отличным, на мой взгляд, редактором.

О системе реализации газет – разговор особый, ибо если в начале 90-х она в немалой степени способствовала процветанию издательского дела, то спустя десяток лет превратилась в свою прямую противоположность, губя его, что называется, на корню. И все потому, что продажа периодики до сих пор не имеет своей четкой законодательной базы, а, следовательно, существует в некоем хаотическом пространстве, где каждый действует, как хочет и как может.

Вот главное: за рубежом цену на свою продукцию назначает издатель, а реализатор берет от этой цены свою, определенную договором комиссию, которая по закону не может быть выше 30 процентов. У нас все наоборот: если, скажем, я продавал «ручнику» газету за 1 рубль, то он тут же накручивал на нее цену, и покупателю она уже стоила рубль с половиной.

С годами система реализации видеоизменилась: появились догадливые хлопцы, которые начали брать газеты и журналы оптом: не как «ручники» – по сто-двести штук, а тысячами. Издатели клюнули на эту приманку – оптом-то продавать легче. Не догадываясь, что попадают в своеобразный капкан: теперь уже оптовики продавали газету «ручникам» с соответствующим завышением цены. Таким образом, на цену издателя возникала многократная накрутка – крупные «ручники», получив газету от оптовиков, брали свои комиссионные, средние «ручники» – свои, а мелким – бабушкам-пенсионеркам да желающим подработать студентам ничего не оставалось, как еще выше задирать цену. В результате стоимость издания вырастала в разы. Каждый хотел урвать как можно больше, и в конце концов цены на газеты стали неподъемными для многих читателей. Это был один из значительных факторов, «уронивший» тиражи изданий – с сотен до (в лучшем случае) десятков тысяч, а то и повлиявших на прекращение выхода иных газет.

Впрочем, чему удивляться: экономический хаос не мог не задеть своими когтистыми лапами и издательское дело. Дальше – больше: с появлением на рынке гляцевых журналов, за которыми стоят крупнейшие мировые фирмы, оптовикам стало и вовсе не выгодно торговать газетами. Понятно: лучше продать один подобный журнал, скажем, за сто рублей, чем возиться с десятком экземпляров газет, дабы выручить ту же сумму. К тому же журналы еще и приплачивают им – десятки тысяч долларов, чтобы только «отметиться» в киосках, ибо продажи их, как правило, не интересуют: живут-то они за счет международной рекламы. Закона же о реализации, четко диктующего продавцам на рынке печатной продукции правила поведения, как не было, так и нет. А, следовательно, перспективы развития нашего дела можно уподобить названию известного спектакля Театра им. Моссовета: «Дальше – тишина»...

Да простят мне читатели этот маленький и, наверное, достаточно скучный экономический экскурс. Вернемся все же в прошлое: тогда, в начале 90-х, картина была не столь мрачной, а оптовики – не столь алчными, чтобы диктовать издателям свои законы. Да, по сути, оптовиков и не было: в очередях «ручников», продающих «Частную жизнь», стояли сотни пожилых и молодых людей, надеющихся заработать свой кусок хлеба в период развала советской экономики, когда многие были просто выброшены на улицу. Каждый вечер, приходя в бухгалтерию, где трудились тогда два человека, мы всей редакцией помогали кассиру пересчитывать дневную выручку: кучу мятых, засаленных рублей, трешек, пятерок... К концу этой работы руки становились черными от грязи. Но это были чистые деньги – деньги читателей и продавцов, пыгавшихся выжить в то нелегкое время...



Первая страница самой первой «Частной жизни»

«Почему же думалось о новом издании? Причем, издании частном, подчиняющемся только закону о СМИ и, соответственно, главному редактору; свободном от всякого рода учредителей и независимом от финансовых вливаний со стороны. Для меня и сегодня непросто ответить на этот вопрос. Хотелось свободы от разного рода идеологических начальников, коих хватало на моем веку? Несомненно... Мечталось о газете нового типа, которая станет необходима читателям, черпающим из нее не политическую белиберду советского образца, а нужные для нормальной

человеческой жизни советы – словно на приеме у умного психотерапевта или в откровенном разговоре с другом на кухне? И это так... Верилось, что свобода слова, право иметь собственное мнение, честно и открыто высказывать его – это надолго? Все это были составляющие моей мечты о новой газете. Этот, самый первый номер, напечатанный тиражом в 100 тысяч экземпляров, как я и рассчитывал, был готов 9 апреля 1991 года – я специально старался выпустить его ко дню своего рождения. Ведь, по сути дела, и я родился заново – как главный редактор...»



Специальный представитель Президента, министр культуры (2000–2004 гг.) Михаил Швыдкой и генеральный директор «Росгосцирка», народный артист СССР и России Мстислав Запашный

«За годы, прошедшие со дня выхода первого номера «ЧЖ», у газеты появилось немало друзей. Многие из них стали нашими авторами или героями газетных материалов. Да извинят они меня, коль скоро не все будут упомянуты в этой книге – так или иначе каждому из них огромное спасибо за вклад в становление газеты. Мой же рассказ о тех людях, которые,

если так можно сказать, прикипели к «ЧЖ» едва ли не с первого дня, и вот уже многие годы сотрудничают с нашим издательством. Называется оно теперь «Издательский дом Шварца», а «Частная жизнь» была его первенцем. Потом в нашем издательском доме появятся и другие газеты – но то особый сказ...»



«О легенде эстрады, народном артисте СССР Иосифе Кобзоне газета «Частная жизнь» писала неоднократно...»

С Иосифом Кобзоном мы познакомились еще в 70-х



Народная артистка СССР Клара Лучко и ее супруг Дмитрий Мамлеев



Александр Звягинцев

«В Александре Звягинцеве словно бы живут два человека: один облечен доверием государства охранять его устои, и он не идет ни на какие компромиссы, выполняя эту, определенную ему судьбой, миссию: нравится она ему или не нравится. А другой – тот, в ком душа лирика всегда распахнута навстречу добру и справедливости...»



Еремей Парнов – писатель-фантаст, эссеист, ученый, исследователь исторических загадок и первооткрыватель многих неизвестных областей знаний уходящей (похоже, навсегда) эпохи высокого интеллекта



Саша Ткаченко любил дружеское застолье

«Саша Ткаченко все делал азартно - писал рассказы, повести, стихи, рисовал картины; будучи генеральным директором и вице-президентом, руководил повседневной деятельностью Русского ПЕН-центра, участвовал в правозащитном движении... Главный парадокс его жизни заключался, наверное, в том, что на заре туманной юности Сане приходилось, в основном, зарабатывать ногами, а в зрелые годы делал он это исключительно с помощью собственной головы. Когда-то был Саня любимцем футбольного Крыма, ибо играл

нападающим за суперизвестную в этих благословенных местах команду «Таврия» и в 1965 году даже умудрился стать серебряным призером чемпионата СССР среди дублеров. Играл он и в ленинградском «Зените», и в московском «Локомотиве»... Уже много позже это время он вспомнит в написанных им книгах «Футбол» и «Левый полусладкий». Думается, нет в нашей литературе более честных и откровенных книг о футболе, о том, что происходит «за кулисами» игры, о тех, кого футбол и возвышает, и изничтожает...»



*«Я голосую сердцем – и легко:
Я лично ЗАО
«Виктор Шварц и К°» –
написал народный поэт
Владимир Вишневский*

Владимир Вишневский творит неустанно



*Мои коллеги по Русскому ПЕН-центру поэт Игорь Иртенев и его супруга,
писательница Алла Боссарт*

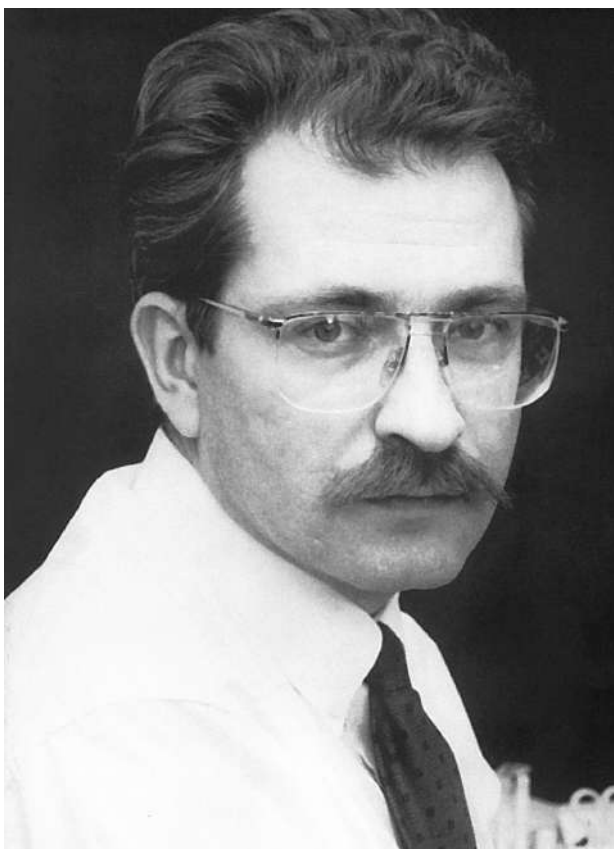


Два Аркадия – Инин и Арканов – давние авторы газеты



Парня в горы тяни, рискни...

«Кто бы поверил, что многолетний ведущий «Поля чудес», «главный Буратино страны», как Леня Якубович любит себя называть, давно достиг пенсионного возраста, а, следовательно, имеет полное право, почивая на лаврах, сидеть на даче, взращивая морковь и поливая огурцы, коль такое желание придет ему в голову. Да ведь не придет... А придет ему в голову, по обыкновению, нечто такое, что опровергает не только понятия о возрасте, но и о некой благоразумности...»



Влад Листьев, убийство которого так и не раскрыто

«Нас с Владом Листьевым объединяло многое: и небольшая разница в возрасте – я был старше его всего на шесть лет; и далеко не радостное детство – Влад, как и я, рано потерял отца; и трудные взаимоотношения с матерью... И долгие годы, проведенные в интернате – приходишь домой «на воскресенье» в семью, где тебя не очень-то ждали; и ранняя первая женитьба... Каждый из нас носил свои шрамы на сердце – и не стоило считать, у кого их больше, да

мы, собственно, и не считали, просто иногда в мимолетных разговорах находили удивительные пересечения судеб, и это хотя и не делало нас близкими друзьями, как-то теплоило сердце... И пьянки нашей юности, круто замешанные на одиночестве, были похожи, и любовные приключения, и тяга к лидерству, истоки которой – все в том же безрадостном детстве...»



Не все ж газеты выпускать! (Мои боевые заместители Аркадий Казимиров (слева) и Владимир Свириц)



Аркадий Бутлицкий: есть тема!

«Вот уже к 85-ти подбирается наш «дуайен» Аркадий Бутлицкий, а пишет – молодым не угнаться. И была его жизнь, и корежила порой, а ведь закалила – да так, что не сдается он ни времени, ни возрасту. Таких в нашей журналистике почти и нет теперь. А жаль...»



Иерусалимский мудрец раввин Иегуда Гордон

«В Израиле несколько лет выходил дайджест «Поле чудес», куда включались лучшие материалы из всех наших газет.

Я частенько ездил, да и продолжаю ездить на «землю обетованную», благодаря чему обрел там замечательных друзей – Рому Светланова, Леню Белоцерковского, Сашу Каневского: все они так или иначе помогали и мне, и газете... Продолжают писать нам и мои старые друзья еще по «Советской культуре» Миша Бриман и Юра Пологонкин. И хотя силы уже не те, да и

возраст вполне солидный, оба мои дорогих друга продолжают свое журналистское служение. Юра за минувшие годы создал несколько книжек – и воспоминаний о своей прежней, «союзной» жизни, и яркую, веселую книгу о жизни в Израиле... Всякий раз, когда удастся выбраться в Нацерет, мы надолго застреваем за столом в Юрином доме, где хозяйничает его очаровательная жена Ира, и погружаемся в ушедший мир – мир наших воспоминаний. Лехаим, ребята!..»



Миша Бриман теперь израильтянин

«Ребенок, который родился у Миши Бримана, из-за роковой ошибки врачей потерял слух. В стремлении помочь ему Миша уехал из Красноярска, где он был собственным корреспондентом «Советской культуры», в Израиль, забрав туда и жену, и Левочку. Да только и «земля обетованная» оказалась для него горькой: через несколько лет Ира, буквально в одночасье, сгорела от рака...»



Йоси Тавор

«Особая дружба связала меня с Йоси Тавором – блестящим музыковедом, эрудитом, ведущим программ на русскоязычном радио «Река», а ныне вновь вернувшимся в Москву в качестве первого секретаря Израильского посольства...»



Эдуард Графов

«В те далекие годы, когда мы познакомились в «СК», Эдик Графов был профессиональным фельетонистом – представителем редчайшей в журналистике специализации, ибо требует она не просто владения неким мастерством, но и умения так обработать слово, что оно, кажется, обретает материальную сущность. Читая его фельетоны, которые в конце концов превращались в книги, я завидовал этому умению Эдика. Он и говорит, как пишет, и пишет, как говорит – легко, иронично, вкусно. Может быть, это и есть важнейший показатель интеллигентности: а уж в этом Эдуарду Григорьевичу не откажешь!..»



Анатолий Макаров

«Толя Макаров – писатель и журналист, постоянный автор рубрики «Как молоды мы были», которая регулярно публикуется в «Частной жизни». Ностальгически щемящая, она – о детстве и юности, пришедшихся на довоенные и послевоенные годы теперь уже прошлого века, о времени первой любви и первого глотка портвейна, о вокзалах и аэропортах, еще не ощетинившихся антитеррористической аппаратурой, и о тех юных московских красавицах, к ногам которых столичные пажоны готовы были сложить все сокровища мира, да только сокровищ этих у них-то и не было. А впрочем, к чему перечислять – Толя пишет о давно ушедшем, о том о чем теперь остается только вспоминать...»



Борис Шапиро-Тулин

«Увлечение нынешнего академика Бориса Шапиро-Тулина магическими науками и подвигло меня на создание газеты «Тайная власть». Он стал ее постоянным консультантом... Разрабатывая идею этого издания, мы решили строить его отнюдь не на одних – подлинных или мнимых – сенсациях, связанных с летающими тарелками, призраками и прочими снежными человеками, но придать ему мировоззренческий, в чем-то даже просветительский характер...»



Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов вручает мне премию Союза «Главному редактору за верность читателям»



Андрей Черненко: мы начинали репортерами

«Уж не знаю, свидетельствует ли феерическая карьера Андрея Черненко о том, что в стране явно не хватает чиновников, умеющих нормально делать свое дело? Но точно знаю одно: в душе нынешний генерал-полковник остался все тем же репортером, и, как знать, может быть, должности свои нынешние и прошлые рассматривает как тему для очередного репортажа, а то и книги, которые, даст Бог, когда-нибудь напишутся...»



«Замечу, что, с моей точки зрения, лучшим реализатором «Частной жизни» оказался мой собственный сын. Антошке в 91-м было одиннадцать. И именно тогда он решил заработать первые в своей жизни деньги – продавая газету. Хитрец умудрялся встать с газетами в самой гуще потока пассажиров, идущих ко входу метро. Ну как было не выдать мальцу рубль за издание, которое уже было у многих на слуху.

А моей дочке Алене, которой тогда было двенадцать, предпринимательская деятельность оказалась не по душе. Прирожденный гуманитарий, она с детства сочиняла стихи и рассказы, а к окончанию школы уже делала публикации для молодежных изданий. Так и повелось у нас «по жизни»: во взрослые годы таланты Антона развились по части бизнеса – он создал и возглавил издательско-полиграфическую структуру, а Алене досталась «идеологическая часть» семейного дела: она стала отличным, на мой взгляд, редактором».





«А где же та самая частная (или ее стоит назвать «личная») жизнь автора? – вправе спросить вездливый читатель, который, быть может, понадеялся, что заголовок этой книги обещает немало интимных откровений. Где страстные любовные приключения, ночи без сна, безумные терзания, нежные лобзания, крутой секс, наконец? Были, были и ночи, и вздохи, и терзания... Для читателя (почему-то мне так кажется) они малоинтересны – я ведь не Жорж Сименон, посвятивший своим любовным

приключениям немало страниц воспоминаний. Любителей подобного рода мемуаров я адресую к ним – у классика, поверьте, все было более захватывающе, чем у меня. А моя частная (личная) жизнь сегодня – это сын Антон, его жена Света, мои внуки и, соответственно, их дети, Анечка и Данечка. И моя дочь Алена, ее сын, то бишь еще один мой внук – Максик. Я безмерно их всех люблю, и, как явствует из эпитафии, посвящаю им эту книгу...»



*Я придумал себе газету
Не для славы, и не от скуки.
Я придумал себе газету
В дни печали и в дни разрухи.
Не затем, чтобы денег хилость
Заработать себе на старость,
А затем, чтоб душа раскрылась
И, босая, в народ подалась.
Мы поверили в зов свободы,
Ощутили, что страх не душит.
Хоть и были прочны оковы,
Мозг сковавшие равнодушьем.
Но в иной, неподсудной выси,
Распирая душу и тело,
Слишком много скопилось мыслей,
Слишком много сказать хотелось.
Я придумал себе газету...
(Пусть лежал их в киосках ворох)*

*Ради тех, кто искал ответа,
Ради тех, кто был сердцу дорог.
И ногами ломая строчки,
И шагая со всеми не в ногу,
Ради сына и ради дочки
Я торил к их душе дорожку.
Пусть от времени стерся посох,
Ночь права забирает у света,
И болит душа от вопросов,
На которые нет ответа.
Пусть все реже взлетают искры
Над костром, опускающим крылья.
И мучителен отсверк истин,
Тех, что мне эти годы открыли.
Но ведь песня еще не допета,
Хоть усталость легла у глаз...
Не себе я придумал газету.
Я придумал ее для вас!*

Виктор Шварц

Ряды «ручников» множились, мы радовались росту тиражей, не ведая того, что все чаще и чаще становимся мощным раздражителем для главного редактора «Столицы» Андрея Мальгина. Редакция (а было-то в ней по первоначальному всего человек пять) арендовала у него несколько комнат – по случайности на том же этаже, где находился кабинет Мальгина. Андрею частенько приходилось пробираться туда сквозь длиннющие очереди «ручников», ожидающих свежий номер «ЧЖ». Но не это бесило его – бесили собственные журналы, монбланами возвышающиеся в коридорах и подсобных помещениях здания. Вот беда-то: их мало кто покупал...

Я не буду анализировать причины этого процесса, приведшего, в конце концов, к тому, что Андрей продал свое «детище» «Коммерсанту». За меня это сделал бывший сотрудник «Столицы», известный журналист Сергей Митрофанов, опубликовавший в «Русском журнале» эссе «Падение «Столицы». Он, в частности, замечает:

Умирание «Столицы» началось раньше, чем прекращение издания с логотипом «Столица», и даже раньше, чем оно из «демократического» превратилось по новой концепции в издание обеспеченных жлобов, безусловно, раньше, чем переделось из корявой русской обложки в мягкую финскую глянцевою. Первоначально «Столица» была задумана и создана как антикоммунистический таран... Странный дуализм демократических изданий того времени: с одной стороны, они жили на субсидиях, бюджетных средствах, блатной аренде, пользовались покровительством чиновников и государственных институтов и одновременно были «настолько смелы, откровенны и сильны, что нападали на партию и КГБ», «разорвали тоталитарные птичьи гнезда». Простодушие? Увольте, увольте... Андрей Мальгин – его Валерия Новодворская назвала «веселым и дерзким мальчишкой», а на самом деле он был хмурым, мнительным, с болезненным самомнением и ускользающим взглядом – понял, что журнал свою функцию исчерпал... Ведь «демократическим» журнал был только по стечению обстоятельств. Во-первых, потому, что направление главного идеологического удара совпадало с социальным заказом, а во-вторых, потому, что каждую неделю приходилось выпускать по довольно-таки толстому номеру, а редактору номера даже прочитать его за это время было трудно. Дешевизна производства, отсутствие достаточного технологического оснащения приводили к тому, что тексты засылались случайные, иногда спяну, иногда их даже не читали...

После августа 1991 года [*напомню – именно тогда произошла попытка в ходе государственного переворота сместить Горбачева*

с помощью так называемого ГКЧП – В.Ш.] свой жизненный ресурс «Столица» практически исчерпала. Кого таранить, впереди кого бежать? На летучках мы прямо спрашивали Мальгина: во что мы играем? Кто наши друзья? Кто наши враги? Кто за нами стоит? Где новые пределы демократии? Скажи, чтоб мы только знали, как себя вести, подчиняться, писать адекватно одному тебе известному курсу...

Я не знал обо всех этих, подмеченных изнутри, метаниях журнала. А он, непроданный, копился и копился в «столичных» коридорах, вызывая все большее раздражение Мальгина. В конце концов, оно нашло выход: именно в «Частной жизни» Андрей почему-то увидел главную причину собственного «затоваривания». Результаты последовали незамедлительно: вначале у нас отобрали все комнаты, оставив одну – тесную и малоприспособленную для работы, а затем – это случилось в сентябре 1991-го – Мальгин, истинный «демократ первой волны», приказал охране не пускать нас в «Столицу»...

В тот день, придя на работу, я увидел растерянных сотрудников «ЧЖ», толпящихся перед входом в здание. Подходили авторы, распространители – все они натыкались на мощную стену охраны, выполняющую приказ Мальгина и потому стоящую намертво. Все мои просьбы встретиться с главным редактором «Столицы» натыкались на отказ: нам лишь разрешили, под присмотром той же охраны, забрать личные вещи и единственный редакционный компьютер, который мы и погрузили в имеющийся у нас тогда бэушный «рафик». Словом, нежданно-негаданно мы остались без крыши над головой...

Есть один непреложный закон журналистики: даже если все умрут, газета должна обязательно выйти. И пока я метался в поисках помещения (это сегодня можно запросто арендовать любые квадратные метры – были бы деньги, а тогда проблема была не из простых), «ЧЖ» выходила: всеми правдами и неправдами.

Итак, для меня главной задачей неожиданно стал поиск пристанища. Остальные сотрудники сидели по домам, готовя рукописи, набирая их, и даже рисуя макеты полос. Часть же редакции переехала в... «рафик»: старая колымага, купленная нами за копейки, стояла на улице по соседству со «Столицей», выполняя несвойственные ей функции: там принимали деньги за рекламу и будущие тиражи – в том, что «ЧЖ» обязательно выйдет, никто не сомневался ни секунды.

А я все искал варианты размещения редакции, пытаюсь выйти хоть на каких-нибудь чиновников, от которых зависело получение заветных метров. Однажды оказался даже в... бомбоубежище, что и до сих пор находится под высотным зданием на площади Восстания (сейчас – Кудринская площадь). С комендантом это-

го здания мы спустились по неприметной лестнице в подвал, где уперлись в неимоверную дверь полуметровой толщины. За ней вытянулась длинная кишка, опоясывающая по периметру всю «высотку» и разделенная на несколько отсеков, оборудованных... нарами, бачками с питьевой водой, системами вентиляции и местами для хранения противогазов. Все это еще со сталинских времен, оказывалось, поддерживалось в надлежащем виде, и вот теперь, то ли за ненадобностью, то ли из-за возможности поиметь деньги, предлагалось нам под редакцию. Я только на минуточку представил, как мы будем сидеть в этом огурце «без окон и дверей», дышать с помощью принудительной вентиляции, пить воду из бачков и хранить рукописи в шкафчиках с противогАЗами... Не, народ бы меня не понял...

Был вариант и с переоборудованием чердака под крышей одной из многоэтажек возле Таганской площади. И с новосельем в подвале, где раньше размещался красный уголок какого-то ЖЭКа. И совсем уж фантастический проект покупки дебаркадера и установки его на Москве-реке... Но круче всего оказалось предложение о размещении «ЧЖ» в одной из... казарм, принадлежащих Московскому военному округу. Об этом чуть позже...

Я сознательно не просил помощи ни у государства, ни у столичных властей, понимая, что коль скоро газета частная, никому до нее нет особого дела. И только позвонил Дмитрию Федоровичу Мамлееву – к сожалению, он к тому времени уже ушел из расформированного Комитета по печати СССР, где занимал должность первого зампреда. Мамлееву в наследство от распавшегося Союза осталось кресло председателя Российского комитета защиты мира, а еще связи по прежней работе. Все, что смог сделать ДФ, – позвонить директору издательства «Литературная газета» Анатолию Головчанскому.

Мы договорились встретиться...

Что я знал о нем тогда? Знал (по информации Мамлеева), что в юности работал Толя в ЦК комсомола, потом кривая судьбы вывезла его в помощники председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного (я уже упоминал об этом в рассказе о «деле Колеватова»). Толя не особо распространялся о том времени, но однажды, во время нашего общего трепа, с особой гордостью поведал:

– А ты видел, как во время демонстраций, стоя на Мавзолее, Подгорный всегда что-то шептал на ухо Брежневу? Это он ему анекдоты свежие рассказывал. А «заготовливал» эти анекдоты Подгорному я. Он мне по утрам всегда звонил и спрашивал: «Новый анекдот есть?» И страшно матерился, когда такового не оказывалось...

То ли кончился запас баек, то ли по иным причинам – но однажды Подгорный с треском слетел со своего престижного места. По Москве ходил тогда

анекдот, который, Брежневу, наверное, рассказал уже кто-то другой: «Приходит мальчик в магазин и просит продать ему автомобильные щетки. «Для чего тебе щетки, мальчик?» – спрашивает продавец. «Для телевизора, – отвечает мальчик, – а то когда мой дедушка видит Брежнева, он очень плюется, а я потом мультяшки не могу смотреть». – «А кто твой дедушка?» – «Подгорный...»

Пришлось сменить место работы и Головчанскому. Стал он директором издательства «Известия», а уж потом – и «Литературной газеты». В те годы «Литературкой» руководил Александр Борисович Чаковский – человек-легенда, облеченный всеми мыслимыми и немыслимыми званиями и наградами Родины. Член ЦК КПСС, председатель Иностранной комиссии Верховного Совета СССР, секретарь Правления Союза писателей СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, автор множества книг, среди которых были скучнейшие многотомные эпопеи «Блокада» (5 томов) и «Победа» (3 тома). «Чак» (так звали его в редакции) был многоопытнейшим царедворцем, о котором говорили, что он «открывает ногой» дверь в кабинет Брежнева. К тому же его биографию отмечал пресловутый «пятый пункт», что по тем временам придавало Чаковскому особый оттенок загадочности: еврей, а при власти! Конечно же, Головчанскому приходилось непросто бок о бок с этим капризным и малопредсказуемым человеком. Но опыт аппаратной работы выручил и здесь: директор издательства и его начальник сосуществовали вполне мирно. Впрочем, Толя и сам был далеко не промах: осторожный донельзя, умеющий лихо закрутить интригу, чтобы всегда оставаться «в барышах», он, в конце концов, пережил и Чаковского, и пресловутую «перестройку», и «развод» с «Литературкой», отказавшись печатать газету из-за долгов и удалив все ее хозяйство с Цветного бульвара, где она раньше находилась, в здание, построенное еще при Чаке в Костянском переулке.

Чаковский не дожил до этих событий. Отправленный в годы «перестройки» на пенсию, он вскоре впал в маразм и пребывал в «кремлевской» больнице в Кунцево. Кстати, однажды (было это году в 91-м) он, как рассказывал Головчанский, каким-то образом умудрился из клиники позвонить Толе по «вертушке». Текст, который выдал Чак, мог бы сбить с ног любого здравомыслящего человека.

– Анатолий Владимирович, – грозно произнес Чак в «кремлевскую трубу». – Срочно соедините меня с Леонидом Ильичем. Я должен доложить ему, что в стране полный бардак!

Напомню, что звонок этот раздался спустя десять лет, прошедших с тех пор, как Леонид Ильич скончался. Но для «выдающегося советского писателя» это, должно быть, уже не имело никакого значения...

В новый век Головчанский вступил, будучи на посту генерального директора структуры, переименованной в Издательско-производственное объединение писателей (ИПО). И потихоньку распродавая все, что входило когда-то в богатейшее хозяйство «Литературки» – в частности, редакционные дачи в Переделкине и Шереметьеве, автобазу, склады, детский сад и т.д., и т.п. Не стало дело и за издательством вместе с типографией – в 2004 году типография была закрыта, персонал уволен, печатная машина, стоившая когда-то 12 миллионов долларов и вполне еще пригодная к работе, выброшена. Сама же структура ИПО (вернее, контрольный пакет акций, дающий, в частности, право на владение зданием на Цветном бульваре) была перепродана в руки изворотливых предпринимателей из медиа-группы «Логос». В конце концов (а произойдет это в 2005 году), из-за непомерно большой арендной платы, мгновенно взвинченной нам «Логосом», мы будем вынуждены покинуть здание на Цветном бульваре и переехать в небольшой особнячок недалеко от метро «Бауманская». Головчанский благополучно уйдет в отставку, а нам останется только удивляться, как же это ему удалось продать все то, что когда-то принадлежало Союзу писателей и считалось общественной собственностью. А, впрочем, чему тут удивляться: и не такие делишки прокручивали в то извращенное алчностью и беззаконием время.

Но все это будет позже, а пока я пришел на первое свидание в огромный кабинет Головчанского, где когда-то трудился Чак, и, «кинувшись в ножки», умолял его «пустить погреться».

В принципе, я был выгодным для его типографии заказчиком, а Толя не привык упускать свою выгоду. Но, увы, свободных площадей, где могла бы разместиться редакция, на тот момент у него не было. Он обнадеежил: вскоре должны появиться, а пока перекантуйся, мол, как можешь. И тогда я попросил хотя бы одну комнату: нам не столько нужна была она, сколько... электророзетка, куда можно было бы воткнуть наш единственный компьютер и посадить наборщицу – без набранных материалов мы технологически не могли выпускать газету.

– Знаешь что, – сказал Головчанский. – Сейчас пустует одна комната в журнале «Наш современник». Ты туда потихому посади свою сотрудницу, пусть работает. Команду я дам.

Лучше бы он этого тогда не предлагал!

Двухэтажный уютный особнячок журнала располагался рядом со старой «Литературкой» и входил тогда в хозяйство издательства. Но славен он был отнюдь не своими архитектурными достопримечательностями, а ярко выраженными политическим экстремизмом, ксенофобией, антисемитизмом, а порою и открытыми фашистскими проявлениями самого журнала.

Возглавлял его тогда (впрочем, и поныне) поэт Станислав Куняев – один из ярких представителей так называемых истинно русских патриотов. Я отнюдь не ставлю целью проводить литературный анализ «Нашего современника», тем более что долгая его история полна многими, далеко не славными страницами и литературными скандалами. Скажу только, что как-то в один из вечеров, когда в редакции никого не было, мы с разрешения Головчанского перевезли туда наш компьютер с принтером и юную наборщицу Лиду, которая в течение последующей недели тихонечко тюкала наши материалы, не привлекая особого внимания.

И все было бы ничего, не случись досадного казуса. Правовую помощь оказывал нам тогда старый, заслуженный юрист Натан Маркович Шапиро – дядя моего друга Бориса. Натан помогал нам в решении возникающих время от времени правовых вопросов. И надо же: потребовалось как-то ему срочно вывести на принтере некую бумажку. Тут замечу, что акцент Натана мог бы дать фору местечковым евреям – он разговаривал с таким неистребимым «прононсом», что антисемиты машинально хватались за то место, где подсознательно предполагали найти если не пистолет, то уж, по крайней мере, святую воду, дабы немедленно окропить это пожилое «исчадие ада».

И завалился Натан Маркович по неведению в «Наш современник»...

– Таки скажите мне, милейший, – спросил он у первого попавшегося встречного, – и где я могу найти здесь газету «Частная жизнь»?

Увы, бумага не в состоянии передать весь «цимес» звучания этой фразы. Но на «первого встречного», а им на беду оказался заместитель главного редактора Бондаренко, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. И его можно понять: еврей в святых стенах русского патриотического журнала, да еще ищет гнусную газетенку, публикующую сплошной разврат! Какая «Частная жизнь»? Как она здесь оказалась? Что вообще происходит, братцы-товарищи? Теснее сплотим струги и хоругви...

Скандал разыгрался неимоверный. Уже через пять минут делегация самых именитых представителей журнала влетела в кабинет Головчанского. Крики: «Да как вы посмели!», «Да мы сейчас посылаем телеграмму в ЦК, в Союз писателей России, лично Ельцину!», «Вы покусились на самое святое!», «Этой грязной газетке не место в наших светлых рядах!» потрясли тихую обитель генерального директора издательства. Еще через пять минут Головчанский, позвонив мне, попросил немедленно убрать «этот чертов компьютер» от греха подальше. Анатолий Владимирович как раз не был антисемитом, но разве мог он противостоять мощному напору истинно русской общественности?

Так по вине безвинного Натана Марковича, в скором времени навсегда отбывшего в Америку, мы снова остались без крыши над головой.

Правда, Головчанский не оставил нас своими заботами – печататься мы все же в издательстве «Литературной газеты» начали. Но о том, чтобы разместиться там же, речи пока не шло – надо было дать скандалу утихомириться...

А через несколько месяцев после вышеописанных событий на телеэкранах заиграли незабвенные мелодии «Лебединого озера», и грянул путч, устроенный так называемым ГКЧП. Мы быстро ощутили его на собственной шкуре: в издательстве неожиданно появился... цензор – фигура, о которой мы к тому времени стали уже забывать, и немедленно потребовал на прочтение все полосы «Частной жизни». Чего уж крамольного хотел он там найти, неизвестно, зато известно, что, прочитав весь готовящийся к очередному выходу номер, он плюнул и в сердцах заявил Головчанскому: «На кой черт я все это читал!». Впрочем, через пару дней цензор исчез – так же внезапно, как и появился.

А у меня в те дни состоялась нежданная встреча, связанная все с теми же поисками крыши над головой. На этот раз Головчанский устроил мне ее с небезызвестным Александром Андреевичем Прохановым, возглавлявшим в то время скандальную газету «День», также печатавшуюся в издательстве «Литературки» и безоговорочно поддерживавшую ГКЧП.

– У него есть к тебе деловое предложение, – сказал Головчанский. – Поговори с ним, может, что-нибудь и получится.

И хотя были мы с Александром Андреевичем полными антагонистами по духу и убеждениям, но чего не сделаешь ради родного коллектива. И я отправился на встречу с человеком, которого уже упомянутый мною выше г-н Бондаренко назвал в своей книге «героем русского национального сопротивления», «националистом настоящего и будущего».

Со стороны наша беседа, должно быть, выглядела достаточно забавно: по одну сторону стола сидел еврей, выпускающий издание, весьма далекое от духовных чаяний истинно русских патриотов, по другую – главный редактор газеты, из «Дня» в «День» призывающей если и не «бить жидов», то уж во всяком случае спасти Россию. Тем не менее побеседовали мы довольно дружелюбно: не знаю, чем руководствовался Александр Андреевич, но он неожиданно предложил мне заняться расширением своего издания, а взамен обещал вождя «жилплощадь».

– Мне хотелось бы ее посмотреть, – сказал я, не ответив ни «да», ни «нет» на это предложение.

– Пожалуйста, – мило улыбнулся Проханов и назвал искомый адрес, по которому через пару дней мы и отправились с Аркашей Казимировым.

О, боги! Это оказались военные казармы, расположенные где-то в районе Таганки. Как и положено, были они оборудованы КПП с часовым (пропуск нам был предусмотрительно заказан), а сами представляли новехонькие бараки со свежавыкрашенными комнатами и зарешеченными окнами. Имелась в этих бараках даже казенная, снабженная бирками, мебель, телефоны и вполне благоустроенные сортиры. Словом, хоть сейчас садись и работай.

И я на минуточку представил, как бы мы здесь работали. Как бы ходили сюда наши интеллигентные авторы, накалывая пропуска на штык часового. Как бы раненьким утречком наши редакционные работники выстраивались на плацу на развод, чтобы, получив задание на день, разойтись по своим местам. Кстати, было бы очень удобно наказывать их за провинности – скажем, за употребление на рабочем месте горячительных напитков нарядом вне очереди, а за более строгие провинности – к примеру, идеологические ошибки – заставлять чистить сортиры. То-то было б весело, то-то хорошо...

Уж не знаю, кто предоставил писателю Проханову все это казарменное великолепие. Говорили, что это был его друг, небезызвестный генерал Вареников – на случай, если бы «темные силы» наехали на газету «День» во время путча, который кончился поражением ГКЧПистов. Кстати, и газета «День» просуществовала после этого недолго... Однако спустя несколько месяцев она возродилась под новым названием «Завтра», благополучно существуя и поныне. Мы же «с болью в душе» отказались от заманчивого предложения Александра Андреевича... А ведь какая могла бы получиться «загогулина»!..

И все же кто ищет, тот обрящет. Вскоре случай свел меня с человеком, абсолютно не имеющим никакого отношения к нашему делу, – директором ресторана «Гуд лак» Толей Корнеевым. Имелся у него – ушедшего торгового работника – некий филиальчик, пока простаивающий без дела: старое двухэтажное здание по улице Серова, что напротив Политехнического музея. Славное когда-то в Москве тем, что там размещалась столовая «Зеленый огонек», облюбованная московскими таксистами. Правда, столовую ту ликвидировали еще до «перестройки», а на ее месте устроили «едальню» для военных строителей, возводящих новое здание КГБ СССР. Но и они, завершив свое святое дело, покинули сию обитель, оставив на втором этаже груды хлама и мусора вкуче с крысами.

Вот этот этаж и предложил нам занять (разумеется, не безвозмездно) предприимчивый господин Корнеев, сам же разместив в закутке на первом небольшую кафешечку с горячительными напитками и входящими тогда в моду игровыми автоматами.

Мы были рады и малому. Через месяц, освободив героическими усилиями второй этаж от мусора, оснастив его подержанными столами и стульями, часть которых осталась еще от столовой, и, построив мне, как главному редактору, хлипкий фанерный кабинетик, мы приступили к дальнейшей эпопее по выпуску газеты. Зато теперь над нами не капало...

Прокурорский надзор

Казалось бы, все постепенно налаживалось. Газета выходила, пользовалась популярностью. О чем свидетельствовал, скажем, такой факт: как-то в моей фанерной клетушке раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал суровый мужской голос. «Мы, – произнес голос, доложив, что он представляет ветеранов Н-ской дивизии, – крайне возмущены...» «Ну вот, – подумал я, – сейчас начнут требовать, чтобы мы прекратили печатать легкомысленную рекламу...» «Мы, ветераны, возмущены, – тем временем продолжил голос столь же сурово, – что на «Частную жизнь» до сих пор нет подписки!»...

Ей богу, был бы он рядом – бутылку поставил. А так только поблагодарил за внимание и пообещал при возможности исправить положение. Мы и в самом деле не объявляли газету в подписку: то было время хаотической денежной пляски – цены на бумагу, типографские услуги и прочее росли с какой-то фантазмагорической быстротой. Именно тогда – в 1992 году – по задумке Егора Гайдара и при благословении Ельцина были отпущены цены, тут же взлетевшие в десятки раз и помчавшиеся вперед, словно птица-тройка. Вот и получалось: как ни беги впереди паровоза – все равно не успеешь. Объявишь цену подписки на полгода, смотришь, а через два месяца она уже и догнала ее, и перегнала. Из своего кармана доплачивать подписчикам как-то не хотелось, потому и торговали мы газетой только в розницу.

Да, времечко было то еще. И не только из-за свистопляски цен. 93-й год озаменовался какой-то всеобщей вакханалией, в первую очередь политической. Референдум по принятию новой Конституции, роспуск Верховного Совета, который отказался распускаться, противостояние Ельцина и Хасбулатова с Руцким, обстрел Белого дома из танков – страна стояла на ушах. А мы, журналисты, безоговорочно принимая демократические преобразования, и сами толком не могли разобраться в быстротекущих событиях... Иные из нашей редакции рвались на защиту Белого дома, другие – на защиту Ельцина, и все бежали ко мне советовать: что делать? Думается, в этом бардаке я принял тогда

наиболее правильное решение: сидите, мол, ребята, работайте, без нас разберутся. Разобрались... Разобрались ли?

Мы, скажу еще раз, не были политической газетой. И не потому, что таких газет было много. Уж больно не хотелось лезть во все это дерьмо, густо замешанное на борьбе за власть и деньги. Я ориентировал «ЧЖ» на социальную помощь людям, на то, чтобы дать им какую-то любопытную информацию о прошлом, которой они были лишены за годы советской власти, рассказать о тех духовных ценностях, которых придерживался и сам. Да, мы не звали на баррикады, не призывали занять сторону «красных» или «белых», мы честно выполняли свою не громкую, не скандальную (подобно некоторым изданиям) журналистскую работу – так, как нам казалось наиболее правильным. Все эти годы мы, пройдя через многие беды (в том числе и пресловутый «черный вторник», и дефолт, лишившие нас почти всех редакционных денег), сумели выжить, выстоять, не одолив ни у кого ни копейки, не продавшись ни банкам, ни олигархам, ни политическим группировкам, – может быть, это и есть самое большое достижение редакции. Да еще, наверное, то, что нам удалось сохранить своего читателя – пусть и потеряв по разным причинам немало поклонников газеты, но удержав ее на плаву.

А в дерьмо мы все-таки однажды вляпались. Причем отнюдь не по собственной вине, а оказавшись невольно втянутыми в противостояние между мэром Лужковым и находившейся тогда к нему в оппозиции газетой «Московский комсомолец», громившей «мэрские» деяния во всю мощь своих перьев. Чтобы как-то остудить ретивых борзописцев, столичной прокуратурой было возбуждено уголовное дело против «МК» по «факту публикации рекламы и объявлений сексуального характера». А поскольку наши законники всегда любили «групповуху», к «МК» заодно пристегнули и «Частную жизнь».

Причем с точки зрения права вся эта ситуация была абсолютна абсурдна. Ибо по закону о СМИ нельзя было возбуждать уголовное дело против главного редактора (он сам не готовил рекламу). И уж тем более не возбудишь дела против газеты, как таковой, – не посадишь же в зону бумажное изделие, пусть даже оно не нравится прокурорам.

Тем не менее дело возникло и даже обрело достаточно громкий резонанс. О чем и свидетельствовала пресс-конференция, устроенная московской прокуратурой. На нее отправился и я. И получил немалое удовольствие, задав тогдашнему прокурору Москвы г-ну Пономареву пару вопросов. Во-первых, я спросил: а что, собственно, послужило причиной возбуждения уголовного дела? Оказалось, некие «письма трудящихся», гневно протестующих против публикации

рекламы сексуального характера. На просьбу огласить хотя бы пару подобных писем, г-н прокурор не преминул ответить, что это – тайна следствия.

О, пресловутые письма трудящихся! Сколько я сам написал подобных писем за свою жизнь! О некоторых я уже рассказывал в этой книге, о других и вспоминать бы, если бы не данный случай, не стоило. Писали их все журналисты – как отклики на съезды партии и выступления генсека, в тех случаях, когда нужно было дать отпор очередным «проискам» проклятых капиталистов и тогда, когда организовывались кампании за повышение урожая или выполнение «пятилетки в четыре года». Как говорил когда-то Жванецкий, «эти письма мы сами пишем и сами же на них отвечаем». Все именно так и было, да и продолжается до сих пор!

Но вернемся к той самой пресс-конференции... Задал я и еще один вопрос: «Скажите, господин прокурор! Буквально несколько минут назад, когда я шел на эту встречу, мне на глаза попался ларек с книгами, стоящий в нескольких десятках метров от прокуратуры, на прилавке которого я с удивлением обнаружил книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» на русском языке. Известно, что она запрещена во всем цивилизованном мире. Почему же прокуратура не возбуждает дело по этому поводу?». И все журналисты, собравшиеся в зале, услышали конгениальный ответ: «Сигналов по этому поводу мы не получали...».

Все это было бы смешно... Если бы сегодня не только «Майн кампф», но и сотни других образчиков фашистской литературы не стали той подпиткой, которая по всей стране породила националистическое движение с коричневой окраской, появление сотен бритоголовых молодчиков, для коих Гитлер стал идейным вдохновителем их мерзопакостных деяний. А ведь начиналось все задолго до нынешних времен...

Впрочем, и проституция тоже никуда не исчезла. Вот разве что интимная реклама (что и к лучшему) сошла на «нет» на страницах «ЧЖ», найдя приют в Интернете. Прокурорское же дело благополучно развалилось задолго до этого, принесся нам разве что «дополнительную прибыль» в виде рекламы газеты: десятки зарубежных и отечественных изданий и ТВ-каналов успели осветить его во всей красе. Спасибо г-ну Пономареву, пребывающему ныне на пенсии, сотоварищи: они тогда славно поработали на повышение тиража ...

Несколько лет спустя, когда судьба сведет меня с одним из руководителей Генеральной прокуратуры России Александром Звягинцевым и, смею надеяться, подружит, связав общим делом – подготовкой и выпуском международной правовой газеты «Очная ставка», я буду «приставать» к нему, дабы он познакомил меня с Пономаревым: за мной, мол, ящик коньяка. Коньяк мы, правда, так и не выпьем, но зато, благодаря Александру Григорьевичу, трудившемуся в те годы

начальником Центра информации и общественных связей Генпрокуратуры России, «Очная ставка» увидит свет и займет свою нишу среди газет страны, пишущих на правовую тему.

О Саше нельзя не сказать хотя бы несколько слов, ибо за последние лет десять стал он для меня не только советчиком «по жизни», но и близким товарищем, с которым можно откровенно обсуждать любые темы – от общественных до сугубо личных. И дело тут отнюдь не в его высокой должности – когда пишутся эти строки, он является заместителем Генерального прокурора России, а по военным меркам и генерал-полковником. Дело скорее в душевных качествах. За 40 с лишним лет работы в прокуратуре (а он прошел путь, что называется, «от земли» – начинал рядовым прокурором на Украине, трудился там же прокурором различных управлений, в том числе и следственного, был начальником отдела, старшим помощником прокурора Украины, в середине 80-х переведен на работу в Прокуратуру СССР, где вскоре стал старшим помощником и Генерального прокурора Союза) он не очерствел душой, не превратился в этакого «прокурорского монстра». Может быть, этому способствует его глубокое знание истории России, писательский талант, умение связывать и анализировать события настоящего и прошлого. Звягинцев – автор многих книжных бестселлеров, киносценариев, по которым были сняты такие фильмы, как «Клан», воссоздающий время ухода с исторической арены Брежнева, или многосерийный телефильм «Сармат». Его перу принадлежит кропотливая работа по созданию исторических очерков о российских государственных деятелях прошлого, составившая серию из семи книг, большой труд о Нюрнбергском процессе. Нельзя не добавить сюда и уникальную работу Звягинцева – воссоздание совместно с художниками 35 портретов генерал-прокуроров России, которые украшают ныне здание Генпрокуратуры. Репродукция этих портретов с кратким эссе составили раритетный фолиант «Под сенью русского орла», сразу же ставший библиографической редкостью.

Он и внешне не похож на строгого представителя закона: тонкие черты лица, нос с горбинкой, как память о предках – донских казаках. Он всегда нежно говорит о старенькой маме и отчине, живущих в Киеве, о жене Вале и сыне Денисе, идущем по стопам отца и ставшем заметным в Москве юристом. Александр Григорьевич знает наизусть множество классических стихов, легко цитирует по памяти выдающихся деятелей прошлого, способен воспринять хорошую шутку и в то же время мгновенно становится подобен стальной, туго сжатой пружине, если речь заходит о подонках, попирающих законы общества. В нем словно бы живут два человека: один облечен доверием государства охранять его устои, и он не идет ни на какие компромиссы, выполняя эту определенную ему судьбой мис-

сию: нравится она ему или не нравится. А другой – тот, в ком душа лирика всегда распахнута навстречу добру и справедливости. Эта уникальная двойственность натуры, отнюдь не свойственная многим охранителям порядка, с которыми сводила меня судьба, привлекает особенно. И не только меня: Сашу связывает дружба со многими артистами, писателями, художниками.

Думаю, в этих оценках со мною согласятся те, кто знает Александра Григорьевича: он и вправду этакая «белая ворона» среди многих сотрудников органов правопорядка, к какому бы ведомству они ни принадлежали. Вот только одна история, которая свидетельствует о многом. У дочери моей помощницы по хозяйству случилось несчастье: некий «сынок» высокопоставленных родителей, управляя автомобилем, задавил ее мужа. Сиротами остались двое маленьких детей. Районная прокуратура в конце концов, как это часто водится у нас, прикрыла дело. И я обратился за помощью к Саше. Казалось бы, какое дело заместителю генерального прокурора до рядового случая – за день по стране подобных ситуаций – десятки, а то и сотни. Но Александр Григорьевич, узнав об оставшихся сиротах, принял эту историю близко к сердцу: только после его вмешательства справедливость восторжествовала. Он не обязан был этого делать: ему хватает проблем намного более важных. Но он сделал это, и отнюдь не моя просьба, уверен, сыграла тут решающую роль – мог бы и послать куда подальше, а именно обостренное чувство справедливости. И в этом – весь Звягинцев.

Влад Листьев: неразгаданный выстрел

От рассказа об Александре Григорьевиче (ассоциации!) перейду к судьбе еще одного дорогого для меня человека.

Влад Листьев... Нас свел проект, которому суждено было стать первым подобного рода в истории современной отечественной журналистики. Проект, который принес мне и немало творческой радости, и в то же время неизбежной боли, ибо оказался он связан с трагической гибелью одного из его создателей...

28 февраля 1995 года часов в шесть вечера я позвонил Владу на мобильный.

– Слушай, Владик, – сказал я после того, как мы обменялись традиционными приветствиями. – Надо бы встретиться и обсудить идею газеты «Поле чудес для детей». Когда ты сможешь?

– А давай, не откладывая, прямо завтра, – почти не раздумывая, ответил он. – Я к тебе подскочу с Альбиной утречком, где-нибудь в одиннадцать. Устроит?

– Отлично.

– Ну тогда до завтра.

Вечером того же дня мы собрались у меня в кабинете вместе с моими заместителями. Говорили, в частности, и о газете «Поле чудес», первый номер которой появился 29 октября 1992 года, трепались о насущных делах, попивая сухонькое...

– Кстати, – сказал я, – завтра Влад с Альбиной приедут. Есть новая идея – делать «Поле чудес» для детей.

– О, Господи! – вздохнул Казимиров. – Опять начнется сшибка лбами. С Альбиной тяжело разговаривать: и то ей не нравится, и это. Мало мне проблем по взрослому «Полю», теперь и детское сюда добавится.

– Ничего, – я подлил Аркадию вина. – Зато Влад в наши дела не лезет. Ему по горло и своих хватает...

И мы заговорили о Владе. И о том, зачем он недавно согласился стать генеральным директором ОРТ, и о наездах на него, о которых он мне рассказывал, и о проблемах в семье – в общем-то, обо всем том, о чем могут говорить люди, для которых создатель телешоу «Поле чудес» – не отстраненное лицо, не знаменитый телеведущий, а коллега по работе, близкий человек, с кем общаешься едва ли не каждый день.

За окном плотно стусутилась темнота. Нам не хотелось уходить из теплого, накуренного кабинета в мороз подступающего первого весеннего дня, и мы, много лет знакомые друг с другом, все сидели и болтали о Владе, словно дожидаясь какого-то сигнала, свидетельствующего о том, что пора расходиться.

– Ладно, ребята, хватит о Листьеве, – наконец сказал я, как бы подводя итог нашего разговора. – Но помяните мое слово: с этим телевидением он влез в большое говно. И для него это может плохо кончиться...

Через несколько минут в кабинет заглянул охранник редакции. На нем не было лица.

– Только что по телевидению сказали, что убили Листьева.

Как описать то, что каждый из нас испытал в это мгновение! Скажу о себе: это была какая-то все поглотившая растерянность. Сердце, перестав биться, замерло, холодок ужаса перехватил горло... И главное ощущение: это шутка, глупая, дурацкая, но шутка, потому что это не может быть правдой! ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВДОЙ!

Но это была правда!

Уже потом, спустя несколько дней, уходя с Ваганьковского кладбища и пробираясь сквозь невероятное скопление людей, пришедших проститься с Листьевым, я поймал себя на мысли, что в тот вечер, 28 февраля, я произнес роковые слова о том, что для Влада все это может плохо кончиться, быть может, в ту мину-

ту, когда его убивали. Когда в подъезде дома на Новокузнецкой, 30 звучали выстрелы, и тело Влада – такое мощное, такое красивое, беспомощно оседало или стремительно падало на ступеньки, оставляя на них следы крови.

Что же заставило меня произнести эти, оказавшиеся неправдоподобно пророческими, слова?

Мы познакомились в 1991 году, и «виной» тому была все та же «Частная жизнь». В то время уже всюду вертелось телевизионное колесо «Поля чудес», вовлекая в игру миллионы зрителей по всей стране. Конечно, саму игру придумал не Влад, да он никогда и не скрывал этого: она стала сколком с популярного американского телешоу «Колесо фортуны». Гениальность придумки Листьева была в ином: он первым, по сути, создал на телевидении общенародную игру – отнюдь не высокоинтеллектуальную, как «Что? Где? Когда?», но сумевшую привлечь к «ящику» всех – от шофера до актера.

В чем здесь оказалась «фишка»? Мы не раз толковали об этом с Владом. На мой взгляд, тут сошлось несколько причин: человек, сидящий дома, на диване, как правило, угадывал заданное слово быстрее, чем игрок, на которого давили многие психологические факторы: атмосфера в студии, мандраж, сознание того, что тебя видят миллионы, стремление выиграть заветный приз (а вдруг машина!), наконец, личность самого ведущего, ставшего к тому времени поистине суперзвездой. Дома, в спокойной обстановке, потягивая пиво, а то и что-нибудь покрепче, ты тоже играл и, отгадав слово первым, ощущал свое превосходство над недоумком у игрового стола: мол, он-то тупой, а вот я... Забитый «человек советикус», которого по жизни вечно шпыняли и унижали, вдруг осознавал свою значимость, и, подсев на «Поле чудес», как наркоман на иглу, по пятницам тянулся к телевизору, дабы вновь почувствовать свою «неординарность».

Поле чудес... Страна дураков... Эти понятия, за которыми стояла вся наша жизнь, в игре как бы сливались в единое целое. «Продвинутая» часть интеллигенции знай себе посмеивалась, а невиданный прежде ажиотаж в первые годы существования «Поля» захватывал города и городки, поселки и поселочки, деревни и села, кишлаки и аулы. Сотни тысяч писем завалили «ВИД» – компанию, делавшую «Поле» и созданную Листьевым (аббревиатура расшифровывалась «Влад И Другие»). Напомню, проходным баллом на игру был оригинальный кроссворд, который должны были создать те, кто стремился попасть к колесу счастья. Как только не изгалялся народ: их делали из спичек и на маковых зернышках, на гигантских простынях и в виде матрешек, на водочных бутылках и морских якорях... Вот эти-то творения, оказавшиеся ненужным балластом для телеигры, и стали катализатором наших отношений – сначала с ВИДом, а потом и с Владом.

Родилась идея: выпускать самодельные кроссворды отдельным приложением к газете «Частная жизнь». И по договоренности с ВИДОм такое приложение вышло – на простеньком листе газетной бумаги. Ставшее, быть может, родоначальником всех кроссвордных изданий страны, которые позже появились в неизмеримых количествах. Раскупалось это приложение замечательно, тем более что кроссворды были призовые: победителям вручались приглашения на запись передачи «Поле чудес» – дефицит, сравнимый разве что с билетами на Таганку в 70-х годах. Тогда-то мне и подумалось: а не пойти ли еще дальше, выпустив на пике популярности телеигры газету с таким же, как и телешоу, названием – «Поле чудес»?

Для переговоров об этом издании – кстати, тоже первой подобной газете в истории отечественной журналистики, которая стала своеобразным мостиком, соединившим прессу и ТВ – мы и встретились с Владом. И достаточно быстро нашли общий язык. Нас объединяло многое: и небольшая разница в возрасте – я был старше его на шесть лет; и далеко не радостное детство – Влад, как и я, рано потерял отца, который покончил жизнь самоубийством; и трудные взаимоотношения с матерью – Зоя Васильевна пила, а вскоре после гибели мужа завела сожителя, который был старше ее сына всего на десять лет; и долгие годы, проведенные в интернате – приходы домой «на воскресенье» в семью, где тебя не очень-то ждали; и ранняя первая женитьба... Каждый из нас носил свои шрамы на сердце – и не стоило считать, у кого их больше, да мы, собственно, и не считали, просто иногда в мимолетных разговорах находили удивительные пересечения судеб, и это хотя и не делало нас близкими друзьями, как-то теплило сердце... И пьянки нашей юности, круто замешанные на одиночестве, были похожи, и любовные приключения, и тяга к лидерству, истоки которой – все в том же безрадостном детстве...

Были у Влада в судьбе и свои черные реперные точки – через сутки после рождения умер его сын от первой жены Лены, сын от второй супруги Тани прожил всего шесть лет... Оставалась, правда, дочь Валерия от Лены и сын Саша от Татьяны, но те страшные удары судьбы, словно предупреждавшей его о чем-то неотвратимом, уверен, стали катализатором и его долгих запоев, и попыток самоубийства. Мне, знающему эти горькие факты, часто казалось, что уже в молодые годы душа Влада была измучена настолько, что свой последующий взлет он воспринимал достаточно равнодушно, и так же равнодушно, быть может, с долей прочувствованной им обреченности, реагировал на некие предупреждения, предшествовавшие его гибели.

Оказалось, мы пересекались и в работе – Листьев после журфака трудился на Иновещании Всесоюзного радио, а я там же подрабатывал, делая радиорепорта-

жи для своего приятеля Виталика Гурова, под началом которого, как оказалось, и работал Влад.

Виталик, к сожалению, рано умерший от рака, в свое время рассказывал мне, что на Иновещании была у Листьева неформальная должность «напылителя». Появилась она благодаря традиции маститых журналистов после работы собираться вместе «за коньячком». Бегать за ним обязаны были «молодые». Далее исполнялась заведенная на радио традиция – прежде чем разлить старшим товарищам желанную жидкость, следовало окунуть верхнюю кромку стакана в блюдечко с водой, «напылить» ее сахаром, надеть дольку лимона, а уж потом разлить коньячок «по булькам». Эта почетная миссия чаще всего и поручалась Владу – он никогда не отказывался, а посему допускался к участию в посиделках. Все это было похоже и на наши редакционные пьянки – мы в «Советской культуре», где и мне в молодые годы часто приходилось исполнять роль «бегунка», предпочитали, правда, водку. Зато сколько журналистских баек было услышано во время этих вечерних посиделок, сколько травлено анекдотов, сколько обглодано косточек начальства... И эти традиции были неотъемлемой частью становления молодых журналистов, проверкой их на «вшивость» – читай, умение быть своим среди своих.

Но вернемся к истории создания газеты «Поле чудес». В принципе, мы договорились обо всем довольно быстро: Влад вошел в состав ее учредителей (а значит, должен был получать определенный процент с планируемых нами прибылей), а мы взяли на себя всю творческую и технологическую часть создания издания. «Только я прошу тебя, – сказал Листьев, – привлеки к этому делу Альбину. Пусть поработает над макетами».

Так я познакомился с женою Влада, а потом и с ее подругой Дусей Хабаровой – главою рекламного агентства «Знак» издательского дома «Коммерсантъ». Но сначала – об Альбине. К тому времени я уже знал, что она – третья жена Листьева, и ее характера, по словам близких к этой семье людей, вполне хватало на то, чтобы держать норовистого супруга в узде. С долгими загулами и крутыми пьянками было покончено! Я же на первые переговоры приехал к ребятам в гостиницу «Останкино», где они, еще не имевшие своей квартиры, тогда жили. Малюсенький двухкомнатный номер, казалось, вовсе не подходил им, но как-то они там размещались – может быть, потому, что в 92-м году ни он, ни она не имели такого материального благополучия, а, следовательно, и запросов, которые пришли позже.

Альбина отнюдь не показалась мне красавицей, соответствующей, как мне тогда виделось, представлениям Влада о женщинах, которые могли бы отвечать его вкусам. Но характер в ней чувствовался, чувствовался и ум. Сразу было видно:

эта женщина знает, чего хочет. Позже я много думал о том, какую же роль сыграла она в судьбе Влада, но так и не смог ответить на этот вопрос. Временами мне казалось, что это она подталкивала его к большим деньгам и роскоши, которых с годами становилось все больше. Помню, что как-то она мне жаловалась, что не может найти для их дачи, строительство которой было в самом разгаре, ванну в виде... ладьи. Ну на кой черт нужна была ей эта ладья? И уж наверняка она не нужна была Владу! А вот хотелось... Но все это будет потом, а пока Аля, услышав о нашем проекте относительно газеты, решительно отодвинула Влада в сторону (чему он, собственно, и не сопротивлялся) и взялась за его реализацию сама.

Тут-то и начались наши первые стычки. Вернее, даже не стычки, а некое неафишируемое противостояние, базирующееся на разном понимании предмета, о котором, собственно, шла речь. По своей профессии Аля была художником-реставратором, после окончания училища работала в Музее народов Востока и, очевидно, полагала, что ее художественного видения вполне достаточно для того, чтобы экстраполировать его на газету. А ведь создание макета для подобного издания имеет свои, сугубо специфические законы, о которых она даже не догадывалась. Зато у нее была подруга, которой Аля абсолютно доверяла как знатоку в данной области. Тогда-то и встретились мы с хозяйкой рекламного агентства «Знак» Дусей Хабаровой.

Особняк, в который мы попали, потряс нас своей роскошью. Нам, сидящим в бывшей столовке КГБ, где со стен отпадали пласты штукатурки, а на щербатой лестнице не только черт, но и наши авторы могли запросто сломать ногу, сразу не глянулись весь этот «мрымор и канделябры», что давили на мозг попадающего сюда в первый раз человека. До сих пор не ведаю, откуда взялась вся эта роскошь «дочки» уже известного к тому времени «Коммерсанта» и его создателя Володи Яковлева, которого я знал еще по скромной должности репортера в журнале «Работница». Одно время он крутился даже в «Советской культуре», а в начале «перестройки» то ли благодаря папе – известному тогда журналисту-«ленинцу» (автору книг, воспевающих Ильича) Егору Яковлеву, ставшему в одночасье пламенным демократом, то ли каким-то иным связям и большим деньгам, создал «Коммерсантъ» с финтифлюшкой в виде твердого знака на конце.

Еще больше поразила нас компьютерная техника, которой был оборудован «Знак». У нас-то были дохлые 286-е «компы», которые казались нам тогда последним писком, а рекламное агентство «Коммерсанта» было по самые уши забито новеньким оборудованием последних моделей, за которыми сидели хлопчики, чего-то кумекающие в этих продвинутых устройствах. «Злобствую» отнюдь не из зависти – ее тогда как раз и не было, а из-за запомнившегося чувства ошарашен-

ности: они были принцами, а мы – нищими, которых пустили во дворец то ли из жалости, то ли потому, что так велел король – Влад Листьев.

И разговаривали с нами этак небрежно, через губу, как с бедными родственниками, сразу же отбросив все наши идеи, навязывая свое, «продвинутое» видение газеты. И... предложив заплатить нам за создание макетов какие-то немалые по тем временам деньги!

Тогда-то мне и вспомнилась фраза, которую сказал, кажется, Всеволод Эмильевич Мейерхольд: «Ограниченность средств рождает гениальность». И я решил не уступать ни на йоту, обойдясь собственными силами. Я доверял своим ребятам! И незачем нам было по призыву Альбины идти с протянутой рукой к Дусе Хабаровой, скользя по мраморным полам и щурясь на яркий свет роскошных люстр, свисающих с потолков «Знака».

Тут я должен отдать должное Владу: он, несмотря на явное неудовольствие Альбины, в конце концов убедил супругу оставить нас в покое, отдав нам на откуп выпуск первого номера газеты. Правда, с тех пор, похоже, между мною и Алей навсегда пролегал тонкий ледок отчуждения: потом, на протяжении всех лет нашего общения, она была слишком корректна, слишком «дама», не переходя ни на «ты», ни даже намеком не допуская между нами какой-то теплой приязни. Впрочем, мне достаточно было общения с Владом – вполне взаимодружеского и уважительного.

Словом, газета вышла без особого вмешательства. Через несколько дней, а именно 5 ноября 1992 года, очевидно, с подачи Влада появилась заметка в «Коммерсанте» с хлестким заголовком «Ежемесячник раскуплен за неделю». Подзаголовок ее гласил: «Листьев выпускает газету «Поле чудес». Конечно, нам эта заметка была на руку, хотя некоторые ее нюансы не могли не покори-

Вчера газета «Поле чудес», первый номер которой вышел 29 октября, повисла расценки на размещение рекламы на 50%. Этот факт связан с тем, что за неделю был распродан почти весь тираж. Молниеносную раскупаемость издания наблюдатели связывают не столько с его содержанием, сколько с самим названием и именем учредителей.

Учредители «Поля чудес» (Владислав Листьев и главный редактор газеты «Частная жизнь» Виктор Шварц) сделали ставку на азарт, как неотъемлемую часть homo sapiens. Основной капитал в уставный фонд «Поля чудес» внесла «Частная жизнь», главным редактором издания стал Виктор Шварц. «Все об игре и вокруг игры» – так сформулировали принцип подбора материалов учредители. Если руководствоваться принципом, что вся

жизнь – игра, то выдержать концепцию газеты ее издателям будет несложно. Пока можно отметить, что на 24 страницах издания читатели не найдут ни одной строчки, тем или иным образом не связанной с какой-нибудь игрой, будь это рулетка, кроссворд или игра человеческих страстей. Материалы первого номера это подтверждают. Малоазартного читателя газета удивит разнообразием способов, которые на протяжении всей своей истории изобретательное человечество выработало для достойного проведения досуга. При этом читательский интерес подогревается реальной возможностью стать обладателем различных призов (до 100 тыс. руб.). Газета будет выходить раз в месяц и продаваться по свободной цене.

Успех первого номера превзошел все ожидания: за неделю было продано около 90% тиража (235 тыс. экз.). Это позволило издателям повысить расценки на размещение рекламы – с 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. за полосу. Влад Листьев в оценке своего нового детища был скромнен: «Оформление первого номера напоминает «Крокодил», к тому же меня не устраивает голая девушка на последней полосе. Пока успех газеты в большей мере связан с ее названием.

Последнее высказывание можно было бы и оспорить. Особенно что касается «голой девушки». В ее роли выступила популярная в то время актриса Елена Кондулайнен – красавица, называвшая себя (и вполне справедливо) секс-символом России. По моей просьбе Лена всего-навсего обнажила грудь, снявшись на фоне игровых автоматов. Снимок, опубликованный на последней странице газеты – абсолютно пуританский по тем временам, – должен был, по нашему замыслу, стать образцом возможной рекламы: похожая реклама потом и появлялась неоднократно в «Поле чудес». Кстати, грудь у Лены была в самом деле шикарная: не знаю, что уж смутило в ней Влада, тонкого ценителя женских прелестей.

Как бы там ни было, газета родилась и уверенно зашагала к читателю. Конечно же, Влад ей помогал, демонстрируя каждый новый номер в своей телевизионной программе. Кстати, повторюсь, это была первая в отечественной журналистике попытка создать некий симбиоз печатного органа и телевизионной программы. Потом по нашему пути попытается пойти и КВН, и программа Макаревича «Смак» – издания, выпущенные на базе этих шоу, прогорели, и программа Валерия Комиссарова «Моя семья», и олигофреническая программа «Окна»... Были попытки и «от обратного» – выпустила свою телепрограмму газета «Совершенно секретно», журнал «Вокруг света» и т.п. Но мы, замечу без ложной скромности, были все-таки первыми...

Газета «Поле чудес» существует и сегодня, когда я пишу эти строчки. Конечно, она изменилась, да и тираж ее, увы, далеко не прежний, и это связано со многими факторами, не зависящими от журналистов. Но, пожалуй, главный из них – тот, что нет больше Влада... Существует десятки версий причин его гибели, но я не буду анализировать их, ибо, наверное, это дело прокуратуры и тех, кто до сих пор занимается поиском убийцы (или убийц). Скажу только, что, согласившись возглавить тогдашнее ОРТ и попытавшись отрегулировать те гигантские доходы от рекламы, которые бурным потоком перетекали в чьи-то карманы, Влад (осознанно или неосознанно), думается, попал в капкан «черного бизнеса», за что и поплатился жизнью.

Приведу только одно свидетельство – человека, волею судьбы разделившего горькую участь Влада. Пол Хлебников, американский журналист русского происхождения, главный редактор российской версии известного журнала США *Forbes*, был убит в Москве в 2004 году. Ни мотивы убийства, ни сам убийца по сей день, когда я пишу эти строки, так и не обнаружены (как тут не провести прямую параллель с делом Листьева?). Пол, писавший о России с 1986 года, много лет изучавший политическую и экономическую обстановку в нашей стране, в 2001 году выпустил книгу *Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России*. Вот отрывок из этого интереснейшего исследования, пытавшегося в том числе, проанализировать и причины убийства Влада.

Сразу после приватизации ОРТ [*она состоялась зимой 1995 года – В.Ш.*] генеральный директор Влад Листьев решил сосредоточиться на деятельности, из-за которой канал недополучал миллионы долларов: продаже рекламного времени. Он начал вести переговоры с главой «Рекламы-холдинга» Сергеем Лисовским. Рекламный магнат, по всей видимости, предложил заплатить ОРТ отступные за право распоряжаться рекламой на канале и тем самым сохранить единоличный контроль. Но переговоры затянулись...

Двадцатого февраля 1995 года Листьев объявил: он прерывает монополию Лисовского и Березовского [*последний владел основным пакетом акций ОРТ – В.Ш.*] и вводит мораторий на все виды реклам, пока ОРТ не разработает новые «этические нормы».

«Отмена рекламы (на ОРТ) означала лично для Лисовского и Березовского потерю миллионных прибылей» – отмечал Коржаков [*тогда руководитель Службы безопасности президента Ельцина – В.Ш.*].

Листьев знал, что играет с огнем. В одном из докладов сотрудник столичного РУБОПа отмечал: Листьев знает, что за ним следят, и, возможно, он не доживет до лета. Из этого же доклада следует, что в конце февраля Листьев объяснял ближайшим друзьям, за что его убьют. Когда он решил покончить с монополией на рекламу, к нему явился Лисовский и потребовал возмещения ущерба в размере ста миллионов долларов, пригрозив расправой. Листьев сказал, что нашел европейскую компанию, которая готова заплатить за право распоряжаться рекламным временем на ОРТ даже больше – 200 миллионов долларов. Листьев обратился к главному финансисту ОРТ – Борису Березовскому с просьбой провести операцию по выплате 100 миллионов долларов недовольному Лисовскому. Деньги были переведены на счет одной из компаний Березовского. Но когда Листьев попросил Березовского разблокировать деньги, автомобильный магнат отказался. Березовский туманно пообещал выплатить деньги месяца через три...

Конечно, были и другие версии того, что происходило тогда на ОРТ. Особенно много слухов, догадок, предположений появилось после рокового выстрела – газеты, журналы, радио, ТВ, политики, бизнесмены, деятели искусства, телевизионщики как с цепи сорвались, высказывая порой самые нелепые домыслы... Создавалось мерзопакостное ощущение, что каждый хочет набрать политические очки или хотя бы погреть руки, засветиться на фоне трагедии. Не обошли стороной и газету «Поле чудес» – тут особо отличилась «Комсомольская правда». В вышедшем спустя два дня после трагедии ее субботнем номере на третьей полосе под броским названием «\$35.000.000. Повод для трагической развязки?» была опубликована заметка, которую, как это мне ни противно, приведу полностью – как говорится, ради исторической правды:

Несмотря на все признаки внешнего преуспеяния, Владислав Листьев не был финансовым магнатом, предпочитая бизнесу чистое творчество. К денежным вопросам он относился достаточно легко, что подтверждается историей его участия в газетных проектах концерна «Частная жизнь».

Около трех лет назад Листьев и издатель «Частной жизни» Виктор Шварц заключили соглашение, по которому «Останкино» в викторине «Поле чудес» абсолютно бесплатно рекламировало газету «Частная жизнь» [*замечу в скобках, что этого никогда не было, безымянный репортер, не подписавший заметку, перепутал «ЧЖ» с «Поле чудес» – В.Ш.*] Ее выпусками потрясали с экрана и сам Владислав, и сменивший его на посту главного шоумена

страны Леонид Якубович. Одновременно были учреждены призы участникам передачи от «Частной жизни».

Альтруизм телекомпании «ВИД» объяснялся тем, что у Шварца и Листьева возник замысел совместного весьма прибыльного приложения к «Частной жизни» под названием «Поле чудес». Втроем вместе с директором издательства «Литературная газета» Головчанским они и выступили учредителями приложения. Около 30 вышедших цветных выпусков новой газеты посвящены всем видам азартных игр, кроссвордов и конкурсов-угадаек, а главным призом победителю предлагалась возможность участвовать в телевизионном шоу.

Однако, как только образовалась первая прибыль от издания, Шварц повел себя по отношению к Листьеву не совсем корректно. Владислав получил значительно меньше денег, чем ему полагалось по договору учредителей. При этом средства были ему совершенно необходимы, так как именно в то время он женился в третий раз, жил в съемной квартире и даже автомобилем «Тойота» пользовался не своим, а по доверенности.

Тем не менее Листьев всего лишь перестал поддерживать со Шварцем дружеские отношения, не выставив к тому никаких финансовых претензий. Как нам известно, и в других случаях Владислав не проявлял меркантильности в отношении собственных доходов. Возможно, именно такое небрежное отношение к деньгам послужило причиной того, что Листьев подписал пресловутый документ совета директоров Общественного телевидения, по которому на 1-м канале телевидения с апреля приостанавливалось всякое размещение рекламы. Роковой шаг, поставивший под вопрос оборот рынка телевизионной рекламы в размере 35 миллионов долларов, вполне мог привести к трагической развязке.

Каково? Думаю, что у многих по прочтении данного опуса возникал вопрос: уж не сам ли Шварц, дабы не делиться прибылями с Владом, замочил его? Тем более что читатель мог сразу и не сообразить, что речь о неких 35 миллионах долларов не имеет никакого отношения к газете «Поле чудес». Но то ли ты пиджак украл, то ли у тебя пиджак украли... Главное, что звучало все это испражнение достаточно сенсационно.

Сенсация длилась недолго... Уже в следующем номере субботней «толстушки», 10 марта, «Комсомольская правда» вынуждена была напечатать опровержение. Вынуждена, потому что у меня состоялся резкий разговор с главным редактором «КП» Владимиром Симоновым, а на его стол легли соответствующие документы. После знакомства с ними Симонов понял, что для его газеты дело может

закончиться судом и она его непременно проиграет. Впрочем, сам текст опровержения расставил все точки над «и». Называлось оно: «Сколько получал Листьев от газеты «Поле чудес?».

Как помнят наши читатели, в первый день после убийства Владислава Листьева к нам поступила информация о деталях его участия в газетном проекте «Поле чудес» издательского концерна «Частная жизнь». К сожалению, не все в ней в верном свете представляет историю сотрудничества Листьева и руководителя концерна Виктора Шварца.

В 1991 году у Виктора Шварца возникла идея публикации лучших кроссвордов, присланных на телеигру «Поле чудес». Концерн «Частная жизнь» предложил свои услуги для создания новой газеты, одноименной с популярным телешоу. Издатели газеты обеспечивали за свой счет ее производство и оплачивали призы победителям совместного конкурса. Малое предприятие «ВИД», в свою очередь, рекламировало проект в телеэфире. Прибыль от проекта делилась в соотношении 50 на 50.

Листьев получал 35 процентов прибыли от газеты. Это справедливо: Листьев создал на телевидении само шоу «Поле чудес» и имел право интеллектуальной собственности на раскрученную марку. Последняя сумма, полученная Листьевым за квартал, была, конечно, несоизмерима с его телевизионными доходами, однако она была начислена в точном соответствии с учредительным договором.

Несмотря на то что Владислав Листьев и Виктор Шварц не были близкими друзьями, они поддерживали отношения деловых партнеров. За день до убийства Владислава условились о том, что Листьев вместе с женой Альбиной приедут к Шварцу для обсуждения проекта детского приложения к газете «Поле чудес». К тому же в дополнение к популярной газете появилась идея запуска компьютерной игры все под тем же названием «Поле чудес».

Сегодня, несмотря на трагические события, Виктор Шварц не отказывается от проектов, задуманных им вместе с Владиславом Листьевым. Редакция «КП» сожалеет, если опубликованная ранее информация из частных источников нанесла ущерб достоинству Виктора Шварца, деловой репутации концерна «Частная жизнь».

Вся эта история была противна до тошноты. Когда появилось опровержение, как раз исполнилось девять дней с момента трагедии. А «КП» – о доходах Влада, о его бизнесе... Впрочем, об этом спрашивали меня и в московской про-

куратуре, куда вызывали всех, чьи телефоны значились в записной книжке Влада. Противно было и там, потому что следователь уделил разговору со мной каких-то пять минут: в узеньком коридорчике толпились еще два десятка человек, вызванных по тому же делу, и на обстоятельный разговор с каждым у дамы в погонах, наверное, не хватало времени. Да, может быть, и желания такого не имелось. А ведь мне было что рассказать: и об отношениях Влада с бывшей женой, которая приходила к нам в редакцию, требуя свою долю с доходов Листьева (почему бы не рассмотреть бытовую версию убийства?), и о случае, который поведал мне сам Влад: незадолго до гибели он, сев в свою машину, обнаружил там двух крепких «мальчиков», прозрачно намекнувших, чтобы Листьев не лез в «эти дела»... Но, увы, меня никто не стал слушать, я прокуратуре был, наверное, не интересен...

Возвращаясь к тому роковому дню, я и сегодня ловлю себя на мысли, что, ощущая подсознанием возможную меру опасности, которая подстерегала Влада (а в то время криминального беспредела, когда каждый день убивали людей и за значительно меньшие деньги, эта опасность ходила за Листьевым по пятам), я был обязан хоть как-то предупредить, защитить его. Но как? Он всегда уходил от разговоров о своей работе на ОРТ, беспечно отмахиваясь рукой от серьезности ситуации, и, заскакывая в редакцию порой всего на несколько минут, оставлял после себя лишь очередной забавный анекдот и запах дорогого одеколona. Да что теперь говорить: Влада нет, и вернуть его способна только память.

Иногда мы встречаемся с Леной Якубовичем, сменившим Влада «у колеса» и блестяще, на протяжении многих лет, ведущим «Поле чудес». Встречаемся, чтобы выпить рюмку-другую и вспомнить Влада. Горькие это бывают встречи, и водка горька, и горькая тяжесть потери все еще давит сердце...

Леонид Якубович: судьба барабанщика

Ну а теперь самое время о Лене Якубовиче... Вот уж никогда бы не подумал: 31 июля 2010 года ему исполнится 65 лет. Ну никак не ассоциируется у меня столь почтенный возраст с этим внешне (именно внешне) удивительно легким человеком, приколостом высшей марки, вечно держащим про запас свежий анекдот и умеющим рассказать его так, словно тебе только что предложили выпить бокал шампанского, пузырьки которого озорно покалывают в носу.

Да и кто бы поверил, что многолетний ведущий «Поля чудес», «главный Бура-тино страны», как Леня любит себя называть, давно достиг пенсионного возраста...

та, а следовательно, имеет полное право, почивая на лаврах, сидеть на даче, взращивая морковку и поливая огурцы, коль такое желание придет ему в голову.

Да ведь не придет... А придет ему в голову, по обыкновению, нечто такое, что опровергает не только понятия о возрасте, но и о некой благоразумности, давно бы позволившей ему – народному артисту России – спокойно наслаждаться плодами славы. Ибо было так не раз: то он решает устроить себе вместо сердца пламенный мотор и как сумасшедший мотается на аэродром, чтобы освоить пилотирование «Яка». То просит меня, используя, благодаря «Очной ставке», связи с Внутренними войсками МВД, организовать ему поездку в Чечню, и наши бойцы, привыкшие видеть только грязь и кровь войны, с изумлением наблюдают, как с «бронника» соскакивают сначала Ленькины усы, а потом и он сам, да еще, подобно Деду Морозу, с подарками, купленными и на свои, и на «выбитые» из спонсоров деньги. То в Богом забытой деревушке Маврино восстанавливает полуразрушенную церковь... Свербит, что ли, ему в одном месте... Как бы там ни было, а жизнь его отнюдь не похожа на сказку, скорее на сумасшедший дом, где он выполняет роль то ли главного больного, то ли главного врача.

Познакомились мы давным-давно в кабинете Влада Листьева. Тот только собирался передавать Лене бразды управления барабаном и, очевидно, присматривался к будущему ведущему «Поля», так же как и Леня присматривался не только к Владу, но и к окружающим его людям, стараясь понять, чего от них можно ждать... Меня он довольно долго не то чтобы не замечал, но как бы не вписывал в зрительную память, не ассоциировал с главным редактором газеты, которая напрямую была связана с его будущей деятельностью. Его можно было понять: на Леню – широко известного в узких кругах ведущего аукционов по продаже то ли мехов, то ли картин, то ли мазута и шлакоблоков, автора КВНовских и «капустных» баек, а до того выпускника Московского инженерно-строительного института – в то время всей своей дурной мощью обрушилось телевидение с закулисным хаосом и харизмой суперзвезды, которой к тому времени стал Влад. Вписаться в эту атмосферу, понять ее, а потом и стать своим – задача, с которой справляются немногие. Леня справился...

Какой ценой ему это далось, знает, пожалуй, только он сам. Да и не каждый задумывается, каково это: более десяти лет ежемесячно по субботам и воскресениям записывать четыре программы для эфира, затрачивая на каждую запись по три–четыре часа (это уже после монтажа зрители видят 45 минут чистого времени), работая в студии, где собирается и у колеса, и в зале разношерстная публика со всей страны. А надо раскатать этот зал, снять зажатость перед мигающей красной лампочкой телекамеры, а потом, у стола, «доводить» тройки игроков до

экстаза, до такого состояния, чтобы игра – обыкновенная игра – становилась для них в данный момент целью и смыслом жизни – пусть на десяток минут, на полчаса... И еще – есть и пить всякую гадость: от самогона или кумыса до пирогов с «котятками», неизвестно, как и где приготовленных и в каких условиях доставленных из какой-нибудь глухомани до Останкина, а заодно наряжаться по прихоти участников игры то в костюм водолаза, то в малахай оленевода, то в жаркий узбекский халат и тюбетейку...

Что взамен? Не такие уж и большие деньги, получаемые Якубовичем, как сотрудником телекомпании ВИД (приходится подрабатывать всеми способами), да еще всенародная популярность, что в первые годы, может, и грела душу, но потом достала до печенок так, что в магазин из дома лишний раз не выйдешь.

Кстати, о популярности. Вот два случая. Первый произошел в Израиле, куда приехали мы с Леней... бросать курить. Почему в Израиле? Там, в одной из клиник, существует особая методика, которая в конечном счете помогла мне продержаться без проклятых сигарет почти два года и сорваться по собственной дурачности, а вот Леня не курил больше пяти лет (правда, тоже сорвался). Так вот, об Израиле. Уже в аэропорту Бен-Гуриона я ощутил славу Якубовича – носильщики, бывшие когда-то нашими согражданами, завидев его, с криками «Якубович!» бросились к нему так, будто они увидели, по крайней мере, родного папу. Они протягивали ему какие-то бумажки, требуя автографа, а один – очевидно, самый рьяный поклонник, задрав майку, подставил под фломастер собственную спину. То же самое повторялось и в Тель-Авиве, и в других городах: толпы «русских» израильтян осаждали Леонида Аркадьевича.

И только однажды случилась заварька. Решив искупаться, мы вышли из гостиницы, стоявшей метрах в трехстах от моря. Пока шли по пляжу (а дело было в субботу, когда ортодоксальные евреи, свято соблюдая шабат, молятся, а все прочие – отдыхают от трудов праведных и неправедных), полпляжа рвануло к Лене за автографами. Наконец отбившись от любителей «Поля чудес», добрались до лежаков. Только прилегли – по направлению к нам, широко улыбаясь во все белоснежные зубы, направился здоровенный черный марокканец (евреи – выходцы из Марокко, составляют значительную часть населения Израиля).

– Твою мать, – заворчал Аркадьич, – тут все, что ли, больные на голову? А этому-то на хрена автограф?

Марокканец подошел к нам и, все так же широко улыбаясь, по-английски произнес:

– С вас 100 шекелей.

– За что?

– А за лежаки...

Я расхохотался:

– Да, Ленечка, придется платить. Не обломилось тут тебе от собственной славы...

Второй случай. Как-то оказались мы в Амстердаме, куда приехали вместе со сборной командой газеты «Поле чудес» на чемпионат мира по логическим играм (проводятся и такие). Ну, куда вечером сходить? Конечно, в квартал «красных фонарей». И вовсе не потому, что обуревали нас сексуальные желания, а просто интересно – считается этот квартал одним из самых крутых в мире (ныне его вроде бы закрыли).

Итак... Вечерком идем по этому кварталу в сопровождении переводчика, смотрим на большие окна первых этажей, за стеклами которых неглиже сидят дамочки всех национальностей и цветов кожи, и беседуем о чем-то своем, московском. И вдруг боковым зрением вижу стоящую на крылечке метрах в ста от нас девицу фантастической красоты – полуобнаженную блондинку с ногами от зубов и бюстом пороскошнее, чем у Мэрилин Монро. Ради интереса говорю переводчику: «Сходи, поболтай с ней – сколько стоит это длинноногое удовольствие?». Тот к девице: вижу, мило треплются то ли по-голландски, то ли по-английски. А мы с Аркадьичем стоим поодаль, и все о своих, оставленных дома делах. Наконец, тронулись и потихонечку приближаемся к нашей «сладкой парочке». Через минуту-другую подошли совсем близко. И вдруг девица, оторвавшись от деловых переговоров с переводчиком, изумленно всплескивает своими красивыми ручонками и едва ли не на весь «красный» квартал вскрикивает:

– Ой, Леонид Аркадьевич! Здравствуйте!

Переводчик, да и мы впадаем в ступор. Выйдя из него, говорю нашему толмачу:

– А чего это ты с ней по-английски потел? Не мог сразу нашу распознать...

Посмеялись... Девица, оказавшаяся родом из Питера, нырнула в свой «дом приемов» и, вынеся оттуда какую-то бумажку, тут же попросила автограф, а затем гостеприимно пригласила «заглянуть на огонек». Мы вежливо отказались и побрели себе дальше. Леонид Аркадьевич идет и ворчит:

– Ну и зачем я ей автограф дал?

– А тебе что, жалко?

– Да нет, теперь она всем будет говорить, что спала с Якубовичем...

Вот такая она, оборотная сторона славы. А если серьезно, то, зная Леонида Аркадьевича много лет, я прекрасно понимаю, что Якубович–шоумен и Якубович в обыденной жизни – два абсолютно разных человека. Один – сродни клоуну, волею судьбы призванный развлекать публику вне зависимости от собствен-

ного настроения и состояния души. Другой – тонкий, очень ранимый человек, выросший в интеллигентной московской семье, где мама была врачом, а папа – военным, обожающий своего сына Артема и дочь Вареньку, нежно относящийся к жене Марине и сетующий только на то, что редко подолгу бывает с ними – гастроли, съемки в фильмах, поездки «на заработки» в дальние и ближние веси отнимают слишком много времени.

Эта его ранимость скрыта от глаз телезрителей, но зримо проявляется в повседневности. Было такое: несколько лет назад вышла книга о Якубовиче, автором которой стал некий бывший армейский полковник «от военной журналистики», многие годы существовавший как некая рыбка-прилипала при известных людях. Он гордился, что в свое время бегал за водкой для Высоцкого, оказывал мелкие бытовые услуги Плисецкой и прима оперетты Амарфий, мелил кий Ярмольнику... Уж не знаю, каким образом свела его судьба и с Якубовичем, только стал он при нем своеобразной «прислугой за все» – и в баньку с ним, и в ресторанчик, и шары в бильярд погонять, и на аэродром – всюду, где как бы ненавязчиво можно было сыграть в лакейскую игру «принеси-подай». Зато и водочка с закуской обламывалась ему за чужой счет, и саунка для VIP-персон, и знакомства, нужные по жизни. Леня не то чтобы с удовольствием пользовался услугами полковника, но и не гнал его от себя, как, скажем, в свое время поступил Ярмольник. Более того, устав от его жалоб на безденежье (а был полковник отчаянно завистлив по отношению к чужим карманам), попросил меня взять его на работу в «Поле чудес». Я не отказал, хотя и не очень-то нуждался в новых сотрудниках, и вскоре на собственной персоне ощутил угодность полковника, оплачивая его «услуги» по обстоятельствам то из кассы редакции, то из собственного кармана.

И на наших с Леной не таких уж частых встречах теперь непременно присутствовал полковник – собирались ли мы поужинать, сходить в сауну или кинуть фишку-другую на зеленое сукно казино. Да и бог бы с ним, если бы не одна особенность, которая открылась нам после выхода в свет его книги: оказывается, возвращаясь домой после подобных встреч – трезвым или пьяным, – он аккуратно записывал все наши разговоры и действия в особый дневничок, что исправно вел на протяжении ряда лет. Этот-то дневничок, не испросив на то разрешения ни Якубовича, ни мое (а мне также было посвящено немало грязных страниц, да еще приправленных густопсовым антисемитизмом), он опубликовал в виде книги, не решившись даже вынести свое имя на ее обложку – видимо, чужла кошка, чье мясо съела...

Мерзопакостное, скажу вам, осталось у меня ощущение после того, как полистал я данное творение. Ощущение, будто в твоей жизни несколько лет

присутствовал «мелкий стукачок». В сталинские годы получил бы он непременно благодарность от соответствующих органов, но, поскольку происходили данные события в иные времена, да и мы ни антисоветчину не несли, ни на ус-той не покушались, а развлекались себе в меру сил и желания, благодарность ему не вышла, а невеликий гонорар, полученный от издательства, вряд ли покрыл убытки от того, что на следующий день после знакомства с его опусом уволил я полковника с не так уж плохо оплачиваемой работы. Да потом еще и руки вымыл – а то было стойкое ощущение, что подержал я в этих самых своих руках не книгу, а этакий весомый кусок говна. Вымыл – и навсегда вычеркнул из своей жизни «настоящего полковника».

Гневу же Якубовича не было предела. Я хорошо понимал его: дело было не в содержании книги (ничего там такого особенного, впрочем, и не содержалось), а в предательстве человека, которому он доверял. Леня всегда был достаточно терпим по отношению к полковнику, закрывая глаза и на его мелкое крысятничество, и на то, что тот всю пользовался знакомством с ним. Дело было в другом: он допустил этого человека в свою личную жизнь, в свой интимный мир, закрытый от общества, – и был униженно предан. Я, как мог, успокаивал Леонида Аркадьевича: не надо, мол, ни в суд на него подавать, ни кислород ему перекрывать, ни на издательство наезжать – действуй по пословице: «Не тронь дерьмо – вонять не будет». В конце концов через месяц-другой страсти улеглись... Но, думается, именно в данной ситуации проявилась особенная Ленина ранимость – он ничего не простил и ничего не забыл, разве только стал еще более замкнутым в своем внутреннем мире.

Есть в нем ранимость и другого свойства. Я видел, как в глазах его стояли слезы, когда отдал ему разысканный (все тем же полковником – хоть доброе дело сделал) в Подольском военном архиве наградной лист на отца, представленного в годы военного лихолетья к ордену Красной Звезды. Он сдерживал эти слезы, а они катились по лицу, ибо папы уже не было в живых, а вот документ, поди ж ты, сохранился, как сохранился в домашнем архиве снимок, где майору Аркадию Якубовичу вручает тот орден собственноручно маршал Буденный – тогда легендарный, а ныне очищенный правдой истории от этой своей легендарности.

И все же, все же, все же... Кто же он – Леонид Якубович, знаменитый на весь бывший Союз ведущий «Поля чудес»? Вопрос не праздный, и возник он у меня отнюдь не случайно, а после того, как побывал я на его юбилейном вечере в концертном зале «Россия». Леня назвал его «Судьба барабанщика», подразумевая, конечно же, при этом, что судьба его накрепко связана с крутящимся барабаном «Поля чудес». Так благодарить ли ему судьбу за это или, наоборот, клясть за то,

что волею Влада Листьева она сделала крутой вираж, изменив, а, вернее, сотворив всю его жизнь?

Он, хотя и старался скрыть это, очень волновался: кто придет к нему на юбилей? Пригласил всех, с кем был знаком, – известных политиков и государственных мужей, «силовики» первого ряда, популярных актеров, режиссеров, музыкантов... Тщеславие? Стремление убедиться в своей значимости? Наверное... Но и еще, уверен, подспудное желание убедиться, что тебя любят, ценят, уважают твою сумасшедшую, честную работу. Увы, многие места так и остались пустыми... Конечно, кто-то просто не смог прийти, кого-то не было в городе – отпускное время. Но мое сердце резануло, когда во время концерта не прозвучало ни одного приветствия: ни из-за кремлевских стен, ни из Министерства культуры... Даже у руководства Первого канала ТВ не нашлось доброго слова. Разве только коллеги по эстраде выложились по полной, найдя и слова, и цветы для кумира миллионов, народного артиста России.

А может быть, если возвратиться к размышлению о Якубовиче, такова его участь – участь шута, «барабанщика», призванного забавлять народ, о котором забывают, лишь только отзвучат последние аккорды бодрящей цирковой музыки и над манежем медленно погаснет свет прожекторов. Может быть, и сам Лень подспудно понимает это, и потому порою пытается сбросить маску «главного Буратино страны», то снимаясь в художественных фильмах, то выходя на театральные подмостки, то делая замечательное документальное кино, то стремительно прорываясь в небо на легкомысленном самолете... И что значит его слава перед этими душевными муками, о которых мы можем только догадываться, как всегда по пятницам включая телевизор и видя блестящего шоумена, торжественно объявляющего: «В эфире – «Поле чудес»...

И это – его жизнь, его крест, его карма... Это – его работа, благодаря которой миллионы людей каждую неделю хотя бы на 45 минут забывают о своих больших и маленьких горестях. Что ж, может быть, как поется в давней песенке, «барабан» – сиречь отравы телевизионного запудривания мозгов – и «был плох». Но кто посмеет кинуть камень в «барабанщика»?

«Тайная власть» открывает тайны

Если «Поле чудес» и «Поле чудес для детей» одарили меня дружбой с Владом и Леной, то очередной проект нашего Издательского дома – газета «Тайная власть», был выстроен, если так можно сказать, на фундаменте дружбы старой – с Борей

Шапиро-Тулиным, о котором я уже упоминал в этой книге. Но, наверное, пришла пора несколько подробнее рассказать об этом незаурядном человеке, с которым свела судьба еще в далекой юности.

Совпадение: начал писать о Боре, и буквально тут же раздался телефонный звонок. Борис приглашал отметить день рождения: в феврале 2007 года ему исполнилось 60. Черт возьми, как же все это быстро произошло – ведь мы познакомились, когда мне было... 17 лет. Я тогда только поступил в институт. С матерью мы жили отдельно от ее родителей, а свою комнату на «Аэропорте» она сдавала. Вот в эту-то комнату и вселился Боря – он, будучи постарше меня, уже отучился в Тульском политехническом и приехал покорять столицу.

Порекомендовал его матери давний ее знакомец – тот самый Натан Маркович Шапиро, которому впоследствии предстояло сыграть свою роль в ходе юридических коллизий, случившихся в первые годы существования «Частной жизни», о чем я уже рассказывал. Боре он доводился дядькой, и потому никаких иных рекомендаций не требовалось.

Мы подружились как-то сразу: на почве поэзии. Боря, как и я, писал стихи, да и вообще тянулся к литературе, хотя вышел из института инженером – уж не знаю, что заставило его, явно склонного к гуманитарным наукам, долбить сопромат и прочие малопонятные мне предметы. А родом он был из славного города Бобруйска – его отец Евсей Ильич занимал там видное положение, будучи заведующим единственной на весь город юридической консультацией. Мама же – Сарра Абрамовна, руководила детским садом, деля свое любвеобильное сердце между бобруйскими детишками и единственным чадом.

Спустя несколько лет после нашего знакомства мне довелось побывать на родине Бориса – приехали мы с ним отдохнуть и попали в тесные объятия Сарры Абрамовны, очевидно полагавшей, что в Москве эти «шлимазлы» голодают, и решившей взять кулинарный реванш за все наши «голодные муки». Боже, как она нас кормила! Воспоминания об этом, хотя прошло уже столько лет, никогда не исчезнут, ибо меня никогда и нигде больше так не кормили. Помнится, в довершение всего того, что в нас впихивали, «на сладкое» неизменно следовало традиционное еврейское блюдо, именуемое «кишка» (с ударением на первом слог). То была некая длинная колбаса, нафаршированная, однако, не мясом, а сладким тестом с изюмом, орехами и еще Бог знает чем. Отдавая ее, я даже не отвалился, а отполз от стола, тихонько скуля и мечтая только об одном – немедленно завалиться спать, чтобы, как удав, переварить все вкусности, изготовленные Бориной мамой.

Много позже, когда родители Бори уже уйдут из этого грешного мира (в свое время он перевезет их в Москву, где они дождутся внуков и будут их также любовно кормить и лелеять), мой друг, ставший к тому времени крупным специалистом в мире эзотерики, напишет чудесную, тонкую книгу «Бобруйские жизнелюбь», и те, кому доведется ее прочесть, поймут глубокую нежность его души, которую он соединил с памятью о детстве.

Судьба Бориса не раз делала крутые виражи. Помню его инженером, принимавшим участие в реставрации памятника Мухиной «Рабочий и колхозница», который ныне разобран и неизвестно, будет ли собран вновь. Вместе с Борей, используя его служебное положение, мы лазили по внутренностям этого сооружения эпохи победившего социализма, потрясенные фантазмагоричностью увиденного: гигантских анатомических частей двух статуй, уже тогда прожравевших донельзя. И все-таки творческий червячок, очевидно, неизбежно грыз Борю: он учился на курсах у знаменитого в то время драматурга Михаила Шатрова, позже стал автором сценария фильма про Фрунзе, писал какие-то мюзиклы, другие вещицы, приносящие скорее не славу, а деньги (тоже неплохо). Работали мы с ним и как соавторы: в «Советской культуре» опубликовали серию статей, рассказывающих историю фотографий Ленина, а потом на их основе даже выпустили книжицу в «Политиздате». Не знаю, как у Бори, но у меня оснований гордиться этой штучкой нет, но и отказываться от нее не стоит: в совковские времена конъюнктура была двигателем не только торговли, но и приносила идеологические очки. Зато горжусь тем, что в той же «Советской культуре» мы с Борисом впервые в стране опубликовали правду о трагической гибели великого Соломона Михоэлса – о том, как удалось напечатать этот очерк, невзирая на сопротивление главного редактора, я уже рассказывал.

А у Бори, вдобавок к его литературным способностям, открылся новый талант – он серьезно занялся эзотерическими науками, достигнув в них немалых успехов. Те, кто видели программы Ивана Кононова «Третий глаз» и Андрея Максимова «Ночной полет», помнят, очевидно, и неоднократно принимавшего в них участие Бориса Шапиро-Тулина, выступавшего в роли блестящего собеседника ведущих. Вел он и свою программу на ТВ – «Золотая удочка», посвященную толкованию имен и разгадке судеб, связанных с тем или иным именем. А потом появились и книги Бориса – по эзотерике, астрологии, картам Таро...

Словом, когда на 60-летие Бориса Евсеевича я готовил торжественный спич, мне было что написать, дабы отразить его богатый жизненный путь. Привожу этот спич здесь полностью – как говорится, в назидание потомству...

*Где взять слова, чтобы воспеть сей день?
Иврит и идиш здесь не пригодятся.
Вот русский – наше все, не правда ль, братцы.
На нем и воспою твой юбилей.*

*О Боря! Будь я даже Глазунов,
Не смог бы полотно создать такое,
Чтоб, восхищенные твоей судьбою,
Пред ним застыли зрители без слов.*

*Отдельные штрихи прекрасны здесь.
Вот град Бобруйск, веселый и печальный.
Там, там раздался крик первоначальный,
Которым о себе ты подал весть.*

*«Смотрите-ка, еще один еврей!» -
Взглянув на пипку, доктор молвил строго.
И радовались Сарра и Евсей,
Что мальчик им удался, слава Богу.*

*А дальше путь был долог и тернист –
От пионера и до инженера.
Ты в Тульском политехе был примером
Для тех, кто камни сопромата грыз.*

*И на хрена тебе был тот диплом?
И некто (из евреев, видно) кульман?
Когда уже двойник твой – Боря Тулин
Стихом своим означил первый том.*

*Поэтам, знаю, море по колено.
В Москве любви ты знамя водрузил...
Итак, друзья, она звалась Елена.
Прекрасная, как пэрсик у грузин.*

*Да, кстати о грузинах... Точно знаю,
Борис вино их пил немало лет.
Нам это завещал товарищ Сталин.
Жаль, Путин обломал его завет.*

*Но это так – заметки на манжетах...
Вернусь к любви – поди ее измерь.
Так вот, любовь подкралась незаметно,
И Боря постучался к Лене в дверь.*

*Я сам стоял, ребята, на атасе,
Ни капельки при этом не кирял.
И видел, как, сгорая в вихре страсти,
Преображенку Боря покорял.*

*И покорил! Как устоять, в натуре,
Когда неумолим был, словно рок,
Борис Шапиро, он же – Боря Тулин...
Двойной удар кто выдержать бы смог?*

*Последствия же этого удара
Отнюдь не показались мне странны.
Артем с Денисом выросли на славу –
Компьютерные гении страны.*

*И вновь судьба вираж свой совершила:
Кино создав, рассказы и стихи,
Иную Боря покорил вершину,
Где небо отпускает нам грехи.*

*Теперь он – академик тайных знаний.
Максимов – покровитель высших сил –
Не зря его в «Ночной полет» отправил
И дураков лечить благословил.*

*Но всех их исцелить отнюдь не просто,
Хоть руны применяй, хоть кол теши,
Хоть будь Шапиро-Тулин ты, хоть Калиостро,
Хоть гороскопы всей стране пиши...*

*Вот так и продвигаясь к юбилею,
Торил он путь, не глядя на часы,
Сверкая головою, словно Ленин,
И распушив прекрасные усы.*

*И этот путь прославил я стихами.
А что осталось? Лишь поднять бокал,
Произнеся торжественно: «Лехаим!»,
И будь здоров – на зависть всем врагам!*

Увлечение Бори магическими науками и подвигло меня на создание газеты «Тайная власть». Он стал ее постоянным консультантом, а заодно и составителем астрологических прогнозов, которые публикуются в каждом номере газеты. Разрабатывая идею этого издания, мы решили строить его отнюдь не на одних – подлинных или мнимых – сенсациях, связанных с летающими тарелками, призраками и прочими снежными человеками, но придать ему мировоззренческий, в чем-то даже просветительский характер. Газета, выходящая и ныне ежемесячным тиражом около 200 тысяч экземпляров, публикует материалы о многообразии всех конфессий, о духовном мире человека, борьбе Добра и Зла, обрядах, религиозных праздниках, пророках прошлого, таинствах великих учений ...

Рассказывая о «Тайной власти», не могу не упомянуть и еще об одном нашем авторе. Так уж получилось, что судьба сводила меня с многими известными поэтами и писателями. И отнюдь не потому, что в последние годы я живу в Переделкине, где, как известно, товарищ Сталин в свое время создал писательскую резервацию, позже выведенную в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» под прозвищем Перелыгино. Просто многие из тех, кто причастен к большой литературе, никогда не гнушались и работой в газете – во-первых, она их кормила в трудные времена, а во-вторых, перо можно оттачивать и на мелких жанрах. Я всегда был благодарен и Аркадию Инину – замечательному писателю и кинодраматургу, выступающему в наших газетах с остросоциальными эссе, и поэту-«правдорубу» Игорю Иртеньеву, без которого невозможно представить на-

ши странички юмора, и, к сожалению, ныне покойному блестящему поэту-песеннику Льву Ивановичу Ошанину, с которым мы подружились в последние его годы и стихи которого не раз появлялись в «Частной жизни», и искрометному Володе Вишневу, и тем писателям, о которых я рассказывал выше.

К этой славной когорте относился и постоянный автор «Тайной власти», да и других наших газет, Еремей Парнов – писатель-фантаст, эссеист, ученый, исследователь исторических загадок и первооткрыватель многих неизвестных областей знаний уходящей (похоже, навсегда) эпохи высокого интеллекта. Горько было узнать в марте 2009 года, что он скоропостижно скончался – а ведь буквально за несколько дней до его смерти мы перезванивались, обсуждали темы новых публикаций, которые он должен был сделать.

Парнов, на мой взгляд, был недооцененным человеком. Нет, он печатался, постоянно выходили его книги, но, скажем, крайне редко Еремей Иудович выступал на радио, а на ТВ не появлялся вообще. А ведь был он человеком уникальных познаний. Ну скажите, много ли вы знаете людей, которым английская королева Елизавета прислала бы благодарственное письмо? Парнову прислала – после того, как Ее Величество познакомилась с исследовательской книгой Еремея Иудовича «Круг чудес и превращений, или Мир вокруг «Глобуса», посвященной Шекспиру и людям его эпохи. А много ли найдется знатоков, которые могли предсказать появление мощнейшего оружия задолго до его создания? Парнов в одном из своих ранних рассказов это сделал – предсказал появление нейтронной бомбы (!) тогда, когда к ее созданию еще и не приступали. Да и тех, кто отправлялся путешествовать по следам легендарный Шамбалы, побывал в монастырях Тибета и Шаолиня, открывал таинственные области Гималаев и другие загадочные места планеты – считанные единицы. Добавьте сюда десятки книг – от прогремевшего много лет назад «Ларца Марии Медичи» (фильм, снятый по этому роману с дорогой моему сердцу Кларой Лучко, крутят по ТВ до сих пор) до собрания сочинений в 12 томах – и можно понять, насколько был велик интеллектуальный багаж этого человека.

Я как-то спросил Парнова, почему он выбрал именно научную фантастику? Оказалось, его увлечение тайнами науки началось еще со школы. Однажды в обычном киоске «Союзпечати» (было это вскоре после войны) одиннадцатилетний парнишка купил неприметную книжку с малоговорящим в то время названием «Атомная энергия». Удивительно, но это оказался полный отчет о проведении американцами первого атомного взрыва – с фотографиями и докладом об испытаниях атомной бомбы. Таинственная энергетика этой книги, сила

скрытого в ней смысла, способная изменить и изменившая в конечном счете мир, настолько увлекла парнишку, что привела его впоследствии и в технический вуз, и в научную лабораторию.

Он получил химическое и физико-математическое образование. Оно и стало фундаментом его книг, плотно замешанных на времени послесталинской оттепели. Тогда, в 60-м, в популярнейшем молодежном журнале «Юность» появилась статья Парнова о генетике, которую в эпоху «вождя народов» называли не иначе как «продажной девкой империализма». Она вызвала и скандал (в кругах, приближенных к академику Лысенко – главному гонителю генетики), и восторг у настоящих ученых, понимавших глобальное значение этой науки.

Парнов шел к фантастике, отталкиваясь от фундаментальных наук, к романам и повестям – от научно-популярных статей и книг. Чем была фантастика (получившая дурацкую приставку «научная», ибо незачем было легкомысленно фантазировать в стране марксистско-ленинских реалий) для читателей того времени, особенно молодых, не отравленных «по самое не могу» коммунистической пропагандой? Наверное, чистой струей воздуха, наполнившей легкие после душливого сталинского безвременья, после невыносимо скучных «эпохалок» классиков социалистического реализма. То было время XX съезда, развенчавшего сталинский террор, когда казалось: начинается новая эпоха – добра и справедливости, и эта эпоха, в первую очередь благодаря достижениям науки, откроет невиданные возможности перед человеком. Вот-вот будет познан секрет вечной жизни, ученые победят самые тяжелые болезни, создадут искусственный разум и искусственную еду, ворвутся в иные галактики и обнаружат жизнь на других планетах. Словом, наступит всеобщее счастье...

Ильф и Петров замечали в своих «Записных книжках»: «В фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.». Нечто похожее произошло и с наукой, обманувшей ожидания энтузиастов: эра всеобщего счастья так и не наступила. Винить ли в этом саму науку? Винить ли молодых советских фантастов, пришедших в литературу на волне подобных ожиданий и увлекших ими миллионы читателей? Они были романтиками, мечтателями, но, воспитанные в духе идей социализма, отнюдь не покушались на устои общества, во многом тормозившие и сам научно-технический прогресс. Им было ох как далеко до политической фантастики Оруэлла или Замятина, да и не слышали они тогда о «Скотном дворе», «1984-м» или романе «Мы». Но и Еремей Парнов вместе со своим тогдашним соавтором Михаилом Емцовым, и ярко входящие в литературу, ставшие впоследствии классиками жанра братья Стругацкие, Ариадна Громова,

Иван Ефремов – каждый по-своему, опираясь на реалии времени и полет мысли, зачарованные пришедшими тогда впервые к советскому читателю книгами Станислава Лема, Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, пытались создать иные миры, отнюдь не выстроенные по канонам советской партийной идеологии, размышляли об иных общественных формациях, об иных отношениях между людьми, базирующихся вовсе не на «Моральном кодексе строителя коммунизма».

И, наверное, именно эти мотивы в произведениях молодых советских фантастов цепляли читателя, заставляли жадно глотать книги, переводили их в разряд интеллектуального «дефицита» – несмотря на многомиллионные тиражи. С детских лет я хорошо помню толстые, большого формата книги серии «Мир приключений». В библиотеках за ними всегда были очереди – в них печатали произведения советских и зарубежных фантастов, от которых нельзя было оторваться. Они уносили тебя словно бы в другое измерение, в другие, неведомые, радужно сияющие миры, вырывая из серых будней скудного советского бытия.

Такая популярность жанра, еще недавно как бы не существовавшего вообще (во времена Сталина фантастика и ее основоположники Александр Беляев, Александр Грин были вообще запрещены), не могла не насторожить охранников от идеологии. Ведь подспудно этот жанр заставлял задуматься (что самое страшное!) о философских, моральных, социальных аспектах времени. Не случайно в марте 1966 года – через два года после снятия Хрущева, когда потихоньку вновь начали завинчивать идеологические гайки в разных областях культуры, – появилась «Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической литературы». Для лучшего понимания ситуации приведу здесь этот документ, адресованный в Секретариат ЦК, полностью, потому что из него, как из песни, слов не выкинешь.

Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС считает необходимым доложить о серьезных недостатках и ошибках в издании научно-фантастической литературы.

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают произведения так называемой «социальной» или «философской» фантастики, в которых моделируется будущее общество, его политические, моральные, человеческие аспекты...

Советская фантастика всегда отличалась своими прогрессивными тенденциями, твердо стояла на основах научного мировоззрения,

смело вторгалась в сложные и малоизученные жизненные проблемы. Для нее были характерными высокий гуманизм, глубокая вера в силу человеческого разума, оптимистический взгляд в будущее человечества, неизменно связанная с победой и торжеством коммунистических идеалов.

Как же могло случиться, что в научно-фантастическую литературу проникли идейно чуждые влияния, идеалистически-философские концепции, пессимистические настроения! Вольно или невольно в ряде произведений этого жанра проповедуются антиматериалистические взгляды на человека, природу, общество, в сознание читателей вносят идеи, противоречащие элементарным научным истинам о развитии человеческого общества.

Все дело в том, что ни партийная печать, ни литературная критика никогда всерьез не занимались анализом научной фантастики. А это привело к тому, что издательства и редакции журналов, главным образом, издательства «Молодая гвардия», «Детская литература», журналов «Техника – молодежи», «Знание – сила», «Молодая гвардия», «Смена», редакции сборников по фантастике и приключениям крайне невзыскательно стали подходить к отбору произведений писателей-фантастов. Стремясь получить дополнительные прибыли, любой ценой увеличить тиражи своих изданий, печатают почти все, что приносят авторы и переводчики. Неразборчиво публикуя произведения западных фантастов, руководители издательств и журналов открыли зеленую улицу для проникновения буржуазной идеологии в среду советских читателей и особенно в среду молодежи.

При издательстве «Молодая гвардия» сложилась группа молодых писателей и критиков, которые напрочь отбрасывают все, что было сделано советскими фантастами прежде, стоят в фарватере современной западной фантастики. Это группа монополизировала издание литературы и публикации статей в газетах и журналах по проблемам научной фантастики. Парнов и Емцов хвалят Стругацких, Стругацкие – Парнова и Емцова. Нудельман хвалит Громову, Громова – Нудельмана, а все они, вместе взятые, расхваливают Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, Станислава Лема, монолитно и беспощадно выступают против советских писателей старшего поколения А.Казанцева, В.Немцова и других.

Писательская общественность неоднократно обращала внимание ЦК ВЛКСМ и руководителей издательства «Молодая гвардия» на неблагоприятное положение с изданием литературы по научной фантастике, однако эти сигналы не были приняты во внимание. Более того, руководители «Молодой гвардии» до последнего времени склонны считать, что с выпуском научно-фантастической литературы у них все обстоит благополучно. Учитывая серьезные недостатки и ошибки в издании литературы по научной фантастике, Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС считал бы целесообразным осуществить следующие мероприятия:

1. Поручить редакции журнала «Коммунист» опубликовать обстоятельную критическую статью авторитетного автора об ошибочных тенденциях современной научно-фантастической литературы. Это необходимо, поскольку в двух статьях, опубликованных ранее на страницах «Коммуниста» (Е.Брандис и В.Дмитревский «Будущее, его провозвестники и лжепророки» № 2 за 1964 г. и М.Емцов и Е.Парнов «Наука и фантастика» № 15 за 1965 г.), содержатся путаные оценки современной научно-фантастической литературы, всячески восхваляется творчество братьев Стругацких, что в известной степени дезориентировало общественность.

2. Поручить ЦК ВЛКСМ рассмотреть вопрос о работе издательства «Молодая гвардия» по изданию научно-фантастической литературы и принять меры по укреплению издательства более квалифицированными кадрами.

3. Предложить Комитету по печати при Совете Министров СССР навести надлежащий порядок в издании литературы по научной фантастике как в центре, так и на местах, обратив особое внимание на выпуск произведений западных литераторов.

4. Рекомендовать Союзу писателей СССР обсудить вопрос об ошибочных тенденциях в современной научно-фантастической литературе и принять меры к улучшению работы с литераторами, работающими в этом жанре.

5. На очередном информационном совещании в Отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС обратить внимание редакторов газет и журналов, директоров издательств на неправильные тенденции в современной научно-фантастической литературе

и на поверхностное обсуждение проблем, связанных с этим жанром, на страницах периодической печати.

Просим согласия.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС

А.Яковлев

Инструктор Отдела

И.Кириченко

Заметим, что один из авторов этого директивного окрика (рожденного, как теперь известно, в результате многочисленных «сигналов» в ЦК неких литераторов, «работающих в жанре научной фантастики») – Александр Яковлев, «крестьянский отец» будущих демократических преобразований времен «перестройки». Второго же автора – Ивана Петровича Кириченко – мне довелось знать лично, ибо позже был он в «Советской культуре» заместителем главного редактора. Я не удивился, увидев его подпись под данным «сигналом», ибо большего ретрограда, чинушу, давящего любую свежую мысль, да к тому же убежденно-го антисемита, надо было еще поискать.

Что же касается так называемых «оргвыводов», то они, вместе с проработками на всех уровнях, последовали незамедлительно. У Парнова (особому ostrакизму были подвергнуты его повести, написанные вместе с М.Емцовым «Уравнение с бледного Нептуна» и «Душа века», как произведения «низкого идейно-художественного уровня, лишенные четкой классовой окраски») был рассыпан набор двух книг, готовящихся к печати в издательстве «Молодая гвардия». Его выгнали из редколлегии 20-томника «Научно-фантастической литературы», несколько лет вообще нигде не печатали. На какое-то время пришлось «переквалифицироваться» – он написал книгу о путешествии на Тибет, затем – о великом Улугбеке... В строй же официально признанных литераторов его вернула «заказная» книга об Эрнсте Тельмане, одобренная лидером немецких коммунистов Вальтером Ульбрихтом и получившая посему положительный отзыв в «Правде». Стало легче дышать... Но все годы своего литературного творчества писатель, по сути дела, продолжал балансировать между признанием читателей и отрицанием официальных властей и околотитературной дряни, на какие бы времена ни приходились его произведения.

А что же сегодня? Научную фантастику сменил стиль «фэнтези», читателей, увлеченных героями братьев Стругацких и Ивана Ефремова, – те, кто зачитывается приключениями Гарри Поттера. Все это, наверное, естественная ситуация, жаль только, что в последние годы своей жизни Еремей Иудович смотрел на мир далеко не так оптимистично, как в начале своего творческого пути,

предрекая планете подобие Апокалипсиса. Последнюю книгу, над которой работал писатель, он хотел назвать «Рок и ужас», предварив ее эпитафией из Эдгара По: «Рок и ужас шли рука об руку с человеком на всех путях его»... Увы, нам не дано будет ее прочитать. А значит, мы никогда не узнаем, о фантастике или о реалиях нашей жизни собирался поговорить с нами Еремей Парнов...

Совсем коротко...

И еще несколько изданий за минувшие годы создавались в недрах нашего издательского дома. Это газеты «Женские дела» (ее редактором несколько лет была Галя Левина) и «Врачебные тайны» (долгие годы это издание «пилотировала» замечательная Люся Золотова, с которой мы познакомились еще в «Московской правде»), газета «Животные страсти» (мы создавали ее совместно с Мишей Ширвиндтом – достойным сыном своего отца, прославившимся как ведущий передачи «Дог-шоу» и ставшим впоследствии руководителем продюсерского центра «Живые новости»). Появился и ряд приложений «карманного формата» к газете «Тайная власть». Наверное, мой рассказ был бы неполным, если бы не упомянул я и газеты, которые создавали мы для зарубежного читателя – в Израиле, скажем, несколько лет выходил дайджест «Поле чудес», куда включались лучшие материалы из всех наших газет. Это вполне объяснимо – ведь там «на четверть бывший наш народ». (Зато совсем уж необъяснимо, каким чудом газета «Поле чудес» вышла в Объединенных Арабских Эмиратах.)

Я частенько ездил, да и продолжаю ездить на «землю обетованную», благодаря чему обрел там замечательных друзей – Рому Светланова, Леню Белоцерковского, Сашу Каневского: все они так или иначе помогали и мне, и газете... Особая дружба связала меня с Йоси Тавором – блестящим музыковедом, эрудитом, ведущим программ на русскоязычном радио «Река», а ныне вновь вернувшимся в Москву в качестве первого секретаря Израильского посольства. Продолжают писать нам и мои старые друзья еще по «Советской культуре» Миша Бриман и Юра Пологонкин – такой кульбит совершила их судьба, что после отъезда оказались они в одном городе Нацерете, и живут теперь в пяти минутах ходьбы друг от друга. И хотя силы уже не те, да и возраст вполне солидный, оба моих дорогих друга продолжают свое журналистское служение – правда, если Миша чаще пишет для газет нашего издательского дома, то Юра за минувшие годы создал несколько книжек – и воспоминаний о своей прежней, «союзной» жизни, и яркую, веселую книгу о жизни в Израиле... Всякий раз, когда удастся выбраться в

Нацерет, мы надолго застреваем за столом в Юрином доме, где хозяйничает его очаровательная жена Ира, и погружаемся в ушедший мир – мир наших воспоминаний. Лехаим, ребята!..

Моя судьба выкинула и еще один фортель – в юные годы прикоснувшись к удивительному, загадочному, сумасшедшему миру цирка, я снова вернулся в этот мир через тридцать с лишним лет – совместно с Российской государственной цирковой компанией (Росгосцирком) мы создали уникальную газету, пожалуй, единственную на постсоветском пространстве – «Цирк: парад-алле!». Круг арены замкнулся, и я снова ступил в него – благодаря генеральному директору Росгосцирка, народному артисту СССР и России Мстиславу Запашному, в мае 2008 года отпраздновавшему свое 70-летие. Поневоле согласишься в примету, а она свидетельствует: тот, кто хотя бы раз вышел на арену (пусть даже случайно), не расстанется с цирком никогда. Так, наверное, и произошло: когда Запашный возглавил Российский цирк, одним из его первых действий стало решение о воссоздании цирковой газеты, не выходявшей многие годы. И он, очевидно, по старой дружбе обратился ко мне...

А дружбе нашей без малого тридцать лет... Как, впрочем, и дружбе с Сашей Калмыковым, который стал первым заместителем Запашного и по-прежнему помогает мне во всех начинаниях, связанных с цирком.

Я не буду останавливаться на каждом из вышеупомянутых изданий подробнее – иных уж нет, другие стали менее заметны в газетном мире, чем пять-десять лет назад. Да и в самом этом мире многое теперь изменилось – мне кажется, что журналистика потеряла ощущение свободного полета, этакое вольнодумства, в нас вновь проснулись «внутренние редакторы» и «внутренние цензоры», казалось бы исчезнувшие раз и навсегда. Ан нет, оказывается, они только затаились в ожидании своего времени, властного начальственного окрика, недрогнувшего перста указующего...

Эпоха всеобщего глянца, бездумных, легких, как воздушный шарик, изданий, время гламура и гламурных героев – пустых, побрякушечных персонажей, славных разве что своими светскими похождениями, количеством бриллиантов и сексуальных утех, царствовала в последние годы. Не в «формате» оказалась серьезная литература, поэзия, журналистика, существующие как малонаселенные острова в океане дешевых фаст-фудов от культуры. А потом нахлынули цунами мирового кризиса, последствия которого не берется предсказать никто, да и стоит ли это делать, когда все мы вновь оказались вынужденными не жить – выживать...

Но, может быть, все это – только брюзжание человека, приближающегося к шестидесятилетию и отдавшего сорок лет жизни профессии журналиста... Что ж,

дело хозяйское, вернее, авторское – побрюзжим, глядишь, и легче на душе станет... А может, как говорится, за долгие годы в профессии глаз «замылился», и ты уже не видишь то новое, должное радовать душу, что, как первовесенние ростки, пробивается к свету. Может быть, может быть...

Впрочем, как сказано царем Соломоном в «Экклезиасте», «... что было, то будет снова, и что свершается, то и свершится, и нет ничего нового под солнцем». Наверное, моя книга, так или иначе затронувшая малозначимые и более весомые события и причастных к ним людей за период в сто с лишним лет, и об этом. Ибо во все времена поступки человеческие только одеваются по моде, оставаясь, по сути, неизменными – если измерять их критериями десяти заповедей Божиих.

И еще, если говорить об этой книге, я отнюдь не стремился создать бестселлер, а, как сумел, написал о своей жизни, близких мне людях, своих учителях – и да простят меня те, кому я не посвятил хотя бы несколько строк. И те, кто уже ушли, и те, кто здравствуют – все они в моей душе, в моей памяти.

И последнее. А где же та самая частная (или ее стоит назвать «личная») жизнь автора? – вправе спросить въедливый читатель, который, быть может, понадеялся, что заголовок этой книги обещает немало интимных откровений. Где страстные любовные приключения, ночи без сна, безумные терзания, нежные лобзания, крутой секс, наконец? Были, были и ночи, и вздохи, и терзания... Для читателя (почему-то мне так кажется) они малоинтересны – я ведь не Жорж Сименон, посвятивший своим любовным приключениям немало страниц воспоминаний. Любителей подобного рода мемуаров я адресую к ним – у классика, поверьте, все было более захватывающе, чем у меня. А моя частная (личная) жизнь сегодня – это сын Антон, его жена Света, мои внуки и, соответственно, их дети, Анечка и Данечка. И моя дочь Алена, ее сын, то бишь еще один мой внук – Максик. Я безмерно их всех люблю и, как явствует из эпитафии, посвящаю им эту книгу... И еще моя частная (личная) жизнь – это моя жена Марина, с которой мы (так уж сложились обстоятельства) не живем вместе, но которой я безмерно благодарен за прекрасных детей и за все хорошее, что не выкинуть из памяти... Наконец, моя частная жизнь сегодня – это моя «Частная жизнь» и примкнувшие к ней газеты: мое единственное дело на этой Земле, которое я, думается, умею делать по-настоящему.

Ну а о сексе как-нибудь в следующий раз...

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1

Любовь и слёзы юных лет

Всё только начинается	8
Вагон смертников	13
Вторая ветвь	29
Семейная идиллия	31
Запретная любовь	37
Испанский капкан	73
Мальчик из другого круга	81
Баллада о кастрюльке	87
Одиноким предоставляется свобода	99

ЧАСТЬ 2

Блокнот репортёра

Новослободская, 73	114
Удавка для Владимира Высоцкого	124
Случай в горах	129
Весь этот цирк	137
Государство в государстве	150
Дело Колеватова	156
Будет музыка	176
«Принимаю беду на себя...»	183
Золотая лихорадка	194
Рак: несбывшаяся надежда на победу	202
Афганский излом	220
Горячие скалы Николая Петрова	239
Операция «СПИД»	251
Перестройка начинается	259
Как я редактировал сельскохозяйственную газету	265
Период полураспада	270

ЧАСТЬ 3

«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» И ЕЁ ОКРЕСТНОСТИ

Прорыв в неизвестность.....	285
Автора!.....	297
Надорванное сердце Александра Ткаченко.....	313
«Столичные» штучки	319
Прокурорский надзор	328
Влад Листьев: неразгаданный выстрел	333
Леонид Якубович: судьба барабанщика	345
«Тайная власть» открывает тайны.....	351
Совсем коротко... ..	363

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Шварц Виктор Ильич

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

РЕДАКТОР

Алёна Шварц

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Сергей Баршевич

ФОТОГРАФИИ

Олеся Боднарчук

Аркадий Казимиров

Николай Самойлов

Из архива В.И.Шварца

КОРРЕКТОР

Заида Кожуринчева

Подписано к печати

Формат 60×90/16, бумага офсетная, печать офсетная,
усл. печ. л. , уч.-изд. л. , тираж , заказ №

Издательский дом Шварца

105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75 корп. 9

(495) 788-56-66

www.privatelife.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14